

Н О В Ы Й
М И Р

5

1964

1964 | Бонгарс | Н О В Ы Й | М И Р

|| 5 ||

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 5

Май, 1964 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е И С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ — Из цикла «Жизнь и размышления». Стихи. Перевела с калмыцкого Ю. Нейман	3
ЮРИЙ БОНДАРЕВ — Двое. Окончание	5
НИНА КОРОЛЕВА — Три стихотворения	52
ГЕНРИХ БЕЛЬ — Ирландский дневник. Перевели с немецкого В. Нефедьев и С. Фридлянд	55
Генерал армии А. В. ГОРБАТОВ — Годы и войны. Окончание	106
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
Т. МОТЫЛЕВА — Двадцать шесть дней в США	154
ПУБЛИЦИСТИКА	
В. СМОЛЯНСКИЙ — Новые концепции на старый лад	187
—	
ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ АРХИВОВ	200
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. ДЕМЕНТЬЕВ — Горький и книга	218
В. КАТАНЯН — О сочинении мемуаров	227
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	237
Л. Лившиц. Как само искусство.— Б. Рунин. Далекое и близкое.— Вл. Огнев. Патриарх абхазской культуры.— Ю. Айхенвальд. Воссозданный мир.— В. Лакшин. «Человеческая философия» Лихтенберга.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	251
Акад. И. М. Майский. Воспоминания о Дальневосточной республике.— Э. Алаев. Книга, заставляющая думать.— А. Хавин. Курс на Большую хи- мию.— Д. Шелестов. Комсомольцы первого призыва.— В. Твардовская. Тема осталась нерешенной.	

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ

Снова о книге А. Арнольдова	267
КОРОТКО О КНИГАХ	275
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ

★

ИЗ ЦИКЛА «ЖИЗНЬ И РАЗМЫШЛЕНИЯ»

С калмыцкого

..*

Метель беснуется... Беда, беда!
И под ее неистовые стоны
Я думаю о степи заметенной,
О них, друзьях, пасущих там стада...
Моих друзей буран в степи застиг,
Прошу вас, люди, думайте о них!

Ведь если думать, думать всем вдали
О тех, кто в снеговой пучине тонет,
Их наши мысли, говорят, догонят,
Поддержат их хоть на краю земли,
Помогут одолеть тот путь, ту малость,
Что до спасенья им еще осталась...

..*

У стариков калмыков есть проклятье:
«Да станешь ты глупей, чем все собратья!
Когда же ты во всех хотонах

шумно

Прославишься как редкостный дурак,—
Да прогневит тебя совет разумный!..
Пусть будет так!.. Пусть будет только так!»

«От слов правдивых, сказанных пред всеми,
Да отречется твой поганый рот,
Их повернув как раз наоборот!» —
Желал калмык врагу в былое время.
...«Так да не будет!» — скажем мы сейчас.
Такое да минует нас и вас!..

..*

Все больше их — стихов и толстых книг,
Где о руке рабочей говорится.
Читаю их страницу за страницей..

ЮРИЙ БОНДАРЁВ

★

Д В О Е*

Вторая книга романа «Тишина»

Глава восьмая

Нас, пожалуйста, на Тверской бульвар. Он не взглянул на пассажиров, швырнул в окно сигарету, уже обжигающую пальцы, машинально включил скорость. Потом опять донесся молодой басок, разговор и смех за спиной, но Константин не слушал, не разбирая слов — как он ни пытался после выезда из парка вернуть прежнее спокойствие, это уже не удавалось ему. Было ощущение рассчитанно или не случайно поставленной ловушки; он шагнул в нее, еще не веря, что дверца захлопнется, шагнул, огляделся и вдруг увидел, что дверца позади задвигалась. И он еще понял, что полчаса назад ему терпеливо, вежливо и настойчиво предлагали выход. Но он не понимал одного — почему, зачем и для чего это делали, если знали, что у него было оружие? Значит, они не знали точно. Значит, они только прощупывали и испытывали его?

«Так ли все это?»

— Ты не смейся! Ну, какое же это зло, Люба? — послышался громкий голос за спиной. — Это же скорее добро! Поверь.

«Зло?.. — думал Константин, глядя на асфальт, мчавшийся под колеса островками блещущего под солнцем льда. — А что же — добро? «Добро», — с неприязнью вспомнил он сморщенное, плачущее лицо человека, ночью топтавшего свою шляпу возле парикмахерской. — Именно... понятие из библии. Белого, непорочного цвета. Ангельской прозрачности. Голубинового взгляда. Божественно воздетого к небу. И венеч над головой, черт его возьми! Прав был тот, топтавший шляпу? Да, именно! А добренькое добро наивно, доверчиво, как ребенок, чистенько, боится запачкать руки. Оно хочет, чтобы его любили. Оно очень хочет любви к себе. И я хотел любви к себе, улыбался всем, ни с кем не ссорился, дайте только пожить! Быков... настроил донос. Очная ставка! И — поверили!.. Но почему он спросил о Быкове?.. Изучал анкету? Наводил справки? Как это понять: «После войны вы работали с Быковым?»

Так что же? И с тобой так? Чистенькое добро? Нет, нет! Добро должно быть злым! Злым! Чтобы всякая сволочь знала! И что же? И что же?»

Он очнулся оттого, что невольно мельком глянул на пассажиров в зеркальце — в нем как бы издали дрожал пристальный взгляд девушки и донесся из-за спины убеждающий басок, особенно четко слышанный Константином:

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

— Пойми, Люба, мама не будет возражать. Мы скажем ей все. У матери комната. Люба, ты должна жить у меня.

— Но я не могу, не могу! Я не хочу ссориться с твоей матерью. Мне кажется, она ревнует меня к тебе!

— Люба...

В зеркальце возникла юношеская рука, поползла на плечо ей около подбородка; у девушки откинулась голова, и рыжая кроличья шапка парня надвинулась на зеркальце, загородила ее лицо, ее рот.

Константин сказал:

— Тверской бульвар.

Когда они сошли, он посмотрел им вслед. Они стояли на тротуаре, парень что-то быстро говорил ей, она отрицательно качала головой.

«А Ася... Ася!.. Как же Ася?»

Трое сели на Пушкинской площади — один грузный, головой ушедший в каракулевый воротник, лицо мясистое, лиловое от морозца, на коленях портфель с застежками на ремнях.

Отпыхиваясь, раскрыл коробку «казбека», тотчас сунул коробку к баранке Константину, жирным баритоном сказал:

— Прощу, молодой человек!

— Нет.

Тот рассеянно вложил себе папиросу в губы, через плечо протянул коробку двоим на заднем сиденье, потом, мучась одышкой, затолкал ее в карман пальто.

— Ну и что же, что же, товарищ Ованесов? — начальственно спросил он, гремя спичками в коробке. — Вы считаете, что я волшебная палочка, что я вам из-под земли грейферные краны достану? Министр, только министр... Резолюция Василия Павловича — и пожалуйста! Выше Василия Павловича не прыгнешь — портки лопнут! Тр-ресь по швам — и по шее еще дадут!.. Ха, строители-мечтатели! Дети вы, дети! Расчеши вас муха!..

Молодой голос сказал сзади:

— Шахта будет пущена в эксплуатацию в этом году. Вы прекрасно знаете, что шахта союзного значения, с новейшим оборудованием. Шахта без грейферных кранов — чемодан без ручки, Михаил Михалыч! Как вы предлагаете — лес вручную разгружать? Рабочим носить бревна под мышками? Ошибаетесь — мы не дети! Мы и зубки можем показать, Михаил Михалыч! Мы будем драться, Михаил Михалыч.

В зеркальце — молодые узкие глаза упрямо устремлены в спину грузного человека; тот, пыхая дымом, захохотал, колыхая животом портфель на коленях.

— Давай жми, Сизов, грабь, выколачивай, пиши письма! У меня пятнадцать новых шахт на шее, вот где! — Он похлопал себя сзади по каракулевой шапке. — Сроки! План! Проектная мощность! И все требуют, на горло наступают, дерут! Вы что ж думаете — один решаю? Вам там в Туле хорошо, а мне, мне как?

Третий произнес:

— Вам лучше, как видно, Михаил Михалыч.

— Что-что? — осерженно пробормотал грузный и повернулся всем телом. — Лучше? Строители-мечтатели!.. Что? Как? Хотите в план анархию ввести?

— Вы, кажется, из Тульского бассейна? — неожиданно для себя спросил Константин. — Как я понял.

— А? — Грузный повел глазами в его сторону, вынул папиросу из губ. — Давай знай, такси, в угольное министерство! Нечего тут прислушиваться, понимаешь!

Все замолчали.

Не меня выражения лица, Константин спросил:

— Вы не двоюродный ли брат коммерческого директора Петра Ивановича Быкова? Вы хозяйственник, не правда ли?

— Малахольный... Нас везет малахольный шофер! Вы трезвы, товарищ? — Грузный с хохотком откинулся на сиденье, придерживая на коленях портфель. — Какой еще Быков, драгоценный мой?

Сзади молчали. Константин сказал:

— Мне показалось. Извините, если ошибся. Площадь Ногина. Прощу вас. Министерство угольной промышленности. По счетчику. И ни копейки больше.

Он остановил машину у подъезда, насмешливо взглянул на грузного, завозившегося с полой драпового пальто — доставал деньги.

Они вышли. Грузный, заплатив точно по счетчику, зашагал по хрустевшему стеклу застывших луж — к подъезду, у широкой двери сердито и удивленно оглянулся, двое тоже вместе с ним оглянулись — Константин с бесстрастным выражением смотрел на серое здание министерства.

На бульварах он обогнал «победу» Сенечки Легостаева и, приторможив машину, опустил стекло, — студёный воздух, металлически пахнущий ледком, мерзлой корой зимних бульваров, охолодил лицо. И тотчас Сенечка, заметив притершуюся рядом машину, оживленно ухмыляясь, убрал стекло, крикнул обрадованно:

— Как делишки? Живем?

— Пожалуй.

— Вечером, Костька, время найдешь? Хочу познакомить тебя! Прелестные девушки! — крикнул Легостаев и, сдвинув со лба шапку, моргнул на заднее сиденье. — Как, а? Первый класс!.. Шейка, грудка, ножки! Глянь! Убиться можно!

— Знаешь что...

— Так как? А?

К стеклу из глубины сиденья наклонились, прислонясь щеками, два женских напудренных личика — одинаковые пуховые шапочки, кругло подведенные брови, чересчур алые губы выделялись вместе с расширенными вопросительными глазами. Одна из них, оценивая еще сощурясь, равнодушно поманила пальчиком в черной кожаной перчатке. Константин усмехнулся, отрицательно покачал головой. И тогда другая, постарше, вздернув черные выщипанные брови, грубовато просунула кисть к щеке молоденькой, рывком отклонила ее от стекла и, засмеявшись Константину мужским смехом, поцеловала ее в губы.

— Как? Шик! Парижские девочки! — подмигнул Легостаев восхищенно. — И такие по земле ходят! Дурак ты женатый, Костька!

— Я бы тебе посоветовал — бросать все это к чертовой матери! — сказал Константин. — Ты это понял?

— Чихать я хотел! К чему придерешься? — крикнул Легостаев. — Пусть план с меня требуют! Чего бояться-то? Я человек честный!

— А я бы тебе посоветовал — бросать это к черту, — повторил Константин. — Ты понял, Сенька?

— Живи, Костька!

«Победа» Легостаева свернула в переулок, и Константин, нахмурясь, поднял стекло — машину продуло жестким холодом, выстудило тепло печки; он подумал почти с завистью: «Сенечка живет, как хочет. Что ж, когда-то и я жил так, не задумываясь ни над чем. Но тогда не было Аси, тогда ничего не было. Было только одно ожидание. Что же это со мной? Страх за себя? За Асю? Страх? Или опыт? Может быть, опыт

рождает страх? Привычка к опасности. Вранье! К опасности нет привычки! Только в первом бою все пули летят мимо. Потом — рядом гибель других, и круг суживается. Круг суживается?..»

Он вывел машину на Манежную площадь и посмотрел на ресторан «Москва», испытывая щекочущий холодок в груди, затормозил в ряду машин у светофора возле метро, напротив ступенек к входу в ресторан. Там за колоннами, откуда от высоких дверей тогда ночью сбегали трое (он тогда увидел троих, как он помнил), сейчас никого не было. Только ниже ступеней толпа двигалась к метро, под светофорами переходила на улицу Горького, выстраивались очереди на троллейбусных остановках — обычная зимняя будничная толпа. И, глядя на толпу, он почему-то успокоился немного. Все произошло, казалось, давно, все было почти забыто, и даже на минуту хотелось убедить себя, что теперь уже ничего не может осложниться, случиться с ним.

«Но Михеев... Соловьев... — подумал опять Константин и с прежним тошнотным ощущением почувствовал, что его затягивало, всасывало что-то скользкое, черное, надвигающееся, и он снова подумал: — Почему он спросил о Быкове? Почему он напомнил о Быкове?»

Красный свет в светофоре скакнул вниз, перешел в желтый, перескочил в зеленый.

Ряд машин тронулся.

Руки его, от волнения ставшие влажными, стиснули баранку, привычно гладкую, округлую поверхность ее; и в это время кто-то, запоздало выскочив из троллейбусной очереди, свистнул («Эй! Эй, такси!»), замахал, останавливая его, но он проехал мимо через перекресток на улицу Горького с облегчением, что не посадил никого.

На площади Пушкина свернул к стоянке такси — в очереди он был пятый, — вышел из машины купить сигареты. Он сунул деньги в окошечко табачного ларька, и когда брал сигареты со сдачей, сбоку пьяно навалился, ерзая плечом, молодой парень в кепочке, осипло говоря: «Мне, трудящему человеку, — «беломор», — и Константин, теряя мелочь, обернувшись, не увидел, не успел разобрать черты его лица, выругаться.

В десяти шагах от ларька, на углу около телефонной будочки вполоборота стоял высокого роста, с покатыми плечами борца мужчина в спортивном полупальто, стоял, развернув газету, невнимательно пробежал строчки и одновременно из-за газеты взглядывал на площадь, на близкую стоянку такси, — и Константин почувствовал оглушающие горячие прыжки крови в висках.

Не попадая пачкой сигарет в карман, Константин двинулся по тротуару, внезапно свинцовая тяжесть появилась в затылке, в спине, в ногах. Эта тяжесть тянула его книзу, назад, непреодолимо требовала обернуться туда, на угол, но он не обернулся. Он с правой стороны влез в машину, включил мотор и лишь тогда, преодолевая эту тяжесть в спине, в затылке, взглянул назад. Человека с газетой на углу не было.

«Все!.. — подумал Константин. — Я не мог ошибиться!.. Что же это, что же? За мной следят? Может быть, я не замечал раньше? Не обращал внимания? Или это — мания преследования?»

Глава девятая

— Квартира тридцать семь — на третьем этаже?

— Кажется.

На площадке третьего этажа, пахнувшей едкой кислотой, Константин отдышался, посмотрел в огромное окно, в полутьме больно задев коленями накаленную паровую батарею. Машина стояла внизу у края тро-

туара, на другой стороне этой тихой и узенькой окраинной улицы; жители окна в деревянных домах.

И мимо них, мимо фонарей и машины косо летел, мелькал редкий снежок.

Константин немного подождал, успокаиваясь; от стекла пахло холодком пыли, душное тепло подымалось от парового отопления.

Расстегивая куртку, он оглядывал темные двери незнакомых квартир с черными пуговками звонков, почтовыми ящиками; запыленная, в разбитом плафоне лампочка тлела под потолком, на стены сочился свет, как в мутной воде.

— Тридцать семь...

Он вполголоса откашлялся, подошел к левой двери с номером «37» — массивной, дубовой, какие бывают только в старых домах, и, подняв руку, сильным нажимом позвонил два раза.

Звонок заглушенно прозвучал где-то рядом за дверью; показалось, смолк, будто в далеком пространстве, и Константин позвонил еще раз — долгим, непрерывным звонком.

Он ждал, притискивая пальцем кнопку; этот раздражающе серый огонь лампочки на площадке слабо освещал массивную дверь, и его руку, и железный почтовый ящик, и потускневшую на нем наклейку газеты.

— Кто там?

— Простите, Быков здесь живет?

— А в чем дело? Кто?..

— Откройте, пожалуйста.

Загремели ключом, щеколдой, защелкали французским замком, потом дверь приоткрылась, возникла в проеме, задвигалась полосатая пижама, половина освещенного лица, ежик волос. И Константин, рывком оттолкнувшись от косяка, шагнул в переднюю и сейчас же, не поворачиваясь, захлопнул дверь за собой, услышав только звонкий стук замка.

— Здравствуйте, Петр Иванович! — проговорил он. — Сколько лет, сколько зим! Не разбудил вас? Не узнали?

— Кто? Кто?

Быков, заметно постаревший, дрогнув опавшим, даже худым лицом, с темными одутловатостями под глазами, отшатнулся, не узнавая, и, прижимаясь спиной к шкафу в передней, стал поднимать и опускать руки, едва шевеля губами, выговорил наконец:

— Костя?.. Константин?..

— Угадали. Что ж мы торчим в прихожей, Петр Иванович? — сказал Константин наигранно-вежливо. — Проводите в апартаменты, не вижу гостеприимства! А где же Серафима Игнатьевна?

Быков, изумленно собрав бескровные губы трубочкой, попятился от шкафа в комнату, из которой розовым огнем светил висевший над столом абажур, и, опять не сумев выговорить ни слова, указал рукой.

— Благодарю, — сказал Константин.

В комнате, громоздко заставленной мебелью, кабинетными кожаными креслами, старинным зеркальным буфетом, отливающим на полочках стеклом посуды, ваз, рюмок, Константин не снял куртку, тотчас уверенно пододвинул к столу кожаное кресло и упал в него, бросил на комод шапку, выложил на плюшевую скатерть сигареты, спички, взглянул на Быкова.

— Ну вот! — произнес он. — Теперь я вижу, как вы устроились. Кажется, неплохо. Адресный стол дал точный адрес. Прекрасный тройной товарообмен. Соседи не мешают?

— Рад я, Костя, рад... Пепельница... на буфете, Костя,— проговорил Быков и снова поднял и опустил руки.— Ах, Костя, Костя...

— Что ж вы стоите, Петр Иванович?

В углу комнаты над диваном малиновым куполом светился торшер, возле — тумбочка, стакан с водой, какой-то порошок; вдавленная подушка лежала на диване, и Быков сел возле нее, подобрав ноги в тапочках, пижамные брюки натянулись на коленях; все его неузнаваемо осунувшееся лицо пыталось выразить нечто похожее на радость.

— Костя... Костя... Да, Костя, вот живу здесь... Коротаем преклонные годы... Далеко от центра, от метро. Сообщение автобусом. И... и магазинов мало,— заговорил Быков слабым, растроганным голосом.— Магазинов мало... Неудобно я обменял, Константин, неудобно... Скучаю по старой квартире. А Серафима Игнатьевна гостит в Ленинграде, у дочки... Верочка замуж вышла... А я вон третий месяц как из больницы вышел, операцию перенес, Костя. Вот как получилось.

Константин намеренно не смотрел на Быкова, смотрел на коробок, по которому чиркал спичкой с нарочитой неторопливостью; закурил, сказал, сдерживая себя:

— А я, признаться...— Константин проследил, как дым сигареты шел к абажуру, струей толкаясь в него.— Признаться, я не думал застать вас дома.

— То есть как? Почему же, Костя? — спросил и поперхнулся смехом Быков.— Кончаю в восемь часов. В театры, концерты не хожу. Стар. И болен я очень. Да. Никогда не ходил. У меня семья... сам знаешь. Эх, Костя-Константин, вспоминал тебя, все время помнил я. Как же я рад, что заглянул ко мне, обрадовал старика! Вот спасибо! Лады! А то бирюками живем... знакомых никаких нет. Спасибо. А я слышу — звонок, думаю: «Ну, кто бы это, ошибся кто?» Пить мне категорически нельзя, а может, ты рюмочку пропустишь? Ах, спасибо, что пришел! Жаль, Серафимы Игнатьевны нет, она тебя... вспоминала...

Константин заинтересованно прищурился на него.

— Признаться, я думал, Петр Иванович,— упорно договорил он,— что вы давно...— Он показал перекрещенные пальцы.— Оказывается — нет. Приятно удивлен. Просто не верится. Ну что ж, видимо, не все сразу.

— Шутишь все? Неужто не изменился совсем? — Быков качнулся вперед, покивал головой, заелозил по полу тапочками.— Ах, не изменился ты, Константин. Вроде вон седина на висках, а не изменился. Весело проживешь жизнь.

— Не верится. Неужели это вы — Петр Иванович Быков? — проговорил Константин.— Не верится.

Быков сидел перед ним весь седой, отечный, моргая красноватыми припухлыми веками, и Константин видел его какое-то опавшее желтое лицо, его странно костистый покатый лоб, открытую волосатую грудь и спущенные на сливочно-белых ногах шерстяные носки, теплые тапочки — эти признаки домашности и семьи; видел ковры на стене, диван, громоздкую, не без претензии на роскошь мебель, как будто стиснувшую со всех сторон его,— и медленно повторил вслух:

— Неужели это вы, Петр Иванович Быков? И я у вас когда-то работал?

— Что? — приоткрыл веки Быков и уперся растопыренными пальцами в диван.— Ты что, Костя? Ты вроде не в духе, никак? Ах, шут тебя возьми, всегда ты был парень с шуточкой. Давай-ка,— он устало поднялся, старчески шаркая тапочками, двинулся к буфету,— пропустишь малую за здоровье, да вспомним старое, мы ведь с тобой, Константин...

Константин встал.

— Что ж, не пропустим, но — вспомним! — Он покусал усики.— Вот это ваш письменный стол, уважаемый Петр Иванович? Вот этот ваш? Что здесь — бумаги, деньги?

Быков, держа графинчик, отпустил дверцу буфета, повернул голову, замер; дверца, скрипя, закрываясь, уперлась в его плечо, собрав складкой пижаму.

— Ты что, Константин? — спросил он, ставя графинчик на буфет.— Никак за деньгами приехал? Чудак, сразу бы и сказал. Найдем. Вчера как раз получку получил. Да много ли тебе надо? Бери. Ничего, сведем концы с концами! Бери.

Неся графинчик, он приблизился к широкому письменному столу, выдвинул ящик, затем положил на стекло несколько ассигнаций.

— На, двести пятьдесят тут, потом отдашь, будет если... Ну, садись, выпей маленькую. Где работаешь-то?

— В уголовном розыске,— сквозь зубы сказал Константин и шагнул к столу, упрямо и зло глядя в глаза Быкова.— Меня интересуют не водка, не деньги, Петр Иванович! Меня интересуют доносы. Все копии ваших доносов! Вы меня поняли? И если вы сделаете шаг к двери...— выговорил он с угрожающим покоем в голосе,— я не ручаюсь за себя! Руки чешутся, терпенья нет! Ясно? Будете орать — придушу вот этой подушкой. Все поняли?

Быков, болезненно выкатив белки, затоптался на ковре, в руке зажат графинчик, синие губы собрались трубочкой, пробормотал:

— Ты — как?.. Как?..

Он стукнул графинчиком о стол, нагнув голову, ссутулясь; щеки стали пепельно-серыми, кожа натянулась на скулах.

— Эх ты, Константин, Константин!.. За кого ж принимаешь меня?.. О чем говоришь? Неужели серьезно ты?

— Благодетель вы мой, запомните — я вас не идеализирую.— Константин, покусывая усики, придвинулся к нему, сел на край стола, твердо глядя сверху вниз в лицо Быкова.— Ну, я жду основное: копии доносов. Первый — на Николая Григорьевича Вохминцева. Второй — на меня. Хочу познакомиться с содержанием — и только. Вы меня поняли?

Стало тихо. Было слышно, как жужжал электрический счетчик на кухне.

Быков выпрямился.

— Эх ты, герой, ерой,— отрывисто и горько засмеялся он, дергая головой; капельки влаги выступили на покрасневших веках.— Я к тебе как к человеку, Константин, а ты — эх! Герой, а у ероя еморрой! Налетчик! Ты знаешь, что за это тебе будет?.. Знаешь, что бывает по закону за насилие? За решетку посадят! Жизнь на карту ставишь?

— Да, Петр Иванович,— сказал Константин.— Пока вы строчите доносики — ставлю. Пока.

— Значит, что ж — убить меня, Константин, хочешь?

— Может быть. Где копии доносов?

— Какие доносы? Обезумел? — вскричал Быков.— С Канатчиковой сбежал?

— Вот что, Петр Иванович.— Константин взял со стола автоматическую ручку, бросил ее на пачку бумаги на стекле.— Вы сейчас сделаете то, что я вам скажу. Когда у вас была очная ставка с Николаем Григорьевичем? В сорок девятом году? В этом же году вы настроили доносик на меня после истории с бостоном? Ну? Так? Или иначе?

— Врешь!

— Садитесь к столу! — Константин резко и зло пододвинул бумагу на середину стола.— А ну, берите ручку, пишите! Вы напишете то, что я вам скажу.

— Что-о?

— Вы напишете то, что я вам продиктую! И это будет правдой.

— Да ты что — с Канатчиковой сбежал? — опять выговорил Быков и отступил к дивану, широкие рукава пижамы болтались на запястьях. — Чего я должен писать? С какой стати? Чего выдумал?

— Вы это сделаете! — перебил Константин. — Сейчас сделаете! Садитесь к столу! Что смотрите?

Константин с силой подтолкнул Быкова к столу, чувствуя рукой его дряблое, незащищающееся тело, но то, что он делал в этой комнате, пахнувшей сладковатым запахом старой мебели, и то, что говорил, — все как будто делал и говорил не он, не Константин, а кто-то другой, незнакомый ему. И вдруг на секунду ему показалось — все, что делал он, слышал и видел сейчас, происходило как будто бы и существовало в отдалении: и странно малиновый купол торшера, и стол, и деньги на стекле, и звук своего голоса, и ватный, ныряющий голос Быкова, и движения собственных рук, ощутивших дряблое тело. Где-то в неощутимом мире жили, работали, целовались, ждали, плакали, любили, гасили и зажигали свет в комнатах люди, где-то медленно шел снег, горели фонари и по-вечернему светились витрины магазинов, но ничего этого точно и осмысленно не существовало сейчас, словно земля, предметы ее потеряли свою реальную и необходимую сущность; и то, что он делал, не было жизнью, а было чем-то серым, отвратительным, водянистым, зажатым здесь, в этой комнате, как в целлофановом сосуде.

— Костя!.. Что же ты делаешь?

«Действительно, что я делаю с ним? — подумал Константин. — Так не должно быть. Я делаю противоестественное... Если все это можно делать, тогда страшно жить!»

Он поднял взгляд на Быкова.

Быков стоял перед столом в расстегнутой пижаме, пальцы корябали желтую грудь, покрытую седым волосом, взгляд остановился на руках Константина.

— Костенька, это что же, а? Зачем? По какому праву?

«А ему было страшно, когда писал доносы? — подумал почему-то Константин. — Мучила его совесть?»

— А по какому праву... — произнес Константин, и внезапно ему не хватило воздуха, — по какому праву вы, черт вас возьми, писали доносы, клеветали — по какому? Если у вас было право, оно есть и у меня! А ну, садитесь и пишите: заявление в МГБ от Быкова Петра Ивановича. Что стоите? Поняли?

— Что ты говоришь? Костя! — крикнул Быков и заморгал одутловатыми веками. — Какое заявление?

— Все вспомните. И о доносе. И об очной ставке двадцать девятого января, где вы... вели себя, как последняя б...! Двадцать девятого января! Вот это и напишите, что оклеветали невинного человека, честного коммуниста! Напоминаю: двадцать девятого января была очная ставка!

Константин стиснул локоть Быкова и подвел его к столу, и Быков, выставив короткие руки, словно бы слабо защищаясь, вдруг обессиленно повалился на стул и, сгорбясь, замотал головой, заплакал и засмеялся, выговаривая сдавленным шепотом:

— Что ж ты делаешь? Ты думаешь, вот... испугал меня? Да меня жизнь тысячу раз пугала... Эх, Константин, Константин. — Быков на минуту замолчал, наклоня дрожащую голову. — А если я тебе скажу, что много ошибался я. Если скажу... И на очной... вызвали, коридоры, тюрьма... не помню, что говорил! Ошибся!.. Только в одном не ошибся... Я ж знаю, что у меня за болезнь. Язву, говорят, вырезали! А я знаю...

— На меня тоже, старая шкура, перед смертью донос написал?

Быков вскинул свое желтое в пятнах лицо, настойчиво ища глаза Константина, слезы скатывались по трясущимся щекам. Быков по-детски торопливо слизывал их с губ, повторяя:

— Не писал, не писал! На тебя не писал! Как к сыну, как к сыну к тебе относился. Спрашивали, плохого не говорил... А ты знаешь, сколько мне жить-то осталось? Знаешь? С такой болезнью...

— Хватит! — морщась, перебил Константин. — Хватит проливать слезы, Петр Иванович! Ей-богу, не жалко мне вас!

— Костя, Костя... Помру, вот рад будешь? А не хотел бы я... — вставая и покачиваясь, прошептал Быков и платком стал вытирать мокрое лицо. — Защищался я... А совесть у меня тоже есть. Что ж ты будешь делать со мной? Если я сам...

— В монастырь... Если бы можно было — в монастырь. Я бы отправил вас в монастырь!

— Серафима Игнатьевна и дочь у меня...

Но когда Быков, обмякший, подавленный, тихонько постанывая, ослабленно опустился на диван, никак не мог раскупорить порошок на тумбочке, Константин не смотрел на него, стоял, сжав зубы от жгучего отвращения, от смешанного чувства жалости и вязкой нечистоты, и в это мгновение едва сдержал себя, чтобы не выбежать из этой комнаты с одним желанием — глотнуть морозного воздуха, лишь ощутить освежающий и реальный холодок его.

Он взглянул на Быкова, испытывая ненависть к себе.

«Нет, нет, нет! — подумал он. — Жалость? К черту! К черту!»

Но сейчас же круто повернулся и выбежал из комнаты.

В машине он, как всегда, привычно обтирал перчаткой стекло, смотрел мимо поскрипывающей стрелки «дворника» на полосы фар, но не видел ясно ни скольжения фар по мостовой, ни по-ночному пустых улиц, синеющих новым снежком, редко падавшим из темного неба.

Константин гнал машину, чувствуя горячие рыбки сердца при перемене сигналов на светофорах, далеко простреливающих миганьем безлюдные пролеты улиц, инстинктивно скашивал взгляд на регулировщиков — и не было момента достать сигареты.

После того, как загорелся за площадью всеми освещенными залами Павелецкий, и белая полоса окон привокзального ресторана с летящим на эти теплые окна снегом выдвинулась навстречу, унеслась назад, и машина нырнула в сразу показавшийся туннелем переулок, Константин тотчас затормозил, остановил машину под стеной дома и, выкурив сигарету, долго сидел, прислонясь лбом к скрещенным на руле рукам.

Света не было в первой комнате.

Зеленый огонь настольной лампы косым треугольником упал под ноги ему, на пол, из полуоткрытой спальни, когда он вошел, и там загремел отодвигаемый стул — Константин остановился.

В проеме двери, загородив огонь, проступала темная фигура Аси.

Она запахивала на галии халатик.

И испуганный, непонимающий голос ее:

— Костя?.. Ты уже вернулся?

Она шарила по стене, отыскивала выключатель; Константин успел увидеть ее напрягшиеся под халатиком голые ноги, и сейчас же вспыхнул свет; после темноты он был неожиданно ярок в комнате, и Константин вдруг отчетливо увидел лицо Аси, бледное, залитое электричеством, только чернотой блестели глаза.

— Ты уже вернулся?

— Нет. Я заехал по дороге,— преодолевая хрипоту, сказал Константин.— Я хотел тебя увидеть.

Она со вздохом опустила плечи.

— Я не ожидала тебя. Ты вошел тихо-тихо, и я почему-то испугалась.

— У тебя было открыто,— сказал он.— Ася, послушай... Я только что был у Быкова.

— Что? Что?

— Я был у него,— ответил Константин.

И замолчал; темные увеличенные глаза Аси перебегали по его лицу, по его кожаной куртке, а пальцы дергали, теребили поясок халатика, и эти пальцы ее, и брови, и глаза будто уже искали спасения, не верили в то, что сказал он.

— Ты? Был? У Быкова? — разделяя слова, проговорила Ася и отошла от него, внезапно ладонями зажала уши.— Слушать не хочу! Ничего не говори мне! Зачем? Зачем?

— Ася! — сказал Константин.— Ася, милая, ничего не случилось, я хотел объяснить тебе...

И, подойдя, тронул ее локоть; и Ася, отдернув руку, почти брезгливо отстранилась, повторила шепотом с гадливым отворачиванием:

— Ты был? У Быкова? Зачем?

Он стоял, покусывая усики; растерянно проговорил:

— Ася...

— Зачем ты это сделал?

— Прости, если я...

— Зачем? Что ты наделал, Костя?

«Как объяснить ей все? — подумал Константин.— Как?»

Ася, зажмурясь, откинула голову, прислонясь затылком к стене, руки за спиной, молчала. Он виновато приблизился к ней, увидел ее длинную шею, слабую выемку ключиц — и ему страстно захотелось осторожно обнять ее, успокоить, сказать, что он сам до конца не знает, для чего он это сделал; и ему хотелось объяснить, что в последнее время он живет, точно ухватившись за надломленную ветку над трясинной, что ему не дает покоя, мучает какая-то неуловимая, скользкая, надвигающаяся опасность, что он живет с ощущением следящего взгляда в спину — и не может преодолеть это, и боится за нее, за себя. Ему хотелось, говоря все это, почувствовать успокаивающую тяжесть ее ладони на своих волосах и покаянно лицом прижаться к теплоте ее колен. Он все время ощущал в себе нервное и злое напряжение, готовый ко всему — к драке, к непоправимой беде, к словам, которые разрушали и еще более усугубляли что-то.

— Ася,— сказал он, стараясь говорить спокойно. но не сделал, как хотел, не обнял ее, услышал свой фальшиво прозвучавший голос: — Честное слово... ничего не случилось.

Она посмотрела на него вопросительно.

— Это же мальчишество, Костя, мальчишество... Неужели ты не понимаешь? Ты не понимаешь? Он ни перед чем не остановится. Ты подумал о нас? О чем ты с ним говорил?

— Теперь он ничего не сделает. Он уже сделал...

— Что? Что он еще сделал?

Она взяла его за борта кожаной куртки, спрашивая:

— Что он еще сделал?

— Ася, родная, мы еще проживем, не надо ни о чем думать,— сказал он, по-прежнему пытаюсь говорить спокойно.

— Ты сказал «еще»? Почему — еще?

— Я говорю о Николае Григорьевиче.

— Прошу тебя, скажи яснее, Костя.

Ее руки касались его, легонько теребили, тормошили, а у него в эту минуту не хватало сил посмотреть ей в лицо, и, медля, Константин осторожно снял ее теплые влажные пальцы с бортов куртки, молча прижал их к подбородку, потом глухо договорил:

— Может быть, я не должен был, Ася... Но я не мог. Прости меня. Я... поеду.

Он, не подымая голову, достал сигарету, но не закурил — слышался неестественно оживленный голос Аси:

— Если ты разрешишь, я сейчас оденусь и поеду с тобой! Хоть один раз в жизни хочу увидеть твою работу. Ты хочешь?..

Константин почти испуганно взглянул на нее — Ася решительно развязывала поясок халатика, торопилась; нижняя губа чуть прикушена, и по лицу ее он видел: она готова была одеться сейчас.

Он сказал поспешно:

— Асенька, этого нельзя! Ася, это не разрешается, меня просто снимут с работы. Этого нельзя!

Тогда она сунула руки в карманы халатика и так села на стул, сказала тихо:

— Ну иди, Костя.

— Не надо, — Константин наклонился к ней и, едва прикоснувшись, поцеловал в волосы. — Не надо ни о чем плохом думать. Ложись спать, Ася. Со мной будет все в порядке. Я уверяю тебя, со мной будет все в порядке. Поверь мне, поверь!

Глава десятая

К концу смены он был рассеян с пассажирами, получал деньги, не считая, невнимательно и забывчиво переспрашивал, куда везти. Ощущение давящей тоски, неясности, не отпускающего беспокойства, никогда раньше не испытываемого им, заставляло его перед утром бесцельно гонять машину по Москве.

Ему было все равно: выработает он сегодня деньги или нет, и лишь немного проходило напряжение, когда он, опустив стекло, ожигаясь ветром, мчал машину по пустынным переулкам без светофоров, неизвестно для чего подгоняя себя: «Быстрее, быстрее!» И как только привычно подкатывал к стоянке, инстинктивно приглушал мотор; тишина ночных улиц с ровным пространством мостовой, темными корпусами домов без единого света плотно наваливалась на него. Тогда он слышал, как в машине четко стучали, отсчитывали время часы с настойчивым упорством заведенного механизма.

Смена кончалась в девять утра. Константин ждал конца смены. Он точно не знал, что должен будет делать этим утром.

«Только не ждать, только не ждать, — убеждал он себя, отваливаясь на спинку сиденья. — Я должен поговорить с Михеевым. Я хочу ясности... Но какой? Он будет отрицать все. Все равно я должен поговорить, надо сделать вид, что ничего не произошло, и немного прощупать его. Но что это даст? Так будет спокойней. Спокойней? Ну, а дальше что? Что дальше?»

И независимо от того, как пойдет разговор с Михеевым, его мучило это «а дальше что?», и оттого, что он не в силах был поверить и представить, что будет дальше, его охватывал нервный озноб, холодок змейками полз по спине.

Мотор был не выключен, печка работала, становилось душно, жарко в машине, пахло нагретым металлом, а он сидел, подняв воротник, никак не мог согреться, и было горячо и сухо во рту.

Потом он не выдержал ожидания конца смены и в восьмом часу утра повел машину к парку.

Константин остановился на набережной, в трех минутах езды от гаража,— здесь он хотел перехватить Михеева по пути. И здесь было удобно ждать — тут такси проезжали к парку из центра.

Утро начиналось чистое, розовое, со звонким морозцем, с зеркально молодым хрустким ледком на мостовой. Лопаясь, он брызнул трещинками под каблуками, когда Константин вылез из машины, разминаясь после долгого сидения.

Холодного накала заря надвигалась из-за дальних улиц, краснел лед канавы, подымался парок над незамерзшим стоком бань возле далекого моста, вспыхивающего, как трассы, ледяным железом перил. Там, за мостом, над крышами вертикально дымили фабричные трубы; дым не таял, стекленел в небе, и были безмолвны ближние улицы в ранней стуже утра, скованные застывшим покоем еще не окончательно проснувшегося города.

Воспаленными глазами Константин оглядывал набережную и небо, хлебнул несколько раз на полную грудь горьковато-холодный воздух, и от глотков крепкого студеного воздуха немного закружилась голова. Похрустев каблуками по ледку, он залез в машину, откинул голову и, расслабив тело, сидел так, и не было желания двигаться, думать — вот так только сидеть, ощущая эту пустоту, зябкость морозного утра, в котором, словно на краю света, стояла, сверкая, дымящаяся зимняя заря.

«Вот так хорошо»,— подумал он.

Вместе с напряжением уходила грубая острота реальности, исчезала, покачиваясь, как на мягких рессорах, усталость, вся прошедшая ночь, приезд к Быкову, разговор с Асей... И только как вспышка в темноте: «Михеев!.. А что Михеев? Что я должен делать с Михеевым? Это что — трусость, слабость? И почему именно он?»

— Машина? Зачем машина? Кто водитель? Эй!

«Не заметил знак»,— вяло раздражаясь, подумал Константин и в ожидании долгого разговора с дотошным орудовцем разомкнул веки, принял удивленное выражение простецкого парня.

— А что, товарищ, разве?.. А где знак? История повторяется...

— Что?

— Один раз — как комедия, другой раз — как штраф.

И он повернул голову, готовясь зевнуть перед обычной нотацией, но не зевнул — за стеклом увидел бритое досиня лицо, круто выдающийся вперед подбородок; лицо кричало:

— Что? Кто сказал? Что сказал?

— Я,— договорил Константин.— Доброе утро, товарищ Гелашвили!

Он сразу узнал машину директора парка.

Машина стояла впритирку, мотор работал, покачивался штырек антенны, и стекла, внутренность машины были в багровом освещении. Открыв дверцу, вынося ногу в хромовом сапоге на подножку, согнув голову для того, чтобы вылезти, Гелашвили рассерженно спрашивал:

— Почему? Почему, я интересуюсь? Корабельников!.. Сидишь и спишь? Кто разрешил? На курорт приехал? План перекрыл?

Гелашвили был в новом, белеющем меховыми отворотами полушубке, шегольски сидевшем на его сильной, атлетической фигуре, как отлично сшитый костюм; правая рука — толсто забинтован указательный палец — покоилась на марлевой перевязи: кажется, вчера поранил руку в мастерской.левой рукой он ловко и решительно открыл заднюю дверцу Константиновой машины, спросил:

— Что — план перекрыл? Молчишь? Что молчишь?

Гелашвили, соединив в прямую линию брови, подозрительно оглядел пол и сиденья; повел ладонью по коже: проверил, нет ли следов цемента или извести; материалы эти для перевыполнения плана шоферы иногда прихватывали частникам на коммерческих складах. А этого Гелашвили не прошал.

— Говори — слушаю! — сказал Гелашвили, проверив и багажник. — Почему не работаешь? Когда смена кончается, в девять? Разучился на часы смотреть? Самый образованный шофер парка, отличный водитель, в пример ставили! Пассажир ждет, скучает, а ты на курорте сидишь? (Это была излюбленная его фраза.) Не дам! Разговор короткий! Надоело — уходи, плакать не буду! Лодырей не надо! Я таких шоферов в каждой подворотне найду! Ну, говори, объясняй — слушаю! Куда смотришь? В глаза смотри!

— Может быть, я и уйду, — сказал Константин, следя за фабричными дымами, плавающими среди утреннего неба. — Может быть, — и посмотрел в глаза Гелашвили, накаленные, неотступные:

— Воевал? — лающе спросил Гелашвили.

— Опять уточняется анкета?

— Ты как винтовку бросил? — крикнул Гелашвили, хищно сверкнув зубами. — Дезертир!

Константин хмуро взглянул на перебинтованный палец Гелашвили — рука его дернулась на перевязи.

— Не будь вы директором парка... А впрочем, если вы повторите, я найду не менее крепкие выражения...

— Что повторить? Что? — крикнул Гелашвили. — Может быть... Подумаю!.. Начальства испугался? Струсил? Говори, я от правды не умру — почему стоял? Ну — как мужчина говори! Не кисейная барышня — может, пойму! Ну что — пассажира ждал из этого дома? — Он с ложной строгостью кивнул на дом, возле которого стояла машина Константина. — Объясни!

И Константин понял: он хотел, чтобы было именно так.

— Вы правы, жду, — неохотно сказал Константин.

— Завтра перед сменой зайдешь! Всякие дурацкие слухи ходят о тебе — надоело уже слушать!

Гелашвили сурово покосился в сторону прислушивающегося в его машине шофера, потом, сгибая атлетический торс, влез на сиденье, поправил перевязь. Он недовольно поморщился и что-то резко приказал шоферу, уже не обращая внимания на Константина.

«Победа» Гелашвили тронулась, расстелила дымок на багровом ледке асфальта, свернула по набережной к парку.

«Всякие слухи? — подумал Константин, стискивая зубы. — Что ж, кажется, Илюша торопится. И, кажется, он не так глуп! Нет! О чем я буду говорить с ним? Что это даст?»

На часах было пять минут девятого.

Он повел машину к парку.

— Никак захворал, Костенька? Или ремонтировался на линии? Всегда сверх плана, а сегодня — кот наплакал. Если что — бюллетень бы взял.

— Умница, — сказал Константин. — Я всегда говорил, что без женщин мужчины пропали бы... Принимай деньги, Валенька, какие есть. Михеев вернулся с линии?

Кассир Валенька, курносенькая, вся светленькая, перебирая быстрыми пальчиками тощую пачку ассигнаций — ночную выручку Константина, — не задерживая пересчета, тряхнула кудряшками.

— Друг без дружки жить не можете! Он сдавал деньги — о тебе спросил. У него двоюродная сестра заболела. Торопился как бешеный. А ты, Костенька, у Акимова, у летчика, спроси. Он его за мойкой попросил посмотреть.

— Благодарю, Валенька.

Сунув руки в карманы, он не спеша двинулся к мойке, обходя машины, пахнувшие после рейсов маслом, теплым бензином — привычным машинным потом. Завывание моторов уходило на этажи гаража — и в эти звуки знакомо вплетался прохладный плеск воды в мойке, возле которой выстроились прибывшие из ночных смен машины. Когда смолкали моторы, было слышно, как перекликались там голоса, звучные, как в бане.

— Привет, Геннадий, привет, Федор Иванович! — сказал Константин, еще издали увидев Акимова и Плещея, покуривающих около мойки.

Акимов, голубоглазый, с зачесанными назад белыми, точно седыми волосами, в летной на молниях куртке, рассеянно смотрел, как два мойщика-паренька в рабочих халатах, деловито суетясь, били струями из шланга в ветровые стекла, в скаты, в крылья машин. Федор Иванович Плещей, посасывая мундштук, прокуренным басом покрикивал, торопя мойщиков: «Бегай, бегай, как молодой в субботу!» — и его крупное, покрытое оспинками лицо было добродушно, массивная фигура стояла прочно на раздвинутых ногах.

— Еще раз здоров, что ли! — прогудел Плещей, в знак приветствия двинув одними косматыми бровями.

Акимов же, будто забыв, что здоровался перед сменой, протянул руку улыбаясь.

— Как дела, Костя?

— Тебе известно, Геня, где Илюша? — спросил Константин и подмигнул мойщикам. — Здорово!

— Попросил проследить за мойкой, уехал к сестре — заболела, кажется, — сказал Акимов. — Или день рождения у нее. Что-то в этом роде. Пусть едет.

— Ну, а зачем тебе этот долдон? — Плещей кашлянул дымом, ударом о ладонь выбивая сигарету из мундштука. — Нашел балаболку-дружка, знатока масла и аптек. Орел, воронья перья!

— Да что вы, Федор Иванович! Парень как парень, — обиженно сказал Акимов. — Я ведь его лучше вас знаю, вместе живем. У всех у нас есть слабости. И у меня. И у вас ведь есть, Федор Иванович...

— Видел Иисуса Христа? — Плещей миролюбиво хлопнул Акимова по плечу. — А, черт тебя съешь! Тебя, брат, за доброту и наивность и из авиации выперли! — И, увидев, как покраснел и отвернулся Акимов, дружески тиснул его локоть. — Ладно, я, брат, как грузчик, рубанул, не на паркетных полах воспитывался. Ну, по кружке пивка в честь полочки? А? Посидим, помолотим языками за жизнь?

— Пожалуй, — согласился Константин.

— Не вышло, братцы, гляди на выход! Домашняя орава за мной, борщ стынет! Живите, братцы! Варька зорко оберегает меня от пива — толстею!

Он довольно захохотал, косолапо и неуклюже загребая ногами, пошел от мойки между машинами. Навстречу ему в окружении четырех мальчишек стройно шла в пуховом платке женщина средних лет, с цыгански смуглым, когда-то, видимо, очень красивым лицом, узкие глаза обрадованно блестели Плещею.

— Варька, молодец! Держи монеты! Есть свидетели — не выпил ни кружки! — Плещей беззастенчиво, на весь гараж чмокнул жену в щеку, отдал ей деньги, затем сгреб одного мальчишку, посадил верхом на тол-

стую, бычью шею, приказал, смеясь: «Держись за уши», троих подхватил на руки; зашагал, обвешанный семейством, к выходу в сопровождении жены, смущенно следившей за ним из-под платка. Говорили, она была цыганка, Плешей увез ее из табора, когда работал грузчиком на волжских пристанях.

— Завидую ему, — задумчиво проговорил Акимов. — За такую жену и таких пацанов жизни не жалко.

— Да, — сказал Константин и спросил: — А ты не женат, Геня?

— Не вышло. Так пошли, Костя? Мне на метро до Таганки. До вечера буду в Москве, а потом к себе, во Внуково. Кстати, что передать Михееву? Мы с ним вдвоем по дешевке снимаем комнату в поселке. Скажи — я передам.

— Ты говоришь, ничего парень Михеев? — спросил Константин. — Ты это серьезно считаешь, Геня?

— А что, Костя?

— Знаешь, Геня, а что, если я с тобой поеду во Внуково?.. Если можно, я поеду. Ты не против? Мне нужен Михеев. Подожду его. Принимаешь в гости?

— В авиации говорят: не задавай глупых вопросов.

Глава одиннадцатая

Дачный поселок находился в лесу, в двадцати минутах ходьбы от станции, заметные улочки были скупо освещены фонарями, огни в окнах горели редко.

Двухэтажный деревянный дом стоял на окраине, за забором, среди гудеющего массива елей; и когда от завизжавшей калитки шли по едва заметной меж сугробов тропке, навстречу сыпался колюче-сухой снег, сбрасываемый ветром с крыши сарая, обдавало пресным холодком дачной глуши, запахом мерзлых дров.

— Сейчас, — донесся спереди голос Акимова. — Леший ногу сломит!

Пока Акимов на крыльце возился с ключом, Константин, продрогнув, оглушенный вольным шумом деревьев, смотрел в потемки, на тени елей, махающих лапами перед стенами дома.

В непрерывном гудении леса угадывались другие звуки: ветер бросал, комкал над поселком отдаленный лай собак.

— Ну и в глухомань вы забрались, — сказал Константин.

— Чем дальше от Москвы, тем дешевле, — ответил голос Акимова. — Тем более что хозяева здесь зимой не живут. Заходи. Да осторожней. Береги голову. Тут бочки, тазы, какие-то кастрюли — зачем, сам дьявол не поймет. А, бог мой! Я уже сбил ухом корыто. Нагибайся!

Послушно нагнув голову, Константин последовал за Акимовым через промерзший тамбурчик, вонявший боченочной плесенью, затхлой кислотой капусты, наугад перешагнул порог в сплошную тьму дома, почувствовал, как наступил на что-то мягкое, живое, ускользящее. Сиплое мяуканье раздалось под ногами, затем сверкнули две зеленые искры из темноты.

— А, черт! — выругался Константин. — А кошки, кошки зачем у вас?

— Оставили хозяева, ловить мышей.

— Ловит?

— Слишком воспитан. Спит в книгах, такой-сякой. А мыши погрызли все ножки столов. Нам наверх...

Акимов пошуршал по стене, шелкнул выключателем — вспыхнул в передней свет в пятнистом обгорелом абажурчике, стала видна дверь

на первом этаже, забитая наискось доской, старые, облезлые обои, крутая с перилами лестница на второй этаж.

На нижних ступенях, взъерошив шерсть, хищно шипела на Константина огромная худая кошка.

— Зверь, — заметил Константин и стал подыматься по ветхой деревянной лестнице на второй этаж за Акимовым. Скрип ступеней, шаги отдавались в даче, в нежилой пустоте забитых комнат, обдуваемых лесным ветром.

...Минут через пятнадцать сидели за столом, застеленным газетами, в маленькой комнате второго этажа, пили из граненых стаканов портвейн, закусывали яичницей, поджаренной Акимовым на электрической плитке.

В печке, разгораясь, постреливая, жарко закипали в огне березовые поленья, тянуло деревенским дымком, становилось в комнате теплее, веселее, и Константин не без интереса глядел на запыленную этажерку, заваленную книгами, чужую старомодную и обветшалую мебель, на потертый ковер перед диваном, гипсовую голову Вольтера возле высокой лампы под абажуром юбочкой — и почему-то показалось, что только что неожиданно задержался в этом старом, пропахшем плесенью доме, случайно приобретая уют, огонь, а на рассвете надо двигаться к Висле в сыром тумане утра.

— Ты здесь с Михеевым? — спросил Константин, подливая вина Акимову и себе. — А это чей китель?

— Дачу сдает профессорская вдова, — ответил Акимов.

— А это твой китель, Геня?

На вешалке висел новый габардиновый китель с летными петлицами, но без погон, с полосой орденов и нашивками ранений — китель, словно недавно сшитый, приготовленный для парада, но ни разу не надетый.

— Глаза мозолит. Демонстрация получается, леший его дери! — Акимов снял китель с вешалки, кинул его на диван вниз орденами, опять сел на раскладушку; взяв стакан, сказал: — О чем ты хочешь поговорить с Ильей? Если нет смысла отвечать — вопроса не было. Мы иногда, как оглоблей, лезем в чужую душу.

Константин после молчания спросил:

— Слушай, Геннадий, значит, ты считаешь Илью честным парнем? Только откровенно.

— А что ты называешь честностью?

— Знаешь что... пошел ты! Честность есть честность со времен... когда человек стал человеком.

— Понимаю. Подожди.

Акимов лег на раскладушку, сосредоточенно уставясь в потолок, на зыбкую тень абажура, свет лампы падал на лицо его, глаза стали ясными; с минуту он будто прислушивался к гудению ветра над крышей, слитному реву деревьев, царапанью и писку в щелях чердака; и Константин невольно посмотрел на потолок — он был низок, крыша, чудилось, вибрировала, и где-то хлопал оторвавшийся кусок железа.

— Ты что? — спросил Константин. — Выпьем-ка лучше, Геня.

— ТУ-четвертый, показалось. Реактивный бомбардировщик. Прости, пожалуйста, — виновато сказал Акимов и сейчас же поднялся на раскладушке, взяв стакан. — Непогодка. Канитель. Совсем не летная погода.

— Ты не ответил, — напомним Константин. — Я о Михееве. То, что я спрашиваю, до черта серьезно, Геня.

— С Ильей? — удивился Акимов.

— Нет. Это касается меня.

Акимов откинул белые волосы со лба, облокотился о стол, взгляд его стал внимательным — исчезло то задумчивое выражение, какое было, когда он лег на раскладушку.

— Я слушаю, Костя.

— Геня, я только хочу спросить у тебя одно. По-твоему, Михеев — честный парень? Вы живете вместе. И ты должен знать его лучше меня. Михеев — честный парень?

Константин уточнял то, что, казалось, было ясно ему, но он хотел услышать от Акимова хотя бы слабое подтверждение своей правоты или неправоты; ему важно было, что скажет сейчас Акимов: его серьезность, его спокойная размеренность и то, что он не до конца открывался, как это бывает у людей, знающих что-то свое, не предназначенное для всех других, вызывали доверие к нему.

— Я встречался с разной честностью, Костя, — ответил Акимов.

— А именно?

— Положим, было так, что мой бывший командир полка честно предупредил меня...

— Предупредил? О чем?

— Да. Предупредил, что меня готовятся выпереть из испытателей во имя «расчистки кадров». Честно предупредил, но сам на комиссии ни слова не сказал в мою защиту. А знал меня почти всю войну. Считал меня своим любимцем, вместе летали на «петлякове». Сам вешал мне ордена и обнимал перед строем. Но на комиссии молчал. И меня отстранили от испытаний.

— Но почему?

— Плен. Так я это понял. Но комиссия об этом вслух не говорила. Были только вопросы: «Где был с такого-то периода по такой-то?»

— Ты был в плену?

— В сорок пятом сбили над Чехословакией. В немецком концлагере был три месяца. Словаки помогли. Партизаны. Бежал.

Акимов замолчал, откинул назад волосы.

Крыша загремела под ударами ветра; врываясь в уши, навалился снаружи упруго ревуший гул леса, задрезжали стекла. Ударила ставня. Электрический свет сник, мигнул и вновь набрал полный накал. Константин покосился на лампочку, молча налил Акимову из уже нагревшейся в тепле бутылки, Акимов неторопливо, но жадно отпил из стакана. Константин спросил:

— И что?

— Впрочем, я понимаю командира полка.

— В чем? — спросил Константин.

— Мы испытывали секретные машины. Его этим и приперли. А у меня подозрительный пункт в анкете.

— Ясно, — сказал Константин. — Твой комполка чересчур застенчив...

— Не осуждай сплеча, Костя. Иногда складываются обстоятельства.

Константин перебил его:

— Когда-то я свято поклонялся обстоятельствам. Мы победили, война кончилась, мы вернулись, пусть каждый живет, как хочет! Не совсем получилось, Геня. Я спокойнее бы относился к своей судьбе, Генька, если бы без памяти, скажу тебе откровенно, не любил одну женщину! Из-за нее я бросил институт, из-за нее — все... Ты знаешь, что такое счастье?

— Видимо, одержимость... Я, конечно, о деле говорю. Но что у тебя, Костя?

— Ничего, Генька. Пройдет.

— А все же?

— Я встретил своего комполка.

— Я тебе не задаю никаких вопросов. Я не имею права, — сказал

Акимов и пошарил в углу под газетой, где стояли бутылки из-под кефира, и вытянул оттуда начатую бутылку зубровки. — Что-то, Костя, не берет меня эта портвейная дребедень. Добавим? — И тотчас обернулся к двери, прислушался. — Кажется, звонок?

— Он? — спросил Константин.

Оба прислушались. Звонка не было. Незатихающие шорохи проникали снизу, из-под пола, из забытых летних комнат, а здесь, наверху, ветер, задувая, свистел в щелях рам, и кто-то скребся, терся о дверь с лестницы.

Снова сник, мигнул свет.

— Кошка, наверно, — сказал Акимов и подошел к двери, открыл ее; пустотой зачернела площадка лестницы. — А, ты тут... скреблась? Что, надоело в одиночестве?

В комнату вошла кошка, взъерошенная, озябая; на мягких лапах проследовала к печке, к багровому жару в поддувале, села за поленцами березовых дров, притихла там, как в засаде.

— У нас свет иногда дурит, — сказал Акимов. — Ветер провода замыкает, леший бы драл. Ну, добавим? — Он чокнулся с Константином и выпил полный стакан, не закусывая. — Вот что, Костя, — сказал он, подхватывая подушку. — Куда сейчас поедешь? Жди Илью. На ночь он всегда возвращается. Я не буду мешать. Пойду спать, здесь есть комнатежка рядом. Можешь лечь на диван.

— Я тебя не стесню?

— Дьявольски воспитан ты.

— Спасибо, Генька. Спокойной ночи, — сказал Константин. — Я посижу, покурю.

Он проснулся от какого-то беспокоящего звука, давившего на голову, от внезапно толкнувшейся в сознании четкой и острой, как лезвие, мысли: случилось что-то! — и в первую секунду не понял, где он находится.

В темноте гулко гремело железо на крыше, звенели стекла в мутно проступающей раме окна, несло холодом, — и он понял, где он и зачем он здесь. Лежал на диване и был одет — не помнил, как прилег здесь, весь закоченел от дуящего стужей окна, одеревенело плечо от неудобного лежания. Печь, видимо, давно погасла — одинокий уголек неподвижно тлел там, краснея в поддувале.

Ветер обрушивался, бил по крыше, что-то тоненько попискивало и как будто осторожно, с перерывами кашляло под полом, — и он прислушался, подняв голову, оперся на локти.

Продолжительный звонок донесся снизу, замер в глубинах дома и вновь настойчиво прорезался на первом этаже бьющимся непрерывным звоном.

«Звонят?»

Константин нащупал на столе спички, зажег, взглянул на часы, одновременно прислушиваясь, — было два часа ночи. «Кто это? Звонят? Михеев?»

При свете сгонька зашевелились в комнате предметы: стол, бутылки, тарелки на столе. Забелела газета на полу; неверный свет странно оголял комнату, делая ее заброшенной, мертвой...

Спичка обожгла пальцы, погасла, задушенная темнотой, и Константин все лежал на диване, напрягая слух, стиснув в кулаке спичечный коробок, не двигаясь. Ему послышались людские голоса, возникшие шаги под окнами, и снова продолжительный звонок заколыхался по дому, отдался в его ушах.

«Кто это?»

Он знал, что ему нужно встать, включить свет, открыть дверь комнаты, спуститься по лестнице, пройти мимо забытых комнат первого

этажа к тамбуру. Но он не мог сдвинуться с места, встать — что-то инстинктивно останавливало его, подсказывало, что это не Михеев, это не мог быть Михеев, что там внизу, за дверями, было иное, и страх морозным холодом пополз по затылку, туго стянул кожу на щеках, и он уже все слышал сквозь удары крови в голове.

Звонок на нижнем этаже оборвался.

Весь дом был наполнен визгом ветра, шорохами, по двери скребли, как наждаком. И хлипо, ветхо скрипела лестница, приближались снизу осторожные твердые шаги, качали ее...

Он подумал: «Это Акимов» — и, сжимая в кулаке коробок, смотрел в темноту, ожидая — распахнется дверь, войдет Акимов, зажжет свет. Но дверь на лестницу сливалась со стеной, никто не входил. Только скрипели шаги по ступеням.

— Акимов! Геннадий!... — хриплым шепотом позвал Константин.

Никто не ответил.

И тотчас в коротком затишье, между порывами ветра, услышал равномерные звуки за стеной, приглушенный храп — Акимов спал в соседней комнате. «Не может быть! Что же это?»

Он поднялся и, стоя посреди комнаты, застыв, смотрел в сторону двери, выходящей на лестницу, вниз, — в лицо дуло пахнущим морозцем сквозняком, дверь, чудилось, была открыта — кто-то в потемках бесшумно входил в комнату с площадки, шурша одеждой.

— Кто?.. — крикнул Константин и, не двигаясь, готовый на все, стал рвать из короба спички, ломая их, будто не своими пальцами.

Одна зажглась, слабое пламя выхватило на секунду сузившуюся комнату, стол, бутылки на нем, диван... Дверь на лестницу была открыта. Она была широко распахнута в провал лестницы.

Сквозняк шевелил газету на полу.

«Что это со мной?» — подумал он, трудно дыша, подряд зажигая спички, озираясь.

И лег, упал спиной на диван, оттягивая воротник свитера — он давил шею, — озноб сразу прошел, стало жарко, неприятный липкий пот окатил его.

— Идиот!.. — выдавил из себя Константин и застонал. — Идиот!..

Он закрыл глаза и в ту же минуту порывисто оперся на локти, напрягая мускулы.

Дом гудел под напорами ветра, и в нижнем этаже — он это ясно услышал — сначала едва внятно булькнул звонок, потом задребезжал иступленно, непрерывно, все нарастая; звонок раздавался на весь дом.

И Константин, оттягивая и отпуская намокший от пота воротник свитера, уже точно сознавал, что он не ошибался.

«Акимова... Разбудить Акимова!..»

Оглядываясь на окно, он встал, ноги сделали движение по комнате, неся облегченное, словно высушенное тело. Натолкнувшись на зазвеневшие бутылки в углу, ничего не видя, поднял руку и хотел постучать в стену, за которой спал Акимов, но что-то сразу остановило его, и, задохнувшись от какой-то отчаянной решимости, он ощупью по стене вышел на лестничную площадку и, подождав немного, крикнул в темноту первого этажа:

— Кто там?..

И с трудом зажег спичку.

Пламя спички колебалось. Лестница ходила под его ногами, — под рукой раскачивались ветхие перила, он делал намеренно сильные шаги, спускаясь все ниже.

Он остановился, оглушенный звонком, пронзительно трещавшим над головой.

— Кто там?.. — матерясь, крикнул Константин. — Кто?.. Я спрашиваю!..

Ответа не было. Звонок смолк.

Он стоял, прислушиваясь. Спичка погасла.

Тогда, приблизившись на несколько шагов к двери, он с размаху толкнул ее плечом и, натываясь на бочки в тамбуре, на ощупь нашел, отодвинул, стиснув пальцами, засов и изо всей силы швырнул ногой входную дверь. Она распахнулась — ветер рванул ее к стене тамбура.

Константин мгновенно замерз.

— Кто там! Входи!.. — крикнул Константин.

За дверью никого не было. Смутно отливали снегом ступени в темноте.

Он усилием заставил себя сделать еще шаг через порог и, один стоя на крыльце в несущихся токах ветра, мерзлого запаха снега и хвои, озирался по сторонам, всматриваясь и почему-то еще пытаясь зажечь спички. Ветер гасил их.

Возле дома никого не было.

— Так! — сказал он.

И вдруг, не закрывая тамбура, Константин повернулся и, расталкивая бочки с капустной вонью, вбежал в дом; потом, хватаясь за расшатанные перила, бросился по лестнице вверх, спотыкаясь на ступенях.

Внезапно на площадке он услышал сонный окрик — из потемок появился огонек спички, двигался по узкому коридорчику, освещая поднятую руку, помятое сном, красное лицо Акимова.

Константин, не говоря ни слова, вошел в комнату, сорвал висевшую на спинке стула куртку, надел шапку и после этого, переводя дыхание, взглянул на дверь. Приближались шаги. Рука со спичкой вползла в комнату; ничего не понимающее лицо Акимова смотрело на Константина поверх огонька, голос был заспан, звучал обыденно:

— Что за шум? Свет зажги... Илья приехал? Ты куда?

— Тут звонил кто-то, — проговорил Константин. — Я в Москву!..

— Ку-да-а? Кто звонил?.. Бывает, звонок от ветра работает... Михеев не приехал?

— Я — в Москву.

— Ку-уда в Москву? Электрички нет до утра!

— Доберись на товарном. Будь здоров! Закрой дверь!..

И уже не слушая, что кричал в спину Акимов, он сбежал по лестнице и выскочил, прыгая по ступеням крыльца, на снег, в навалившуюся на него ветреную стужу. И торопливо, не оглядываясь, пошел к калитке, угадывая ногами скользкую тропку меж сугробов.

В поселке не горело ни одного огня.

Под ветром подвывали в небе провода, иголки снега, срываемые с деревьев, резали разгоряченное и потное лицо Константина. Он шел, почти бежал по темным и замеченным улочкам поселка — наугад, к станции.

«Это просто я схожу с ума! — думал он, задыхаясь и видя впереди за крышами блеснувшие огни на путях. — Что же это было со мной? Что?»

Он испытывал в эту минуту такую ненависть к самому себе, такое злое, презрительное отвращение, что, казалось, все, что он мог уважать в себе, было уничтожено ночью и не было никакого смысла во всем, что он делал или хотел сделать. В том, что он испытывал сейчас, как бы проступил в нем второй человек, он ощущал его ненавистное движение в себе,

его неудержимо дрожащие пальцы, до унижения срывающийся, перехваченный голос, его липкий пот...

«Если это... если это, тогда — конец!..»

Под Сталинградом после непрерывных бомбежек, когда в пыльной мгле пропало солнце, он видел людей, которых называли «контужеными страхом», — дико бегающие пустые глаза, сизая бледность или не сходящая болезненная багровость лица, внезапный фальшивый смех, жадность к еде, старчески трясущиеся руки, потерявшие силу, и отправление нужды прямо в траншею. Такие не вызывали ни жалости, ни сочувствия. Это были живые мертвецы. Таких убивало на второй день; их убивало потому, что они с животной слепотой цеплялись за жизнь, потеряв способность жить. Он понимал это тогда.

«Если это... — значит, конец!..»

Проваливаясь в разъеденных ветрами сугробах затемненной улочки под трещавшими над заборами соснами, он во всех деталях вспоминал ночь на Мәнежной площади, жалкое, опустошенное лицо Михеева в переулке возле церкви, когда они остановились, его визгливый голос: «Сам ответишь» — и всплывал в памяти томительный разговор в отделе кадров с Соловьевым, потом человек с газетой возле стоянки такси на Пушкинской, приезд к Быкову — и, сопротивляясь тому, что подсказывало сознание, вдруг впервые ясно почувствовал взаимосвязь всего этого.

«Что же теперь? — сказал он себе. — Но если бы был Сергей... поговорить, решить!..» — сказал он еще себе и сейчас же подумал об Асе, а подумав о ней, представил ее лицо, которое боялся увидеть.

«А как же Ася? Как же Ася? — подумал он опять. — Трус! Сволочь! Храбрился перед этим Соловьевым, перед Быковым, перед Михеевым... Ложь! Обманывал себя, а правда вот она — дрожание коленок. Что же это со мной?..»

Спотыкаясь, весь потный, он перешел пути под опущенным шлагбаумом, низко над землей басовито звенели телеграфные провода, светящимися полосами рельсы уходили в раздвинутый впереди коридор лесов.

Отдыхая, поворачиваясь боком к ветру, он поднялся на платформу, по-ночному освещенную тусклым островком вздрагивающих фонарей. Ветер хлопающим громом налетал на деревянное зданье, холод пронизал потное тело Константина — и, затягивая шарф, ускоряя шаги, он вошел под крышу станции.

Тут, казалось, теплее было, покойнее, стояли изрезанные, шербатые скамейки, за окошечком кассы занавесочка висела, чуть шевелясь: ветер пробирался и туда. Константин, горбя спину, придерживая поднятый воротник, искал на стене расписание.

— Ждешь, дядя, никак, электричку? — послышался голос за спиной.

Константин обернулся.

— А?

В дальнем углу на скамье под лампочкой сидел плотный небритый парень в кожаном пальто и рядом другой — узкоплечий, с мальчишечьим лицом, в телогрейке, в ватных брюках. На скамье перед ними — бутылка водки, раскрытые консервы, оба деловито ели ножами из банки. Взглянув на Константина, парень в кожанке перестал жевать, отпил глоток из бутылки, рукавом вытер губы.

— Когда... электричка в Москву? — спросил Константин.

— Неграмотный, дядя? — Узкоплечий хохотнул и, жуя, подошел к расписанию, стал водить, как указкой, кончиком ножичка по столбцам, обернул свое подвижное мальчишечье лицо и, смешливо пришепывая, произнес сквозь щербинку меж зубов: — В пять утра — первая... Бабушка, дедушка. Точно запомнил время, усики? Грузин?

— Пошел к черту,— проговорил Константин. («В пять утра... В пять!..»)

— Иди, Вась. Рубай,— вялым голосом позвал парень в кожанке. Константин, засунув руки в карманы, прислонился плечом к деревянной стене, лихорадочно соображая, что делать сейчас,— стоял, смотрел на жующих в углу парней, но смутно видел их лица.

Они ели молча.

«Значит, в пять. Значит, в пять утра? Ждать до утра?»

Ветер налетел на платформу, напоры его гулко разрывались во круг станции, и донесся — может быть, почудилось — из ночи, из хаоса звуков слабый свисток паровоза, его тотчас смяло, унесло, как будто струйка ветра беспомощно пропищала в щели.

— Бабушка, дедушка,— хохотнул паренек с мальчишечьим лицом.— Чего тут застыл, спрашивают? Садись в товарняк! Чего смотришь?

Константин почти не разобрал то, что сказал парень, только показало на миг, что он что-то понял особое, необходимое ему сейчас — и даже руки, засунутые в карманы, налились млеющим нетерпением.

«Только бы увидеть Асю... И — больше ничего. Только бы увидеть...»

Парни перестали жевать, узкоплечий вытер лезвие о край скамьи, не отрывая смешливого взгляда от Константина.

— Чего уставился, дедушка, бабушка? Не псих ты?

Константин не ответил.

Близкий свисток паровоза, рвя ветер, несся на станцию; Константин ногами чувствовал сотрясение пола и сейчас же рванулся к выходу, выбежал из деревянного зданьца в пронзительный, навалившийся паровозный рев, заложивший уши.

По глазам полоснул сноп прожектора, трехглазая железная громада с грохотом, шипеньем мчалась, надвигаясь из ночи; и налетела на станцию, свистя паром с запахом угля; мелькнуло жаром красное окошко машиниста, Константина обдало теплой водяной пылью — и тяжело забили колесами о рельсы, наполняя станцию пульсирующим гулом, огромные закрытые вагоны.

Это был товарняк.

Константин, оглохший от грохота, пропустил половину состава и бросился за поездом по платформе, надеясь увидеть тормозную площадку, вскочить на ходу — но не рассчитал скорости поезда.

С увеличенным бегом пронесся последний вагон, стуча тормозной площадкой. Эту площадку мотало, и мотало там темную фигурку в тулупе, и красный фонарь стремительно удалялся над открывшимися рельсами.

Константин добежал до конца платформы, схватился за перила, упал на них грудью.

«Здесь они не сбавляют скорость... Не вышло! Что же делать? Не могу!.. Пешком идти... По рельсам идти! Только не ждать до утра. Все, что угодно, только не ждать!..»

Платформа была по-прежнему унылой, ночной. В поселке не светило ни одного окна. Почти сливаясь с темью станции, стояли две фигуры у стены — оттуда смотрели на него.

«Все, что угодно, только не ждать! Только бы увидеть Асю! Только бы...»

Когда он утром, растерзанный, потный, за сутки обросший щетиной, измазанный в мазуте, с полуоторванным рукавом, не вошел, а пошатываясь, ввалился в комнату и когда чуждо, резко увидел на пороге Асю, растерянно открывшую ему дверь, Константин со спазмой в горле, тисками сжавшей его, неуверенно прошептал:

— Асенька...— И, сдергивая с шеи шарф, точно всю ночь нес на плечах нечеловеческий груз, смотрел на нее, замолчав.

— Ты жив, ты жив?.. А я уже не знаю, что подумала!.. Где ты был? Костя! Где ты пропал? Не спала ночь, прозвонила все телефоны, надедала шума — в Склифосовского, в парке... Ты знаешь, что я подумала? Ты знаешь или нет?

— Я — тоже... о тебе,— прошептал он, не было сил говорить громко.

И она еще что-то спросила его, но в эту минуту он ничего ясно не расслышал, казалось — спрашивали не губы ее, а брови, глаза, все лицо, подчиненное им.

— Костя, что ты, что?

— Я думал о тебе всю ночь,— сказал он.— Все время...— снова шепотом проговорил Константин,— и то, что... Я не жил бы без тебя...

Он едва держался, подгибались от усталости колени; потерявшими чувствительность пальцами смял в кармане всю порванную оставшуюся от сигарет пачку и виновато поднял голову: она, прикусив губу, молчала и только одним взглядом спрашивала его: «Это все, все?»

— Ася, нас сняли с машин в конце смены. И отправили разгружать состав с лесом... Вот видишь, такой вид. Вот... таскали бревна...

— Таскали бревна,— повторила Ася и робко погладила его полоторванный рукав.— Да, да... Слава богу. Да, да... Я знаю.

Константин падал несколько раз на обледенелой насыпи, сбегал со шпал, когда навстречу неслись товарные поезда, и, оскользаясь, скатывался в кусты возле путей; он сел на товарняк только в Вострякове. Но лгал он ей наивно, как говорят неправду не подготовленные ко лжи, видел, что она едва заметно отрицательно качала головой, лишь так отвергая его неправду, и он договорил еле слышно:

— Я виноват... Я не мог позвонить... Ася.

И на онемевших ногах все стоял перед ней, в повисшей левой руке тискал шарф, опасаясь поднять руку, чтобы не показать исцарапанные в кровь грязные пальцы.

Он глядел на нее, на темную, как капелька, родинку у края губ и с неверием вспомнил то мертво-бледное, испуганное ее лицо, какое представил, когда шел на станцию во Внуково, и со словами, застрявшими в горле, думал, что он ничего не сможет объяснить ей.

— Только одно скажи мне...— Ася взяла у него шарф, отвела его волосы с потного лба, потом вытерла лоб своим носовым платком.— У тебя ночью... ничего не произошло?

— Нет.

— Спасибо, если это правда.

— Я просто смертельно устал,— сказал он.— Ася, послушай меня...

Он не договорил — Ася поспешно остановила его, заглядывая ему в глаза:

— Нет! Я знаю, ты таскал бревна. Не надо неправды. Когда ты найдешь нужным, расскажешь мне все. Сейчас — не надо. Сними куртку. Я зашью. И сходи в ванную. Усталость сразу пройдет.

— Я... сейчас, Асенька.

Он покорно снял куртку и, сняв, почувствовал от своего насквозь мокрого свитера запах прошедшей ночи — запах едкого пота, и отступил на два шага, взялся за спинку стула одубелыми пальцами.

— Асенька, родная моя,— повторил он.

А она молча села на диван, положив его куртку на натянувшуюся на круглых коленях юбку, разглаживая место, где был надорван рукав. опустила лицо, чуть дрогнули брови — и ему показалось, что она могла заплакать сейчас.

«За что она любит меня? — подумал он. — За что ей любить меня?» — опять подумал он, видя прикосновения своей смятой, пропахшей вонью мазутных шпал куртки к ее чистым коленям, к ее чистой одежде — это грубое соединение ее, Аси, с той страшной ночью.

И он уже напряженно ожидал на ее лице выражение брезгливости.

— Иди же в ванную. Я зашью. Я сейчас зашью, — повторила она, пытаясь улыбнуться ему.

Он выбежал из комнаты. Он боялся, что не выдержит этой ее улыбки.

Глава двенадцатая

Константин сидел за столом, клонила голова, смыкались веки — у него не было сил встать, раздеться, лечь на диван; а мартовский закат уже наливал комнату золотистым марганцем, наполнял ее благостной тишиной сумерек; даже не доносились голоса из кухни, и он подумал: как хорошо — не двигаться, не заставлять себя что-либо делать с собой, со своим налитым усталостью телом.

«Вальтер», — думал он. — Избавиться от «вальтера» — и больше ничего. Началось с «вальтера». Им и закончить. Его могут найти в сарае. Выбросить. Выбросить! И — ничего не было. И нет никаких доказательств. Главное — «вальтер»... Улика. Выбросить «вальтер» — и распутается все... Выбросить?»

Константин встрепенулся, двумя руками потер лицо и встал. И как бы прислушиваясь к самому себе, в нерешительности постоял среди комнаты; тело ломало, болели икры — это так не чувствовалось, когда без единого движения сидел он.

«Так, — рассчитывая, подумал Константин. — Взять ключ от сарая? Вернуться с охалкой дров. В коридоре не наткнуться на Берзиня, который в это время дома. Он рано приходит с работы. Впрочем, что это я? При чем тут Берзинь? Я иду за дровами. Как ходят все. Спокойно, спокойно».

Он надел куртку и вышел из парадного; холодом зашипало ноздри.

Двор был тих, пуст; закат из-за крыш, падая на сугробы, на окна, в которых еще не зажигался свет, был короток по-зимнему, и уже крепко схватывал вечерний морозец, ощущался в колющем воздухе. В предвечерней тишине топились печи, пахло углем, низко над двором, окутываясь дымом, висел над трубами прозрачный и тонкий месяц.

Скрип снега, раздававшийся под ногами, казалось, достигал крыш; отталкиваясь, возвращался во двор, когда Константин по темнеющей тропке пошел к сараю.

Он внезапно остановился.

Дверь сарая была открыта. Звучали голоса, и кто-то покашливал там.

«Кто в сарае? Берзинь? Кажется, я не ошибся!..»

Константин, помедлив, сделал несколько шагов и снова остановился.

— Вы, Марк Юльевич? — спросил он и, громко позванивая связкой ключей, узнав покашливание, приблизился к сараю. — Добрый вечер! Как говорят...

За порогом на чурбане сидел Берзинь в очках, завязывая кашне, обмотанное вокруг горла, толстое лицо было лилово-багрово от заката. Он передернул плечами, подтолкнул на переносицу очки, ответил быстро:

— Да, да. Это я... Это мы... — Взял колун и, сидя, ударил по березовому поленцу; оно треснуло стеклянным звуком. — Что? — с задышкой

повторил он, стараясь высвободить колун.— Тома! Подавай мне, пожалуйста, короткие... Я выбился из сил.

За спиной его в углу сарая горела свеча, вставленная в горлышко бутылки; и там двигалась закутанная в платок фигура Тамары; она выбирала поленья; прижимая их к груди, как ребенка, носила к отцу.

— Это дядя Костя? — сказала она и бросила полено, тыльной стороной ладони поправила волосы на виске.— Это дядя Костя? — Она, видимо, сразу не узнала его в полутьме, подошла вплотную, смело вглядываясь.— Вы — за дровами? Вы?..

Она тихонько опустила на чурбачок напротив Марка Юльевича, положив руки в варежках на колени, все не отводя от Константина спрашивающих глаз, и проговорила опять:

— Дядя Костя?..

Берзинь сердито, шумно вытащил колун из полена, покосился на нее, простонал:

— Дети, дети, задают столько вопросов — можно сойти с ума! Да — я устал слушать вопросы! Да, да! — сказал он в голос и ударил колуном по полену.— Он за дровами — это ясно? Он ничего не потерял в сарае — это ясно? В школе ты учила стихи? «Откуда дровишки? Из лесу, вестимо!» Ты учила эти стихи? А мы берем дрова из сарая!

Константин, уже не звеня ключами, смотрел не на Берзиню, не на затихшую Тамару — смотрел на слабый и сухой червячок свечи над грудой сдвинутых дров.

Там, в этом месте, был спрятан «вальтер», завернутый в носовой платок. Сверток этот был запрятан им на уровне гвоздя, забитого в стену, где постоянно висела ножовка.

Дров на прежнем уровне не было. Они были разобраны. И он мгновенно вспомнил, что тогда ночью спрятал пистолет в дровах Берзиной, твердо зная, что у них никогда не будут искать его. И, оглушенный внезапным ужасом и стыдом, Константин взялся за покрытую ледяной и скользкой плесенью бутылку со свечой, обвел взглядом Берзиной.

Оба они безмолвно, с каким-то объединенным сочувствующим вниманием глядели на него, на свечу, которую он тупым движением пере- ставил на другое место; язычок свечи заколебался.

— Вы...— сказал он и замолчал. И глухо договорил: — Не буду мешать. Простите..

Берзинь закивал спешно и часто, полукашляя в нос; свеча дробилась в стеклах его очков, и рядом с его лицом белело лицо Тамары, ее изумленно наползающие на лоб брови. Она откинула платок, выгнув свою еще по-детски беспомощную шею, готовая что-то сказать, но не говорила ничего.

И он почувствовал себя, как в душном цементном мешке, — отдернул руку от свечи, пошел к двери; на пороге сказал:

— Простите меня, Марк Юльевич.

— Нет! Мы уходим! Томочка, возьми дрова! Мы мешаем соседу! Мешаем! — Берзинь вскочил, двигая плечами, головой, как будто собираясь бежать; концы кашпе мотались на его груди.— Сопливая девчонка! Что ты сидишь, я тебя спрашиваю! — срываясь на фистулу; крикнул Берзинь, оглянувшись на дверь.— Сопливая наивная девчонка! Куда ты запускаешь глаза? Где твоя вежливость? О-о! Думать! В первую очередь человек должен думать! — Берзинь постучал указательным пальцем себе в лоб.— Мы живем в коллективе. Мы должны уважать соседей. Мы уходим из сарая!

— Папа! — крикнула Тамара и возмущенно выпрямилась.— Не кричи! Мне стыдно за тебя! Почему ты боишься? Если у тебя не хватает смелости, я сама объясню Константину Владимировичу! Константин

Владимирович! — Она поднялась, дергая варежки на пальцах. — Константин Владимирович... Сегодня... мы брали дрова... И вы знаете... у нас...

Константин обернулся.

«Не говори! — хотелось сказать Константину. — Я все понял. Не говори ничего!»

Он стоял, покусывая усики, смотрел на растерянно притихшего Берзиня, на шатающийся язычок свечи, на Тамару, доказательно прижавшую руку к груди. И сказал наконец:

— Что — «знаете»?

Он не мог объяснить сам себе, почему так открыто выговорил «что знаете», и, сказав это, повторил:

— Не понимаю, что — «знаете»? О чем вы, Тамара?

— Паршивая девчонка! Что ты говоришь, не слышали бы мои уши! — Берзинь махнул кашне вокруг воротника, грубо дернул Тамару за рукав. — Что ты говоришь Константину Владимировичу? Мы уходим, сию минуту уходим, Константин Владимирович! Вам не стоит слушать ее болтовню. Стоит ее послушать — и можно повеситься!

— Ах, так! Так, да? — сказала Тамара зазвеневшим голосом. — Ты трус! Ты боишься самого себя! Вот, смотрите, Константин Владимирович, что мы нашли в сарае! Под этими дровами! Кто-то спрятал здесь! Смотрите!

Она отшвырнула поленья, выхватила маленький серый сверток из-под дров, шепча: «Вот-вот», и, не сняв варежки, стала, торопясь, бояливо разворачивать его. Конец пухового платка мешал ей, путаясь под руками, — и в следующее мгновение сверток выскользнул из ее рук. Пистолет со стуком упал в щепу. Аккуратные фетровые валенки Тамары стремительно отскочили в сторону от упавшего в щепу пистолета. Берзинь, страдающе охнув, схватился руками за голову.

— Что ты делаешь? Он заряжен патронами!.. Можно сойти с ума!

— Он заряжен пулями, — сказал Константин.

— Что? — спросил Берзинь.

— Пулями, — повторил Константин, глядя на «вальтер».

В щепе он тускло и масляно отливал металлом при огне свечи.

Аккуратные валенки Тамары приблизились к пистолету и замерли. Она сказала:

— Вот!..

— Пулями, — проговорил Константин.

— Что? — опять спросил Берзинь потрясенно.

— Пулями, — повторил Константин, — которые убивали на войне.

Усмехнувшись скованными губами, он поднял пистолет, и когда выпрямился, привычно держа на ладони этот зеркально отполированный, изящный, как детская игрушка, кусок металла, то неожиданно почувствовал, как твердая рукоятка его, тонкая и влитая спусковая скоба плотно входят в ладонь, передавая руке холодную щекочущую жуть, таившуюся, запрятанную в этом круглом стволе, — стоит лишь сделать усилие, нажать спусковой крючок...

Он услышал в тишине носовое дыхание Берзиня, скрип щепы под валенками, поднял голову — и увидел в глазах Берзиня и Тамары, как бы вмержших в одну точку, страх ожидания близкой опасности, исходящий от этого полированного металла; и как-то обнаженно ощутил связь между собой и этим оставленным после войны «вальтером», будто он, Константин, нес опасность смерти — стоило лишь нажать спусковой крючок. И он особенно понял, что не сможет ни перед кем оправдаться, объяснить, зачем он оставил пистолет, и тут же представил бессилые доказательства.

— Это немецкий пистолет,— проговорил он наконец.— Старой марки. Лежит с войны...— И он усмехнулся Тамаре, взглянув на нее, а не на Берзиня.

— Да, да, да! Это чей-то пистолет... лежит с войны! — эхом повторил Берзинь.— Да, да, да! Это с войны! Конечно, конечно!

— Ты, папа, говоришь ужасную ерунду! — досадливо прервала Тамара.— Эти дрова привезли осенью. Привез грузовик — и мы сгружали осенью. Я хорошо помню, Константин Владимирович! — Она обратилась к нему по-взрослому, голос был трезв, опытен, как голос зрелой женщины, и эта рассудительность поразила Константина.— Я уверена — револьвер надо сдать управдому или в милицию. Мы не знаем, зачем он здесь, может быть, готовится убийство! Это может быть?

— Н-не думаю,— сказал Константин; струйки пота, щекоча, скатывались у него из-под шапки. Он добавил тихо: — Тамара, из этого оружия нельзя убить. Это «вальтер». Игрушка. Поймите — детский калибр. Кто-то привез его с войны, как игрушку.

— Из револьвера убивают,— ответила Тамара.— У нас в школе мальчик принес финку. Нашли в парте. Его исключили. Директор сказал, что весь класс потерял бдительность...

Берзинь схватился за виски.

— Какой управдом? Какая милиция? Какой директор? Что у тебя в голове? Какое твое собачье дело? Я повешусь от такой дочери!

— Папа! Перестань! Это стыдно! Я ненавижу твои истерики! Мещанские слова! Я знаю, как ты читаешь газеты, слушаешь радио — зажимаешь виски, закрываешь глаза! Да, я знаю! — Голос ее опять трезво прозвучал в ушах Константина, ошеломив его откровенностью и прямо-той.— Разбираешь события со своей мещанской колокольни!

Берзинь, сжимая виски, закачался на чурбачке.

— Что она говорит! Что она говорит, отвратительная девчонка! За-молчи! — Он вскочил, весь трясясь, и так дернул книзу руку Тамары, как будто хотел рукав телогрейки оторвать.— За-молчи, глупая! Или я тебя побью раз в жизни!

Он топтался перед ней, маленький, круглый, вобрав голову в плечи — то ли готовый ударить ее, то ли сам головой и плечами ожидая удара, но веря в то, что сейчас услышал, а лицо его стало как у ребенка, которому сделали больно.

— Что ты делаешь... с отцом? — обезоруженно произнес он.— Что делаешь?

Растерянно поглаживая кисть, которую грубо дернул отец, Тамара отошла к двери, расширяя глаза со стоявшими в них слезами, оттуда проговорила упрямым голосом:

— Не смей меня больше трогать, не смей! Я комсомолка, папа. Мы никогда не должны забывать! Мы обсуждали на собрании... Мы советские люди. Разве этот револьвер нужен хорошему человеку? Зачем он ему? А если какой-нибудь вредитель ночью спрятал? Константин Владимирович, скажите же, скажите папе! Он ничего не хочет понимать. Константин Владимирович, скажите же ему! Нужно немедленно сообщить в милицию! Я сама пойду. Я не боюсь!.. Я сама пойду!

-- За-молчи! — срываясь на визг, затопал ногами Берзинь.— Я тебя избью. Ты не моя дочь!

Константин не ожидал этого — Тамара, вытерев глаза, решительно поправила платок и перешагнула фетровыми валенками через кучу дров, рванулась из сарая и побежала по тропке к воротам среди сугробов.

— Тамара! Подожди... Тамара!

Константин сунул «вальтер» в карман, увидел на секунду, как в отчаянии Берзинь охватил голову, опустился на чурбачок,—и Константин бросился к двери, ударившись о косяк, догнал Тамару на середине двора.

Худенькое плечико дернулось под его рукой.

Она обернулась, гибко откинув голову,— бледное лицо в платке, детские глаза выступили из темноты.

— Что вы? Вы — тоже? Тоже? — вскрикнула Тамара, отстраняясь.— Что вы... хотите от меня? Вы — боитесь, да? Почему вы все боитесь? Вы даже боитесь?

— Тамара, не делайте этого! — заговорил он, стараясь убедить ее.— Тамара, милая, вы не должны этого делать! Нельзя ничего опрометчиво делать. Никогда не надо. Вы ведь многого не знаете. Вы можете погубить сейчас ни за что человека. Может быть, это все принесет большую беду! Поверьте, все может быть! — Ему стоило усилий улыбнуться ей в расширившиеся глаза.— Ну, если это мой пистолет... Я похож на вредителя? Ну, скажите — похож? Я — похож?

— Вы-и? — протяжно выдохнула Тамара, и уголки бровей ее разошлись в стороны.— Вы?..

— Разве это важно? — продолжал Константин.— Но подумайте, что это пистолет такого человека, как я... Кто-нибудь привез с фронта. Спрятал. И забыл про него. Может же это быть? Поверьте, это может быть. Вот он, пистолет, я взял его! — Константин приложил руку к нагрудному карману.— Я отнесу его в милицию и сдам! И все будет в порядке. Вам не нужно никуда ходить. И не нужно вмешиваться. Ведь вы девушка. Зачем вам это? Совсем не женское это дело. Ну? Разве я не прав?

— Вы знаете... вы знаете,— звонко заговорила Тамара и отвернулась.— Когда случилось это с мальчиком, я не сказала. Но на меня стали как-то странно смотреть даже учителя. Я видела ножик, но не подумала. А его исключили. Но я не понимаю: стали говорить, что я из любви к нему забыла о честности. Я не понимаю...

— Идиоты были всегда! И, наверно, еще долго будут! — сказал Константин и дружески тронул ее локоть.— Вернитесь, Тамара. Вы обидели отца, но вы оба были не правы. Честное слово. Идите к отцу. Мы часто несправедливы с теми, кто нас любит. И прощаем тем, кому нельзя прощать. Поверьте, я немного старше вас. Я немного опытнее.

Медленно проведя ладошкой по щекам, словно снимая паутину, она спросила удивленно:

— Почему вы со мной... так говорите? Как с ребенком...

Он осекся, хотя ему хотелось говорить еще.

Двор уже погружен был в синеватую темноту мартовского вечера с пресным запахом подмороженного снега, открывалась над границей крыш ровная глубина звездного неба, и проступал огонек свечи из раскрытой двери сарая. Все вдруг стало покойно, тихо, как в детстве. Ничего не случилось, не должно было случиться — ночь была закономерной, и закономерными были огонек свечи в сарае, звезды над двором, горький запах печного дыма и то, что все будто исправилось в жизни, как только он заговорил с ней. Он не знал, что это было, но он говорил с ней и чувствовал себя старше ее на много лет и опытнее, добрее, чем, казалось, все эти знакомые и незнакомые люди за этими спокойно освещенными окнами во дворе. Жесткий ком пистолета, давивший на грудь,— комок зла, страха за Асю, за все, что могло свершиться,— был тоже закономерностью.

Он сказал:

— Идите к отцу, Тамара. И помиритесь. Не стоит портить друг дру-

гу жизнь. Из-за пустяка. Честное слово, жизнь — неплохая штука, если быть добряком к добру и сволочью ко злу. И тогда прекрасно будет.

— Что? — одними губами спросила Тамара. — Какое зло?

— Это вы когда-нибудь поймете. Вы все поймете. Послушайте меня, идите к отцу и скажите ему, что ничего не было. Ведь он вас любит.

Она смотрела на него из темноты недоверчиво, потом сказала вполголоса:

— Почему вы так говорите... Константин Владимирович?..

— Томочка! — слабым голосом позвал Берзинь из сарая. — Константин Владимирович...

— Идите! — сказал Константин, не отвечая на ее вопрос. — Идите.

Взглянув на него молча, она осторожно вздохнула и тихими шажками двинулась к сараю. В оранжевом от свечи проеме двери проступала маленькая и жалкая фигура Берзиня. Покашливая, он горбился, и в позе его были убитость, желание мира.

Константин пошел к парадному.

Глава тринадцатая

Иногда ему казалось — вся квартира была полна звуков: хлопала пружина парадного, Берзинь трубно и мужественно сморкался в коридоре, замедляя шаги перед дверью; потом гулко, но неразборчиво шли голоса из кухни, стихали и вновь толкались в стены, и Константин, лежа на диване, в полузабытьи различал возбужденный тенорок Марка Юльевича.

Потом голоса стихли на кухне.

«Почему люди так много говорят? — думал Константин. — Какой в этом смысл? Что это — форма самозащиты?.. Берзинь отлично понял, что пистолет мой. Но он слишком честен. И теперь смертельно перепуган. За себя, за Тамару и, наверно, за меня. Не стоит волноваться, милый Марк Юльевич. Это не помогает. «Вальтер»... Почему я его не выбросил? Память? Наградное оружие? Да что это я? Нервы — ни к черту!.. И тогда, на даче, и сейчас. Может быть, все не так?..»

Константин сел на диване, нащупал во внутреннем кармане куртки пистолет. И вынул его.

«Вальтер» лежал на ладони; никель, кнопка предохранителя, литой спусковой крючок, гладкий ствол. Когда-то, несколько лет назад, в разведке этот «фоновский» пистолет необходим был ему, легонько оттягивал задний карман — запасной пистолет для себя; тогда он сам как угодно мог распоряжаться своей жизнью.

Но здесь, сейчас, в тишине комнаты, при виде этого точеного, как детская игрушка, механизма вдруг совсем по-иному — металлически и щекочуще — запахло смертью. И, со страхом и ненавистью к этому пистолету, глядя на него, он опять почувствовал вокруг себя провал, как тогда, когда ночью шел на станцию во Внуково.

«Нервы, — подумал он, успокаивая себя. — У меня размотались нервы. Я все время напряжен! Надо спокойней...»

Константин медлительно встал с дивана, держа пистолет. Было тихо. Волнообразные звуки голосов опять доносились с кухни.

Поскрипывая разошедшимся паркетом, он прошел в другую комнату, включил свет. Комната ожила вещами Аси: свитером, домашним халатиком на спинке стула. Окна стали черными, превратились в плоские зеркала. Они мертво отразили зеленый парашют застывшего на шнуре абажура и очертания лица Константина, выражение которого он не разобрал, когда задергивал занавески.

Он положил пистолет на письменный стол, затем вытащил из заднего ряда книг, из-за томов Тургенева, «Жизнь животных» Брема. И уже твердо решив выбросить завтра пистолет, вложил «вальтер» в гнездо. Пистолет как бы вклеился среди жирных строчек; в глаза Константину бросилось несколько слов, оборванных выемкой гнезда, он прочитал машинально: «...потрясенные ревом тигра, животные...»

Он вздрогнул — громкий стук раздался в дверь из коридора.

Этот стук возник из шагов, голосов на кухне, из движения в коридоре. Стук начался в дверь первой комнаты. Он заполнил ее, рвался, проникая оттуда, из другого мира.

И, отчетливо услышав этот сумасшедший стук, Константин рывком встал, рука быстро легла на плоский и холодный, как лед, металл пистолета; и когда он сильно сжал его, что-то знакомое, темное кинулось в лицо, мелко задрожав в туманце, — жирная линия букв, смысл которых он сейчас уже не понял; лишь в сознании его завязла мысль: «Вот оно, вот оно!»

За дверью гремели шаги. Стучали непрерывно.

И он понял, что это все — за спиной дышит пустота, в которой ничего нет, кроме угольного бесконечного провала. И еще он успел подумать, что сейчас, когда они войдут, исчезнут мать и отец, которых он уже забывал, почти не помнил, и незабытая война, и Сергей, и сорок пятый год, и Николай Григорьевич, и Ася, и ее радостно сияющие ему глаза («прости меня, Асенька, прости меня!»), и Михеев, и Быков, и вся злость, и его мука, и его страх за Асю, с которым невозможно было жить.

«Вот и все, Костя... Это — все».

И, одним движением толкнув том Брема с «вальтером» в шкаф, глядя на дверь, он крикнул:

— Кто?..

В дверь прекратили стучать. Шагов не было. И голько возбужденный голос сквозь дыхание:

— Константин Владимирович! Константин Владимирович!.. Вы спите? — Это был голос Берзиня.

— Кто там?.. Вы, Марк Юльевич?..

— Константин Владимирович! Откройте! Вы слышали? Вы спите? Радио... включите, пожалуйста, радио!

— Что? Какое радио?

С испариной на лбу, очнувшись, он, застонав, провел рукой по лицу, словно разглаживая на нем напряжение мускулов.

И после этого повернул ключ в двери.

— Радио... радио! Вы слышали радио? Это — второе сообщение... Вы слышали?

Берзинь на коротеньких ногах вкатился в комнату, волосы встрепанно торчали с боков лысины, подтяжки спущены, били по ягодицам, как вожжи.

В руках у Берзиня была мышеловка, и несоответствие этой мышеловки и выражения несчастья в глазах его, во всей его фигуре удивило Константина. Он, не понимая, выговорил едва:

— Вы — что?

— Вы послушайте... послушайте! Вы не слышали? Не слышали? Передали о Сталине... И сейчас передают. Вы спали, да? Вы не слышали? Включите радио! Где у вас радио?

— Что Сталин? — не понял Константин.

— Включите радио. Включите радио! — повторял Берзинь, бегая по среди комнаты. — Где у вас радио? Передают. Сейчас!..

Константин вбежал во вторую комнату; дергая зацепившийся шнур, включил репродуктор — он отчетливо ронял чугунные слова:

— ...и Совет Министров Союза ССР сообщают о постигшем нашу партию и наш народ несчастье — тяжелой болезни товарища Иосифа Виссарионовича Сталина.

В ночь на второе марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца и дыхания...

— Ты не спишь, Костя?

— Нет. Не могу.

— Это ужасно.

— Скажи как врач, инсульт — очень серьезно? Это излечимо?

— Да. Но это второй инсульт. Главный врач нашей поликлиники сказал, что это второй. Первый был в тридцатых годах. Мы не знали. Он без сознания. Поражены важные центры.

— Странно. Не могу представить, чтобы он был без сознания. Мы всегда думали, что он вечен...

— Когда я шла из поликлиники, на улице останавливались люди. Везде включили радио. Все молчат. Никто не ожидал. Знает ли об этом папа... там? И Сергей...

— Наверно.

— ...Письма, которые писал Сергей Сталину... Он писал о папе. Теперь я не знаю, что будет.

— Ася! Тебе неудобно лежать?

— Нет, нет... Что-то стало душно. Горло перехватило.

— Дать тебе воды? Тебе что-нибудь нужно, Асенька?

— Не надо. Ничего не надо. Возьми только руку из-под головы. Не обижайся... Я вот так лягу. И все пройдет.

— Ася!

— Что, милый?

— Ася, все прошло?

— Да.

— Ася... что ты сейчас чувствуешь?

— Это не объяснишь. Маленького зайца. Лапками копошится за пазухой.

— Я люблю тебя. Одну. Единственную. Я никогда никого так не любил.

— Костя, глупый, ты так сказал? А он возится там и не знает — ни тебя, ни меня. Ни то, что в мире. Он сейчас ничего не знает.

— ...Ничего не знает. Ни о тебе, ни обо мне. Ни о своем деде. Все ему не нужно будет знать. К черту ему знать это! Я только расскажу ему, как я любил тебя.

— Нет! Он должен знать все. Я не хочу, чтобы он вырос комнатным цветком. Нет. Он должен уметь драться, защитить себя. Он не должен давать себя в обиду.

— Я уверен, Ася, он все же будет жить при коммунизме. Кулаки необходимы будут для спорта. Это нам нужны кулаки. Ася... тебе удобно лежать?

— Да, милый. Сколько сейчас времени?

— Два часа ночи.

— Два часа... Костя, ты не выключал радио?

— Нет, радио включено.

Глава четырнадцатая

На следующий день перед сменой Константин увидел Михеева.

Помедлив, Константин вытащил сигарету, помедлив, чиркнул спичкой, затянулся, потом аккуратно бросил спичку в металлическую урну около входа — ждал, пока пройдет первый порыв злой неприязни, возникший сразу при виде широкой шеи Михеева с щеточкой отросших волос, лежащих на воротнике полушубка, его крепкой, тугой спины, его ватных брюк, заправленных в бурки.

Спиной к Константину Михеев стоял в толпе шоферов, собравшихся перед линией в закутке курилки, угрюмо слушал, поворачивая голову от одного к другому, щеки темнели плохо выбритой щетиной, хмуро лозящее слова лицо было непроспанно, одутловато, с похмельной, казалась, желтизной.

«Он был у больной сестры или на дне рождения, кажется? — вспомнил Константин недавние слова Акимова. — Он приезжает с линии раньше или позже меня, избегает встреч со мной!.. Или той ночью он еще где был? Что ж, и это похоже. О чем он думает сейчас?»

— А я тебе говорю — нет! Соображать надо! — донесся из закутка рокочущий бас Плещея. — Слухи, брат, как мяч, скачут!..

Константин стоял за машинами, все не подходя; голоса заглушенно долетали из курилки; он понял, о чем говорили там.

Все, что задумал он, как бы теряло сейчас свою значительность, растворялось в беспокойной и сгушающейся обстановке, все как бы утрачивалось в последних событиях и незаметно отдалялось в охлаждающий туманец.

«Так что же? — спросил он себя. — Так что же?»

Константин, смяв сигарету, швырнул ее в угол, где была урна с водой, отражавшей сквозь нечистые стекла окон фиолетовое мартовское небо, подошел к закутке курилки. Его никто не заметил; увидел один Сенечка Легостаев, как всегда, топтавшийся чуть в стороне с бутылкой кефира; несмотря ни на что, он закусывал перед сменой. Здороваясь, он открыл, криво улыбнувшись Константину, стальные зубы, спросил.

— Слышал? Что происходит-то на белом свете?

И, большим глотком отхлебнув из бутылки, навалился на чужие плечи, стал не без любопытства заглядывать в середину гудевшей толпы шоферов.

Шли разговоры.

— Что тут предполагать! Все может быть. Иногда и профессора ни шута не могут! — выделяясь, звучал натянутый густой бас Плещея. — Здоровье тоже было не молодое. Но надеяться надо — обойдется, может. Об этом и думать надо. А не о том, что профессора плохие. Все козлов отпущения хотим найти!

— В войну ни одной ночи небось не спал — думал за всех. Вот тебе и кровоизлияние в голову. Сам все!

— С ним враги не особенно... Боялись. И Черчилль, сволочь. И Трумэн... Всех держал. Надорвешь здоровье, поди! А тут еще в юбилей письма в газетах: «родной наш», «любимый». Как сглазили!

— Да ты только, Семенов, ерунду не пори, моржовая голова! — раздраженно загудел Плещей. — «Сглазили!» Чего сглазили? Орел ты, воронья перья! Ты еще у бабушки на самоваре погадай! Тут даже у нас некоторые балабонят, что врачи, мол, виноваты!..

— Я что, Федор Иванович? Я не болтал такое...

— Да ты, может, и нет. Ну, а чего ты сразу задом заюлил-то, Семенов? Чего скис? Чего перепугался?

И в это время Константин через головы шоферов увидел повернутое к диспетчеру Семенову грубоватое и заметное оспинками лицо Плещей, сидевшего на скамье; рядом молчаливо сидел Акимов, ресницы опущены, белые волосы зачесаны назад. Плещей усмехнулся грустно Семенову:

— Разное болтают, брат. Это я тебе как коммунист говорю. Чешут языками направо и налево, озлобляют только всех. Всегда виновных ищем! — Он грузно поднялся, хлопком выбивая сигарету из мундштука. — Так, Михеев, или не так? Чего ты на меня из-за Семенова, как на огонь, смотришь? Это ты, что ли, тут утром болтал, что Сталина врачи отравили? Значит, как — профессора в ответе?

— Вы, Федор Иванович, больно уж как-то непolitично говорите, — ответил надтреснутым голосом Михеев, моргнув, как на яркий свет, глазами.

— А ну — конкретно! В чем? — рокотнул Плещей, упираясь кулаками в колени.

Михеев заговорил поспешно и угрюмо:

— Разве о вожде народов кто болтает? Любили мы его, как отца. И так далее. Вы как секретарь партийной организации объяснение людям должны дать, а вы как-то... нехорошо объясняете. А вы только людей выискиваете, рты зажимаете. Семенову вот... Я как беспартийный гражданин даже не могу согласиться с вашим объяснением.

Плещей с зорким удивлением коротко остановил взгляд на Михееве и, снова внимательно взглянув, сел на скамью, засовывая мундштук в карман.

— Сосунок! Теленок вислоухий! — зарокотал Плещей насмешливо. — Ты меня будешь учить политграмоте! Когда ты задуман был на печке, я уже в партию вступил, Ленина видел, пятилетки строил. Ты что же, Михеев, ответственной, значит, коммунист, чем я? Значит, ты патриот и стоишь на страже? А ты, круглая голова, два уха, по-русски слово «правда» знаешь?.. Здорово, Костя! — в наступившем молчании точно остыв и уже мягче сказал Плещей, заметив Константина, подошедшего в эту минуту сбоку Михеева; и взглянул Акимов, обрадованно поздоровавшись движением век; стали поворачиваться к Константину лица, кивая молча. — Садись с нами, Константин! Где же пропадаешь? В обрез что-то приходиться стал, не видно тебя совсем, кореш! — грубовато-ласково проговорил Плещей и раздвинул место на скамье рядом с собой и Акимовым. — Посиди-ка, расскаж что-нибудь, а то тут... мозги растопырились!

— Действительно, пропадаешь где-то, Костя, — сказал Акимов.

Но Константин не успел ответить, кивнуть Плещею, Акимову, знакомым шоферам — на секунду встретился с глазами Михеева, невыспавшимися, красными, стоячими, как у птицы ночью, потом словно кто-то махнул по глазам Михеева, мгновенно застлал тенью — зрачки скользнули книзу.

— Здорово, Илюша! — проговорил Константин. — А я тебя искал вчера. Или, говорят, ты меня искал? Простите, ребята! — прибавил он, обращаясь ко всем. — Я одну минуту! Он давно хочет со мной поговорить. Но без свидетелей. Пошли, Илюша! Я готов.

— Заболел? Отстань, дурак! — презрительно сказал Михеев.

И, багровея, повернулся, заплетаясь бурками, как-то угловато пошел от курилки к машинам, как бы ожидая удара от Константина, который сейчас же двинулся следом.

Возле машин Михеев остановился, не оборачиваясь, спросил срывающимся заячьим голосом:

— Чего от меня хочешь?

— Ничего, ничего страшного, — обняв его за плечи, ответил Константин спокойно. — Только передам тебе несколько слов от одного человека. По его просьбе.

— Какого человека? — нахмурился Михеев. — Врешь все!.. Чего пристал?

— Ты позвонишь этому человеку по телефону — узнаешь. Но тогда будет поздно. Для тебя! — Константин поощряюще похлопал его по натянутой, как барабан, спине. — Для тебя! Пошли, Илюша. Давай вон туда. За машины. Там никто не помешает. Это секретный разговор. Я при всех не могу.

— Бешеный дурак! — опасливо проговорил Михеев. — Зачем глупость при народе болтал? Что подумают? Тебе за это — знаешь?

— Спокойно. Не надо волноваться, Илюша. Я сделал это для отвода глаз. Я ведь всю войну был в разведке, знаю, что такое вторая игра. И конспирация. А ты еще неопытный, сопливый мальчик, хотя и хорошо кое-что делаешь...

— Ты что это болтаешь? — угрожающе произнес Михеев.

«Вот оно, сейчас, вот оно!» — подумал Константин не с новью узнавания, а с каким-то жутким, даже сладостным удовлетворением.

— Пойдем, Илюша, — проговорил он. — Я все возьму на себя.

В закутке — в самом дальнем углу гаража, за старой колонкой, за стоящими перед ремонтом машинами, слабо освещенными солнцем сквозь огромные и пыльные окна, — Михеев, возбужденно оскалась, обернулся к Константину.

— Ну, чего хочешь?

— Давай здесь, — тихо и веско произнес Константин и положил руку ему на плечо.

— Чего ты хочешь? Чего?

Михеев, весь напрягшись, враждебно-настороженно бегал взглядом по груди Константина, круглое, клочковато выбритое, помятое лицо подрагивало, как от тика; и, оглядываясь по сторонам, он повторил, шевеля крупными потрескавшимися губами:

— Чего? Чего ты?.. Что за разговор?

— Разговор очень короткий. Только запоминай, — вполголоса сказал Константин и придвинулся к нему — лицо Михеева отклонилось. — Запомни, парень... запомни... что на этом свете есть правда. Я давно хотел тебе это напомнить. Очень давно! И так уж, слава богу, устроен свет, что всяким сволочам бывает конец! Это первое...

— О чем ты? Чего ты? — вскричал Михеев, пытаясь выдернуть плечо из-под руки Константина, но не хватило силы. — Пусти!

Константин придвинулся ближе, сквозь полущубок впившись пальцами в окаменевшие мускулы Михеева. Михеев астматически задвигал широкой порозовевшей шеей, глаза с выражением страха выкатились и будто отталкивали Константина.

— Пусти! Пусти!..

— Запомни второе, Илюша, — проговорил Константин, не отпуская его. — Я прошел огонь, воды и медные трубы, а ты еще — кутенок. Если завтра же ты не перестанешь клепать на меня, Плещея и Акимова, на всех остальных из парка, на кого ты должен клепать, я сделаю так, что в кармане вот этого твоего полущубка найдут оружие, а в твоей машине обнаружат кое-что, от чего можно крепко сесть! Ты меня понял, Илюшенька? Тем более что в парке не найдется ни одного человека, который тебя нежно любит! Запомни, милый: все будет сделано, как в ювелирном магазине. Запомни еще! Не торопись, милый, не рассчитав силы — можно самому себе к черту снести затылок! Запомнил? И еще, Илюшенька. — Константин, прищурясь и помедлив, жестко стиснул плечо Ми-

хеева.— Я легко могу позвонить Соловьеву по телефону ка-ноль... и доложить о тысяче рублей, которыми ты хотел купить меня. Ты помнишь, как просил у меня тысячу рублей и обещал, что все будет в порядке?

— Пусти! Какие деньги? Сволочь! Пусти-и! — придушенно выдавил Михеев и вдруг озлобленно, разевая рот, двумя кулаками пнул Константина в грудь, стремясь оттолкнуть его от выхода из закутка, пронзительно крикнул: — Врешь! Пусти, душегуб!.. Бешеный! Не хочу! Уйди, гад! Пусти-и!..

— Заткнись, гнусная морда! — Константин, взяв его за борта полушубка, всем телом притиснул к стене, подавляя желание ударить, грянул так, что в горле Михеева екнуло.— Молчи, харя! И запоминай, что говорают! Отвечай, шкура, запомнил? Запомнил?

Лицо Михеева расплывалось блином; он горячо дышал в губы Константина и, ворочая шеей, прижатый к стене, молчал, зрачки чернели, перебегали точками; и Константин, испытывая отвращение и ненависть, повторил:

— Запомнил, сволочь? Или еще не дошло?

— А-а! Пусти-и! Пусти-и!..

Михеев с неожиданной яростью забился в его руках, ударил коленом в живот, и Константин, перевозмогая острую боль в паху, притянул его и, выругавшись, изо всей силы кинул спиной к стене, подальше от себя — он не хотел драки, зная, что может не удержаться от нее.

Охнув, Михеев сполз по стене на пол и, раздвинув ноги в бурках, кашляя, задыхаясь, выдавливал вместе с кашлем:

— Убить захотел? Убить? Я тебя упеку!.. Пистолет у тебя... разговорчики. Я тебя...

— Что-что? — крикнул Константин и бросился к нему.— Что ты сказал?

— Не трожь! — взвизгнул Михеев, отклоняясь к стене.— Я ничего не говорил!.. Не виноват я! Убить хочешь?.. Не трожь!

«Похоже. Очень похоже,— подумал Константин.— Так и Быков».

— Убить?..

— Этого мало, сволочь!

— Чего у вас тут? Что за крик еще? — раздался голос за спиной.

Константин оглянулся и тотчас увидел торопливо входивших в закуток насупленного Плещей, Акимова и вместе с ними весело изумленного Сенечку Легостаева, как бы всем лицом своим ожидавшего скандала. Константин сунул руки в карманы, сказал, сдерживая голос:

— Вот визжит парень, непонятно почему...

— Что тут еще, Костя? Что этот... упырь на полу загорает? — мрачно спросил Плещей, быстро окидывая обоих из-под сросшихся лохматых бровей.— Разговор? А крик зачем? На весь гараж!

— Был разговор. По душам,— ответил Константин, кивая на Михеева, медленно вставшего, злобно, со всхлипами сморкающегося в скотканый платок.— Илюшеньке захотелось посидеть на полу, охладить поясницу. Странности у него. Во время серьезного разговора садится на пол. Не удержишь.

Сенечка Легостаев захохотал, нагло показывая стальные зубы; Акимов испытующе поглядел на Михеева, затем на Константина и отвернулся, потупясь.

— Бывает,— равнодушно произнес Плещей и сплюнул табачинку с губ и пальцами по ним провел, словно ничего не заметив, ничего не поняв.— Иногда полезно бывает задний мост охладить. Только крика не надо. Лишнее!

Не ответив, наклонив голову, Михеев, спотыкаясь, протиснулся к выходу между Плещеем и Акимовым, вышел из закутка и, вытирая нос

платком, двинулся к машинам в сопровождении Сенечки Легостаева, который, ухмыляясь, увесисто начал похлопывать его по плечу.

— Чего бараном орал, гудок?

— Ну? — хмуро произнес Плещей и подтолкнул Константина к выходу. — На линию давай. Все должно быть, как у молодого в субботу! Идеально. Ни одной придирки в смену! Ясно? Все, как надо. И Акимов не понял, и я не понял. Ясно? У нас слух плохой...

— Понял, Федор Иванович, — негромко сказал Константин. — Спасибо. Я все понял.

— Давай, давай на линию!

Вечером, бреясь в ванной, Константин долго разглядывал свое лицо, темное, смуглое, похудевшее, казалось, обоженное чем-то; глаза смотрели устало и ожидающе — незнакомо. Прежде бреясь и любя эти минуты, он навистывал и подмигивал себе в зеркало, чувствуя, как молодеет кожа на пять лет. Теперь бритье не так ощутимо молодило его — подчеркнуто открывало чуть тронутые сединой виски, — и мысль о том, что Ася видела это его новое лицо, была неприятна Константину.

Потом, ожидая Асю, он приготовил стол к ужину и задумчиво, со знанием дела, как будто всю жизнь занимался этим, заваривал чай. Теплый пар, подымаясь, коснулся его выбритого подбородка, защекотал веки. И он опять представлял свое лицо темным, усталым, каким видел его в зеркале, и, усмехнувшись, перевел глаза на магнитофон, но не включил его, как это делал всегда по вечерам.

Константин лег на диван, поставил пепельницу на стул.

Тишина стояла в квартире теплой неподвижной водой, и звуки расходились в ней, как легкие круги по воде: приглушенные заборами далекие гудки машин, изредка позванивание застывших луж под чьими-то шагами во дворе. И было странно: то, что произошло с ним в последние дни, и то, что происходило в мире, бесследно тающей зыбью растворялось в этой тишине, и он почувствовал, что смертельно, до тоскливого онемения устал, что его охватывает равнодушие ко всему, это бездумное расслабление мысли и тела.

Он поморщился и повернулся на бок, услышав затрещающий телефон.

От неожиданного звонка закололо в висках. Но он не хотел вставать, не в силах разрушить это состояние бездумного и отрешенного покоя; затем с насильем над собой встал, снял трубку — могла звонить Ася.

— Да...

Трубка молчала.

— Да, — повторил Константин. — Да, черт возьми!

— Мне Константина Владимировича...

— Я слушаю. Слушаю! Кто это?

— Добрый вечер, Константин Владимирович, — откуда-то издалека зашелестел в мембране мужской голос, и Константин пересиротил раздраженно:

— Да с кем я говорю? Ничего не слышно!

— Слушайте меня внимательно и не перебивайте. И не задавайте никаких вопросов. Я звоню вам для того, чтобы дать только один совет. Я понимаю, что Илья Магвеевич трус и деревянный дурак, но и вы поступаете не более умно, простите за прямоту. Мой вам совет: выбросьте немецкую игрушку куда угодно, чтобы у вас ее не было. Если вы еще не выбросили. И если вам нравится дышать свежим воздухом. Надеюсь, этого телефонного звонка не было и вы ни с кем не разговаривали. Не говорите об этом и жене. Это все!

Константин сел на диван, вытирая обильно выступивший, как после болезни, пот на висках, пошарил сигареты на стуле, и когда закурил, вобрал в себя дым, обморочно закружилась голова.

«Ловушка? Это ловушка? Но зачем, зачем? — Он вновь задохнулся сигаретой, потер грудь.— Соловьев... У него был Михеев? Озлобился и пошел? Что ж — вот оно, злое добро? А как? Как иначе?.. Это был голос Соловьева? Он говорил! Его голос. Неужели он симпатизирует мне? После того разговора? Соловьев? Зачем? Что ему? Для чего?»

Константин поднялся с дивана и с туманной головой начал ходить по комнате, не понимая и не зная, что нужно делать теперь, лишь чувствуя, что его удушливо опутало, как сетями, что он не может найти выхода, решиться сейчас ни на что, ничему не веря уже.

«Неужели? Не может быть!.. А если это так? И это — правда? И это — правда? — подумал он.— Все равно! Теперь все равно!..»

И, подбегая к вешалке, сорвал куртку и, на ходу надевая ее, бросился к книжному шкафу, схватил толстый том Брема, вырвал из гнезда «вальтер».

На Горбатом мосту через Канаву Константин вынул «вальтер» из внутреннего кармана и, оглянувшись, бросил его через железные перила в неподвижную вечернюю, расцвеченную огнями воду.

И не расслышал булькнувший звук внизу. Вода поглотила пистолет без всплеска, даже не было кругов в масляной черноте под мостом.

«Почему я этого не сделал раньше? Надеялся на что-то? Ждал? Не верил? Что ж — вот она, добренькая черта: сомневаться до последнего момента! И я не верил, сомневался?..»

Потом, скользя по гололеду ступеней, Константин спустился на безлюдную набережную — тотчас сбоку раздался стеклянный приближающийся хруст ледка под чьими-то ногами. Он обернулся и со споткнувшимся сердцем взглянул, ожидая из-за поднятого воротника. Темная фигура постового, незаметно стоявшего в тени дома, солидно, неторопливо приблизилась к Константину, голос ударил, как выстрел:

— А ну, что бросил, гражданин? Что в канаву бросил?

— Пистолет. Обыкновенный пистолет! — внезапно в отчаянии проговорил Константин.— Этого мало?

— Чего-о? Вы эти шутки бросьте. «Пистолет!» Проходите, проходите, гражданин.

Ночью он сжег в печи том Брема, в котором было вырезано гнездо для «вальтера».

Глава пятнадцатая

— Да, умер...

— Чего рассказываешь, гражданин? В платке я, не слышу.

— Умер, говорю, Сталин. Не приходя в сознание.

— Го-осподи! А я слышу — музыка... Из Воронежа ведь я, у сродственников остановилась... Утром встала, брательник на работу собирается. «Плохо»,— говорит. А я-то говорю: «Разве врачи упустят?» Упустили!..

— Мамаша, не мешайте! Если идете — идите! Со всеми... А вы — под ногами!

— Бегут, что ли, впереди?

— Да нет. Стоят. Милиция порядок наводит.

— Когда диктор сообщал, голос так и дрожал. Говорить не мог...

- Как вам не стыдно, товарищ? Со стороны пристраиваетесь! Колонна оттуда идет! Во-он, оглянитесь!
- Это что же, родимые, его смотреть?
- ...Да, не приходил в сознание...
- Сто-ой!.. По трое бы построились! Товарищи, товарищи!
- Оживятся они сейчас... Рады!
- Как же мы теперь без него? Как же мы жить-то теперь будем?
- Кто оживится?
- Да всякая международная сволочь. Как раз тот момент, когда они могут начать войну...
- Американцы соболезнование не прислали.
- Куда же смотрела медицина? Лучшие профессора!
- К сожалению, он был не молод. Здесь, видите ли, и медицина беспильна. Как врач говорю.
- Кто после Аллилуевой был его женой?
- Да кто-нибудь был...
- Что-о? За такие слова — знаете? В такой день — что говорите?
- Я ничего не сказал, товарищ...
- Что было бы с нами, если бы не он тогда...
- Впереди есть милиция?
- Когда война началась, выступал. Волновался. Боржом наливал.
- По радио слышно было, как булькало...
- Иди рядом со мной. Не отставай!
- Верочка, не плачь! Не надо, милая. Слезами сейчас не поможешь.
- Я прошу тебя.
- Гражданин, это ваш сын? Смотрите, у него снялась галошка!
- Промочит ноги.
- Я на всех стройках... И в первую пятилетку, и потом...
- Социализм вытащил...
- Когда брата в тридцать седьмом арестовали, он Сталину письмо написал.
- Ну? Что вы шепотом?.. А он...
- Не передали ему, видать, секретари.
- Девочка, где твоя мама? Ты одна? Слушайте, чей ребенок? Чей ребенок?
- Дедушка Сталин умер, да? Я пойду посмотреть. А мамы нет дома.
- Господи! Иди сейчас же домой! Ты потеряешься! Что же это происходит?
- Те улицы оцепили. И проходные дворы. Народу-то....
- От Курского вокзала...
- Неужели Манеж перекрыли? Через Трубную?
- Слово у него было твердое. Много не говорил.
- В праздники на Мавзолее стоит, рукой машет... А последнего Первого мая его не было...
- Как это не было? Я сам видел.
- Да, проститься.
- Я с сорок первого... Ничего, дойду на костыльке. Всю войну на ногах.
- Что там? Опять побежали?
- Вы ничего не видите? Почему остановились?
- Почему остановились?..
- Какие-то машины, говорят, впереди. Зачем машины?
- Девочка! Ты не ушла? Где мама, я спрашиваю? Это ваша?
- Нет, опять пошли...
- Вся Москва тронулась.

— Где? Где? Ему плохо, наверно. На тротуар сел. В годах. Товарищи, помогите кто-нибудь. Устал, видимо...

— Пошли, пошли! Ровней, товарищи, ровней!

Толпа текла, колыхалась, густо и черно заполняя улицу, с хлюпаньем мёсила растаявший сырой пласт гололеда на асфальте; по толпе дул промозглый мартовский ветер, от него не защищали спины, поднятые воротники; ветер проникал в середину шагающих людей, выжимая слезы; и зябли лица, отгибались края шляп, полы пальто, отлетали за плечи концы головных платков. Люди не согревались от ходьбы; от обдутой одежды несло холодом — низкое, пасмурное, тяжелое небо несло над крышами, вливало резкий воздух туч в провалы кишевших народом улиц. С шелканьем выстрелов полоскались очерненные крепом флаги на балконах, над подворотнями; из репродукторов из Колонного зала приглушенно лились над толпами, над головами людей траурные мелодии, сгибая спины этим непрерывным оповещением смерти, непоправимостью уже случившегося.

— Музыка-то, музыка зачем? — закашлявшись, сказал кто-то сбоку от Константина. — И так сердце рвет...

— Смотри, женщина одна ведь!.. Из троллейбуса не выберется!

Толпу несло, вплотную притирая к цепочке стоявших под обледелыми тополями троллейбусов. В гуле движения, в многотысячном шарканье, в липком шуме ног по мостовой не слышно было, как, закрыв лицо руками, плакала, рвалась в прижатую толпой дверь опустевшего троллейбуса женщина. Но рядом сквозь голоса внезапно слышны стали бабья вскрики, причитания, заглушаемые ладонями, уголками платков, прижимаемых ко рту. Впереди тоненько заплакала девочка, крича испуганно: «Мама! Мама!» — и тотчас, как бы подхватив этот крик, истерически взвизгнули, зовя детей, несколько женских голосов, и несдерживаемые вопли прокатились по толпе, охватывая ее, вырываясь в каком-то упоенном ужасе горя — и от мелодий Шопена, и от непонятности при виде этой мелькнувшей женщины в троллейбусе. Кто-то крикнул:

— Стойте же! Стойте же, стойте! Она не успела выйти! Она была с девочкой! Я видел...

— Помогите ей!

— Да это кондуктор.

— Какой кондуктор? Ни одного нет!..

— Боже мой, Костя, что это? Нас все время сжимают... Откуда столько людей? Ты слышишь — там впереди кричат!

Люди уже двигались толчками, будто тяжело раскачивало их, сжимало стенами домов, толкало сзади волнами; впереди усилились крики женщины; крики эти и плач детей заглушались каким-то слитным ревом голосов, этот рев катился спереди на людей. Никто не знал, что случилось там, — вытягивали шеи и подымались из толпы над спинами, оглядывались растерянные и недоуменные лица.

— Что там? Что?

— Ася! Нам нужно вернуться! — крикнул Константин. — Нам не нужно ходить! Нам нужно вернуться!

Константин шел в середине толпы, охватив Асю за плечи, прижав к себе, защищая от натиска спин и плеч все сгущавшейся людской тесноты, — нельзя было понять, почему так плотно стиснуло, так закачало толпу. Но он еще пытался раздвигать локти, напрягая мускулы рук, он еще держал их раздвинутыми, и вдруг его локти приплюснуло к бокам. Он сразу ощутил чье-то прерывистое, трудное дыхание на затылке, на щеке, упругое живое шевеление человеческой массы, навалившейся сзади и с боков. И уже со всей силы вырывая свои одеревеневшие локти, охраняя

Асю, он с тревогой увидел ее добела прикушенную губу, увеличенно напряженные глаза.

Константин успел прижать ее к себе, успел наклониться к ее молча поднятому лицу, крикнуть:

— Ася! Идем отсюда! Здесь нельзя! К тротуару, к тротуару! За мной! Охватывай меня руками за пояс!

«Зачем я послушался ее? Зачем мы пошли? Она хотела посмотреть? Зачем я послушался?»

Впереди опять закричали женщины. На мгновение разорвало и стремительно понесло в прореху толпу, какие-то цепляющиеся, раздражающие руки, набрякшие, задыхающиеся лица втиснулись между ним и Асей, и внезапно их оторвало друг от друга.

— Ася! Ася!..

Константина несколько раз повернуло в круговороте тел и, сдавив, потащило, поволокло на чьих-то плечах, ногах куда-то наискосок, боком к оглушительно надвигающемуся реву, это уже не были человеческие голоса — казалось, рокочущая, вставшая до серого неба волна океана накатывалась на людей, готовая опрокинуть, утопить их.

— Ася!.. Ася!..— Константин уже не крикнул, а крик этот выдавился из его стиснутой чужими локтями груди.— Ася-а!..

Он не понимал, не мог понять, что случилось и почему случилось это, он только, вырываясь из тисков человеческих тел, увидел возникшее среди голов бледное и какое-то незащищенное лицо Аси с умоляющими глазами, намертво прикушенной губой, и, ожесточенно расталкивая живую стену напирających плеч, стал протискиваться к ней с необычной, охватившей его силой.

Он видел впереди ищущее лицо Аси, смутно чувствовал движения, толчки своих рук. Он задышался, и в его сознании билось оглушающим молоточком: «Только бы не упала! Только бы... Только бы не упала!..»

Константин слышал впереди себя возгласы, рвущиеся в уши, но эти удары молоточка в сознании заглушали все: «Только бы не упала, только бы...»

— Что же это?.. Что же это, товарищи!..

— Кто сделал? Зачем?

— Я не могу!.. Я не могу!.. Я не могу...

— Коля-а!..

— С ума, что ли, сошли?..

— Почему это?.. Что устроили!..

— Я упаду... Я не могу!

— Зачем взяли детей?..

— ...Что вам? Что вы делаете?..

— О-о-ох!..

— Машины с песком!.. Преградили путь!

— На Петровку!..

— Зачем? Зачем?

— Что ж это такое?.. А?

— С Трубной народ...

— Фонарный столб... Смотрите!..

— Витя... держись, родной мальчик!.. Держись! Ручками держись! Потерпи!.. Держись, сыночек!

— Па-па!.. Ми-иный... Папочка!..

«Только бы не упала!.. Только бы... Только бы не упала!..»

— Ася-а! Ася!..

Он уже не видел ее лица, он лишь видел платок Аси среди месива людских голов. И, как бы косо вырастая из спертой черной толпы, закачались слева голые деревья бульвара, и сразу приблизились кузовы гру-

зовых машин, сереющие мешки из-за бортов, столб фонаря с прилипшим к нему телом мальчика. Мальчик, без шапки, в растерзанном пальтишке, с захлестнутым на спину пионерским галстуком, плача, обвивал руками фонарный столб, елозил маленькими, сплошь заляпанными грязью ботинками по растопыренному, вскинутому вверх, как подпорка, ладоням мужчины, человеческой массой притиснутого к столбу. Мужчина в разорванном на плече плаще глядел побелевшими страшными глазами и не кричал, а всем лицом просил о пощаде:

— Витенька, держись, сыночек, крепче!.. Витя! Родной, я здесь... Еще немножко, упирайся мне в руки! Ну, держись! Ну, держись! Товарищи, товарищи!..

— Па-апочка!.. Не могу... Ми-иленкий!..

— Ви-итя!.. Сыночек!..

— Го-осподи-и, упал! — воем прокатилось по толпе, шатнувшейся назад. — Мальчик!..

— Товарищи! Товарищи!

Константин не заметил, как упал мальчик, — только что-то темное мелькнуло над головами, и толпа закачалась. Завизжали женщины, донесли крики: «Остановитесь!»

«Где мальчик? Только бы не упала... Только бы не упала! Только бы!.. — как молитва, проносилось в мозгу Константина. — Ася, не упали. Ася, не упали. Мальчик упал? И что же? Что же?..»

— Асенька!.. Ася! — крикнул он, вывертываясь и выжимаясь из гуши толпы, уже не чувствуя ногами твердость мостовой. Его приподняло и несло; кто-то, хрипя, лез сзади на плечи, упорно, обезумело упираясь кулаками ему в спину, в затылок. Возникло сбоку с пустыми, вылезшими из орбит глазами и перекошенным ртом, сизое и потное лицо парня. В исступлении колотя кулаками, он лез куда-то в сторону и вверх, на головы людей, и Константин, охваченный внезапным бешенством к этому безглазому лицу, готовому все смять, с ненавистью и злой силой ударил его головой в нависший подбородок и еще раз ударил.

— Сволочь!.. Куда? Не видишь — там женщины, дети!..

— Ты-и!.. — заревело, мотаясь, лицо. — Один хочешь смотреть? Один?.. А я из Мытищ приехал!..

— Такие сволочи детей давят! — крикнул кто-то рыдающим голосом. — Озверел, дурак?

— Товарищи! Стойте! Остановитесь! Там мальчик! Там женщины!.. Мы не должны!..

— Что же это творится?

— Как случилось? Я не могу понять!..

— Дети... Мальчик... А отец, отец где?

— Полиция — что?

— Там.

— Господи! Прости, господи!

— Товарищи, товарищи...

— А ребенок... Мальчонка где? Отец где?

— Женщина кричит... Опять?..

«Только бы не упала... Только бы... Какая женщина?»

Уже еле двигая окаменевшими локтями, он продирался сквозь толпу, плохо слыша голоса, возгласы, придушенные стоны и в ожидании несчастья искал через головы людей узкий, будто кружащий возле фонарного столба платок Аси. Задыхаясь, он рвался к этому платку, никогда в жизни не осознавая так близко несчастье, которое могло произойти там, впереди; сердце, как вытесненное, билось возле горла.

— Ася!.. Ася!.. Я иду!.. Я к тебе!.. Я иду!..

— Товарищи! Товарищи! Мужчины, в цепь, в цепь! Сюда, в цепь! — чей-то крик прорывался сбоку, хлестал по толпе. — Мужчины, сюда!

Фонарь, милицейские грузовики с песком, загораживающие улицу, голые деревья бульвара колебались перед глазами; толпа шаталась из стороны в сторону, как единое тело. Фонарь, приближаясь, медленно разрезал ее водоразделом. Потом на мгновение стало просторнее, твердая земля появилась под ногами, в разорванной щели среди людей мелькнула цепь милиционеров, рядом цепь каких-то штатских, взявшихся за руки.

— Ася-а!..

— Костя!.. — услышал он в вое голосов, надсадных командах милиционеров слабый Асин крик и из последних сил рванулся на него, в эту образовавшуюся в толпе щель. И, едва не плача, увидел ее руки, охватившие фонарь, щеку, прижавшуюся к столбу, закрытые, замершие веки.

— Ася!.. Ася! Родная моя!.. — Он оторвал ее от столба, повернул к себе, заглядывая в будто кричащие, с крупными слезами глаза, капельки крови сочились из прикушенной нижней губы. — Ася... Ася... Ася... — повторял он. — Ася, что? Что?.. Ася...

Он не мог ничего больше выговорить. Он инстинктивно прижал ее, пригнул голову к своей потной шее и, резко двинувшись спиной, потянул ее сейчас же в узкую щель разбившейся толпы перед цепью милиционеров. А она слабо пыталась отогнуть голову, оглянуться назад, и он чувствовал своей горячей мокрой шеей ее незнакомый, вздрагивающий голос:

— Возле фонаря... там... мальчика... мальчика... Ты ничего... Ты ничего не видел?

— Сюда! Сюда!.. Прижимайся ко мне! Сюда!..

Толпа в этот миг стиснула их, охватила толщей трущихся тел; люди, смятая цепь милиционеров, ринулись в неширокий проход между стоящими поперек улицы грузовиками. Константин ударило спиной о кузов, и он успел прижать Асю к себе, страшным усилием всех мускулов, рвя на спине куртку о кузов, успел ее повернуть боком к радиатору.

Почему-то у ската машины зачернела куча галош, огромных, растоптанных и детских на красной подкладке, и почему-то непонятно, разноголосо вырывался детский плач из-под машины.

Константин, как в пелене, различил: копошились там, высовывались из-под днища тонкие ножки в чулочках, появлялись возле колес красные ребячьи пальчики, упирающиеся в месиво грязи; оттуда неслась детский вопль:

— Мама! Ма-ама! Ма-амочка!

Константин повторял хрипло:

— Сюда! Сюда!

С трудом он разжал руки, не выпуская Асю, и еще продвинулся на шаг по борту машины — и в этот миг толкнул ее на подножку. Она упала на нее, не вытирая слез боли, сбегающих по щекам, прикусывая губы, сочившиеся капельками крови. И молча смотрела на него.

— Ася! Что? Что? — крикнул он. — Ася, ну что?

Она разжала губы.

— Ничего, милый... Ничего, мой мил...

— Ася! Что? Ну скажи же, скажи — больно?.. Живот?

Она глотала душившие ее рыдания.

— Там... у фонаря.. Мальчик!.. А люди, люди... что с ними! Мне кажется... я наступила на него. Его не успели... — Сдерживая стук зубов, она закрыла лицо руками. — Что же это... милый? Что же это? Почему это случилось? Почему? Здесь дети под машиной... Они залезли под машину. Зачем здесь дети? И тот мальчик...

Оглушенный детским воплем из-под машины, рокотом толпы, напирающей в спину, Константин, глядя на Асю, испугался этих ярких капелек крови на губах, ее уже странно прижатых к животу рук и, увидев это, едва сумел выговорить:

— Его успели... Асенька. Его подняли. Ты ни на кого не наступила. Тебе показалось, родная...

Толпа чугунными толчками давила на спину Константина, все плотнее притискивая его к машине, к ее крылу, к подножке, на которой прижалась Ася. Людской вал неистовым напором вырывался к проходу, наваливался сзади на машины, на Константина. А он, напрягая мускулы спины, рук, опершихся в железную дверцу грузовика, старался удержать всем своим телом натиск толпы, охранить этот уголок подножки с Асей. И видел лишь ее огромные, молящие глаза, раскрытые на половину лица от боли. Он уже не слышал крики и гул толпы, темными кругами шло в голове. «Сколько так будет — секунда? Минута? — туманно мелькнуло в его сознании.— День? Год? Всю жизнь? Я не выдержу так пяти минут... Я не чувствую рук. Что же делать? Что же делать? Я ничего не могу сделать! Неужели я не могу?.. Вот легче, стало легче...»

Сквозь пот, разъедающий глаза, он вдруг заметил под ногами цепляющиеся красные пальчики, они поползли из-под машины. и, как из серого тумана, поднялось грязное, дурное лицо девочки — она захлебывалась слезами, высовывая голову из-под машины, и, царапая пальцем по рубчатой резине колеса, позвала тоненьким, комариным голосом:

— Мама... Мамочка... Я хочу к маме... Я хочу домой...

Константин увидел ее в тот момент, когда толпа, оттиснутая цепью милиционеров, качнулась назад. Он оглянулся. Знал — сейчас толпа, напираемая сзади, снова качнется вперед, забьет трещину, в нее ринутся что-то оружие милиционерам, лезущие сбоку и из-за спины парни с ничего не видящими сизыми лицами. И приплюснут его, и сомнут девочку возле ската грузовика.

Он крикнул пересохшим горлом:

— Под машину! Под машину!

Растягивая в плаче большой рот, икая, она повела на Константина глазами; пуговицы на ее обтрепанном пальтишке были вырваны с мясом, белые нестриженные волосы растрепанно спадали на плечи.

— Мама!.. Мамочка!.. Домой!.. Я хочу домой!..

Отталкиваясь одубевшими руками от железной дверцы, он хотел еще раз крикнуть: «Под машину!», но голоса не было, и в эту минуту краем зрения увидел Асины протянутые руки к девочке, оттолкнулся всеми мускулами от дверцы, сделал шаг к скату, только на миг ощутил под пальцами слабенькую детскую ключицу и почти швырнул девочку к Асе на подножку. Успел заметить, как Ася прижала ее светлую голову к коленям, — дверца машины темной зеленой стеной повернулась перед глазами, он сделал обратный шаг к ней. Но в эту минуту страшным напором толпы его крутануло возле подножки, ударило левым боком о крыло грузовика. Он услышал удар о железо, оно, казалось, вошло в его тело и оглушило, ожгло пронзительной болью. «Неужели? Меня? Меня? Неужели? Меня?.. — огненно скользнуло в его сознании.— Меня? Не может быть! Не может быть!..»

Он почувствовал, что не может поднять руки, и опять услышал жесткий железный хруст. Он хотел подняться на цыпочки, стараясь высвободиться, вдохнуть воздух. Но тотчас его сдвинуло дышащими, рвущимися возле машины телами, откинуло на радиатор, мотнуло головой на железо. Готовый закричать от боли в боку, он схватился за радиатор, прижимаясь к нему, через текущий туман еще пытаясь найти лицо Аси, при-

крытые ее руками светлые волосы девочки. Но не увидел их, ужасаясь тому, что он ничего не может сделать, пошевелить пальцем. И, застонав, потерся лицом о железо радиатора, потом услышал близкий раздирающий крик — и будто холод Асиных ладоней прикоснулся к его щекам.

Он прохрипел, ощущая губами соленое железо:

— Под машину... Под машину, Ася!.. С девочкой... Под машину!

Он еще улавливал воющий, нечеловеческий крик, и как будто в зрачки ему лезло лицо женщины с развалившимися на два крыла черными волосами, ее истерический вопль:

— Сам ушел и детей моих унес! А-а!..

И голоса сквозь звон в ушах:

— Товарищи! Товарищи! Назад! Мы не пойдем! Милиция! Остановите!

— Людей... что сделали с людьми?

— Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват во всем?

И еще голос:

— Стойте! Стойте!..

Потом все исчезло, и пустота понесла его.

Он хрипел в эту пустоту:

— Ася... Ася... Под машину! Под машину!..

А из сплошной темноты уже накатывался, ревел шум моря, и он ногами чувствовал удары в сотрясающиеся от грохота камни, и ноги скользили по камням к краю высоты. Он хотел отклониться назад, найти точку опоры, но его подхватило потоком, как шерстинку, понесло между грифельным небом и бурлившей пустыней океана в ревуший хаос каких-то разорванных немых голосов, в месиво приближающихся из какого-то темного коридора лиц, раскрытых ртов, поднятых рук. И в этом каменном коридоре что-то кишело, двигалось, падало, задыхалось в судорожных рыданиях: «Остановитесь!»

Он знал, что сейчас умрет — чувствовал теплую солоноватую струйку крови, стекающую у него изо рта, он глотал ее, закрыв глаза, стараясь спокойно понять, кто виноват в его смерти, кто это сделал и почему он должен умереть. Он лежал, истекая кровью, среди сумеречного поля под трассами крупнокалиберных пулеметов, различая близкие голоса немцев, шагающих на него. Надо было немного отклонить тело, собрать усилием расслабленные мускулы, вытащить пистолет из нагрудного кармана, затекшего чем-то липким, вязким. Он нащупал скользкий пистолет. Он был словно обмазан жиром. Пальцы нашли спусковой крючок — последнюю пулю всегда оставлял для себя, и сейчас не страшно было умирать.

Он остался один на нейтралке, не дополз к своим — и все ближе, все громче раздавались над головой шаги немцев. И он слабыми рывками приближал пистолет к виску, стараясь приподняться на локтях и выстрелить точно... Руки подкосились — он упал лицом в жесткую землю, и в эту минуту чьи-то знакомые, прохладные ладони повернули его голову, стали гладить по щекам, по лбу, кто-то плакал, кричал и звал его на помощь из каменного коридора, из хаоса голосов, из опрокинутого пепельного неба:

— Костя!.. Костя!..

А он не мог уже пошевелиться. Его качало, волокло куда-то, затем нечто серое, тусклое развернулось перед ним, и где-то звенело тягуче и непрерывно по железу, и он подумал, что смерть — это железное, бесконечное с набегающим в уши звоном.

Но то, что показалось ему, не было смертью. Он лишь на несколько минут потерял сознание от удара боком и головой о железо машины.

Глава шестнадцатая

— Ася!

Он раскрыл глаза, приподнялся на локтях — и сейчас же упал спиной на подушку. Он лежал на диване, смотрел в потолок и, чувствуя колющую, живую боль в боку, сразу не понял, где он и что с ним. Потом услышал звенящие звуки, легкие, брызжущие, и, еще не веря, поверочав на подушке голову, сначала подумал, что это обморочный звон в ушах; но сознание уже было ясным.

«Я жив? Я дома? Как я очутился дома? Меня ударило о машину? А Ася, Ася?» — спросил он себя и, напрягаясь, обвел взглядом комнату.

Весь белый, квадрат окна был широко залит солнцем. Раскаленной белизной оно висело над мокрыми крышами двора, и за стеклом мелко что-то, вкрадчиво стучало по карнизу; и где-то внизу еле слышно шепелявило в водосточных трубах, плескало в асфальт.

«Это дождь? Идет дождь? — подумал он. — И я жив? И я дома?» — снова подумал он и, мгновенно вспомнив все, быстро взглянул на дверь в другую комнату, ужасаясь тому, что вспомнил.

«Она была со мной. Я помню, мы шли... Я помню — она была со мной. Она сидела ночью здесь на стуле, возле меня... ночью».

Он опять с усилием над собой приподнялся, по-прежнему глядя на дверь, позвал чужим голосом:

— Ася...

И медленно встал на ноги, пошатываясь от прилившей крови в затылке, сделал несколько шагов и толкнул дверь в другую комнату, замер на пороге, держась за косяк. Он, передохнув, облизнул пересохшие губы, не в силах выговорить ни слова. И только слышал бегущий шум струй по оконному стеклу и видел скользящее отражение дождя на постели Аси.

— Костя...

Ася сидела на постели, опершись двумя руками; поднятое навстречу лицо бледно, смертельно утомлено, брови дрожали, и выделялись лихорадочным блеском глаза, устремленные на Константина.

— Ася... ты не спала? — Он опять передохнул, нашел ее растерянно блестящие ему в глаза зрачки, но не хватило дыхания сказать в полный голос, спросил шепотом: — Что, Ася? Что? Ничего не болит? Ася... Как ты себя чувствуешь?

Константин не отрывал взгляда от ее за одни сутки похудевшего лица, от искусанного рта и, подавленный дикой, отчаянной мыслью, что именно он непоправимо виноват перед ней, и готовый плакать, встав перед тахтой на колени, повторял:

— Что?.. Ася...

Он обнял ее, прижался переносицей к ее напряженной, пахнувшей детской чистотой шее, глядя ее теплые волосы.

— Ну что? Как?

— Костя, что делать? — Она порывисто уткнулась носом ему в висок. — Я не знаю, что я должна делать? Как теперь?

— Что ты говоришь?

— Как мы теперь будем жить?

— Ася, не говори так. Нас трое. Ты понимаешь, нас трое.

— Костя... Я должна идти на работу? Ты должен идти на работу? Как будто ничего не случилось? Ну, вот. — Она оторвалась от него, ладонями взяла его голову, всматриваясь, будто не узнавая. — Ну, вот, слава богу, только синяк. И на боку у тебя синяк. Слава богу, слава богу, что так.

— Я знаю, как жить. Я все знаю, Асенька, — заговорил Констан-

тин. — Поверь мне. Ты хочешь поверить мне? Ты веришь, что я люблю тебя?

Она потерлась подбородком о плечо Константина, а пальцы, вздрагивая, трогали, ерошили его волосы на затылке.

— Не могу представить — и мы и он могли погибнуть...

— Ася, милая... — повторил он, прижимая ее к себе. — Все будет прекрасно. Все будет, как надо. Ты должна сейчас встать и приготовить завтрак, понимаешь меня, Асенька? Так у всех начинается жизнь, правда? С завтрака. Все люди начинают день с завтрака. И мы...

Она сказала ему в плечо:

— Костя, что же будет?

— Прекрасно будет. Главное — вот ты, и мы дома. И я здоров как бык. И я хочу есть.

— Я одну секунточку... Ты не обращай внимания. Это просто нервы... — Она чуть в сторону повернула лицо, и он увидел: слезы поползли по ее щекам полосами. Она попыталась улыбнуться. — Я не буду. Я секунточку. Я просто не могу. Ты не смотри на это. Вот уже. Видишь? Уже прекратилось. Я сама не люблю... — Она виновато взглянула на него влажной чернотой глаз. — Хорошо. Пусть так. Выйди на минуточку, я оденусь. Ты готовь на стол. Хотя бы поставь чашки. Я постараюсь взять себя в руки. Я сумею. Ты знаешь, что я сумею.

— Я знаю, что ты сможешь, Ася, — проговорил он и пошел к двери.

Он закрыл дверь за собой и присел к столу и так сидел, ослабили колени, не было сил убрать постель с дивана, подойти к буфету — ломило, стягивало все тело, как будто целую ночь спал в раскаленных железных тисках, его подташнивало, и неотпускающая боль отдавалась в голове.

Ему надо было перевести дыхание, отдохнуть несколько минут, он знал, что эти минуты отдыха и слабости кончатся, как только послышатся из другой комнаты шаги Аси, и Константин, рукавом нижней рубахи вытерев пот и прислушиваясь к шорохам в соседней комнате, уперся лбом в сжатый кулак, зажмуриваясь.

Низкое утреннее солнце, прорываясь из-за крыш через мелькание дождя, входило в комнату желтовато-белыми столбами.

Дождь плескал в тротуары, и по-весеннему с мокрых перекрестков доносились гудки машин, отрывистая трель трамваев, и Константину вдруг показалось — запахло, как в детстве: теплым парком влажного асфальта, сладковатой сыростью тротуаров, дождевых озер, и в лицо ему ощутимо повеяло свежестью намочшей одежды прохожих, переживавших грозу под каменными арками и в чужих подъездах.

«Вот и дождь, — подумал он. — Я всегда любил дождь...»

Шаги в коридоре, потом внятный стук в дверь заставили его поднять голову, он подумал, что это Марк Юльевич, и, пересиливая себя, сказал негромко:

— Да, войдите.

И все будто легонько сместилось, все отстранило возникшее в дверях знакомое крупное лицо с влагой дождя на лохматых бровях, затем выдвинулась из коридора массивная фигура, огромные руки неуклюже торчали из рукавов брезентового плаща.

— Федор Иванович... — сказал Константин.

Федор Иванович Плешей, косолапо переваливаясь, шел к нему от двери, крепкий голос его загудел, казалось, наполняя комнату воздухом гаража:

— Ну, здорово! Не знаешь, что в утреннюю заступаем? Ну, почему молчишь — заболел без бюллетеня?

Константин, медленно вставая навстречу Плешее, проговорил:

— Я не мог... Я был вчера там...

— А я вот из парка, на пару слов, если разрешаешь? — Плешей снял плащ, взглядывая на Константина, небритого, осунувшегося, в незастегнутой на груди нижней рубашке.— Водки бы с тобой сейчас не мешало, конечно, лупануть для хорошего русского разговора, да на машине я. Был, значит? Давай сядем, что ли. А то стоим, как-то неудобно вроде...

— Да,— хрипловато выговорил Константин.— Вы все знаете, что было?

— Не один я, вся Москва знает. Да вон вижу — фонарь на виске, не объясняй.— Нахмурясь, Плешей сел на стул, оперся ладонями о колени, спросил серьезно: — Ну? Поэтому и на работу не вышел? Или другие причины?

Константин отвернулся к окну, после молчания заговорил:

— Да, Федор Иванович... Я бы очень хотел, чтобы вы видели тот момент, когда на бульваре началась давка. Я этого не забуду. Нет, не об этом я хотел... Можете ответить мне откровенно?.. Только откровенно. Как теперь будет?

— Врать бы научиться можно было, да не смог, таланту не хватило,— усмехнулся Плешей, выкладывая мундштук и сигареты на стол.— Вот ты жив-здоров, вот я с тобой здесь сижу, а не где-нибудь в другом месте. Это главное. Понял ты, Костя? Время-то, дружище Константин, на месте не стоит. Не может оно стоять. Время — оно умнее нас... А синяки, брат, скоро пройдут! Скоро!..

И Константину в эту минуту показалось, что Плешей никогда не знал того одиночества, какое знал он все эти последние дни, и еще показалось ему, что в живых глазах Плешей, в его тяжелых плечах, распирающих поношенный пиджачок, в руках его, положенных на колени, были доброта и мужское спокойствие.

— Скажите, Федор Иванович... Ответьте мне еще на один вопрос. Вы ведь давно в партии...

— С тридцать второго. А что?

— Нет, ничего. Это — так... Ася! — позвал Константин и встал, глядя на дверь в другую комнату.— Я голоден, как тысяча чертей! Ты слышишь, Ася? Мы ждем тебя. У нас гость.

— Я иду. Я готова.

«Что было бы со мной, если бы не она? — опять подумал он.— За что она любит меня?»

Плешей сидел за столом, ожидая, старательно вправляя в мундштук сигарету.

Из другой комнаты приближались шаги.



НИНА КОРОЛЕВА

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Полярный порт на берегу реки.
Рыбацкий флот, замороженный во льдины,
И над рекою — ненцы рыбаки,
Как меховые крупные пингвины.

В глазах у них — такие зеркала,
Такие реки узкие сгустились,
Раскосые грачиные крыла
Взмегнулись — и на лица опустились,
Как будто тени черные на снег...

Их украшает зимний мех олений,
Узорами «рога» и «лыжный след»
Расшитый от плеча и до коленей,

Их украшают нарты на снегу,
Олень с рогами, древними, как камни,
Песцовый след, прорезавший тайгу
И круто оборвавшийся в капкане,—

Их украшает родина! Бог мой!
О, как ищу в душе своей влюбленной
Луч света, в невских шпилях преломленный
И отраженный невскою волной.

* * *

Ах, как рыба шелестела,
Как звенела на снегу!
Я от этого предела
Оторваться не могу...

Стынут лыжи-подволоки,
Доски в кожах и меху.
Две собаки белсбоких
Отдыхают на снегу.

А из невода, из невода —
Колокольцем серебро:
То ли нельма, то ли невидаль —
Рыба — красное перо...

В берегах река шаманит,
Человека в чашу манит —
Как оленей запах ягеля...
Руки мокрые, как ягоды,
Греет мех, как греют люди,—
Что меня еще не любят,—

Только звезды из-под неба нам
Да тулуп-медведица,
Только рыба из-под невода
Белокоже светится.

Да над прорубью таежную
В ненадежной тишине
Светят руки осторожные
В серебристой чешуе.

* * *

Пора мне, пора прощаться,
Пора пристегнуть ремни...
На стартовую площадку,
В растянутые огни —

Мой лайнер, моя помеха...
Винты — у моржа усы...
Везу оленьего меха
Серебряные кисы,

Везу, как большую рыбу,
Какую только могу,
Сибирь — ледяную глыбу,
Фонтан нефтяной в снегу,

Частицу сибирской славы —
Таежный домик-балок,
Нефтяника Мирослава
Украинский говорок...

На сердце его сestroю
Через всю страну
Стихи свои я настрою,
Как рацию на волну:

«Здравствуй,
Как слышишь?
Здравствуй!
Счастлив ли ты?
Прием!»

Вьюгой по снежным настам
Слышится: «Нефть даем...»

И снова: «Кто так прощается?
Ты Сибири не знаешь:
Люди сюда возвращаются,
А ты — уезжаешь...

Болота наши ковровые
Глубины такой,
Что шест четырехметровый
Можно воткнуть рукой.

Там океаны нефти
Черно лежат на дне...»

Я уезжаю нехотя,
Снежная, веришь мне?

Аэродромом ровным
Во мне твоя даль и ширь,
Дарованная мне Родина —
Западная Сибирь...

Ленинград.



ГЕНРИХ БЁЛЬ

★

ИРЛАНДСКИЙ ДНЕВНИК

Такая Ирландия есть; но пусть тот, кто поедет туда и не найдет ее, не требует от автора возмещения убытков.

Прибытие. I

Не успел я подняться на борт парохода, как сразу увидел, услышал, учуял, что пересек границу. Я уже повидал одно из самых привлекательных обличей Англии — почти буколический Кент и мимоходом Лондон, это чудо топографии. Повидал я и одно из самых мрачных обличей Англии — Ливерпуль, но здесь, на пароходе, Англия кончилась. Здесь уже пахло торфом, с нижней палубы и из бара доносился гортанный кельтский говор, и общественный строй Европы принял совсем другие формы: бедность здесь уже была не пороком и не доблестью, а просто фактором общественного самосознания, не значащим ровно ничего — как и богатство. Складки на брюках утратили остроту лезвия, и английская булавка, эта древняя застежка кельтов и германцев, снова вступила в свои права. Там, где пуговица казалась точкой, которую поставил портной, словно запятую подвешивали булавку; знак вольной импровизации, она создавала складку в том месте, где пуговица делала ее невозможной. Я видел, как булавкой прикрепляли ярлык с обозначением цены, подставляли подтяжки, подменяли запонки и наконец как один мальчик употребил ее в качестве оружия, уколов в зад какого-то мужчину; мальчик удивился, даже испугался, потому что мужчина никак на это не реагировал; тогда мальчик ткнул в мужчину пальцем, чтобы установить, жив он еще или нет. Мужчина был жив, он расхохотался и хлопнул мальчика по плечу.

Все длиннее становилась очередь к окошечку, где за доступную цену выдавали щедрые порции западноевропейского нектара, именуемого чаем. Казалось, ирландцы изо всех сил стараются удержать и этот мировой рекорд, в котором они идут непосредственно перед Англией: почти десять фунтов чая потребляется ежегодно в Ирландии на душу населения. Другими словами, ежегодно через каждую ирландскую глотку протекает маленькое озеро чая.

Пока я медленно продвигался к окошку, у меня было достаточно времени, чтобы освежить в памяти другие рекорды Ирландии. Не только по чаепитию держит рекорд эта маленькая страна. Второй ее рекорд — по молодым священникам. (Кельнской епархии пришлось бы посвящать в сан почти тысячу священников ежегодно, чтобы сравниться с какой-нибудь маленькой ирландской епархией.) Третий рекорд Ир-

ландии — посещаемость кино, и снова (как много общего, несмотря на все различия!) она идет непосредственно впереди Англии. И наконец четвертый — самый важный (не берусь утверждать, что он находится в причинной связи с тремя первыми) — в Ирландии меньше самоубийств, чем где бы то ни было. Рекорды потребления виски и сигарет еще не установлены, но и в этой области Ирландия ушла далеко вперед, — Ирландия, маленькая страна, площадь которой равна Баварии, а населения в ней меньше, чем между Эссенем и Дортмундом.

Полуночная чашечка чая, когда ты дрожишь на западном ветру, а пароход медленно выходит в открытое море; потом виски наверху в баре, где все еще звучит гортанная кельтская речь — теперь только из одной ирландской глотки. В холле перед баром монахини, как большие птицы, устраиваются на ночлег; им тепло под чепцами, им тепло под длинными юбками, они медленно выбирают четки, как выбирает концы отходящее от причала судно. Молодой человек, стоящий у стойки с грудным младенцем на руках, потребовал пятую кружку пива и получил отказ. У его жены, которая с двухлетней девочкой стоит рядом, бармен тоже отобрал кружку и не стал наполнять ее снова. Бар медленно пустеет, смолкает гортанная кельтская речь, тихо кивают во сне монахини. Одна из них забыла выбрать свои четки, крупные бусины перекатываются от качки; супружеская пара, не получив больше пива, бредет мимо меня в угол; в углу из коробок и чемоданов сооружена маленькая крепость, где, притулившись с обеих сторон к бабушке, спят еще двое детей, и бабушкин черный платок греет всех троих. Грудного младенца и его двухлетнюю сестренку водворили в бельевую корзину, а родители молча протиснулись между двумя чемоданами и прижались друг к другу. Белая узкая рука мужчины, словно палатку, натягивает плащ. Все смолкло, только крепость из чемоданов тихо подрагивает в такт качке.

Я забыл приглядеть себе место на ночь, и теперь мне приходится шагать через ноги, ящики и чемоданы; в темноте светятся огоньки сигарет, ухо ловит обрывки тихих разговоров: «Коннемара... безнадежно... официантка в Лондоне...» Я забился между шлюпкой и кучей спасательных поясов, но здесь дует пронзительный сырой вест. Я встаю и иду по палубе. Пассажиры здесь скорее напоминают эмигрантов, чем людей, возвращающихся на родину. Ноги, огоньки сигарет, шепот, обрывки разговоров. Наконец какой-то священник хватается меня за полу и с улыбкой предлагает мне место возле себя. Я прислоняюсь к стенке, хочу уснуть, но вдруг справа от священника из-под серо-зеленого полосатого пледа раздается нежный и чистый голос:

— Нет, отец мой, нет, нет... Думать об Ирландии слишком горько. Раз в год мне приходится сюда ездить, чтобы повидать родителей. Да и бабушка у меня еще жива. Вы знаете графство Голуэй?

— Нет, — тихо сказал священник.

— Коннемара?

— Нет.

— Вам надо там побывать. И не забудьте на обратном пути посмотреть в Дублинском порту, что вывозит Ирландия: детей и священников, монахинь и бисквиты, виски и лошадей, пиво и собак...

— Дитя мое, — тихо сказал священник, — не следует перечислять все это подряд.

Под серо-зеленым плодом вспыхнула спичка и вырвала на мгновение из темноты резкий профиль.

— Я не верю в бога, — произнес нежный и чистый голос, — да, не верю, — так почему же я не могу поставить рядом священников и виски,

монахинь и бисквиты; я не верю и в Kathleen ní Houlihan¹, в эту ска-
зочную Ирландию. Я два года прослужила в Лондоне официанткой:
я видела, сколько проституток...

— Дитя мое,— тихо сказал священник.

— ...сколько проституток поставляет Лондону Kathleen ní Houlihan —
остров Святых.

— Дитя мое!

— Наш приходский священник тоже называл меня так: дитя мое...
По воскресеньям он приезжал к нам издалека на велосипеде, чтобы про-
честь проповедь, но и он не мог воспрепятствовать Kathleen ní Houlihan
вывозить самое ценное, что у нее есть — своих детей. Поезжайте в Конне-
мару, отец, вы наверняка еще не встречали так много прекрасных пейза-
жей и так мало людей. Может быть, вы и у нас когда-нибудь прочтете
проповедь. Тогда вы увидите, как смиренно я преклоняю колени
в церкви.

— Но вы же не верите в бога?

— Неужели вы думаете, что я могу позволить себе не ходить в цер-
ковь? Что я стану так огорчать моих родителей? «Наша милая девочка
набожна, все так же набожна. Наше милое дитя!» А когда я приеду,
бабушка поцелует меня, благословит и скажет: «Оставайся всегда такой
же набожной, милое мое дитя...» Вы знаете, сколько внуков у моей
бабушки?

— Дитя мое, дитя мое.— тихо сказал священник.

Ярко вспыхнула сигарета и снова осветила на несколько секунд
строгий профиль.

— Тридцать шесть внуков у моей бабушки, тридцать шесть; было
тридцать восемь, но одного убили в боях за Англию, а другой пошел ко
дну на английской подводной лодке. Тридцать шесть еще живы: два-
дцать в Ирландии, а остальные...

— Есть страны,— тихо сказал священник,— которые экспортируют
гигиену и мысли о самоубийстве, атомное оружие, пулеметы, автомо-
били...

— Я знаю,— ответил нежный, чистый девичий голос,— я все знаю.
У меня у самой брат священник, и два двоюродных тоже: только у них
одних из всей нашей родни есть автомобили.

— Дитя мое...

— Попробую вздремнуть. Спокойной ночи, отец мой, спокойной ночи.
Горящая сигарета полетела за борт. Серо-зеленый плед окутал узкие
плечи. Голова священника как бы укоризненно покачивалась из стороны
в сторону. А может, движение парохода было тому виной.

— Дитя мое,— еще раз тихо сказал священник, но ответа не последо-
вало.

Священник со вздохом откинулся назад и поднял воротник пальто.
На обратной стороне воротника были приколоты четыре английские бу-
лавки, четыре, нанизанные на пятаю, они раскачивались в такт легким
толчкам судна, медленно подплывающего сквозь серую мглу к острову
Святых.

Прибытие. II

Чашка чая, теперь уже на рассвете, когда ты дрожишь на западном
ветру, а остров Святых еще прячется от солнца в утреннем тумане. На
этом острове живет единственный народ Европы, который никогда нико-
го не завоевывал, хотя его самого завоевывали неоднократно — датчане,

¹ Кэтлин, дочь Холлиана — символический образ Ирландии. (Здесь и далее приме-
чания переводчиков.)

норманны, англичане. Лишь священников посылал он в другие земли, лишь монахов да миссионеров...

Как много серо-зеленых пледов, плотно окутывающих узкие плечи, как много суровых профилей вижу я вокруг, как много высоко поднятых священнических воротников с запасной английской булавкой, на которой болтаются еще две, гри, четыре... Узкие лица, воспаленные от бессонной ночи глаза, младенец в белье в корзине сосет из рожка молоко, а отец его тщетно требует пива там, где наливают чай. Утреннее солнце медленно извлекает из тумана белые дома, красно-белый огонь маяка мигает навстречу пароходу, а пароход, пыхтя, входит в гавань Дан-Лэри. Чайки приветствуют его. Серый силуэт Дублина выглянул из тумана и снова исчез; церкви, памятники, доки, газгольдеры, робкие дымки каминов. Время завтрака пока наступило для очень немногих, Ирландия еще спит. Носильщики на пристани протирают сонные глаза, таксисты дрожат на утреннем ветру.

Ирландские слезы встречают и родину и вернувшихся. Имена, словно мячики, летают в воздухе.

Я устало перешел с трапа на поезд, с поезда через несколько минут — на большой темный вокзал Вестленд-Рау, с вокзала — на улицу. В окне черного дома я увидел молодую женщину, убиравшую с подоконника оранжевый молочник. Она улыбнулась мне, и я улыбнулся в ответ.

Обладай я такой же несокрушимой наивностью, как тот молодой немецкий подмастерье, который в Амстердаме узнал о жизни и смерти, о нищете и богатстве господина Каннитферштана¹, я мог бы в Дублине узнать все о жизни и смерти, о нищете, богатстве и славе господина Сорри. Кого бы я ни спрашивал, о чем бы я ни спрашивал, я на все получал односложный ответ: «Сорри»². И хотя я не знал этого, но мог догадаться, что утренние часы между семьей и десятью — единственные, когда ирландцы склонны к односложности. Поэтому я решил не пускать в ход свои скудные познания в языке и с горя утешился тем, что я по крайней мере не так наивен, как наш достойный зависти подмастерье в Амстердаме. А до чего ж хотелось спросить: «Чьи это корабли стоят в гавани?» — «Сорри». — «А чьи это оборванные босоногие детишки?» — «Сорри». — «А кто этот таинственный молодой человек, который стоит на задней площадке автобуса и очень здорово подражает автоматной очереди: так-так-так — разносится в утреннем тумане?» — «Сорри». — «А кто скачет, кто мчится под утренней мглой при сером цилиндре и с тростью большой?» — «Сорри».

Я решил полагаться не столько на свой язык и чужие уши, сколько на собственные глаза и довериться вывескам, которые я тут же принялся изучать. И тогда все эти Джойсы и Ёитсы, Мак-Карти и Моллои, О'Нилы и О'Конноры предстали передо мною в качестве бухгалтеров, трактирщиков, лавочников. Даже следы Джекки Кугана вели, казалось, сюда же. И наконец я вынужден был принять решение, вынужден был признаться самому себе, что человека, который все еще одиноко стоит на своем высоком пьедестале и зябнет на прохладном утреннем ветру, зовут вовсе не Сорри, а Нельсон.

Я купил газету, вернее журнал, который назывался «Айриш Дайджест», меня тотчас же соблазнило объявление, которое я перевел так: «Разумная кровать и разумный завтрак»³ — и я решил для начала разумно позавтракать.

¹ Имеется в виду рассказ И.-П. Гебеля «Каннитферштан» (по-русски известен в стихотворном переложении В. А. Жуковского «Две были и еще одна»).

² Sorry — простите, не понимаю (англ.).

³ «Bed and Breakfast reasonable» — «Ночлег и завтрак по умеренным ценам» (англ.).

Если чай на континенте напоминает пожелтевший бланк почтового перевода, то на этих островах, к западу от Остенде, чай напоминает темные краски русских икон, сквозь которые светится позолота, — до тех пор, покада его не забелят молоком, а тогда он приобретает цвет кожи перекормленного грудного младенца. На континенте чай заваривают жидко, а подают в дорогих фарфоровых чашках; здесь в услужение чужестранцу равнодушно и чуть не задаром наливают из помятых жестяных чайников в толстые фаянсовые чашки воистину божественный напиток.

Завтрак был хорош, чай достоин своей славы, а на закуску мы получили бесплатную улыбку молодой ирландки, которая разливала чай.

Я развернул газету и сразу же наткнулся на письмо читателя, требовавшего, чтобы статуя Нельсона свергли с ее высокого пьедестала и заменили статуей богоматери. Еще одно письмо с требованием свергнуть Нельсона, еще одно...

Пробило восемь часов, вспыхнула словоохотливость ирландцев. Я был захлестнут потоком слов, из которых понял только одно: *Germany*¹. Тогда я решил дружелюбно, но твердо отбиваться их же оружием — словом «сорри» — и наслаждаться бесплатной улыбкой непричесанной богини чая, но вдруг меня спугнул внезапный грохот, я бы даже сказал — гром. Неужели же на этом удивительном острове так много поездов? Гром замер, распался на отдельные звуки и перешел в мощное вступление к «*Tantum Ergo*»². Ясно и отчетливо разносилось оно из соседней церкви святого Андрея и звучало над всей Вестленд-Рау. Незабываемым — как первые чашки чая и как те многие, что мне еще предстояло выпить в заброшенных грязных местечках, в отелях и у камина, — было и впечатление от всеобъемлющей набожности, заполнившей Вестленд-Рау вскоре после «*Tantum Ergo*». У нас лишь на пасху или на рождество можно увидеть, чтобы из церкви выходило столько людей. Впрочем, я не забыл исповедь безбожницы со строгим профилем.

Было всего только восемь часов утра и воскресенье — слишком рано, чтобы будить хозяина гостиницы, но чай остыл, а в кафе запахло бараньим жиром, и посетители взяли свои картонки и чемоданы и устремились к автобусам. Я вяло перелистывал «Айриш Дайджест», пытался переводить кое-какие первые строчки статей и заметок, как вдруг внимание мое привлекла чья-то мудрость, опубликованная на странице двадцать третьей. Я понял смысл этого афоризма задолго до того, как успел перевести: не переведенный, не выраженный по-немецки и, однако же, понятый, он производил даже более сильное впечатление, чем после перевода. «Кладбища полны людьми, без которых мир не мог обойтись». Мне показалось, что ради одной этой фразы стоило совершить путешествие в Дублин, и я порешил запрятать ее поглубже у себя в сердце на тот случай, если я вдруг возмню о себе. (Позднее она служила ключом, помогающим мне понять удивительную смесь из страсти и равнодушия, чудовищной усталости и безразличия в соединении с фанатизмом, с которой мне часто приходилось сталкиваться.)

Прохладные большие виллы прятались за рододендронами, пальмами и олеандрами, и я, несмотря на неприлично ранний час, решился наконец разбудить хозяина гостиницы. Вдалеке уже завиднелись горы и длинные ряды деревьев.

Всего через каких-нибудь восемь часов один мой соотечественник категорически заявил мне: «Здесь все грязно, все дорого и ни за какие деньги не достать настоящего карбоната», и я уже защищал Ирландию, хотя провел в ней всего десять часов, из которых пять проспал, час про-

¹ Германия (англ.).

² Католическая молитва.

сидел в ванне, час простоял в церкви и еще один час проспори́л с вышеупомянутым соотечественником, выдвинувшим против моих десяти часов целых шесть месяцев. Я страстно защищал Ирландию. Чаем, «Tantum Ergo», Джойсом и Йитсом сражался я против карбоната — оружия тем более для меня опасного, что я понятия о нем не имел и лишь смутно догадывался, что мой враг — какое-то мясное блюдо. (Только когда я уже давно вернулся домой и открыл словарь Дудена, я выяснил наконец, что карбонат — это жареная грудинка.) Однако боролся я напрасно: человек, едущий за границу, предпочитает оставлять дома все недостатки своей страны — о, эта домашняя суета! — но брать с собой ее карбонат. Должно быть, нельзя безнаказанно пить чай в Риме так же, как нельзя безнаказанно пить кофе в Ирландии — если, конечно, ты не попал к итальянцу. Я сложил оружие, сел в автобус и поехал в гостиницу, любясь по дороге бесконечными очередями перед кинотеатрами, которых здесь как будто великое изобилие. Утром, подумалось мне, народ толпится в церквях и перед ними, вечером — в кинотеатрах и перед ними. В зеленом газетном киоске, где меня вновь сразила улыбка молодой ирландки, я купил газеты, шоколад, папиросы. И тут мой взгляд упал на книгу, затерявшуюся среди брошюр. Белая ее обложка с красной каймой уже порядком испачкалась; продавалась эта древность за один шиллинг, и я купил ее. Это был «Обломов» Гончарова на английском языке. Я знал, что Обломов — из тех мест, которые находятся на четыре тысячи километров восточнее Ирландии, и все-таки мне подумалось, что ему самое место в этой стране, где так не любят рано вставать.

Помолись за душу Майкла О'Нила

На могиле Свифта я застудил сердце — так чисто было в соборе святого Патрика, так безлюдно, так много там стояло патриотических мраморных изваяний, так глубоко под холодными камнями покоился его неистовый настоятель и рядом с ним его жена — Стелла. Две квадратные медные плиты, надраенные до блеска, словно руками немецкой хозяйки; побольше — над Свифтом, поменьше — над Стеллой. Мне надо бы принести чертополох, цепкий, кустистый, голенастый, да несколько веточек клевера, да несколько нежных цветков без колючек, может быть, жасмин или жимолость — это был бы подходящий привет для обоих. Но руки мои были пусты, как эта церковь, холодны и чисты, как она. Со стен свисали приспущенные полковые знамена. Пахнут ли они порохом? Судя по их виду — должны пахнуть. Но сейчас здесь пахло только тленом, как во всех церквях, где уже много столетий не курят ладаном. Мне почудилось, будто в меня стреляют ледяными иглами, я обратился в бегство и только у самых дверей обнаружил, что в церкви был все-таки один человек, кроме меня, — уборщица, которая мыла щелоком входную дверь, чистила то, что и так было достаточно чистым.

Перед собором стоял ирландец-нищий — первый, который мне здесь встретился. Такие бывают только в южных странах, но на юге тепло и солнечно, а здесь, к северу от пятидесяти третьего градуса северной широты, тряпье и лохмотья выглядят несколько иначе, чем к югу от тридцатого, здесь нищету поливает дождь, а грязь не покажется живописной даже самому неисправимому эстету, здесь нищета заби́лась в трущобы вокруг святого Патрика, в закоулки и дома — точно такая, как описал ее Свифт в 1743 году.

Болтались пустые рукава куртки нищего — грязные чехлы для несуществующих рук. Лицо подергивалось от эпилептической дрожи, и все-таки это худое смуглое лицо было прекрасно красотой, которую подоба-

ло запечатлеть в другой, не в моей записной книжке. Я должен был вставить зажженную сигарету прямо ему в рот, деньги положить прямо в карман. Мне показалось, что я подал милостыню покойнику. Темнота нависла над Дублином: все оттенки серого, которые только есть между белым и черным, отыскили себе в небе по облачку; небо было усеяно перьями бесчисленной серости — ни клочка, ни полоски ирландской зелени. Медленно, дергаясь, побрел нищий под этим небом из парка святого Патрика в свои трущобы.

В трущобах грязь черными хлопьями покрывает оконные стекла, словно ее нарочно выскребли для этого из каминов, выудили из каналов, впрочем, здесь мало что делают нарочно, да и само собой мало что делается. Здесь есть выпивка, любовь, молитва и брань, здесь пламенно любят бога и, должно быть, так же пламенно его ненавидят.

В темных дворах, которые видел еще глаз Свифта, десятилетия и столетия отложили эту грязь — гнетущий осадок времен. В окне лавки старьевщика навалена невообразимая пестрая рухлядь, а чуть поодаль я наткнулся на одну из целей моего путешествия — это был трактир, разделенный на стойла с кожаными занавесками. Здесь пьяница запирается как лошадь, чтобы остаться наедине со своим виски и своим горем, с верой и неверием; в кессонной камере пассивности он спускается на дно времени и сидит там, пока не кончатся деньги, пока не придется снова вынырнуть на поверхность времени и через силу поработать веслом — совершая движения бессмысленные и беспомощные, ибо каждая лодка неуклонно приближается к темным водам Стикса. Не удивительно, что для женщин — этих тружениц нашей планеты — нет места в таких кабаках; мужчина здесь остается наедине со своим виски, далекий от всех дел, которые ему навязали, дел, имя которым — семья, профессия, честь, общество. Виски горько и благотворно, и где-нибудь на Западе, за четыре тысячи километров отсюда, и где-нибудь на Востоке, за двумя морями, есть люди, которые верят в деятельность и прогресс. Да, есть такие люди, и виски горько и благотворно. Хозяин с бычьим затылком приносит в стойло очередной стакан. Глаза у хозяина трезвые, голубые: он верит в то, во что не верят люди, его обогащающие. Деревянные переборки, обшивка, стены впитывают шутки и проклятья, надежды и молитвы. Сколько их там?

Кессонная камера для пьяниц-одиночек все глубже опускается на темное дно времени, мимо рыб и затонувших кораблей, но и здесь, внизу, нет больше покоя с тех пор, как водолазы усовершенствовали свои приборы. А потому — вынырнуть, набрать в легкие воздуха и снова заняться теми делами, имя которым — честь, профессия, семья, общество, куда водолазы не пробуровили кессон! «Сколько?» Монеты, много монет брошено в жесткие голубые глаза хозяина.

Небо все еще затянуто всеми оттенками серого цвета, все еще не видно ни одного из бесчисленных обличей ирландской зелени, и я направляюсь к другой церкви. Прошло очень мало времени: у входа в церковь стоит тот же нищий, и какой-то школьник как раз вынимает у него изо рта сигаретку, которую я сунул. Мальчик тщательно затушил ее, чтоб не пропало ни крошки табака, и осторожно спрятал окурочек в карман ничего, потом он снял с него шапку: кто же осмелится, даже если у него нет обеих рук, войти в дом божий, не сняв шапки? Перед нищим отворили двери, пустые рукава полоснули по дверному косяку, мокрые, грязные рукава, будто нищий вывалил их в сточной канаве, — но там, в церкви, никому нет дела до грязи.

Безлюден, чист и прекрасен был собор святого Патрика; здесь же полно людей и аляповатых украшений и не то чтобы грязи, а неопрятности — так выглядят комнаты в многодетных семьях. Некоторые люди —

среди них, я слышал, есть один немец, который таким путем распространяет в Ирландии достижения немецкой культуры, — зарабатывают немалые деньги на производстве гипсовых фигур, но гнев на фабрикантов халтуры ничтожен по сравнению с тем, который вызывают у меня люди, преклоняющие колена перед их продукцией: чем пестрее, тем лучше; чем аляповатее, тем лучше; желательно, чтобы «как живой!» (Осторожней, богомолец, — живой — это совсем не «как живой!»)

Темноволосая красавица — с вызывающим видом оскорбленного ангела — молится перед статуей святой Магдалины; на ее лице — зеленоватая бледность, ее мысли и молитвы заносятся в неведомую мне книгу. Школьники с клюшками под мышкой вымаливают себе избавление от голгофы; в темных углах горят лампы перед сердцем Иисуса, перед святым Антонием, перед святым Франциском: из религии здесь выжимают все до остатка. Нищий сидит на последней скамье и старается подставить свое подрагивающее лицо под струю благовоний.

Заслуживают внимания новинки божественной индустрии: неоновый нимб вокруг головы девы Марии и фосфоресцирующий крест в сосуде со святой водой, розовым светом озаряет он полумрак церкви. Будут ли раздельно занесены в книгу судеб те, кто молится здесь, перед этой безвкусицей, и те, кто молится в Италии перед фресками фра Анжелико?

Красавица с зеленоватой бледностью все еще не отводит взгляда от Магдалины, лицо нищего все еще подергивается, его тело охвачено дрожью, и от этой дрожи позвякивают монеты у него в кармане. Мальчики с клюшками, должно быть, знают нищего, умеют читать подрагивание его лица и тихое бормотание: один из них лезет к нищему в карман, на грязной мальчишеской ладони оказываются четыре монетки — два пенни, один шестипенсовик и один трехпенсовик. Один пенни и трехпенсовик остаются на ладони мальчика, остальные со звоном падают в церковную кружку. Вот где проходят границы математики, психологии, экономики — границы всех более или менее точных наук, — они накладываются одна на другую в эпилептическом подергивании лица: основа слишком убогая, чтобы на нее можно было положиться. Но все еще живет в моем сердце холод, унесенный с могилы Свифта: чистота, безлюдье, мраморные статуи, боевые знамена и женщина, которая наводила чистоту там, где и так уже было достаточно чисто. Прекрасен собор святого Патрика, уродлива эта церковь, но в ней молятся, и на скамьях я нашел то, что находил на многих церковных скамьях Ирландии — маленькие эмальированные таблички с призывом помолиться. «Помолись за душу Майкла О'Нилла, скончавшегося 17.1.1933 в возрасте 60 лет». «Помолись за душу Мэри Киген, скончавшейся 9 мая 1945 года в возрасте восемнадцати лет». Какое благочестивое и ловкое принуждение: мертвые оживают, даты их смерти связываются в представлении того, кто прочтет табличку, с его собственными переживаниями в этот день, в этот месяц, в этот год. Гитлер с подергивающимся лицом мечтал о власти, когда здесь умер шестидесятилетний Майкл О'Нилл; Германия капитулировала, когда здесь умерла восемнадцатилетняя Мэри Киген. «Помолись, — прочел я, — за душу Кевина Кессиди, скончавшегося 20.12.1930 в возрасте тринадцати лет», — и меня словно ударило электрическим током, ибо в декабре 1930 года мне самому было тринадцать лет: я сидел в большой темной квартире доходного дома — так их еще называли в 1908 году — в южной части Кельна, сидел с рождественским табелем в руках: начался каникулы, и сквозь прореху в коричневой шторке я глядел на заснеженную улицу.

Улица казалась красноватой, словно ее вымазали ненастоящей, бутфорской кровью: красны были сугробы, красно небо над городом, даже

скрежет трамвая на кругу — и тот казался мне красным. Но когда я выглядывал в щель между шторами, я видел все так, как было на самом деле: тронутые коричневым края снежных холмиков, черный асфальт, у трамвая цвет давно не чищенных зубов, а когда трамвай разворачивался на кругу, скрежет его представлялся мне светло-зеленым — ядовитая зелень окропляла голые ветви деревьев.

Итак, в этот день в Дублине умер тринадцатилетний Кевин Кессиди, мой ровесник: здесь устанавливали катафалк, с хоров неслись звуки «Dies irae»¹, перепуганные одноклассники Кевина заполняли скамьи; ладан, жар от свечей, серебряные кисти на черном покрывале, — а я в это время спрятал табель и достал из сарая санки, чтобы идти кататься. Я получил четверку по латыни, а гроб Кевина опустили в могилу.

Потом, когда я покинул церковь и пошел по улице, рядом со мной неотступно шел Кевин Кессиди: я видел его живым, одного со мной возраста, а себя я увидел на несколько минут тридцатисемилетним Кевином Кессиди — он был отцом троих детей, жил в трущобах за собором святого Патрика (виски было горьким, холодным и дорогим, а от могилы Свифта исходил ледяной холод), зеленоватая бледность была на лице у его темноволосой жены, и долги у него были, и маленький домик, каких немало в Лондоне и тысячи в Дублине: скромный, двухэтажный, бедный или мещанский, затхлый, безотрадный — сказал бы о нем неисправимый эстет (не увлекайся, эстет: в одном из таких домов родился Джеймс Джойс, в другом — Шон О'Кейси).

Так близко была тень Кевина, что, вернувшись в трактир, я заказал два виски. Но тень не поднесла стакан к губам, и потому я сам выпил за Кевина Кессиди, скончавшегося 20.12.1930 в возрасте тринадцати лет, выпил вместо него — и за него.

Мэйо — да поможет нам бог!

В центре Ирландии, в Атлоне, в двух с половиной часах от Дублина, если ехать скорым, поезд делят пополам. Лучшая часть с вагон-рестораном идет дальше в Голуэй, часть похуже, та, где остались мы, — в Уэстпорт. Разлука с вагон-рестораном, где как раз накрывали второй завтрак, была бы еще более печальной, если бы у нас были деньги — английские или ирландские, — чтобы оплатить завтрак, первый ли, второй ли. Но поскольку между прибытием парохода и отходом поезда у нас было всего полчаса, а дублинские банки открывались только в половине десятого, мы располагали сейчас лишь легкими, но совершенно здесь бесполезными купюрами, которые поставляются банками Германии; изображение Фуггера² в средней Ирландии не котируется.

Я еще не совсем забыл, какого страху натерпелся в Дублине: когда, желая обменять деньги, я выбежал из вокзала, меня чуть не переехал огненно-красный фургон, не имевший на себе других украшений, кроме четко выведенной свастики. То ли «Фелькишер Беобахтер»³ продал Ирландии свой автомобиль, то ли у «Фелькишер Беобахтер» здесь сохранился склад. Машины, которые я еще помню, выглядели точно так же, однако шофер, перекрестившись, любезно уступил мне дорогу, а при ближайшем рассмотрении все окончательно выяснилось: это была просто-

¹ Католическая зауспокойная молитва.

² Фуггер — представитель крупнейшего немецкого торгово-ростовщического дома XV—XVII веков: бумажные деньги ФРГ снабжены изображением Фуггера.

³ Гитлеровский эффенюз.

напросто машина прачечной. «Свастика» и дата основания фирмы — 1912 год — была четко выведена снизу, но от простой мысли, что это мог быть один из тех автомобилей, у меня перехватило дыхание.

Все банки были закрыты, и, расстроенный, я вернулся на вокзал, решив пропустить сегодняшний поезд в Уэстпорт, потому что заплатить за билеты было нечем. У нас оставался выбор: либо снять номер в отеле и ждать завтрашнего дня и завтрашнего поезда (вечерний поезд не совпадая с расписанием нашего автобуса), либо изыскать какой-нибудь способ, чтобы уехать ближайшим поездом и без билета. Какой-нибудь способ сыскался: мы поехали в кредит. Начальник станции, тронутый видом трех невыспавшихся детишек, двух приунывших женщин и одного совершенно растерянного папаша (две минуты назад едва не угловидшего под машину со свастикой), подсчитал, что ночь в отеле будет нам стоить столько же, сколько вся поездка в Уэстпорт. Он записал мое имя, «количество лиц, перевозимых в кредит», ободрительно пожал мне руку и дал сигнал к отправлению.

Вот так на этом удивительном острове мы сподобились единственного в своем роде кредита, которым никогда не пользовались и не пытались пользоваться: кредита у железной дороги.

Но — увы! — завтраков в кредит вагон-ресторан не предоставлял. Попытка получить таковые потерпела крушение. Физиономия Фуггера, хотя и отпечатанная на превосходной бумаге, не подействовала на старшего официанта. Мы со вздохом разменяли последний фунт и попросили термос чая и пакет бутербродов. А на долю проводников выпала нелегкая обязанность — занести в свои книжечки наши диковинные имена. Занесли раз, два, три, и мы забеспокоились: раз, два или три придется нам выплачивать этот единственный в своем роде долг?

В Атлоне сменился проводник, пришел новый — рыжий, старательный и молодой. Когда я признался ему, что мы едем без билетов, лицо его озарилось светом понимания: ему явно сообщили о нас, телеграф явно передавал со станции на станцию и наши имена, и «число лиц, перевозимых в кредит».

За Атлоном наш, после разделения ставший пассажирским, поезд еще четыре часа полз, извиваясь мимо все более мелких, все более западных станций. Самые приметные остановки между Атлоном (девять тысяч жителей) и побережьем таковы: Роскоммон и Клэрморрис, населения которых хватило бы на три больших городских дома; далее Кастьльбар — столица графства Мэйо — с четырьмя и Уэстпорт с тремя тысячами жителей; на отрезке пути, равном примерно расстоянию от Кельна до Франкфурта-на-Майне, плотность населения неуклонно падает, потом начинается большая вода, а за ней — Нью-Йорк, где проживает в три раза больше людей, чем во всем Свободном Государстве Ирландия, и в три раза больше ирландцев, чем в трех ирландских графствах за Атлоном.

Вокзалы здесь маленькие, станционные постройки светло-зеленые, а палисадники — снежно-белые. На перроне обычно стоит мальчик, смастеривший себе из взятого у матери подноса и кожаного ремня лоток, на котором лежат три шоколадки, два яблока, несколько пакетиков с мятными лепешками, жевательная резинка и один комикс. Одному из этих мальчиков мы хотели доверить наш последний серебряный шиллинг, но затруднились выбором: женщины высказались за яблоки и мятные лепешки, а дети — за резинку и комикс. Мы пошли на компромисс и купили комикс и шоколадку. У комикса было многообещающее название: «Человек — летучая мышь», и на ее обложке можно было различить человека в маске, карабкавшегося по стене дома.

На маленьком вокзале среди болот остался улыбающийся мальчик. Цвел колючий дрок, набухли почки на фуксиях. Нехоженые зеленые холмы, кучи торфа, — да, зелена Ирландия, очень зелена, но зелень ее — это не только зелень лугов, это — во всяком случае на пути от Роскоммона к Мэйю — еще и зелень мхов, а мох — это растительность упадка и заброшенности. Земля покинута, она пустеет медленно, но неуклонно; и нам — никто из нас еще не видел этого уголка Ирландии и не бывал в том доме, который мы сняли где-то на западе Ирландии, — нам стало немного не по себе; тщетно искали мои спутницы вдоль дороги картофельные поля и огороды, свежую зелень салата, темную — гороха. Мы разделили плитку шоколада и пытались утешиться комиксом. Но «Человек — летучая мышь» оказался прежде всего плохим человеком: он не только карабкался на стены домов, как обещала обложка, — одной из его любимых забав было пугать спящих женщин; кроме того, расправив полы своего пальто, он умел летать, он похищал миллионы долларов, и все его деяния были описаны на таком английском языке, какого не изучают ни в школах на континенте, ни в школах Англии и Ирландии. Он был очень сильный, этот человек, очень справедливый, но суровый, а когда видел несправедливость, то и свирепый. Он мог даже при случае выбить кому-нибудь зубы, и звук, сопровождавший это действие, изображался выразительным «хрясь». Нет, не развлек нас «Человек — летучая мышь».

Впрочем, у нас осталось другое развлечение: явился наш рыжий проводник и, улыбаясь, переписал наши имена в пятый раз. Наконец нам открылась тайна этого бесконечного переписывания: мы пересекли границу очередного графства и прибыли в Мэйю. У ирландцев есть занятная привычка: всякий раз, когда произносят название графства Мэйю (все равно — хвала, порицая или просто так), всякий раз, когда прозвучит слово «Мэйю», ирландцы немедленно присовокупляют: «God help us!»¹ — и это звучит, как рефрен в богослужении.

Проводник исчез, торжественно заверив нас, что переписывать больше не будет, и поезд остановился у маленькой станции. Выгружали здесь то же, что и всюду: сигареты и больше ничего. Мы уже научились судить по величине тюков о размерах прилегающего к станции района; проверка по карте подтвердила правильность этого метода. Я пошел вдоль поезда к багажному вагону посмотреть, сколько еще осталось тюков с сигаретами. Там лежал один маленький тюк и один большой — так я узнал, сколько нам еще осталось станций. Поезд угрожающе опустел. Я насчитал от начала до хвоста восемнадцать человек, а ведь нас одних было шестеро, и нам показалось, будто уже целую вечность мы едем мимо торфяных куч и мимо болот. И до сих пор ни разу не попалась нам на глаза ни свежая зелень салата, ни темная зелень гороха, ни горькая зелень картофельной ботвы. «Мэйю, — шепнули мы, — да поможет нам бог!»

Поезд остановился, выгрузили большой тюк сигарет, а поверх белоснежной ограды платформы смотрели на нас темные лица, затененные козырьками, — мужчины, судя по всему охраняющие автоколонну. Мне уже и на других станциях бросались в глаза автомобили и выжидающие мужчины при них, но лишь здесь я вспомнил, как часто я видел их раньше. Они показались мне такими же знакомыми, как тюки с сигаретами, как наш проводник, как ирландские товарные вагоны, которые почти в два раза меньше английских и континентальных. Я пошел в багажный вагон, где наш рыжий друг примостился на последнем тюке с сигаретами. С превеликой осторожностью употребляя английские сло-

¹ Да поможет нам бог! (англ.)

ва — так начинающий жонглер обращается с тарелками,— я спросил его, что это за люди с козырьками и зачем у них автомобили; я ожидал услышать в ответ какие-нибудь перенесенные в современность фольклорные мотивы — похищения, разбойники,— а услышал ошеломляюще простое объяснение.

— Это такси,— ответил проводник, и я облегченно вздохнул.

Значит, хоть такси здесь есть, так же, как и сигареты. Проводник, кажется, угадал мою скорбь: он протянул мне сигарету, я с удовольствием взял ее, он дал мне прикурить и сказал с многообещающей улыбкой:

— Через десять минут мы будем у цели.

Через десять минут, точно по расписанию, мы оказались в Уэстпорте. Здесь нам устроили торжественную встречу. Сам начальник вокзала, крупный и представительный пожилой господин, приветливо улыбаясь, встречал нас у вагона, в знак приветствия он поднес к фуражке свой большой латунный жезл — символ своего достоинства. Он помог выйти дамам и детям, он подозвал кивком головы носильщика, он целеустремленно, но незаметно подтолкнул меня к своему кабинету, записал мое имя, мой ирландский адрес и отечески посоветовал мне не обольщаться надеждой на то, что в Уэстпорте мне удастся обменять деньги. Он заулыбался еще приветливей, когда я показал ему портрет Фуггера, и, ткнув пальцем в Фуггера, сказал, чтобы успокоить меня:

— A nice man, a very nice man!¹ Это не к спеху, право же не к спеху, заплатите когда-нибудь. Не беспокойтесь, пожалуйста.

Я еще раз назвал ему обменный курс западногерманской марки, но представительный старец лишь качнул свой жезл и сказал:

— На вашем месте я бы не стал беспокоиться. (Хотя плакаты самым решительным образом убеждают нас беспокоиться: «Подумайте о своем будущем!», «Уверенность прежде всего!», «Обеспечьте своих детей!»)

Но все равно я беспокоился. Досюда кредита хватило, но хватит ли его дальше — нам два часа ждать автобуса и еще два с половиной часа ехать по графству Мэйо — да поможет нам бог!

Мне удалось с помощью телефонного звонка извлечь директора банка из дома; он пришел, высоко подняв брови,— рабочий день уже кончился, но я сумел убедить его в относительной безвыходности своего положения — деньги есть, а в кармане ни гроша,— и брови его поползли вниз. Однако мне не удалось его убедить в платежеспособности фуггеровских изображений...

— Я должен переслать ваши деньги в Дублин,— сказал он.

— Деньги? — переспросил я.— Вот эти бумажки?

— Разумеется,— сказал он,— а что мне здесь делать с ними?

Я опустил голову: он прав, что ему здесь с ними делать?

— А сколько времени пройдет, пока вы получите ответ из Дублина? — сказал я.

— Четыре дня,— сказал он.

— Четыре дня,— сказал я.— «God help us!» — Это я по крайней мере усвоил.

Но тогда не может ли он под залог пакета с моими деньгами предоставить мне хоть небольшой кредит? Он задумчиво поглядел на Фуггера, на меня, открыл сейф и дал мне два фунта.

Я промолчал, подписал одну квитанцию, получил от него другую и покинул банк. На улице, разумеется, шел дождь и мой people², исполненный надежд, ждал меня на остановке автобуса. Голод смотрел на ме-

¹ Славный человек, очень славный! (англ.)

² Народ (англ.).

ня из их тоскующих глаз, ожидание помощи — надежной, мужской, отцовской, и я решился сделать то, на чем и зиждется миф о мужестве: я решился солгать. Широким жестом пригласил всех к чаю с ветчиной, и яйцами, и салатом — и откуда он только взялся? — с печеньем и мороженым и был счастлив, когда после уплаты по счету у меня осталось еще полкроны. Полкроны мне хватило на десяток сигарет, спички и на шиллинг сдачи.

Я еще не знал того, что узнал четыре часа спустя: что и чаевые можно давать в кредит. А едва мы оказались у цели, на окраине Мэйо, почти у Эчилл Хилд, отделенной от Нью-Йорка только водой, кредит расцвел самым пышным цветом; дом был белее снега, рамы и наличники — цвета морской лазури, в камине горел огонь. На торжественном — в нашу честь — обеде подавали свежую лососину. Море было светло-зеленым — там, где волны набегали на берег, темно-синим — до середины бухты, а там, где оно разбивалось об остров Клэр, виднелась узкая, очень белая полоска.

А вечером мы получили то, что стоит дороже любых наличных денег: мы получили от хозяина гостиницы книгу записи приезжающих. Книга была толстая, почти на восемьдесят страниц, очень основательно переплетенная в красный сафьян и, судя по всему, рассчитанная на века.

Итак, мы у цели, в Мэйо — да поможет нам бог!

Скелет человеческого поселения

Внезапно — когда мы поднялись на вершину горы — перед нами открылся на близлежащем склоне скелет заброшенной деревни. Никто нам о ней не рассказывал, никто нас о ней не предупреждал; в Ирландии слишком много заброшенных деревень. Церковь нам показали, кратчайший путь к морю — тоже, и лавку, в которой продается чай, масло и сигареты, и газетный киоск, и маленькую пристань, где во время отлива остаются в тине дохлые акулы, они лежат кверху черными спинами, напоминая опрокинутые лодки, если последняя волна прилива не перевернет их кверху белым брюхом, из которого вырезана печень, — все это сочли достойным упоминания. Все, кроме покинутой деревни. Серые каменные фронтоны, похожие один на другой, поначалу явились нам без перспективы, как неумело расставленные декорации для фильма с призраками. Затаив дыхание, мы начали считать, досчитав до сорока, махнули рукой, а было их там не меньше сотни. За следующим поворотом дороги угол зрения изменился, и мы увидели ее теперь со стороны — остовы домов, которые, казалось, еще ждут руки плотника: серые каменные стены, темные проемы окон, ни кусочка дерева, ни клочка материи, ничего пестрого — словно тело, лишенное волос, глаз и крови; скелет деревни с жесточайшей четкостью очертаний — вот главная улица, а там, на повороте, где маленькая круглая площадь, был, должно быть, трактир. Переулок, один, другой. То, что не из камня, — изглодано дождем, солнцем, ветром. И еще временем, которое сочится упорно и терпеливо — по двадцать четыре больших капли в сутки — кислота, разъедающая все на свете так же незаметно, как смирение...

Если бы кто-нибудь попытался нарисовать это — костяк человеческого поселения, в котором сто лет назад жило, быть может, пятьсот человек, сплошь серые треугольники и четырехугольники на зеленовато-сером склоне горы, если бы он вставил в свою картину и девочку в красном пуловере, что как раз идет по главной улице с корзиной торфа (мазок красным — пуловер, темно-коричневым — торф, светло-коричне-

вым — лицо), и добавил бы ко всему белых овец, что как вши расплозились между остовами домов, этого художника сочли бы безумным: настолько, оказывается, абстрактна наша действительность. Все, что не из камня, изглодано ветром, солнцем, дождем и временем и живописно раскинулось на угрюмом склоне, как анатомическое пособие для изучения скелета деревни — «вон там, посмотри-ка, совсем как позвоночник», — главная улица, она даже искривлена немного, как позвоночник человека, привыкшего к тяжелой работе; все косточки целы: и руки на месте, и ноги — переулки и чуть склоненная набок голова — церковь, серый треугольник, чуть побольше других. Левая нога — улица, что идет на восток, вверх по склону; правая — в долину, она немного короче, это скелет прихрамывавшего существа. Так мог бы выглядеть — пролежи он триста лет в земле — вон тот человек; четыре тощих коровы медленно увлекают его к пастбищу, оставляя своего хозяина в приятном заблуждении, будто это он их пасет. Правая нога у него короче — из-за какого-то несчастного случая, спина согнута тяжестью корзин с торфом, да и голова непременно склонится набок, когда тело опустят в землю. Он перегнал нас и буркнул «Nice day»¹, а мы еще не набрались духу, чтобы ответить ему или расспросить об этой деревне.

Разбомбленные города, разрушенные снарядами деревни выглядят не так. Бомбы и снаряды — это не более как удлиненные томагавки, топоры, молоты, с их помощью люди разрушают и сокрушают. Здесь нет никаких следов насилия: время и стихия с бесконечным терпением изглодали все, что не было камнем, а из земли растут подушки — мох и трава, — на которых, словно реликвии, покоятся эти кости.

Никто не пытался здесь опрокинуть стену или растаскать на дрова заброшенный дом, хотя дрова здесь великая ценность (у нас это называется «распатронить», но здесь никто не «распатронивает» дома). Даже дети, те, что по вечерам гонят скот поверху мимо заброшенной деревни, даже дети не пытаются повалить стену или высадить дверь. Наши дети, как только мы очутились в деревне, сразу же попытались это сделать: сровнять что-нибудь с землей; податливые части заброшенных жилищ оставлены в добычу ветру и дождю, солнцу и времени, и спустя шестьдесят, семьдесят или сто лет остаются лишь каменные остовы, и никогда больше ни один плотник не отпразднует здесь окончание стройки. Вот как выглядит человеческое поселение, которое после смерти оставили в покое.

Со стесненным сердцем шли мы между голыми фасадами по главной улице, сворачивали в переулки, и стеснение мало-помалу отлегалось от сердца: на дороге росла трава, мох затянул стены и картофельные поля, карабкался вверх по стенам, и камни фронтонов, лишённые штукатурки, были уже не бутом, не кирпичом, а каменной осыпью, какую наносят в долину горные ручьи; перемычки над окнами и дверьми были как горные плато, и широкими, как плечевые кости, были каменные плиты, торчавшие из стен в том месте, где был камин: на них висела когда-то цепь для котла, и синеватые картофелины варились в коричневатой воде.

Мы шли от дома к дому, как разносчики, и каждый раз, когда мы переступали порог и узкая тень мелькала над нашими головами, на нас вдруг обрушивался квадрат голубого неба: побольше — там, где жили когда-то люди с достатком, поменьше — у бедняков. Лишь размеры голубого квадрата отличали теперь один дом от другого. Во многих комнатах уже рос мох, многие дороги уже скрылись под коричневатой водой; из передних стен еще торчали кой-где крюки для скотины, бычьи бедренные кости, к которым прикрепляли цепь.

¹ Добрый день (англ.).

- Здесь был очаг!
- Там кровать!
- Здесь, над камином, висело распятие.

— Там стеной шкаф — две вертикальные каменные пластины, а между ними зажаты две горизонтальные. В этом шкафу дети обнаружили железный стержень, который, как только его вытащили, рассыпался от прикосновения в труху: осталась только сердцевина, не толще гвоздя, и по просьбе детей я сунул ее в карман — на память.

Пять часов провели мы в деревне, но время промелькнуло быстро, потому что ничего не происходило. Мы только спугнули несколько птиц, да овца удрала от нас в пустой оконный проем — вниз по склону. На окостеневших кустах фуксии висели кровавые цветы. На отцветающем дрово висели желтые листья — как грязные медяки; прозрачные кристаллы кварца, словно кости, выступали из мха. На улицах нет мусора, в канавах нет отбросов, не слышно ни звука. Быть может, нам просто хотелось снова увидеть девочку в красном пуловере и с корзиной коричневого торфа, но она не пришла.

Когда на обратном пути я сунул руку в карман, чтобы еще раз взглянуть на железный стержень, я достал лишь красно-бурую пыль того же цвета, что и болото справа и слева от дороги; в болото я ее и высыпал.

Никто не мог точно сказать, когда и почему была покинута деревня: в Ирландии слишком много покинутых домов; куда ни пойдешь, их за два часа насчитаешь несколько: этот покинут лет десять назад, этот — двадцать, а тот — пятьдесят или восемьдесят. А есть и такие дома, где еще не заржавели гвозди в досках, которыми заколочены окна и двери, куда еще не проникли ни дождь, ни ветер.

Старушка, жившая в соседнем доме, не смогла нам сказать, давно ли покинута деревня, потому что в восьмидесятые годы, когда она была еще девочкой, в деревне уже никто не жил. Из шести ее детей только двое осталось в Ирландии; двое живут и работают в Манчестере, двое — в Соединенных Штатах. Одна дочь замужем здесь, в деревне (у этой дочери тоже шестеро детей, и двое, наверно, тоже уедут в Англию, а двое — в Америку). С ней остался только старший сын; когда он гонит скотину с пастбища, его на расстоянии можно принять за шестнадцатилетнего, когда он сворачивает на деревенскую улицу — ему не дашь больше тридцати пяти, а когда он проходит мимо нашего дома и с робкой ухмылкой заглядывает в окно — видно, что ему все пятьдесят.

— Он не хочет жениться, — сказала его мать, — ну не срам ли это?

Конечно, срам. Он такой работающий и чистоплотный, он выкрасил в красный цвет ворота и каменные шишечки на ограде и в синий — оконные рамы под зеленой крышей из дерна; в глазах его всегда живет смех, и осла своего он похлопывает по спине очень ласково.

Вечером, когда мы брали у них молоко, мы спросили его о покинутой деревне, но он ничего не мог нам рассказать. Ровным счетом ничего. Он никогда там не был, пастбищ у них там нет, и торфяные ямы лежат в другой стороне, к югу, недалеко от памятника ирландскому патриоту, повешенному в 1799 году.

— Вы уже видели его?

Да, мы уже видели его, и Тони снова уходит, пятидесяти лет от роду, он на углу превращается в тридцатилетнего, а выше, на склоне горы, где он мимоходом треплет осла по холке, — в шестнадцатилетнего; но когда он задерживается на мгновение возле живой изгороди из фуксии, прежде, чем скрыться за ней, он вдруг становится похож на мальчишку, каким был когда-то.

Странствующий дантист от политики

— Скажи мне по совести,— спросил меня Патрик после пятой кружки пива,— не думаешь ли ты, что все ирландцы полусумасшедшие?

— Нет,— сказал я,— я думаю, что только половина ирландцев — полусумасшедшие.

— Тебе надо бы стать дипломатом,— сказал Патрик и заказал шестую кружку,— а теперь скажи мне уже совсем по совести: не думаешь ли ты, что ирландцы — счастливый народ?

— Я думаю,— сказал я,— вы счастливее, чем вам кажется, а если бы вы догадались, как вы счастливы, вы бы уж как-нибудь нашли причины, чтоб быть несчастными. У вас немало причин чувствовать себя несчастными, а помимо того вы любите поэтическую сторону несчастья. За твое здоровье!

Мы выпили, и только после шестой кружки Патрик решился наконец спросить меня о том, о чем уже давно собирался спросить.

— А скажи-ка,— спросил он тихо,— ведь Гитлер был, мне думается, не такой уж плохой человек? Просто он, мне думается, слишком далеко зашел.

Моя жена ободряюще кивнула мне.

— А ну,— тихо сказала она по-немецки,— не робей, выдерни у него этот зуб.

— Я не зубной врач,— так же тихо ответил я жене,— и мне надоело по вечерам ходить в бар: всякий раз я должен выдирать зубы, всякий раз одни и те же, хватит с меня.

— Дело того стоит,— сказала моя жена.

— Слушай хорошенько, Патрик,— сказал я приветливо,— мы точно знаем, куда зашел Гитлер: он шел по трупам миллионов евреев, детей...

Лицо Патрика болезненно передернулось. Он велел принести седьмую кружку и печально сказал:

— Эх, жалко, что и ты попался на удочку английской пропаганды, очень жалко.

Я не дотронулся до своего пива.

— Ладно,— сказал я,— дай я выдеру у тебя этот зуб; может, тебе будет больно, но иначе нельзя. Только после этого ты станешь по-настоящему славным парнем. Давай я приведу в порядок твою челюсть, все равно я уже считаю себя странствующим дантистом... Гитлер был... — начал я и рассказал ему все. Я уже набил руку, я стал искусным врачом, а когда пациент тебе симпатичен, ты действуешь осторожнее, чем когда работаешь по привычке или по обязанности.— Гитлер был... Гитлер делал... Гитлер говорил...

Все болезненнее дергалось лицо Патрика, но я заказал виски, я выпил за его здоровье, и он выпил, чуть поперхнувшись.

— Очень было больно? — осторожно спросил я.

— Да,— сказал он,— больно; пройдет еще несколько дней, пока не вытечет весь гной.

— Не забывай полоскать рот, а если будет болеть, приходи ко мне — ты знаешь, где я живу.

— Я знаю, где ты живешь,— сказал Патрик,— и я непременно приду, потому что наверняка будет болеть.

— И все-таки,— сказал я,— хорошо, что зуб вырван.

Но Патрик промолчал.

— Выпьем еще по одной? — грустно спросил он.

— Да,— сказал я.— Гитлер был...

— Перестань,— сказал Патрик,— перестань, пожалуйста, там открытый нерв.

— Ну и прекрасно,— сказал я,— значит, он скоро отомрет, значит, надо выпить еще по одной.

— Неужели у тебя не портится настроение, когда тебе выдерут зуб? — устало спросил Патрик.

— В первую минуту портится,— сказал я,— а потом я радуюсь, если больше не гноится.

— Это тем более глупо,— сказал Патрик,— потому что теперь я уж совсем не знаю, чем мне нравятся немцы.

— Они,— тихо сказала я,— должны тебе нравиться не б л а г о д а р я, а в о п р е к и Гитлеру. Нет ничего тягостнее, чем если кто-нибудь черпает симпатию к себе из сомнительных, на твой взгляд, источников. Если твой дедушка был налетчик и ты знакомишься с кем-то, кто восхищается тобой именно потому, что твой дедушка был налетчик, тебе крайне тягостно; другие, со своей стороны, восхищаются тобой именно потому, что ты не налетчик, но ты предпочел бы, чтобы они восхищались тобой, даже если ты станешь налетчиком.

Принесли восьмую кружку пива — ее заказал Генри, англичанин, который ежегодно проводит здесь отпуск. Он подсел к нам и удрученно покачал головой.

— Не знаю,— сказал он,— почему я каждый год езжу в Ирландию; не знаю, сколько раз я уже говорил вам, что никогда не жаловал ни Кромвеля, ни Пемброка и никогда не состоял с ними в родстве, что я всего-навсего лондонец, конторский служащий, у которого есть двухнедельный отпуск и который мечтает провести его у моря. Не знаю, зачем я каждый год проделываю сюда далекий путь из Лондона ради того лишь, чтобы выслушать, какой я хороший и какие скверные все англичане; это очень утомительно. А что до Гитлера... — сказал Генри.

— Ради бога,— сказал Патрик,— не говори о нем. Я больше не могу слышать это имя. Во всяком случае не сейчас... Позднее, может быть...

— Здорово,— сказал мне Генри,— ты, кажется, хорошо поработал.

— У каждого есть свое честолюбие,— скромно сказал я,— а я, видишь ли, привык каждый вечер выдирать по зубу; я уже точно знаю, где он находится; я начал разбираться в политической стоматологии, я рву основательно и без наркоза.

— Да уж конечно,— сказал Патрик,— но разве мы не превосходные люди, несмотря ни на что?

— Да, вы превосходные люди,— сказали мы все трое в один голос: моя жена, Генри и я.— Право же, вы превосходные люди, но вы и без нас отлично это знаете.

— Выпьем еще по одной,— сказал Патрик,— для приятных снов.

— И одну на дорожку!

— И одну за кошку,— сказал я.

— И одну за собачку!..

Мы выпили, а стрелки часов все еще показывали — как уже три недели подряд — половину одиннадцатого. И еще четыре месяца они будут показывать половину одиннадцатого. Половина одиннадцатого — это полицейский час для сельских кабачков в летний сезон, но туристы, иностранцы делают более сговорчивым неумолимое время. Когда подходит лето, хозяйева достают отвертку, два болта и наглухо закрепляют обе стрелки, а некоторые покупают себе игрушечные часы с деревянными стрелками, которые можно прибить гвоздями. Тогда время останавливается, поток черного пива льется, не иссякая, все лето денно и нощно, а полицейские спят сном праведников.

Портрет ирландского города

Лимерик утром

«Лимериками» в Ирландии называют определенную разновидность стихов, как бы зашифрованные остроты, и о городе Лимерике, который дал свое имя этим стихам, у меня были самые радужные представления: остроумные рифмы, смеющиеся девушки, всюду звуки волюнок, звонкое веселье на улицах. Я немало уже повидал веселья на дорогах между Дублином и Лимериком: школьники всех возрастов — многие босиком — весело трусили под октябрьским дождичком, они выходили из переулков, издали было видно, как они пробираются между живыми изгородями по заболоченным тропинкам; их было не счесть, они собирались, как капли воды в струйку, как струйки — в ручей, как ручьи — в речушку, и порой наша машина рассекала их, как поток, который с готовностью расступается перед тобой. На несколько минут дорога пустела — когда селение оставалось позади, и снова начинали стекаться капли — ирландские школьники, они толкали друг друга, они гонялись друг за другом, они были одеты в какие-то немислимые платья — пестрые, сшитые из лоскутков, но все они были если не очень веселы, то по меньшей мере спокойны. Порой они трусили под дождем много миль туда, много миль обратно и с клюшками в руках. Сто восемьдесят километров проехала наша машина сквозь поток ирландских школьников, и хотя лил дождь, хотя многие были разуты и большинство бедно одето — вид почти у всех был веселый.

Мне показалось кощунством, когда кто-то в Германии сказал однажды: «Дорога принадлежит мотору». В Ирландии меня все время так и подмывало сказать: «Дорога принадлежит корове». И действительно, коровы в Ирландии ходят на пастбище так же запросто, как дети — в школу: они стадами заполняют дорогу и высокомерно оборачиваются на гудки автомобиля, предоставляя шоферу полную возможность проявить чувство юмора, развить выдержку и испытать свою споровку. Он осторожно подъезжает вплотную к стаду, робко протискивается в мило-стивно предоставленный ему проход, и, лишь достигнув первой коровы и перегнав ее, он может дать газ и порадоваться от всей души, что избежал опасности. А что служит лучшим побуждением, лучшим стимулом для благодарности судьбе, нежели мысль о минувшей опасности? Поэтому ирландский шофер всегда преисполнен чувства благодарности: он вечно должен бороться со школьниками и коровами за свою жизнь, за свои права и за свою скорость, он никогда бы не выдвинул такой сносистский лозунг: «Дорога принадлежит мотору». В Ирландии долго еще не будет решен вопрос, кому принадлежит дорога, — и до чего ж красивы эти дороги: стены, стены, деревья, стены, живые изгороди; камней, из которых в Ирландии сложены стены, хватило бы, чтобы построить вавилонскую башню, но развалины Ирландии красноречиво свидетельствуют, что ее вряд ли следует строить. Как бы то ни было, эти красивые дороги принадлежат не мотору, они принадлежат тому, кому они нужны в данную минуту и кто всегда дает возможность тому, кому они вдруг понадобятся, проявить здесь всю споровку. Некоторые дороги принадлежат ослам. В Ирландии великое множество ослов — они обглаживают живые изгороди и меланхолично любуются природой, повернувшись хвостом к проезжающим мимо автомобилям. Нет, дороги в Ирландии принадлежат кому угодно, только не мотору.

Много спокойствия и веселья среди коров, ослов и школьников повстречали мы между Дублином и Лимериком, а если прибавить к этому еще и веселые стихи «лимерики», кто усумнился бы на подступах к Лимерику, что это веселый город? Дороги, еще совсем недавно запружен-

ные веселыми ребятишками, надменными коровами и задумчивыми ослами, вдруг опустели. Дети, наверно, уже в школе, коровы на пастбище, а ослов просто призывали к порядку. Дождевые облака нагнало с Атлантики, улицы Лимерика были сумрачны и пусты. Только бутылки молока, выставленные у дверей, были белыми, даже слишком белыми, да чайки, дробившие серость неба, облака жирных белых чаек — раздробленная белизна, которая сливалась порой в большое белое пятно. Зеленью отливал мох на древних стенах восьмого, девятого и всех последующих столетий, но стены двадцатого века мало чем отличались от стен восьмого: тот же мох, те же развалины. В мясных лавках мерцали бело-красным куски говяжьих туш, и лимерикские дети, свободные от занятий, демонстрировали там свою изобретательность: крепко уцепившись за свиные ножки или бычьи хвосты, они раскачивались, как на качелях, между тушами. Весело ухмылялись бледные мордашки. Да, ирландские дети — народ изобретательный, но постойте, разве, кроме них, в городе нет других жителей?

Мы оставили машину неподалеку от собора и медленно пошли по угрюмым улицам. Воды Шэннона перекачивались под старинными мостами: слишком велика, слишком широка и неукротима была эта река для маленького угрюмого города; тоска охватила нас, чувство заброшенности и одиночества среди мхов, старинных стен и множества бутылок — тягостно белых, словно предназначенных для давно умерших людей; даже дети, которые в темноватых мясных лавках раскачивались на говяжьих тушах, и те казались призраками. Против одиночества, которое внезапно овладевает тобой в чужом городе, есть одно средство: надо что-нибудь купить — открытку или жевательную резину, карандаш или сигареты, подержать что-то в руках, приобщиться своей покупкой к жизни этого города, — но можно ли здесь, в Лимерике, в четверг в половине одиннадцатого что-нибудь купить? Вдруг мы сейчас очнемся и увидим, что мокнем где-то на дороге около автомобиля, а Лимерик исчезнет как фата-моргана — дождевой мираж? Невыносимо белы эти бутылки, и чуть потемней — крикливые чайки.

Старый Лимерик относится к Новому, как Иль де ла Ситэ относится к остальному Парижу, причем соотношение между Старым Лимериком и Ситэ — примерно один к трем, а между Новым Лимериком и Парижем — один к двумстам; датчане, норманны и лишь потом ирландцы заселили этот красивый и мрачный остров, серые мосты связали его с берегами, Шэннон катит серые волны, а впереди, там, где мост упирается в сушу, стоит памятник камню, или, вернее, — камень на пьедестале для памятника. На этом камне англичане поклялись предоставить ирландцам свободу вероисповедания, в честь чего был заключен договор, расторгнутый позднее английским парламентом. Поэтому у Лимерика есть и другое имя: Город нарушенного договора.

В Дублине нам кто-то сказал: «Лимерик — самый набожный город в мире». И, следовательно, достаточно было заглянуть в календарь, чтобы понять, почему безлюдны улицы Лимерика, почему у дверей стоят непочатые бутылки с молоком, почему закрыты лавки: весь Лимерик был в церкви; четверг, одиннадцатый час. Вдруг еще раньше, чем мы добрались до центра нового Лимерика, распахнулись двери церковей, заполнились улицы, исчезли с крылец молочные бутылки. Это было как нашествие, лимерикцы захватили свой город. Открылась даже почта, даже окошечки банка, и там, где всего лишь пять минут назад нам казалось, что мы попали в заброшенный средневековый город, все стало пугающе заурядным, доступным и человеческим.

Чтобы окончательно увериться в существовании этого города, мы стали покупать всякую всячину: сигареты, мыло, открытки, игру-голово-

ломку. Сигареты мы курили, мыло нюхали, на открытках писали, а игру упаковали и бодро пошли на почту. Правда, здесь произошла некоторая заминка — начальница еще не вернулась из церкви, а подчиненная не могла ответить на наш вопрос: сколько стоит отправить в Германию бандероль (головоломку) весом в двести пятьдесят граммов? Напрасно смотрела она в поисках поддержки на изображение богородицы, перед которой теплилась свеча. Богородица молчала и улыбалась, как улыбается вот уже четыреста лет подряд, и ее улыбка означала: терпение. Явились на свет какие-то странные гири, столь же странные весы, перед нами выложили ядовито-зеленые бланки, открывали и закрывали каталоги, но ответ гласил все то же: терпение. И мы терпели. Вообще, кто посылает в октябре бандеролью детскую игру из Лимерика в Германию? И вообще кто не знает, что праздник богородицы если не целиком, то хоть на половину нерабочий день?

Уже потом, когда наша игра давным-давно лежала в коробке, мы увидели скептицизм в глазах неприветливых и грустных, угрюмость, блеснувшую в синих глазах цыганки, продававшей на улице изображения святых, и в глазах хозяйки гостиницы, и в глазах шофера такси: шипы вокруг розы, стрелы в сердце самого набожного города в мире.

Лимерик вечером

Поруганы, откупорены бутылки из-под молока, пустые, серые, грязные стоят они у дверей и на подоконниках, грустно дожидаясь утра, когда им на смену придут их свежие, ослепительные сестры; чайкам не хватает белизны, чтобы заменить ангельское сияние, исходящее поутру от невинных бутылок; чайки со свистом проносятся над Шэнноном, а он, стиснутый между набережными, на протяжении двухсот метров ускоряет здесь свой бег. Прокившие серо-зеленые водоросли покрывают камень набережных; сейчас отлив, и кажется, будто Старый Лимерик заголился самым непристойным образом, задрал свои одежды и обнажил те части, которые обычно скрыты под водой; мусорные кучи по берегам тоже ждут, когда их унесет прилив; неяркий свет мерцает в окнах тотализатора, пьяные преодолевают канавы, а дети, те, что утром раскачивались на говяжьих тушах, доказывают теперь всем своим видом, что существует такая степень бедности, при которой даже английская булавка — непозволительная роскошь, бечевка дешевле и годится для той же цели: то, что восемь лет назад было дешевым, но новым пиджаком, сейчас заменяет пальто, куртку, рубашку и штаны разом. Высоко закатаны слишком длинные рукава, живот подпоясан бечевкой, а в руках, как молоко, сияет белизной невинности мороженое — та манна, которую в Ирландии можно приобрести в любой дыре, свежую и дешевую. Дети играют на тротуаре в камушки и заглядывают в окно тотализатора, где как раз в это время отец поставил часть своего пособия по безработице на Закат. Все глубже опускается благодатный сумрак, камушки все стучат по выщербленным ступенькам лестницы, которая ведет в тотализатор. Не пойдет ли отец в другой тотализатор, чтобы поставить на Ночную Бабочку? В третий, чтобы поставить на Иннишфри? В старом Лимерике хватает тотализаторов. Камушки тихо стучат по ступенькам, белоснежные капли мороженого падают в канаву, где они на миг расцветают, как звезды в тине, на единый миг, а потом их чистоту засасывает тина.

Нет, отец не пойдет в другой тотализатор, он только зайдет в трактир; выщербленные ступеньки трактира тоже голятся для игры в камушки. А не даст ли отец денег на мороженое? Даст, даст! И для Джонни, и для

Пэдди, и для Шейлы, и для Мойры, и для мамы, и для тети, а может быть, даже и для бабушки? Конечно, даст, пока хватит денег. Выиграет ли Закат? Само собой, выиграет. Должен выиграть, черт подери, иначе...

— Потише, Джон, стакан разобьешь. Еще налить?

— Да, Закат должен победить.

А если нет даже бечевки, ее заменят пальцы, худые, грязные и окоченевшие пальцы левой руки, покуда правая рука катает или подбрасывает камушки.

— Нэд, а Нэд, дай хоть лизнуть.

И вдруг среди вечерней темноты светлый детский голосок:

— Сегодня в церкви вечерняя служба. Пойдете?

Смех, замешательство, сомнение.

— Мы идем.

— А я нет.

— Пошли.

— Нет.

— Ну пошли...

— Нет.

Стучат камушки по выщербленным ступенькам трактира.

Мой спутник трясется от страха — он пал жертвой одного из самых горьких и глупых предрассудков: люди, плохо одетые, опасны или во всяком случае опаснее хорошо одетых. Ему бы надо трястись в баре Шэлбурн-отеля в Дублине, а не здесь, в Лимерике, возле замка короля Джона. Ах, будь они хоть немножко опаснее, эти оборванцы, будь они так же опасны, как те, что кажутся такими безопасными в баре Шэлбурн-отеля!

Как раз в эту минуту хозяйка закуской набросилась на мальчика, который взял себе на двадцать пенни хрустящего картофеля и, по ее мнению, слишком обильно полил его уксусом из стоящего перед ним на столе графинчика.

— Ты что, собака, разорить меня хочешь?

Швырнет он свой картофель ей в лицо или нет? Нет — он не сумел ответить, за него ответила его задыхающаяся детская грудь, ответила свистом, вырвавшимся из слабого органчика — детских легких. Не Свифт ли более двухсот лет назад, в 1729 году, писал свою горчайшую сатиру, свое «скромное предложение: как сделать, чтобы дети бедных ирландцев не становились обузой для своих родителей и для страны», где советовав английскому правительству отдавать все сто двадцать тысяч новорожденных — годовой прирост, установленный статистикой, — в пищу богатым англичанам; подробное, жестокое изложение проекта, который должен был служить многим целям и, в частности, уменьшению числа папистов.

Но схватка из-за шести капель уксуса еще не закончилась. Грозно занесена рука хозяйки, свистящие звуки рвутся из груди мальчика, равнодушные проходят мимо, пьяные шатаются, дети спешат с молитвенниками, чтобы не опоздать к вечерней службе. Но спаситель уже грядет: он велик, толст и рыхл, у него, должно быть, недавно шла кровь из носа, темные пятна покрывают лицо вокруг носа и рта; он тоже скатился от английских булавок к бечевке, но для башмаков даже бечевки не хватило — подметки отстают. Спаситель подходит к хозяйке, склоняется перед ней, как бы целуя ей руку, вынимает из кармана бумажку в десять шиллингов, вручает ее хозяйке — та испуганно берет — и любезно говорит:

— Могу ли я, милостивая государыня, просить вас считать эти десять шиллингов достаточным вознаграждением за шесть капель уксуса?

Молчание в темноте за Королевским замком, потом человек с пятнами крови на лице вдруг говорит, понизив голос:

— А позволительно ли мне, милостивая государыня, обратить ваше внимание также и на то, что уже настал час вечерней молитвы? Передайте мой почтительнейший поклон господину священнику.

Он, пошатываясь, уходит дальше; мальчик испуганно выскакивает следом, хозяйка остается одна. Вдруг из глаз ее хлынули слезы, она с плачем бросилась в дом, и вопли ее были слышны даже тогда, когда дверь за ней захлопнулась.

Благодатные воды океана еще не докатились до Лимерика; обнаженные стены все так же грязны и чайки недостаточно белы. Угрюмо вырастает из темноты замок короля Джона: местная достопримечательность, в которую встроены жилые казармы двадцатых годов, и эти казармы двадцатого века кажутся более дряхлыми, чем замок тринадцатого. Тусклый свет слабых лампочек не может пробить густую тень замка, кислая темень захлестнула все.

Десять шиллингов за шесть капель уксуса! Лишь тот, кто живет поэзией вместо того, чтобы создавать ее, способен платить десять тысяч процентов. Куда он делся, мрачный, запятнанный кровью пьяница, у которого хватило бечевки на пиджак и не хватило на башмаки? Уж не бросился ли он в Шэннон, в клокочущую серую теснину, используемую чайками как бесплатный каток? Они все еще кружат в темноте, прилипают к серой воде, скользят от моста к мосту и взлетают опять, чтобы снова и снова повторять эту игру бесконечно, ненасытно.

Из церкви доносится пение, голоса молящихся; такси везут туристов из аэропорта Шэннон, зеленые автобусы снуют в серой мгле, черное, горькое пиво льется за занавешенными окнами. Закат должен прийти первым!

Закатным пурпуром светится большое сердце Иисуса в церкви, где уже кончилась вечерняя служба, горят свечи, молятся опоздавшие, ладан, жар свечей, тишина, ее нарушают лишь шаги причетника, который, шаркая ногами, задерживает занавески исповедален и вытряхивает деньги из церковных кружек. Пурпуром светится сердце Иисуса.

Сколько же стоит пятидесяти-шестидесяти-семидесятилетнее плавание от дока, имя которому рождение, до того места среди океана, где нас ждет наше кораблекрушение?

Опрятные парки, опрятные памятники, черные, строгие, прямые улицы; руины времен восстания еще не стали древностью; заколоченные дома, где за черными досками копошатся крысы; полуразвалившиеся склады, окончательный снос которых доверен времени; серо-зеленая тина на обнаженных стенах; и льется, льется черное пиво за победу Заката, которому не суждено победить. Улицы, улицы... Улицы, на мгновение заполненные богомольцами, идущими с вечерней службы, улицы, где дома становятся все меньше и меньше; стены тюрем, стены монастырей, стены церквей, стены казарм; какой-то лейтенант, вернувшийся с дежурства, остановил велосипед у дверей своего крохотного домика и застрял на пороге в куче своих детишек.

Снова запах ладана, жар свечей, тишина и молеьшики, которые никак не могут расстаться с пурпурным сердцем Иисуса и которых причетник тихо увещевает идти домой в конце концов. В ответ они отрицательно качают головами. «Но...» — шепотом убеждает причетник. Опять качают головами. Колени словно приклеены к скамеечке. Кто может счесть молитвы, кто — проклятия, есть ли на свете счетчик Гейгера, способный зарегистрировать надежды, прикованные в этот вечер к Закату? Две пары тонких лошадиных ног, а на них поставлено столько, что не выкупить никому на свете. А если Закат не выиграет, скорбь придется заливать таким же количеством пива, какое понадобилось для поддержа-

ния надежд. Все так же стучат камушки по выщербленным ступеням трактира, по выщербленным ступеням церквей и тотализаторов.

И совсем уже поздно я обнаружил последнюю нетронутую бутылку с молоком, девственную, как утро. Она стояла у дверей крохотного домишки с закрытыми ставнями; рядом я увидел женщину — пожилую, седую, неопрятную; белой у нее была только сигарета. Я остановился.

— Где он? — тихо спросил я.

— Кто?

— Хозяин молока. Он еще спит?

— Нет, — тихо сказала она, — он сегодня уехал.

— И оставил молоко?

— Да.

— И не выключил свет?

— А что, горит еще?

— Разве вы не видите?

Я прильнул к желтой щели в дверях и заглянул внутрь. Там, в крохотной прихожей, еще висело на двери полотенце, а на шкафу — шляпа, а на полу стояла грязная тарелка с недоеденной картошкой.

— А ведь и правда не выключил свет. Впрочем, что из этого — в Австралию они ему счет не пошлют.

— В Австралию?

— Да.

— А счет за молоко?

— Он и по нему не заплатил.

Белизна сигареты приблизилась к темным губам, женщина юркнула в свою дверь.

— Н-да, — сказала она, — свет-то он мог бы выключить.

Лимерик спал, осененный тысячами молитв и проклятий, растекался в черном пиве; одна-единственная белоснежная бутылка молока охраняла его сон, а снился ему пурпурный Закат и пурпурное сердце Христа.

Когда бог создавал время

Тот факт, что богослужение не может начаться раньше, чем появится священник, не требует пояснений, но то, что сеанс в кино не может начаться раньше, чем соберутся все местные и приезжие священники, кажется не совсем понятным чужестранцу, привыкшему к континентальным порядкам. Ему остается только надеяться, что местный священник и его друзья скоро закончат ужин и застольную беседу, что они не чересчур углубятся в школьные воспоминания, ибо тема «А помнишь, как...» поистине неисчерпаема: «А помнишь, как латинист, математик и, конечно же, историк!..»

Начало сеанса назначено на двадцать один час. Но если есть в мире что-нибудь никого ни к чему не обязывающее, то именно этот срок. Даже принятая у нас неопределеннейшая формула уговора «часов около девяти» представляет по сравнению с ним верх точности, ибо наше «часов около девяти» истекает в половине десятого. После чего начинается «часов около десяти». Здешнее же «двадцать один час», четко выведенное на афише, — чистой воды мошенничество.

Весьма странно, что никто не сетует на эту задержку, ни капельки. «Когда бог создавал время, — говорят ирландцы, — он создал его достаточно». Спору нет, это изречение столь же метко, сколь и достойно того, чтобы над ним поразмыслить. Если представить себе время в виде некоторой материи, которая отпущена нам на улаживание наших земных дел, то этой материи вполне достаточно, потому что время всегда «терпит». А тот, у кого нет времени, — чудовище, выронок: он где-то крадет

время, транжирит его. (Сколько времени понадобилось просадить, сколько украсть для того, чтобы вошла в поговорку незаслуженно прославленная военная пунктуальность: миллиарды часов украденного времени — вот цена за эту расточительную пунктуальность, за выродков новейшего времени, у которых никогда нет времени. Они всегда напоминают мне людей, у которых слишком мало кожи...)

Времени для подобных размышлений достаточно, потому что уже давно перевалило за половину десятого; может быть, священники уже добрались до биолога, то есть до второстепенных дисциплин, и это подогревает надежду. Но и о тех, кто не использует отсрочку для размышлений, тоже позаботились. Для них крутят пластинки, им щедрой рукой предлагают шоколад, мороженое и сигареты, потому что здесь — какое благодетяние! — в кино разрешают курить. А если бы в кино запретили курить, вспыхнул бы мятеж, ибо страсть ходить в кино неразрывно связана у ирландцев со страстью к курению.

Красноватые светильники на стенах излучают слабый свет, в полутьме зала царит оживление — как на ярмарке, разговоры ведутся через четыре ряда, громогласные шутки перелетают через восемь; впереди, на дешевых местах дети затеяли веселую возню, как на перемене; люди угощают друг друга шоколадками, сигаретами; где-то во мраке раздается многозначительный звук, который обычно сопровождает откупоривание бутылки; женщины подмазываются, достают флакончики с духами; кто-то начинает петь, а у тех, кто не считает, что весь этот шум и сутолока — достойная трата времени, остается время для размышлений: поистине, когда бог создавал время, он создал его с запасом. По тому, как люди используют время, их можно разделить на расточительных и бережливых, причем — как ни парадоксально это звучит — расточители времени всегда оказываются самыми бережливыми, потому что, когда другие претендуют на их время, оно у них всегда находится, например, чтобы быстро отвезти кого-нибудь на вокзал или в больницу. Подобно тому, как у расточителя денег всегда можно попросить взаймы, так и расточители времени — это по сути дела сберегательные кассы, в которые бог складывает про запас свое время и держит его там на случай, если оно вдруг кому-нибудь понадобится, потому что бережливые истратили свое не на то, на что нужно.

И все-таки мы пришли в кино для того, чтобы посмотреть Энн Блис, а не для того, чтобы размышлять, хотя размышлять на редкость легко и приятно — здесь, на этой ярмарке беззаботности, где крестьяне с болот, торфяники и рыбаки угощают в темноте сигаретами многозначительно улыбающихся дам, тех, что целыми днями разъезжают по окрестностям в своих лимузинах, и принимают от них взамен шоколад; где отставной полковник толкует с почтальоном о достоинствах и недостатках индейцев. Здесь общество без классов стало явью. Жаль только, что нечем дышать: духи, губная помада, сигареты, горький запах торфа от одежды, и даже музыка словно чем-то пахнет — от нее несет неприкрашенной эротикой тридцатых годов, и даже кресла, обитые роскошным красным бархатом (если тебе очень повезет, можно отыскать кресло с почти целыми пружинами), даже кресла, которые, надо полагать, году в 1880 считались в Дублине верхом элегантности (они наверняка повидали оперы и пьесы Сулливена, а может, также Йитса, Шона О'Кейси и раннего Шоу), и те пахнут так, как пахнет старый бархат, противящийся грубости пылесосов и бесцеремонности щеток. А кинотеатр еще не достроен, и вентиляции в нем пока нет.

Однако словоохотливые священники и их гости, должно быть, все еще не добрались до биолога, не иначе обсуждают швейцара (неисчерпаемая тема) или первую тайком выкуренную сигарету.

Кому не нравится воздух, может выйти и постоять, прислонившись к стене кинотеатра, на улице мягкий светлый вечер, и маяк на острове Клэр, в восемнадцати километрах отсюда, еще не горит; над спокойной поверхностью моря взгляд проникает на сорок — пятьдесят километров, через залив Клу до гор Коннемары и Голуэя, а если посмотреть вправо, на запад, можно увидеть Эчилл-Хилд, последние два километра Европы, которые еще остались между нами и Америкой: дикая, как будто нарочно созданная для шабашей ведьм — пустоши, болота, — высится там Крогхайн — самая западная из европейских гор; она круто обрывается в море с высоты семисот метров. У ближнего склона ее, на темной зелени болот, выделяется светлый четырехугольник возделанной земли с большим серым домом. Здесь жил капитан Бойкот, которого люди подвергли первому в мире бойкоту, здесь было подарено миру новое слово. Метров на сто выше дома лежат обломки самолета: американский летчик на какую-то долю секунды раньше, чем надо, решил, что под ним открытый океан, что только безбрежная гладь океана еще отделяет его от родины; последний утес Европы стал для него роковым, последний выступ той части света, про которую Фолкнер в своей «Легенде» сказал: «Тот маленький гнойник, что носит название Европа...»

Синева обволокла море — многослойная, многоцветная; окутанные синевой острова торчат из моря — зеленые, похожие на большие пятна мха, или черные, шерстатые, похожие на обломки гнилых зубов.

Наконец-то (или к сожалению — трудно сказать) священники закончили или просто прервали обмен школьными воспоминаниями, наконец-то и они пришли посмотреть на обещанное афишей великолепие — на Энн Блис. Погасли красноватые лампочки, утихла возня на дешевых местах, и все это общество без классов погрузилось в молчаливое ожидание. Фильм начался — слащавый, цветной, широкоэкранный. То и дело принимается реветь какой-нибудь трех- или четырехлетний малыш, когда слишком натурально щелкает пистолет, когда по лбу героя струится кровь, слишком похожая на настоящую, или — того страшней — темно-красные капли выступают на шее красавицы: ах, зачем было вонзать нож в эту прекрасную шею? Нет, ее не напрочь отрезали, не бойся, не бойся; орущему малышу поспешно суют в рот кусок шоколада; горе и шоколад дружно тают в темноте. К концу фильма возникает ощущение, которого ты не испытывал с детства — будто ты объелся шоколадом, сладостями, — о, эта мучительная и дорогая сердцу изжога от злоупотребления запретным плодом! После этой сласти дают анонс черно-белого фильма с перчиком: притон, злые костлявые женщины, уродливые и решительные герои; снова неизбежные выстрелы, снова приходится совать шоколад в рот малышу. Большая кинопрограмма на три часа, и едва загорелись красноватые лампочки и распахнулись двери — на лицах можно прочесть то, что всегда бывает на лицах после окончания любого фильма: легкое, скрытое за улыбкой смущение — стыдишься чувства, которое, помимо своей воли, ты вложил в этот фильм. Модная красавица садится в свой лимузин, вспыхивают задние фары, огромные, рубиново-красные, как глеющий торф, и уплывают к отелю, а рабочий тем временем устало бредет к своей Кейт; взрослые молчат, а дети, рассыпавшись в ночи, тараторят, смеются и еще раз пересказывают друг другу содержание фильма.

Время за полночь; давно уже загорелся маяк на острове Клэр, синие очертания гор почернели, далеко на болоте светятся редкие желтые огоньки — там ждут бабушка или мать, муж или жена, чтобы услышать подробный рассказ о том, что им покажут в ближайшие дни; и до двух, до трех часов ночи будут они сидеть перед камином, ибо когда бог создавал время — он создал его достаточно.

Ослы перекликаются в теплой летней ночи, оглашая окрестности своей абстрактной песнью; этот безумный вопль — как скрип несмазанных дверей, как скрежет заржавленных насосов — непонятный сигнал, величественный и слишком отвлеченный, чтобы казаться правдоподобным, неизбывная скорбь слышится в нем и — как ни странно — невозмутимость. С шорохом, словно летучие мыши, пронесется велосипедисты мимо стреноженных ослов, а потом лишь спокойные и мирные шаги пешеходов звучат в ночи.

Размышления по поводу ирландского дождя

Дождь здесь вездесущ, грандиозен и устрашающ. Назвать этот дождь плохой погодой было бы так же неуместно, как назвать палящее солнце — хорошей.

Можно, конечно, назвать дождь плохой погодой, но это неверно. Это погода вообще, в данном случае — непогода. Дождь настойчиво напоминает о том, что его стихия — вода, вода падающая. И довольно твердая. Во время войны я видел однажды, как падал над побережьем Атлантики горящий самолет. Пилот посадил его на берег и бросился бежать, пока самолет не взорвался. Позднее я спросил у него, почему он не посадил горящий самолет на воду, и он ответил:

— Потому что вода тверже песка.

До сих пор я не верил ему, но здесь я понял: вода твердая.

Сколько же воды собирается с тысячекилометровых просторов Атлантики! Воды, которая счастлива, что добралась наконец до людей, до домов, до твердой земли, после того как долго падала только в воду, только в самое себя. Велика ли радость дождю все время падать только в воду?

И потом, когда гаснет свет и первая лужа просовывает под дверь свой язык, бесшумный и гладкий, поблескивающий в свете камина, когда игрушка, которую дети, конечно же, оставили на полу, когда пробки и всякие деревяшки внезапно обретают плавучесть и язык лужи увлекает их вперед, когда напуганные дети спускаются по лестнице и устраиваются перед камином (впрочем, они больше удивлены, чем напуганы, потому что и они чувствуют, как радостно встречаются друг с другом ветер и дождь, и они чувствуют, что рев их — рев восторга), — тогда понимаешь, что никто не был так достоин ковчега, как Ной.

Дурацкая привычка у жителей материка: открывать дверь, чтобы посмотреть, что там стряслось. Все стряслось: черепица, водосточный желоб, даже каменные стены — и те не внушают доверия (потому что строят здесь на время, а живут в этих временках — если только не эмигрируют — вечность; у нас, напротив, строят на века, не зная толком, понадобится ли следующему поколению такая основательность).

Хорошо иметь дома свечи, библию и немного виски, как у моряков, всегда готовых к бурям, а еще карты и табак; да спицы и шерсть для женщин, потому что у бури много ветра, у дождя много воды, а ночь длинна. И когда из-под двери высунется второй язык воды и сольется с первым, когда игрушки медленно проплывут под окном, тогда хорошо проверить в библии, точно ли бог давал обещание не устраивать второго потопа. Да, было такое обещание. Значит, можно зажечь еще одну свечу, закурить еще одну сигарету, снова перетасовать колоду, снова разлить виски по рюмкам и довериться шуму дождя, вою ветра и постукиванию спиц. Ведь обещание дано.

Слишком поздно услышали мы стук в дверь — сперва мы подумали, что это постукивает ненадетая цепочка, потом — что это неистовствует буря, и лишь потом догадались, что этот звук производит человеческая

рука, а до какой глупости может дойти континентальный житель, видно хотя бы из того, что я высказал предположение, будто это монтер с электростанции, что было почти так же нелепо, как ожидать в открытом море судебного исполнителя.

Мы быстро отворили дверь и втащили в дом насквозь промокшего современника; дверь захлопывается; вот он пред нами: раскисший картонный чемодан, вода ручьями бежит из рукавов, из башмаков, со шляпы, невольно кажется, что из глаз его тоже бежит вода: так выглядят участники соревнований по спасению утопающих. Впрочем, гостю чуждо спортивное честолюбие, он просто-напросто пришел с автобусной остановки — пятьдесят шагов под дождем, перепутал наш дом со своей гостиной, а служит он в конторе одного дублинского адвоката.

— Неужто автобус ходит в такую погоду?

— Да, ходить-то ходит, только опоздал немного. Правильнее сказать — плавает, а не ходит... А здесь и в самом деле не отель?

— Нет, но...

Он — звали его Дермот — оказался, пообсохнув, хорошим знатоком библии, хорошим игроком в карты, хорошим рассказчиком, большим любителем виски, и еще он научил нас, как быстро вскипятить чай, если поставить в камин треножник, как на том же древнем треножнике приготовить баранью отбивную и как поджарить тосты на длинных вилках, назначение которых нам до сего времени было непонятно, — но только утром он признался, что немного знает немецкий — он был в плену в Германии, и он рассказал нашим детям то, чего они никогда не забудут и никогда не должны забывать: как он хоронил маленьких цыганских детей, которые умерли, когда эвакуировали концлагерь Штутхоф, они были вот такие маленькие — он показал какие, — и он копал могилы в мерзлой земле.

— А почему они умерли? — спросил кто-то из ребят.

— Потому что они были цыгане.

— Ну, это же не причина, от этого не умирают.

— Да, — сказал Дермот, — это не причина, от этого не умирают.

Мы встали. Уже совсем рассвело, и на улице вдруг стихло. Ветер и дождь ушли, солнце поднялось над горизонтом, и огромная радуга перекинулась через море. Она была так близко, что казалось, можно разглядеть, из чего она сделана; оболочка радуги была тонкой, будто у мыльного пузыря.

А когда мы пошли наверх, в спальню, пробки и деревяшки все еще качались в лужице под окном.

Самые красивые ноги в мире

Чтобы развлечься, молодая женщина начала было вязать, но тут же забросила спицы и клубок в угол дивана, открыла книгу, прочла несколько строк, снова закрыла, налила себе виски, задумчиво осушила рюмку маленькими глотками, открыла другую книгу, закрыла и эту, вздохнула, сняла телефонную трубку, положила обратно: кому звонить-то?

Потом кто-то из детей забормотал во сне, женщина тихо прошла через прихожую в детскую, потеплее укрыла детей, расправила одеяла и простыни на четырех детских кроватках. В прихожей она остановилась перед большой картой страны — желтой от старости, покрытой таинственными значками и напоминавшей увеличенную карту острова Сокровищ: кругом море, темно-коричневые — словно красного дерева — горы, светло-коричневым обозначены долины, черным — шоссе и дороги, зеле-

ным — маленькие участки возделываемой земли вокруг крохотных деревень, и повсюду голубыми языками бухт вдается море в остров; маленькие крестики — церкви, часовни, кладбища; маленькие гавани, маяки, прибрежные скалы. Ноготь указательного пальца, покрытый серебристым лаком, медленно ползет вдоль дороги, по которой два часа назад уехал муж этой женщины: деревня, две мили, три мили, болота, деревня, болота, церковь — молодая женщина осеняет себя крестом, будто она и впрямь едет мимо церкви, — пять миль болота, деревня, две мили болота, церковь — женщина снова крестится; заправочная станция, бар Тэдди О'Мэлли, лавка Бэккета, три мили болота; покрытый серебристым лаком ноготь, как сверкающая модель автомобиля, медленно ползет по карте до самого пролива, где жирная черная линия шоссе по мосту перебегает на твердую землю, а дорога, по которой должен ехать ее муж, вьется тоненькой черной ниточкой по краю острова, порой сливаясь с его контуром. Здесь карта сплошь темно-коричневая, а береговая линия зубчатая и неправильная, как кардиограмма очень беспокойного сердца, и кто-то вывел шариковой ручкой по голубой краске моря: «200 футов», «380 футов», «300 футов»; от каждой из цифр отходит стрелка, которая объясняет, что цифры обозначают не глубину моря, а высоту берега над уровнем моря, берега, который совпадает тут с дорогой. Серебристый ноготь то и дело спотыкается, потому что женщина знает каждый метр этой дороги: она не раз сопровождала своего мужа, когда он ездил к больному в единственный — на много миль побережья — дом. Туристы любят ездить по этой дороге в солнечные дни; холодок пробегающего у них по спине, когда на протяжении нескольких километров они прямо из автомобиля видят, как глубоко внизу море лижет белыми языками отвесный берег. Стоит шоферу чуть зазеваться — и машина грохнется на камни, о которые разбился уже не один корабль. Дорога мокрая, покрыта галькой и кое-где овечьим пометом — там, где ее пересекают старые овечьи тропы. Вдруг ноготь резко останавливается: здесь дорога круто обрывается к маленькой бухте и так же круто взмывает вверх, море яростно ревет на дне каньона; миллионы лет бушует эта ярость, глубоко вгрызлась она в основание скалы. Снова спотыкается палец — здесь маленькое кладбище для младенцев, которых не успели окрестить, теперь видна всего одна могила, обложенная кусками кварца, остальные унесло море. Машина осторожно преодолевает старый мост без перил, поворачивает, и в свете фар видно, как машут руками зажавшиеся женщины: здесь, в самом дальнем углу острова, живет Иден Мак-Намара, жена которого должна родить этой ночью.

Молодая женщина вздрагивает и, встряхнув головой, возвращается в комнату. Там подбрасывает в камин торфа, ворошит, пока его не охватывает пламя, берет клубок, снова кидает его в угол дивана, встает, подходит к зеркалу, с полминуты задумчиво стоит перед ним, опустив голову, и вдруг скидывает голову и смотрит на свое отражение: косметика делает ее детское лицо еще более детским, почти кукольным, но у этой куклы — уже четверо детей. Дублин так далеко — Грэфтон-стриг, О'Коннелл-бридж, набережные, кино и танцы, Театр Аббатства, по будням в одиннадцать утра служба в церкви святой Терезы, туда надо приходиться загодя, если хочешь найти свободное место. Вздохнув, молодая женщина снова подходит к камину. Вот повадилась жена Идена Мак-Намары рожать детей только по ночам и только в сентябре; но Иден Мак-Намара с марта по декабрь работает в Англии и лишь под рождество приезжает на три месяца домой, чтобы запастись торфа, покрасить дом, починить крышу, тайком половить лососей со скалистого обрыва, поискать, не вынесло ли море на берег какого добра, и еще чтобы сделать очередного ребенка; поэтому дети Идена Мак-Намары появляются на свет

всегда в сентябре и всегда числа около двадцать третьего — через девять месяцев после рождества, когда начинаются большие штормы и море на много миль захлестнуто яростной белой пеной. Иден сидит сейчас, небось, в Бирмингеме у стойки бара, волнуется, как всякий, кто готовится стать отцом, и проклинает упрямство своей жены, ни за что не желающей расстаться с этим одиночеством, — черноволосая строптивая красавица, все дети которой рождаются в сентябре, она занимает единственный еще не заброшенный дом среди развалин заброшенной деревни. В том месте побережья, красота которого причиняет боль, потому что в солнечные дни отсюда можно видеть за тридцать, за сорок километров и не найти никаких признаков человеческого жилья, — только синева, прозрачные островки да море. Позади дома голая скала круто взмывает вверх на четыреста футов, а в трехстах шагах перед домом берег так же круто обрывается вниз на триста футов. Черные голые камни, ущелья, пещеры, уходящие на пятьдесят — семьдесят метров в глубь скал; в штормовую погоду из них грозно вырывается пена, словно белый палец, на клочки раздираемый штормом.

Нуала Мак-Намара уехала отсюда в Нью-Йорк продавать шелковые чулки у Вулворта, Джон стал учителем в Дублине, Томми — иезуитом в Риме, Бриджит вышла замуж в Лондоне, — но Мэри упорно цепляется за этот безнадежный, заброшенный угол, где она вот уже четвертый год подряд в сентябре производит на свет по ребенку.

— Приезжайте ко мне двадцать четвертого, доктор, часам к одиннадцати, и клянусь вам, вы приедете ненапрасно.

А через десять дней она пройдет со старым посохом своего отца по краю обрыва посмотреть, как там ее овцы, спустится на берег в поисках тех сокровищ, которые жителям побережья заменяют лотерею (кстати, в лотереях они тоже играют). Зоркими глазами жительницы побережья сна обшарит весь берег и лишь тогда возьмется за бинокль, когда очертания и цвет какого-нибудь предмета скажут ее цепким глазам, что это не камень. Разве не знает она каждую скалу, каждый валун на шести милях этого берега, разве не знает она любой риф в любую пору прилива и отлива? В октябре прошлого года, после долгих штормов, она нашла на берегу три тюка с каучуком и спрятала их в пещере выше уровня прилива — той самой, где ее предки уже за сотни лет до того прятали от жандармов тиковое дерево, медь, бочонки с ромом и обломки погибших кораблей.

Молодая женщина с серебристым лаком на ногтях улыбнулась; она выпила вторую рюмку виски, побольше первой, и уняла наконец свою тревогу: когда пьешь не спеша, с раздумьем, эта огненная вода действует не только вглубь, но и вширь. Разве сама она не родила уже четверых детей и разве муж ее не возвращался уже три раза из этой ночной поездки? Женщина улыбнулась: о чем говорит Мэри Мак-Намара при встрече? О предмете, который называется р а д а р, ей нужен маленький портативный радар, с его помощью она собирается выискивать в бесчисленных бухточках и между скал медь и цинк, железо и серебро.

Молодая женщина снова идет в прихожую, прислушивается через открытую дверь к спокойному дыханию детей, улыбается и снова начинает водить по старой карте серебристым ногтем указательного пальца; водит, а сама подсчитывает: полчаса по хорошей дороге до пролива, еще три четверти часа до дома Идена Мак-Намары, и если младенец действительно окажется таким пунктуальным, а две женщины из соседней деревни уже будут на месте, то примерно часа два на роды, еще полчаса на cup of tea (это может оказаться чем угодно — от чашки чая до грандиозного обеда), обратная дорога — еще три четверти часа плюс полчаса: итого пять часов. В девять Тэд выехал — значит, около двух там

внизу, где шоссе переваливает через гору, должны показаться фары его машины. Женщина смотрит на свои часы: сейчас половина первого. Еще раз медленно проводит она серебристым пальцем по карте: болото, деревня, церковь, болото, взорванная казарма, болото, деревня, болото.

Женщина возвращается к камину, снова подкладывает торф, помещивает его, задумывается, берет газету. На первой странице идут частные объявления: рождения, смерти, помолвки, и еще особый столбец, над которым заголовок «В память»: в нем сообщают о годовщинах смерти, о шестинедельных заупокойных службах или вообще напоминают о факте смерти: «В память горячо любимой Мойры Мак-Дермот, которая год назад скончалась в Типперери. Иисусе милосердный, упаси ее душу. Вознесите и вы, кто сегодня вспомнит о ней, свои молитвы к престолу спасителя». Два столбца — сорок раз молодая женщина с серебристыми ногтями читает молитву — «Иисусе милосердный, упаси их души» — за Джойсов и Мак-Карти, за Моллоев и Галахеров.

Потом следуют серебряные свадьбы, потерянные кольца, найденные кошельки, официальные уведомления.

Семь монахинь, направляющихся в Австралию, и шесть — в Америку, улыбаются перед фоторепортером. Двадцать семь только что посвященных в сан священников улыбаются перед фоторепортером. Пятнадцать епископов, которые обсуждали проблемы эмиграции, делают то же самое.

На третьей странице — очередной бык, продолжающий линию премированных племенных производителей, дальше премированная овца с венком между рогами; молодая девушка, занявшая первое место на конкурсе песни, демонстрирует фоторепортерам свое хорошенькое личико и прескверные зубы. Тридцать питомцев закрытого пансиона встречаются через пятнадцать лет после выпуска, одни раздались в ширину, другие выделяются стройностью; даже на газетной бумаге можно увидеть неумеренную раскраску лиц: губы как бы жирно намазаны тушью, брови — два четких, изящных штриха; все тридцать запечатлены во время обедни, за чаем с пирожными и на вечерней службе. Три ежедневных комикса с продолжением: «Рип Кирби», «Хопалонг Кэссиди» и «Сердце Джульетты Джонс». Ну и суровое сердце у Джульетты Джонс!

Бегло, мимоходом, когда ее глаза уже остановились на кинорекламе, прочла молодая женщина статью о Западной Германии: «Как в Западной Германии используют свободу вероисповеданий». «Впервые за всю немецкую историю, — читает женщина, — в Западной Германии гарантирована полная свобода вероисповеданий»... «Бедные немцы, — думает женщина и снова заводит: — Иисусе милосердный, упаси их душу».

Давно просмотрена кинореклама, глаза женщины внимательно пробегают колонку, озаглавленную «Свадебные колокола», в ней сообщается и о бракосочетании Дермота О'Хари и Шиван О'Шонесси (с подробнейшими сведениями о социальном положении и месте жительства родителей жениха и невесты, шафера, подружек, свидетелей).

Глубоко вздохнув и с тайной надеждой, что, быть может, уже прошел час, молодая женщина смотрит на циферблат: прошло всего полчаса, и она снова склоняется над газетой. Реклама туристского агентства: путешествие в Рим, Лурд, в Париж, а кроме того, за несколько шиллингов вы можете вписать свое имя в «Золотую книгу молитв». Открылся новый молельный дом, его учредители, сияя, выстроились перед объективом. В одном захолустном городке в Мэйо — с четырьмястами пятьюдесятью жителями — благодаря активности местного фестивального комитета состоялся настоящий фестиваль: гонки на ослах, бег в мешках, прыжки в длину и конкурс на самого медленного велосипедиста:

победитель конкурса, ухмыляясь, предоставляет свою физиономию фото-репортеру: он, щедущий ученик секции продовольственных товаров, лучше других умеет следить за тормозами.

Поднялась буря, доносится грохот прибоя, женщина кладет газету, встает, подходит к окну и смотрит на бухту: скалы черны, как высохшие чернила, хоть и висит над ними ясная и полная монета луны, в глубину моря тоже не проникает этот холодный и ясный свет, он растекается по самой поверхности, как вода по стеклу; он придает берегу темно-ржавую окраску, он ложится на болото, как плесень; внизу, у пристани, мерцает слабый огонек, пляшут черные лодки...

Если несколько раз помолиться за душу Мэри Мак-Намара — это делу не повредит. Бисеринки пота выступают на бледном гордом лице, в котором удивительно сочетаются суровость и доброта — лицо пастушки, лицо рыбацки. Такое лицо было, наверно, у Жанны д'Арк.

Молодая женщина бежит от лунного холода, зажигает сигарету, подавляет желание налить себе третью рюмку, снова берет газету, пробегает ее глазами, а в голове засело одно: «Иисусе милосердный, смилуйся над нами», глаза пробегают спортивную хронику, коммерческий раздел, расписание пароходов, а видят — Мэри Мак-Намара: воду греют на торфяном огне в роскошном медном котле, в большом, как детская ванночка, котле цвета червонного золота. Кто-то из предков Мэри будто бы нашел его среди обломков «Великой Армады»; может быть, в этом котле испанские матросы варили пиво или похлебку. Масляные лампы и свечи горят перед ликами святых, а ноги Мэри, ища опоры, упираются в спинку кровати, соскальзывают, сейчас они видны целиком: белые, нежные, сильные, самые красивые ноги, какие когда-либо видела молодая жена доктора. А она повидала много ног: в ортопедической клинике в Дублине, где она подрабатывала во время каникул: жалкие, страшные ноги, которые никогда уже не послужат своим хозяйкам; и на пляжах видела она голые ноги: в Дублине, в Килини, Россбее, Сенди-маунте, Малахайде, в Брее, а летом, когда приезжают купальщики — и здесь тоже. Но никогда еще не видела она таких красивых ног, как у Мэри Мак-Намара. Нужно уметь слагать баллады, со вздохом думает она, чтобы достойно воспеть ноги Мэри, — ноги, которые карабкаются по скалам и рифам, шлепают по болотам, меряют дорожные мили, ноги, которые сейчас упираются в спинку кровати, чтобы вытолкнуть ребенка из чрева. «Таких ног я не видела ни у одной кинозвезды, ручаюсь, что это самые красивые ноги в мире: белые, нежные, сильные, подвижные, почти как руки; ноги Афины, ноги Жанны д'Арк».

Молодая женщина не спеша погружается в газетные объявления. Продажа домов: семьдесят объявлений — значит семьдесят эмигрантов, семьдесят поводов воззвать к Иисусу. Купят дом — два объявления. Ох, Кэтлин, дочь Холизна, что же ты делаешь со своими детьми! Продаются крестьянские дворы — девять. А кто покупает? Никто. Требуются молодые мужчины, которые чувствуют призвание к монашеской жизни, требуются молодые женщины, которые чувствуют призвание к монашеской жизни. Английские больнички ищут санитарок, льготные условия, оплаченный отпуск и раз в год поездка домой на казенный счет.

Еще один взгляд в зеркало, теперь можно чуточку подкрасить губы, подправить брови щеточкой, подновить серебристый лак на указательном пальце правой руки — он облупился во время путешествия по карте. Потом — опять в прихожую; заново отлакированный ноготь продельвает по карте путь до того места, где живет женщина с самыми красивыми в мире ногами; здесь палец задерживается надолго, в память встают шесть миль обрывистого берега, а по летним дням бескрайняя синева; среди которой — словно ненастоящие — острова, вечно окруженные

гневной пеной моря; острова, в существование которых трудно поверить, — зеленые, черные; мираж, наводящий грусть, потому что на самом деле это не мираж и не может быть им — и потому, что Иден Мак-Намара вынужден работать в Бирмингеме, чтобы его семья могла жить здесь. Разве не похожи ирландцы с западного побережья на отпускников, приехавших погостить, ведь деньги на жизнь они зарабатывают где-то далеко отсюда? Сурова синь морских далей, острова высечены на ней как из базальта, лишь изредка мелькнет крохотная черная лодка — значит, люди.

Рев прибой страшит молодую женщину: ах, как иногда осенью или зимой, когда неделями не унимается шторм, неделями ревет прибой и хлещет дождь, начинается она тосковать по темным городским стенам. Она снова глядит на гладкий медяк луны, луна уже передвинулась к западному концу бухты; и вдруг видит два световых конуса — от машины ее мужа — беспомощные, как руки, которым не за что ухватиться, шарят они по серым облакам, ползут вниз — значит, машина почти взяла подъем, — выскакивают из-за перевала, оббегают крыши деревни и наконец падают на дорогу: еще две мили болотом, потом деревня и сигналы — три и еще раз три, и теперь все люди в деревне знают, что Мэри Мак-Намара родила мальчика, точно в ночь с 24 на 25 сентября; сейчас почтмейстер вскочит с постели и даст телеграммы в Бирмингам, в Рим, в Нью-Йорк, в Лондон, и еще сигнал для жителей верхней деревни — три раза: Мэри Мак-Намара родила мальчика.

Уже слышен мотор, громче, ближе, отчетливее, вот уже лучи фар тенями веерных пальм ложатся на белую стену дома, застревают в кустах олеандра, останавливаются, и в свете, падающем из окна, молодая женщина видит огромный медный котел, который, должно быть, попал сюда с «Великой Армады». Муж, улыбаясь, выносит его на свет.

— Королевский гонорар, — тихо говорит он, и жена закрывает окно, бросает еще один взгляд в зеркало и до краев наполняет две рюмки — за самые красивые в мире ноги.

Мертвый индеец на Дюк-стрит

Не без колебаний ирландский полисмен поднял руку, чтобы остановить машину. Может быть, он потомок какого-нибудь короля или внук какого-нибудь поэта, а то и внучатый племянник какого-нибудь святого, не исключено также, что у него, поставленного охранять закон, лежит дома под подушкой другой пистолет — знак борца за свободу, презревшего законы. Но никогда обязанности, ныне им выполняемые, не воспевались ни в одной из бесчисленных колыбельных, что пела ему мать. Сравнить номер, указанный в документах, с номером машины, сравнить мутную фотографию с лицом живого владельца — какое бессмысленное, какое унижительное занятие для потомка короля, внука поэта и внучатого племянника святого — для того, кто, быть может, предпочитает незаконный пистолет законному, тому, что болтается сейчас у него на бедре.

Итак, после мрачного раздумья он останавливает машину; сидящий внутри соотечественник опускает стекло. Полицейский улыбается, соотечественник улыбается, теперь можно начинать деловой разговор.

— Денек нынче что надо, — говорит полицейский. — А как у вас дела?

— Отлично, а у вас?

— Можно бы и получше, но денек-то правда ведь хорош?

— Великолепный... А вы не думаете, что может пойти дождь?

Полицейский бросает торжественный взгляд на восток, на север, на запад и на юг, и в прочувствованной торжественности, с которой он, при-

нохиваясь, вертит головой, кроется сожаление о том, что есть всего четыре стороны света, а как было бы здорово с той же прочувствованной торжественностью поглядеть не на все четыре, а на все шестнадцать сторон. Затем он раздумчиво отвечает соотечественнику:

— Не исключено, что пойдет дождь. Знаете, в тот день, когда моя старшая родила своего младшего — чудный парень, волосенки каштановые, а глаза — вот это глаза, доложу я вам, — так вот три года назад и как раз об эту же пору мы тоже думали, что будет неплохой день, но к вечеру припустил такой дождь!

— Да, — говорит соотечественник в машине, — когда моя невестка, жена моего второго сына, родила первого ребенка — премилая девчурка с такими беленькими волосиками, а глазки голубенькие, прелестный ребенок, доложу я вам, — так вот тогда погода была почти такая же, как сегодня.

— И в тот день, когда моей жене вырвали коренной зуб, тоже утром — дождь, днем — солнце, вечером — опять дождь, ну совершенно так же, как в тот день, когда Кэти Коуглен зарезала настоятеля церкви святой Марии...

— А удалось выяснить, почему она это сделала?

— Она зарезала его потому, что он не хотел отпустить ей грехи. На суде она все время говорила в свое оправдание: «Что ж, говорит, мне так и умирать было со всеми грехами?» Как раз в тот день у третьего ребенка моей второй дочери прорезался первый зуб. Обычно мы всегда отмечаем каждый зуб, а тут мне пришлось под проливным дождем шарить по Дублину в поисках Кэти.

— И вы нашли ее?

— Нет, она уже два часа сидела в участке и ждала нас, а там никого не было, потому что все разбежались ловить ее.

— Она раскаивалась?

— Нисколько. Она сказала: «Я считаю, что он угодил прямо в рай, так чего же ему еще надо?» И еще поганый был день, когда Том Даффи спер у Вулворта большого шоколадного негра и притащил его в зоопарк угостить медведей. В нем было сорок фунтов чистого шоколаду, и все звери прямо взбесились от урчания медведей. День был солнечный прямо с утра, и я хотел поехать к морю со старшей дочерью моей старшей дочери, а вместо этого мне пришлось забирать Тома, он лежал дома в постели и крепко спал; и вы знаете, что этот парень мне сказал, когда я его разбудил? Знаете?

— Понятия не имею.

— Он мне сказал: «Черт побери, почему этот роскошный негр тоже должен принадлежать Вулворту? А вы даже не дадите человеку спокойно поспать. Что за дурацкий, что за глупый мир — хорошие вещи принадлежат плохим людям...» Такой чудный был день, а я изволь арестовывать этого дурака Тома.

— Да, — сказал соотечественник в машине, — и когда мой младший провалился на выпускных экзаменах, тоже был отличный день...

Если помножить число родственников на их возраст, а эту цифру еще на триста шестьдесят пять, то можно приблизительно вычислить количество вариаций на тему «погода». И никогда не узнаешь, что важнее — убийство, которое совершила Кэти Коуглен, или погода, которая была в тот день; невозможно установить, кто для кого служит оправданием: дождь ли для Кэти или Кэти для дождя, — вопрос остается открытым. Украденный шоколадный негр, выдернутый зуб, невыдержанный экзамен — все эти события существуют не сами по себе, они подчинены истории погоды и подключены к ней, они входят составной частью в таинственную, бесконечно сложную систему координат.

— А еще,— сказал полицейский,— была плохая погода в тот день, когда монахиня нашла на Дюк-стрит мертвого индейца: мы несем беднягу в участок, ветер воет, дождь хлещет прямо в лицо. Монахиня все время шла рядом и молилась за его бедную душу; воды набрала полные туфли, а ветер был такой сильный, что задирает намокший подол ее юбки и видно было коричневое трико, заштопанное розовыми нитками.

— Его кто-нибудь убил?

— Индейца-то? Нет, мы так и не смогли установить, кто он такой и откуда родом; следов яда в нем не обнаружили, никаких признаков насилия не оказалось. В руках он держал томагавк, а одет был в военный убор и покрыт военной раскраской, и, поскольку человек не может существовать без имени, мы назвали его: «Наш возлюбленный краснокожий брат, явившийся из воздуха». Монахиня все плакала и не уходила от него и повторяла: «Это ангел, конечно же, это ангел, вы только посмотрите на его лицо».

Глаза полицейского блеснули, торжественно разгладилось его чуть отечное от виски лицо, и сам он вдруг помолодел.

— Теперь я тоже думаю, что это был ангел; иначе откуда бы он взялся?

— Удивительно,— шепнул мне соотечественник,— я никогда не слышал об этом индейце.

И я начал догадываться, что полицейский вовсе не внук поэта, а сам поэт.

— Мы похоронили его только через неделю — все искали кого-нибудь, кто мог бы знать его, но никто его не знал. Самое любопытное, что и монахиня вдруг исчезла. Но я-то видел розовую штопку на ее коричневом трико, когда ветер задирает ей подол. Скандал, конечно, поднялся страшный, когда полиция пожелала осмотреть трико у всех ирландских монахинь.

— Ну и как, нашли?

— Нет,— сказал полицейский.— Не удалось. Но я уверен, что монахиня тоже была ангелом. Знаете только, что вызывает у меня сомнение: неужели даже ангелы ходят в заштопанных трико?

— А вы спросите у архиепископа,— сказал соотечественник и, опустив стекло еще ниже, протянул полицейскому пачку сигарет. Полицейский взял сигарету.

Наверное, этот маленький подарок напомнил полицейскому о действительной, о докучной земной жизни, потому что лицо его внезапно постарело, стало по-прежнему усталым и отечным, и он спросил:

— Кстати, не покажете ли вы мне ваши документы?

Соотечественник даже не пытался сделать вид, что он ищет что-то, не стал изображать то напускное волнение, с каким мы ищем вещь, когда твердо знаем, что ее при нас нет; он просто сказал:

— Я их оставил дома.

Полицейский не колебался ни секунды.

— Ну,— сказал он,— лицо у вас, я надеюсь, ваше собственное.

А вот на своей ли собственной машине он едет, вероятно, не играет никакой роли, подумал я, когда мы поехали дальше. Мы ехали по чудесным аллеям, мимо великолепных развалин, но я почти ничего не видел: я думал о мертвом индейце, которого монахиня нашла на Дюк-стрит, когда бушевал ветер и дождь хлестал в лицо; я видел их как во плоти — чету ангелов, из которых один был в боевом уборе, а другая в коричневом трико, заштопанном розовыми нитками, видел гораздо явственнее, чем то, что мог видеть на самом деле: чудесные аллеи и великолепные развалины...

Глядя в огонь

Существует широко распространенное заблуждение, будто топор в доме заменяет плотника; но иметь собственный торфяник все-таки приятно. У мистера О'Донована из Дублина есть таковой, потому что он есть у многих О'Нилов, Мэллоев и Дэли из Дублина. В свободные дни (а свободных дней у него хватает) он берет заступ, садится на семнадцатый или сорок седьмой автобус и едет на свой торфяник; надо уплатить шесть пенсов за билет, сунуть в карман несколько сандвичей и флягу чая и можно добывать свой собственный торф на своем собственном участке. Потом грузовик или запряженная ослом тележка доставят этот торф в город. Его соотечественникам, проживающим в других графствах, и того легче: у тех торф залегает чуть ли не в комнате, и в солнечные дни на голых, испещренных черными и зелеными полосами холмах царит такое же оживление, как во время уборки урожая; здесь собирают урожай, возвращенный столетиями сырости меж голых скал, озер и зеленых лугов; торф — единственное природное богатство страны, сотни лет назад лишившейся своих лесов, — страны, не всегда имевшей и не всегда имеющей хлеб свой насущный, но почти всегда имевшей и имеющей свой насущный дождь, пусть даже кратковременный: крохотное облачко выплывает в ясное небо, где его шутя выжимают, как выжимают губку.

Высокими штабелями сохнут куски коричневого пирога за каждым домом, порой штабеля перерастают крышу — значит, одним добром вы обеспечены наверняка: в камине у вас всегда будет огонь — красное пламя, облизывающее темные комья и оставляющее после себя светлый пепел, легкий и без запаха, почти как пепел сигары — белый кончик черной гаваны.

Камин делает ненужным одну наименее приятную (и наиболее необходимую) принадлежность всякого цивилизованного общества — пепельницу. Если время, проведенное в доме, гость расчленил на сигареты и, уходя, оставил в пепельнице, а хозяйка потом опоражнивает это зловонное вместилище, на дне все равно остается какая-то гадость — вязкая, липучая, черно-серая. Можно только удивляться, что до сих пор ни один психолог не исследовал низин психологии и не открыл, как ответвление ее, науку окуркологии; тогда хозяйка, собирая расчлененное время, чтобы выкинуть его, могла бы не без пользы для себя поупражняться в психологии: вот докуренные только до половины, грубо смятые окурки тех, у кого никогда нет времени и кто своими сигаретами тщетно борется со временем за время; вот Эрос оставил темно-красную кайму на мундштуке, а курильщик трубки — пепел своей солидности: черный, рассыпчатый и сухой; а вот — скудные окурки заядлого курильщика, который закурит вторую сигарету не раньше, чем огонь первой обожжет ему губы, — словом, в низинах психологии можно набрать по меньшей мере несколько явных улик как побочных продуктов цивилизованного общества. И сколь благотворен огонь камина, который уничтожает все следы; остаются только чашки, да несколько рюмок, да рдеющее в камине ядро, которое хозяин время от времени обкладывает новыми порциями торфа.

Бессмысленные проспекты — реклама холодильников, путешествие в Рим, «Золотая библиотека юмора», автомобили, брачные объявления — поток, который угрожающе растет, поток газет, оберточной бумаги, билетов и конвертов можно направить непосредственно в огонь, да еще подложить несколько кусков плавника, подобранных во время прогулки по берегу: обломок коньячного ящика, чурбак, смытый с палубы какого-то корабля, сухой, белый; стоит поднести спичку — и вот уже взметнулись языки пламени, и время, время от пяти часов до полуночи, быстро

делается добычей мирного огня. Разговаривают у камина тихо, а если кто закричит — значит, он либо болен, либо смешон. У камина можно забыть школьные уроки европейской истории — Москва вот уже четыре часа, Берлин вот уже два и даже Дублин вот уже полчаса, как погружены во мрак. Над морем еще стоит слабое сияние, и Атлантика упорно, пядь за пядью размывает западный форпост Европы, галька осыпается в море, бесшумные илистые ручьи увлекают в океан темную европейскую землю; под тихий лепет струй они по крупинке уносят за какие-нибудь несколько десятилетий целые поля и пашни.

И хозяин, забывший уроки европейской истории, с тяжелым сердцем подкладывает в камин новую порцию торфа, призванного дать свет для полуночной партии в домино; медленно ползет стрелка по шкале приемника, пытаюсь узнать время. Но из приемника рвутся только обрывки гимнов: Польша еще не погибла — Бог хранит королеву, — Маас и Мемель, Эч и Бельт все еще границы Германии (это не говорится и не поется, но слова эти врезаны в невинную мелодию, как в напев шарманки), — Дети отечества по-прежнему вешают аристократов на фонарях. Медленно меркнет зеленый огонек индикатора, и снова пламя набрасывается на торф, где лежит еще один час времени — четыре куска торфа поверх алого ядра; насущный дождь сегодня запоздал; тихо, почти с улыбочкой, падает он на болото и на море.

Шум машины, на которой уезжают гости, удаляется в сторону огней, рассыпанных по болоту, по черным склонам, уже погруженным во мрак, а на берегу и над морем еще светло. Купол тьмы не спеша накрывает горизонт, задвинута последняя светлая щель; но полной тьмы по-прежнему нет — над Уралом опять светает: вся Европа не шире одной короткой летней ночи.

Если Симус хочет выпить...

Если Симус (произносится Шеймус) хочет выпить, он должен учиться, в какое время можно дать волю своей жажде. Покуда в деревне есть приездие (а они бывают далеко не в каждой деревне), он может предоставить своей жажде некоторую свободу, потому что приездие имеют право пить, как только почувствуют жажду, и тогда местный житель может спокойно затесаться между ними у стойки, тем более что он представляет собой элемент местной экзотики, привлекающей иностранных туристов. Но после первого сентября Симусу нужно регулировать свою жажду. Полицейский час по будням наступает в десять часов, и это уже крайне неприятно потому, что в теплые и сухие сентябрьские дни Симус часто работает до половины десятого, а то и позже.

По воскресеньям же он заставляет свою жажду просыпаться либо до двух часов, либо от шести до восьми вечера. Если обед затянется, если жажда проснется только после двух, Симус найдет местный трактир закрытым, а хозяин — даже если удастся до него достучаться — будет чрезвычайно «сорри» и не выкажет ни малейшего желания из-за одной кружки пива или рюмки виски платить пять фунтов штрафа, таскаться в главный горд графства выяснять отношения с властями и терять целый день. По воскресеньям с двух до шести трактиры должны быть закрыты, а полностью доверять местному полицейскому нельзя: бывают такие люди, на которых по воскресеньям после слишком плотного обеда находит приступ исполнительности и они упиваются своей преданностью закону. Но ведь и Симус гоже плотно пообедал, и его страстное желание выпить кружку пива можно понять и уж никак нельзя осудить.

Итак, в пять минут третьего Симус стоит посреди деревенской площади и размышляет. Когда горло пересохло, запретное пиво представляется гораздо более соблазнительным, чем пиво легко доступное. Симус размышляет: выход есть — можно достать из сарая велосипед и отмахать шесть миль до соседней деревни, потому что тамошний хозяин трактира должен дать ему то, в чем должен отказать местный: его порцию пива. Этот нескладный сухой закон содержит оговорку, согласно которой путнику, удалившемуся от своего дома не меньше, чем на три мили, прохладительные напитки отпускаются беспрепятственно. Симус все еще размышляет: географическое положение у него неблагоприятное — к сожалению, человек не может сам выбрать, где ему родиться, и Симусу в этом смысле не повезло, ибо ближайшая деревня находится не в трех, а в шести милях отсюда — редкая для ирландца неудача: чтобы на шесть миль ни одного трактира — это явление для Ирландии исключительное. Шесть миль туда, шесть миль обратно — двенадцать миль, больше восемнадцати километров, ради одной кружки пива, да еще кусок дороги идет в гору. Симус вовсе не пьяница, иначе он не размышлял бы так долго, а давно бы уже крутил ногами педали, и монеты весело позвякивали бы в его кармане. Ему только и хочется выпить кружку пива: окорок был пересолен, капуста переперчена, а разве подобает мужчине утолять свою жажду колодезной водой или пахта-нем? Он смотрит на плакат над трактиром: огромная, выполненная в натуралистической манере кружка, в ней темное, цвета лакрицы пиво — свежий, чуть горьковатый напиток, а поверх — пена, белая, белоснежная пена, которую слизывает томимый жаждой тюлень; «A lovely day for a Guinness»¹. О, муки Тантала! Столько соли в окороке! Столько перца в капусте!

Чертыхаясь, возвращается Симус к себе. Он выводит велосипед из сарая и, яростно крутя педали, выезжает со двора. О, Тантал и — о, воздействие ловкой рекламы! Жарко, очень даже жарко, и гора крутая. Симус слезает, толкает велосипед в гору, обливается потом, изрыгает ругательства, однако ругательства его не касаются сексуальных вопросов, как у тех народов, которые потребляют виноградное вино; его ругательства — это ругательства человека, предпочитающего виноградным винам спиртные напитки, они кошунственнее и умнее — недаром же спиритус — это дух. Симус ругает правительство и, надо полагать, духовенство, упорно настаивающее на сохранении этого непонятного закона (ибо когда в Ирландии раздают лицензии на содержание трактиров, назначают полицейский час или устраивают ганцевальный вечер, решающий голос принадлежит духовенству), — наш вспотевший, изнывающий от жажды Симус, который всего лишь несколько часов назад так благочестиво и кротко стоял в церкви и слушал воскресную проповедь.

Наконец он взбирается на вершину горы, и здесь разыгрывается сценка, из которой я с удовольствием сделал бы скетч, а именно: здесь Симус встречает своего двоюродного брата Дермота — из соседней деревни. Дермот тоже ел за обедом пересоленный окорок с переперченной капустой, Дермот тоже не пьяница, и ему тоже достаточно бы одной кружки пива для утоления жажды, он тоже постоял у себя в деревне перед плакатом с очень натуральной кружкой пива и лакомкой тюленем, он тоже поразмыслил, выкатил из сарая велосипед, тоже ташил его в гору, потел, ругался — и вот теперь встретил Симуса; происходит краткий, но кошунственный диалог, после чего Симус мчится вниз под гору к трактиру Дермота, а Дермот — к трактиру Симуса, и

¹ Реклама пива: «Чудный денек для кружки Гинесс».

оба сделают то, чего не собирались делать: оба напьются до бесчувствия, потому что тащиться в такую даль из-за одной кружки пива или одной рюмки виски было бы просто нелепо. И через столько-то часов того же воскресенья они, качаясь и горланя песни, снова будут толкать свои велосипеды в гору и с головокружительной скоростью мчаться вниз по склону. Они, которых никак нельзя назвать пьяницами — а может, все-таки можно? — станут пьяницами раньше, чем наступит вечер.

Не исключено также, что Симус, который стоит в третьем часу на деревенской площади, томясь от жажды, и созерцает лакомку тюленя, решит погодить и не станет вытаскивать из сарая велосипед; может быть — какое унижение для мужчины! — он решит утолить свою жажду водой или пахтаем и повалиться на кровати с воскресной газетой. От гнетущей пополуденной жары, от тишины он задремлет, потом вдруг проснется, глянет на часы и, вне себя от ужаса, словно за ним гонится черт, ринется в трактир, потому что на часах без четверти восемь и у его жажды осталось в распоряжении всего пятнадцать минут. Хозяин уже начал монотонно выкрикивать свое обычное: «Ready now, please! Ready now, please!» — «Прошу заканчивать! Прошу заканчивать!» Сердито, впопыхах, то и дело поглядывая на часы, Симус опрокинет три, четыре, пять кружек пива и несколько рюмок виски следом, потому что часовая стрелка все ближе и ближе подползает к восьми и выставленный у дверей пост уже сообщил, что к трактиру медленно приближается полиция, — ведь есть же люди, на которых после воскресного обеда находит дурное настроение и преданность закону.

Тот, кто воскресным днем незадолго до восьми часов окажется в трактире и будет оглушен хозяйским: «Прошу заканчивать!», может увидеть, как врываются в трактир все не пьяницы, которым вдруг пришло в голову, что трактир скоро закроется, а они еще не сделали того, к чему у них, возможно, и не было бы охоты, если бы не этот сумасшедший закон, — они еще не напились. Без пяти восемь напыв посетителей превосходит всяческое вероятие: люди усиленно заливают жажду, которая может проснуться часам к десяти — одиннадцати, а может и вообще не проснуться. Кроме того, каждый чувствует себя обязанным поднести приятелю, и хозяин в отчаянии кличет на подмогу жену, племянниц, внуков, бабушку, прабабушку и тетю, потому что за три минуты, оставшиеся до восьми, ему нужно успеть семь раз обнести всех присутствующих, то есть продать распивочно шестьдесят кружек пива и столько же рюмок виски, а его клиентам нужно успеть их выпить. В азарте, с каким здесь пьют и подносят друзьям, есть что-то детское — точно так же мальчишка тайком выкуривает сигарету и тайком блюет после нее, — а потом, когда ровно в восемь в дверях возникает полицейский, потом начинается чистейшее варварство: бледные, ожесточившиеся семнадцатилетние юнцы, спрятавшиеся где-нибудь в хлеву, наливаются пивом и виски во исполнение бессмысленных правил игры, называемой мужская солидарность, а хозяин, что ж, хозяин подсчитывает выручку: куча бумажек по фунту, звонкое серебро, все деньги, деньги, и закон соблюден.

А воскресенье кончится еще не скоро, сейчас ровно восемь — еще рано, и сценка, разыгранная в два часа пополудни Симусом и Дермотом, может быть повторена с любым числом участников; итак, вечером, примерно в четверть девятого, на вершине горы встречаются две группы пьяных: чтобы использовать трехмильный обход закона, нужно только поменяться деревнями, поменяться трактирами. Немало проклятий возносится по воскресеньям к небу этой благочестивой страны, на землю которой, хоть она и католическая, никогда не ступала нога римского наемника: кусок католической Европы за пределами Римской империи.

Девятый ребенок миссис Д.

Девятого ребенка миссис Д. зовут Джеймс Патрик Пий. В день, когда он родился, старшей дочери миссис Д., Шиван, исполнилось семнадцать лет. Чем займется Шиван, уже решено. Она устроится на почту — будет обслуживать коммутатор, соединять и разъединять разговоры с Глазго, Ливерпулем и Лондоном, продавать марки, выписывать квитанции и выплачивать в десять раз больше денег, чем принимать: фунты из Англии, разменные доллары из Америки, пособия по многодетности, премии тем, кто говорит по-гельски, пенсии. Каждый день около часу, когда приезжает почтовая машина, она будет плавить на свечке сургуч и приклеивать большую печать с ирландской лирой на большую кипу писем, содержащих самые важные сведения. Но она не будет — как это делает сейчас ее отец — каждый день выпивать по кружке пива с шофером почтовой машины и заводить с ним короткий солидный разговор, по сдержанности своей больше напоминающий богослужение, нежели мужской разговор у стойки. Значит, вот чем будет заниматься Шиван: с восьми утра до двух часов дня вместе со своей помощницей она будет сидеть за окошечком, а вечером, с шести до десяти, сидеть на коммутаторе; у нее будет оставаться время, чтобы читать газеты или романы и смотреть в бинокль на море, приближать голубые острова, лежащие в двадцати километрах, до двух с половиной километров, а купальщиков на пляже с пятисотметрового отдаления на шестидесятиметровое: жительницы Дублина, элегантные и старомодные, бикини и прабабушкины купальники с оборочками и юбочками. Но дольше, гораздо дольше, чем короткий купальный сезон, будет тянуться другой — мертвый и тихий: ветер, дождь, ветер, лишь изредка какой-нибудь иностранец купит пятицентовую марку, чтобы отправить письмо на континент, а то и вовсе кто-то надумает отправлять заказные письма на три-четыре унции весом в города, которые называются Кельн, Франкфурт или Мюнхен, и заставит доставать толстую книгу тарифов и делать сложные расчеты, или в этих городах у этого человека окажутся друзья, и они заставят ее расшифровывать телеграммы, которые гласят: «Eile geboten. Stop. Antwortet baldmöglichst»¹. Поймет ли она когда-нибудь, что означает «baldmöglichst» — слово, которое она старательно выпишет своим детским почерком на телеграфном бланке, и только вместо «о» поставит «ое».

Как бы там ни было, в ее будущем можно не сомневаться, если только вообще в этом мире существует что-нибудь, в чем можно не сомневаться. Тем более можно не сомневаться в том, что она выйдет замуж: глаза у нее, как у Вивьен Ли, и по вечерам один молодой человек будет сидеть на барьере и, болтая ногами, вести с Шиван тот неловкий, почти безмолвный флирт, который возможен только при пламенной любви и почти болезненной застенчивости.

— Сегодня хорошая погода, правда?

— Да.

Молчанье, беглый взгляд, улыбка, продолжительное молчание. Шиван даже рада, что загудел коммутатор.

— Вы кончили говорить? Вы кончили говорить?

Разъединяет; улыбка, взгляд, молчание, продолжительное молчание.

— Хорошая погода, правда?

— Правда.

Молчание, улыбка, снова приходит на помощь коммутатор.

— Дукинелла. Дукинелла слушает.

¹ Здесь: «Срываете сроки. Тчк. Отвечайте незамедлительно» (нем.).

Включает. Молчание, глаза Вивьен Ли улыбаются, и молодой человек уже прерывающимся голосом:

— Правда, сказочная погода?

— О да, сказочная.

Замуж Шиван выйдет; но и после этого она будет обслуживать коммутатор, продавать марки, выплачивать деньги и оттискивать на мягком сургуче круглую печать с ирландской лирой.

Но она может вдруг не вытерпеть — когда неделями дует ветер, и люди, наклонившись вперед, бредут по улицам, одолевая бурю, когда неделями хлещет дождь, и в бинокль не видны больше голубые острова, и туман прижимает к земле торфяной дым, тяжелый и горький. Так ли, иначе ли, а она может остаться здесь, и это невероятная удача: из восьми ее братьев и сестер здесь могут остаться только двое. Один может содержать маленький пансионат, другой может ему помогать, если только не женится: две семьи на пансионате не прокормятся. Остальным придется эмигрировать или искать работу по всей Ирландии. Но где они ее найдут и сколько будут зарабатывать? Те немногие, которые имеют здесь постоянную работу, — рыбачат, работают в порту, добывают торф или заняты на берегу, в песчаных карьерах, — зарабатывают от пяти до семи фунтов в неделю. Если к тому же у них есть собственный торфяник, корова, куры, домик и дети, которые помогают по хозяйству, жить еще можно, но в Англии рабочий зарабатывает со сверхурочными от двадцати до двадцати пяти фунтов в неделю, а без сверхурочных от двенадцати до пятнадцати, не меньше. Следовательно, молодой парень, даже если он расходует на себя в неделю десять фунтов, сможет посылать домой от двух до пятнадцати фунтов, а здесь немало старушек, которые живут на два фунта, присылаемые сыном или внуком, и немало семей, которые живут на пять фунтов, присылаемые отцом.

Итак, не подлежит сомнению, что из девяти детей миссис Д. пятерым или шестерым придется эмигрировать. Неужели и маленький Пий, которого терпеливо качает старший брат, покуда мать жарит постояльцам глазунью, накладывает повидло, режет белый и ржаной хлеб, разливает чай, печет на торфяном жару булки, раскладывая тесто по железным формам и подгребая к ним угли (между прочим, это выходит и быстрее и дешевле, чем на электричестве), — неужели и маленький Пий в 1970 году, четырнадцать лет от роду, тоже первого октября или первого апреля, весь в значках и бляхах будет стоять на автобусной остановке с фибровым чемоданом в руках, с пакетом отборных бутербродов, и всхлипывающая мать будет обнимать его перед большим путешествием в Кливленд, Огайо, Манчестер, Ливерпуль, Лондон или Сидней к какому-нибудь дяде, к двоюродному или родному брату, который твердо пообещал заботиться о мальчике и что-нибудь для него сделать?

О, эти прощанья на ирландских вокзалах, на автобусных остановках среди болот, когда слезы мешаются с каплями дождя и дует ветер с Атлантики; здесь же стоит дедушка, он знает трущобы Манхэттена и Нью-Йоркский союз портовых рабочих, он тридцать лет бился с нуждой и потому украдкой сует еще одну фунтовую бумажку остриженному под машинку и шмыгающему носом внуку, которого оплакивают, как некогда Иаков Иосифа; шофер автобуса осторожно сигналил, очень осторожно, но он уже доставил к поезду сотни, а может, и тысячи вырвавшихся у него на глазах детей, и он знает, что поезд ждать не станет и что прощанье завершнное легче вынести, чем предстоящее. Парнишка машет рукой, автобус едет по пустоши мимо маленького белого домика на болоте, слезы мешаются с соплями, мимо лавки, мимо трактира, где отец по вечерам выпивал свою положенную кружку пива, мимо школы, мимо церкви — мальчишка осеняет себя крестом, шофер тоже; остано-

ка, новые слезы, новые прощания. Ах ты господи, Майкл тоже уезжает, и Шейла. Слезы, слезы...

За восемь часов автобус и поезд доставляют в Дублин; но те, кого подбирают по дороге, те, кто толпится в тамбурах с коробками, обшарпанными чемоданами и полотняными узлами — девочки, которые еще наматывают на руки четки, мальчики, у которых в карманах еще бреччат камушки, весь этот груз — лишь ничтожная часть, какие-то несколько сотен из более чем сорока тысяч людей, ежегодно покидающих страну. Рабочие и врачи, медицинские сестры, служанки и учительницы — ирландские слезы, которые где-нибудь в Лондоне, Манхэттене, Кливленде, Ливерпуле или Сиднее сольются с другими слезами.

Из восьмидесяти детей, слушающих воскресную мессу в церкви, через сорок лет здесь будут жить только сорок пять. Но у этих сорока пяти будет столько детей, что снова восьмьдесят детей будут по воскресеньям преклонять колени в церкви.

Итак, из девяти детей миссис Д. по меньшей мере пять или шесть должны будут эмигрировать. А покамест маленького Пия нянчит старший брат, а мать бросает в большой котел омаров для своих постояльцев, поджаривает лук на сковороде и кладет остудить дымящиеся хлебцы на выложенный изразцами стол, а море шумит, и Шиван с глазами, как у Вивьен Ли, смотрит в бинокль на голубые острова — острова, где в ясную погоду можно разглядеть маленькую деревушку, дома, амбары, церковь с обрушенной колокольней. Но жить там никто не живет, никто. Птицы вьют гнезда в комнатах, тюлени нежатся иногда на маленькой пристани, шумные чайки пронзительно кричат на заброшенных улицах, как проклятые души. Это птичий рай, как говорят те, кому случается иногда перевозить на ту сторону какого-нибудь английского профессора-орнитолога.

— Вот теперь ее видно, — говорит Шиван.

— Кого ее? — спрашивает мать.

— Церковь; она совсем белая, ее всю облепили чайки.

— Подержи-ка Пия, — говорит брат, — мне надо идти доить корову.

Шиван кладет бинокль, берет малыша и, напевая песенку, ходит с ним из угла в угол — укачивает. А может быть, это она поедет в Америку и сделается там официанткой или кинозвездой, а Пий пусть остается здесь, продает марки, работает на коммутаторе и через двадцать лет посмотрит в бинокль на покинутый остров, чтобы убедиться, что теперь завалилась вся церковь.

Будущее — проводы и слезы — для семьи Д. еще не началось, никто из них еще не укладывал чемодан и не испытывал терпение шофера, чтобы хоть немного оттянуть разлуку, никто еще и не думает об этом, и потому настоящее здесь весомее будущего, но этот перевес, из-за которого планы подменяются фантазиями, этот перевес еще окупится слезами.

Небольшое дополнение к западной мифологии

Пока лодка медленно входила в маленькую гавань, мы разглядывали старика, сидящего на каменной скамье возле каких-то развалин. Точно так же он мог сидеть триста лет назад, трубка, которую он курил, ничего здесь не меняла: трубку, зажигалку и кепку от Вулворта можно без труда перенести в семнадцатый век: они монтировались со стариком, с ним монтировалась даже кинокамера, которую Джордж заботливо спрятал на носу лодки. Вероятно, сотни лет назад уличные певцы и странствующие монахи точно так же приставали здесь к берегу, как сейчас приставали мы. Старик приподнял кепку — волосы у него

были седые, густые и пушистые.— привязал нашу лодку, мы спрыгнули на берег и, улыбаясь, обменялись приветствиями: «Lovely day, nice day, wonderful day»¹ — очень сложная простота приветствий, употребляемых в странах, где погода находится под вечной угрозой со стороны бога дождя; и едва мы ступили на землю маленького острова, нам почудилось, будто время сомкнулось над нашей головой, как водоворот. Невозможно описать, до чего зелена зелень этих деревьев и лугов; они отбрасывают зеленые тени на Шэннон, их зеленый цвет, кажется, достигает неба, где облака, словно болотные кочки, столпились вокруг солнца. Именно здесь могла бы сложиться сказка о золотом дожде звезд. Зелень вздымалась просторным сводом, солнце падало на деревья и луга пятнами золотых монет и лежало на них, большое и яркое, как монета; порой такое пятно попадало на спину дикого кролика и соскальзывало с него в траву.

Старику восемьдесят восемь лет, он из поколения Сун Ят-сена и Бузони, он родился тогда, когда Румыния еще не была тем, чем она уже давно перестала быть — королевством; ему было четыре года, когда умер Диккенс, и он на целый год старше динамита. Сказанного достаточно для того, чтобы уловить старика в слабую сеть времени. Развалины, перед которыми он сидел, были остатками амбара, построенного в начале нашего века. Зато в пятидесяти шагах от него были развалины шестого века: святой Къяран Клонмакнауазский четырнадцать веков назад построил здесь часовню. Тот, кто не обладает наметанным глазом археолога, не сумеет отличить стены двадцатого века от стен шестого; и те и другие одинаково зелены и одинаково покрыты солнечными пятнами.

Именно здесь Джорджу захотелось испробовать новую цветную пленку, и старика, который был на целый год старше динамита, Джордж избрал статистом — решил снять его на фоне заходящего солнца, на берегу Шэннона, с трубкой в зубах; а через несколько дней его можно будет увидеть на экранах американских телевизоров, и у всех американских ирландцев глаза затуманятся от тоски по родине, и они заведут свои песни; подернутый зеленой дымкой, розовый от лучей заходящего солнца — вот как будет выглядеть старик, размноженный миллионами экранов, и синий, очень синий дымок будет подниматься из его трубки.

Но сначала нужно выпить чаю, много чаю и выплатить пошлину новостями, потому что, несмотря на радио и газеты, новость приобретает особый вес, если ты сам слышал ее из уст того, кому пожимал руку, с кем пил чай. Мы пили чай перед камином в гостиной запущенного дома; темно-зеленые отсветы деревьев навечно окрасили в зеленый цвет стены комнаты, тронули благородной зеленью мебель времен Диккенса: отставной английский полковник, который доставил нас сюда в своей лодке, — длиноволосый, рыжий, с остроконечной бородкой, напоминал одновременно и Робинзона Крузо и Мефистофеля; он завладел разговором, но, к сожалению, я не очень хорошо понимал его английский, хотя он из любезности и старался говорить *slowly*, очень *slowly*². Сначала я понял только три слова: «*Rommel*», «*war*» и «*fair*»³, а я знал, что *fairness*⁴ Роммеля во время *war* — одна из любимых тем полковника; к тому же меня постоянно отвлекали дети, внуки и правнуки старика, которые либо заглядывали в комнату, либо подавали нам чай, воду, хлеб и печенье (пяти-

¹ Приятный денек, славный денек, чудесный денек (англ.).

² Медленно (англ.).

³ Роммель, война, честь (англ.).

⁴ Благородство, рыцарство (англ.).

летняя девчушка принесла половинку печенья и в знак своего гостеприимства положила ее на стол), и у всех детей, внуков, правнуков были острые и хитрые лица почти такой же сердцеобразной формы, как те маски, что смотрят на прилежную землю с башен французских соборов.

Джордж сидел с приготовленной камерой и ждал захода солнца, но солнце в этот день почему-то не торопилось, мне показалось даже, что оно как-то особенно не торопится, и полковник перешел от своей любимой темы к другой и заговорил о каком-то Генри, который якобы был героем, когда воевал в России. Старик вопросительно посмотрел на меня круглыми, удивленными, светло-голубыми глазами, и я утвердительно кивнул: почему бы мне и не признать героем какого-то Генри, которого я все равно не знаю, раз Робинзон-Мефистофель того хочет?

Наконец солнце, как и требовалось по замыслу Джорджа, начало садиться, оно придвинулось ближе к горизонту и соответственно ближе к любителям телевидения в США, и мы медленно пошли на берег Шэннона. Солнце садилось быстро; старик торопливо набил свою трубку, но выкурил ее слишком поспешно, и, когда солнце нижним краем коснулось горизонта, трубка уже не дымила. Теперь кисет у старика был пуст, а солнце закатывалось очень быстро. Как мертвая — если она не дымит — трубка — во рту крестьянина, стоящего на фоне заката: былинная фигура — серебристые волосы, тронутые зеленым отсветом, розовые блики на лбу. Джордж быстро размял пару сигарет, набил трубку старика, из нее заструился голубоватый дымок, и как раз в это мгновение солнце до половины ушло за горизонт — просвира, теряющая свой блеск на глазах. Дымила трубка, жужжала камера, и серебрились волосы старика — новая разновидность цветной открытки, весточка с милой родины, слезы в глазах американских ирландцев.

— Мы пустим это под какую-нибудь славную мелодию на волынке,— сказал Джордж.

Национальный колорит схож с наивностью: если ты сознаешь, что она у тебя есть, считай, что ее у тебя уже нет; когда солнце совсем зашло, старику взгрустнулось; сизый туман придушил зеленую пелену. Мы вернулись в дом, размяли еще несколько сигарет и набили трубку старика; вдруг стало прохладно, сырость сочилась отовсюду, и остров — это крошечное королевство, уже триста лет населенное семьей старика, — остров показался мне вдруг большой зеленой губкой, наполовину погруженной в воду и вбирающей в себя влагу.

Огонь в камине погас, черными комьями лежал догоревший торф на красных угольях, и, когда мы медленно шли к пристани, старик подошел ко мне и странно посмотрел на меня; его взгляд тяготил меня, потому что в нем таилось — да, да, таилось — благоговение, а я не считаю, что способен внушать такие чувства. Сердечно, робко, с неподдельным волнением пожал он мне руку перед тем, как я сел в лодку.

— Роммель,— сказал он тихо и внятно, и в его голосе была многозначительность мифа.— Генри,— добавил он.

И вдруг все, чего я не понимал раньше, все, что было сказано о Генри, отчетливо выступило передо мной как водяные знаки, которые видны только на свету. Я понял, что Генри — это просто-напросто я сам. Джордж прыгнул в лодку и наскоро отснял в сумерках часовню святого Кьярана. Джордж ухмыльнулся, когда увидел мое лицо.

Я набрался духу — нужно набраться духу, чтобы внести поправки в миф: по отношению к Роммелю, к Генри, к истории было бы несправедливо оставить все как есть,— но лодку уже отвязали, но Робинзон-Мефистофель уже запустил мотор, и я закричал в сторону острова:

— Война — это не рыцарство, и Генри — не герой. Совсем не герой, нет, нет.

Но старик из всего этого явно понял лишь три слова: «рыцарство», «Генри» и «герой», и тогда я громко выкрикнул одно-единственное слово:

— Нет, нет, нет, нет!..

На маленьком островке в устье Шэннона, куда иностранцы попадают лишь изредка, наверное, и через пятьдесят, и через сто лет будут говорить перед багровым пламенем камина о Роммеле, о войне и о Генри. Так проникает в медвежьи углы нашей планеты то, что мы называем «история». Не Сталинград, не миллионы замученных и убитых, не искалеченные города Европы — нет, здесь война всегда будет называться «Роммель», «рыцарство» и в придачу «Генри» — тот, что во плоти явился сюда из голубого сумрака и кричал с удаляющейся лодки: «Нет, нет, нет!..» — слово загадочное и потому вполне пригодное для мифа.

Джордж, улыбаясь, стоял подле меня. Он тоже накрутил на пленку целый миф: часовню святого Кьярана в сумерках и старика — седого, задумчивого; мы все еще видели его белоснежные густые волосы, они мерцали у причальной стенки — капля серебра в чернилах сумерек. Маленький островок-королевство погружался в Шэннон со всеми своими заблуждениями и истинами, и Робинзон-Мефистофель, сидя на руле, умиротворенно улыбнулся сам себе.

— Роммель,— сказал он тихо, и это звучало как заклинание.

Ни одного лебедя

Рыжеволосая женщина тихо разговаривала в купе с молодым священником, который то и дело поднимал взгляд от своего требника, опускал, бормоча молитвы. снова поднимал взгляд, потом наконец захлопнул требник и целиком отдался разговору.

— Сан-Франциско? — спросил он.

— Да,— сказала рыжеволосая женщина,— муж отправил нас сюда, а теперь я еду к его родителям.— Я с ними еще незнакома. Мне выходить в Баллимоте.

— У вас еще есть время,— тихо сказал священник,— еще много времени.

— Правда? — тихо спросила молодая женщина.

Она была очень большая, толстая и бледная, а детское выражение лица делало ее похожей на большую куклу. Ее трехлетняя дочь схватила требник и стала удивительно похоже передразнивать бормоганье священника. Молодая женщина подняла руку, чтобы отобрать у дочери требник, но священник удержал ее.

— Оставьте,— тихо сказал он.

Шел дождь. Вода бежала по стеклам, крестьяне разъезжали в лодках по затопленным лугам, вылавливая из воды сено; на изгородах висело белье, отданное во власть дождю, мокрые собаки лаяли на поезд, разбегались овцы, а маленькая девочка молилась по требнику, вплетая иногда в свое бормоганье имена, знакомые ей по вечерней молитве: Иисус, дева Мария; не забывала она и о бедных душах.

Поезд остановился. До нитки промокший станционный рабочий передал в багажный вагон корзины с шампиньонами, выгрузил оттуда сигареты, кипу вечерних газет и помог какой-то нервничающей женщине раскрыть зонтик..

Начальник станции проводил медленно тронувшийся поезд печальным взглядом — наверное, он иногда спрашивает себя, уж не кладбищенский ли он сторож: четыре поезда в день — два туда, два обратно, а иногда

еще товарный поезд, который так печально стучит колесами, будто едет на похороны другого товарного. Шлагбаумы в Ирландии защищают не автомобили от поездов, а поезда от автомобилей: они поднимаются и опускаются не поперек шоссе, а поперек линии, и поэтому разрисованные симпатичными полосками вокзалы немного смахивают на маленькие дома отдыха или на санатории, а начальники вокзалов больше похожи на фельдшеров, чем на своих храбрых коллег в других странах — те вечно стоят в дыму паровозов, в грохоте вагонов, и стремительные товарные поезда приветствуют их на бегу. Вокруг маленьких ирландских станций — цветы, хорошенькие, ухоженные клумбы, заботливо подстриженные деревья, и начальник станции улыбается вслед отходящему поезду, словно хочет сказать: «Нет, нет, это не сон, это явь, и сейчас действительно 16 часов 49 минут, как показывают мои станционные часы». Ибо пассажир уверен, что поезд опаздывает, но поезд идет точно по расписанию, хотя эта точность почему-то похожа на надувательство: 16.49 — слишком точная цифра в расписании, чтобы она могла совпасть с вокзальным временем. Не часы ошибаются, а время, которое слишком полагается на минутную стрелку.

Овцы разбегаются, коровы удивленно смотрят на поезд, мокрые собаки лают, а крестьяне разъезжают в лодках по своим лугам и вылавливают сетями сено.

Нежный напев ритмично лился с губ маленькой девочки, складываясь в слова: «Иисус», «дева Мария», и через равные промежутки времени следовало упоминание о бедных душах. Рыжая женщина тревожилась все больше.

— Да ведь не скоро еще, — тихо говорил священник, — до Баллимота еще две остановки.

— В Калифорнии так тепло, — сказала женщина, — так много солнца. А Ирландия мне совсем чужая. Уже пятнадцать лет, как я уехала отсюда. Я все считаю на доллары и никак не могу привыкнуть к фунтам, шиллингам и пенсам, и знаете, отец мой, Ирландия стала печальнее.

— Это из-за дождя, — вздохнул священник.

— Я никогда не ездила по этой дороге, — сказала женщина. — Ездила по другой, когда мы жили здесь, — от Атлона до Голуэя. Но мне кажется, что сейчас и там живет меньше людей, чем раньше. Так тихо, что сердце замирает. Страшно мне.

Священник вздохнул и промолчал.

— Мне страшно, — тихо сказала женщина. — От Баллимота мне еще двадцать миль на автобусе и пешком через болото, а я боюсь воды. Дожди и озера, реки и ручьи, и снова озера. Мне кажется, отец мой, что Ирландия вся в дырках. Никогда не высохнет это белье на изгороди, и вечно будет плавать в воде это сено. А вам не страшно, отец мой?

— Это только дождь, — сказал священник, — успокойтесь. Мне это знакомо. Иногда мне тоже бывает страшно. Два года у меня был маленький приход недалеко отсюда, между Кроссмолиной и Ньюпортом, и там неделями шел дождь и дул сильный ветер, а вокруг не было ничего, кроме высоких гор, темно-зеленых и черных. Вы слышали про Нефин Бег?

— Нет.

— Это там, поблизости. Дождь, вода, болота. И когда меня кто-нибудь подвозил в Ньюпорт или в Фоксфорд, всю дорогу вода — либо озеро, либо море.

Девочка захлопнула трепник, вскочила на скамейку, обвила руками шею матери и тихо спросила:

— Мама, правда мы утонем?

— Нет, нет, — сказала мать, но, кажется, без особой уверенности.

Дождь хлестал по стеклу, поезд с трудом тащился в темноте. Девочка без охоты жевала бутерброд, женщина курила, священник снова взялся за свой трезник, но теперь, сам того не замечая, он подражал девочке: из его бормотанья вдруг вырывались отчетливые слова: «Иисус Христос», «святой дух», «Мария». Потом он закрыл книгу.

— А в Калифорнии действительно так красиво? — спросил он.

— Прекрасно, — сказала женщина и зябко поежилась.

— В Ирландии тоже красиво.

— Прекрасно, — сказала женщина, — я знаю. Мне не пора?

— Да, на следующей.

Когда поезд прибыл в Слайго, все еще шел дождь. Под зонтиками звучали поцелуи, под зонтиками лились слезы. Шофер такси спал, уронив голову на скрещенные на руле руки. Я разбудил его; он принадлежал к той приятной разновидности людей, которые просыпаются с улыбкой.

— Куда? — спросил он.

— В Драмклиф Черчард.

— Там же никто не живет.

— Ну и пусть, — сказал я, — а мне хочется именно туда.

— И обратно?

— Да.

— Хорошо.

Мы ехали по лужам, по пустынным улицам; в сумерках я увидел в открытом окне пианино, ноты выглядели так, словно их покрыл толстый слой пыли; парикмахер томился в дверях своего заведения и шелкал ножницами, словно хотел перерезать нити дождя; перед входом в кино какая-то девушка подмазывала губы; дети с молитвенниками под мышкой бежали под дождем, какая-то старушка кричала через улицу какому-то старичку:

— Науа же, Paddy?¹

И пожилой мужчина кричал в ответ:

— I'm allright with the help of God and his most blessed Mother².

— А вы уверены, что вы хотите именно в Драмклиф Черчард? — тихо спросил меня шофер.

— Совершенно.

На склонах холмов лежали линялые папоротники — словно мокрые рыжие волосы седеющей женщины, две мрачные скалы охраняли вход в маленькую бухту.

— Бен Балбен и Нокнери, — сказал мне шофер, будто рекомендовал двух дальних, совершенно ему безразличных родственников. — Там, — добавил он и показал вперед, где из мглы поднимался церковный шпиль. Вокруг носились вороны, тучи ворон, напоминавшие издали хлопья черного снега. — Сдается мне, вы разыскиваете поле битвы.

— Нет, — сказал я, — я не знаю ни о какой битве.

— В пятьсот шестьдесят первом году, — начал он кротким тоном гда, — здесь произошла единственная в своем роде битва — битва за автorskое право.

Я посмотрел на него, недоверчиво качая головой.

— Это чистая правда, — сказал он, — приверженцы святого Колумбуса списали псалтырь, принадлежащий перу святого Финиана, и произошла битва между приверженцами святого Колумбуса и святого Финиана. Было три тысячи убитых, но король положил конец спору, он ска-

¹ Как поживаете, Падди? (англ.)

² Прекрасно — с помощью господ-бога и пресвятой богородицы (англ.).

зал: «Как каждой корове положен теленок, так и каждой книге положена копия». Значит, вы не хотите взглянуть на поле битвы?

— Нет,— сказал я,— я ищу одну могилу.

— Ах, Йитса,— сказал шофер,— ну тогда вы захотите еще и на Иннишфри.

— Не знаю пока,— сказал я.— Подождите, пожалуйста.

Вороны взлетали со старых надгробий и кружили вокруг колокольни. Мокро было на могиле Йитса, холоден камень и речение, которое Йитс просил написать на своем надгробье, было холодно, как ледяные иглы, что вонзились в меня из могилы Свифта: «Всадник, кинь холодный взгляд на жизнь и на смерть — и скачи дальше». Я поднял глаза. Может быть, вороны — это заколдованные лебеди? Вороны насмешливо каркали, носясь вокруг колокольни. Распластанные, придавленные дождем лежали на холмах листья папоротника, ржавые и жухлые. Я замерз.

— Поехали,— сказал я шоферу.

— Значит, все-таки на Иннишфри?

— Нет,— сказал я,— на вокзал.

Скалы во мгле, одинокая церковь, окруженная черными воронами, четыре тысячи километров воды по ту сторону могилы Йитса. И ни одного лебеда.

Поговорки

Когда у нас в Германии с человеком что-нибудь случается — он опоздал на поезд, сломал ногу, разорился наконец,— мы говорим: «Хуже быть не могло». То, что случилось сейчас, всегда самое страшное. У ирландцев почти все наоборот: если здесь человек сломал ногу, опоздал на поезд, разорился, говорят: «It could be worse» — «Могло быть и хуже»: вместо ноги можно было сломать шею, вместо поезда — проворонить царствие небесное, а вместо состояния потерять душевный покой (сама по себе потеря состояния не дает для этого ни малейшего повода). То, что уже стряслось, это еще не самое страшное — самое страшное всегда впереди: у человека умирает горячо любимая и глубоко уважаемая бабушка, но он помнит, что мог еще умереть столь же горячо любимый и столь же глубоко уважаемый дедушка; сгорел двор, но кур удалось спасти, могли ведь сгореть и куры, а даже если и куры сгорели, все равно самое страшное все-таки не случилось — сам человек не умер. А если даже и умер, то, значит, избавился от забот, ибо каждому покаявшемуся грешнику уготовано небо — конечная цель утомительного земного паломничества после сломанных ног, пропущенных поездов и несмертельных разорений всякого рода. На мой взгляд, нам, если у нас что-то случилось, отказывают юмор и фантазия; в Ирландии они только тогда и просыпаются. Для того, кто сломал ногу, изнывает от боли или ковыляет в гипсе, слова «могло быть и хуже» дают не только утешение, но и занятие, которое предполагает в нем поэтический дар, не лишенный порой легкого сатизма: надо почувствовать страдания человека, сломавшего шею, представить себе, как выглядит вывихнутое плечо или разможенный череп, и вот уже человек, сломавший ногу, ковыляет дальше, благодаря судьбу за то, что она ниспослала ему такое незначительное несчастье.

Тем самым судьбе предоставлен неограниченный кредит и проценты выплачиваются безропотно и охотно: дети лежат в коклюше, жалобно плачут и требуют самоотверженного ухода,— значит, надо радоваться, что ты сам еще держишься на ногах, можешь ходить за детьми, можешь работать для них. Фантазия здесь поистине не знает границ. «It could be worse» — «могло быть и хуже» — это здесь наиболее употребительная

поговорка, вероятно, и потому, что плохо бывает чаще частого, и худшее составляет, так сказать, основу утешения.

У поговорки «могло быть и хуже» есть родная сестра, употребляемая столь же часто: «I shouldn't worry» — «Я не стал бы беспокоиться». Заметьте, это говорит народ, который ни днем, ни ночью ни на единую минуту не остается без поводов для беспокойства. Сто лет назад, когда был страшный голод и неурожай несколько лет подряд — это великое национальное бедствие, которое не только опустошило страну, но и вызвало нервный шок, передаваемый по наследству из рода в род, — сто лет назад в Ирландии жило почти семь миллионов людей. В Польше, наверно, было тогда столько же, но зато сейчас в Польше более двадцати миллионов, а в Ирландии едва наберется четыре. Это уменьшение числа жителей от семи миллионов до четырех в стране, где рождаемость превышает смертность, означает непрерывный поток эмигрантов.

Родители, которые видят, как подрастают их шестеро, а то и восьмеро или десятеро детей, имеют достаточно причин, чтобы беспокоиться денно и нощно. Надо полагать, они и беспокоятся, но даже они с покорной улыбкой говорят: «Я бы не стал беспокоиться». Они еще не знают и никогда не узнают точно, кому из их детей суждено населить трущобы Ливерпуля, Лондона, Нью-Йорка или Сиднея, а кому из них повезет. Во всяком случае когда-то пробьет час расставанья для двоих из шести, для троих из восьми, Шейла или Шон потащатся со своими чемоданами к автобусной остановке, автобус доставит их к поезду, поезд — к пароходу; поток слез на автобусных остановках, на вокзалах, на Дублинской или Коркской пристани в дождливые, безрадостные, осенние дни, путь по болоту, мимо заброшенных домов, и никто из тех, кто со слезами остался на остановке, не знает точно, увидит ли он еще когда-нибудь Шейлу или Шона: далек путь из Сиднея в Дублин, далеко от Нью-Йорка до дома, а многие никогда больше не возвращаются даже из Лондона. Обзаведутся ли они семьей, народят ли детей, будут ли посылать домой деньги — кто знает.

В то время, как почти все европейские страны страдают нехватки рабочей силы, а многие ее уже испытывают, здесь двое из шести или трое из восьми братьев и сестер знают наверняка, что им придется эмигрировать — вот так глубоко проникло потрясение, вызванное великим голодом. Из рода в род лютует его зловещий призрачный призрак. Иногда можно подумать, что эмиграция — это своего рода привычка, своего рода обязанность, которую надо исполнить, — нет, экономические обстоятельства делают ее действительно необходимой. Когда в 1923 году Ирландия стала независимым государством, ей понадобилось наверстывать почти столетнее отставание в промышленном развитии да вдобавок поднажать и во всем остальном, что можно причислить к развитию; в ней почти нет городов, едва развита промышленность, нет рынка для сбыта рыбы. Нет, как хотите, а Шону или Шейле придется уехать.

Прощанье

Прощанье было очень тяжелым именно потому, что все указывало на его необходимость: деньги кончились, обещали выслать новые, а они еще не пришли, стало холодно, и в пансионате (самом дешевом из всех, что мы смогли отыскать по вечерней газете) полы были такие покатые, что нам казалось, будто мы погружаемся вниз головой в бездонную пучину; по этой наклонной плоскости мы проскользнули через ничейную землю между воспоминаниями и сном, миновали Дублин, и вокруг кровати, которая стояла посреди комнаты, заливаемой волнами суеты и неоновых

света с Дорсет-стрит, разверзлись темные бездны; мы тесней прижимались друг к другу, а сонные вздохи детей с кроватей вдоль стены звучали как крики о помощи с другого, недоступного для нас берега.

Все экспонаты Национального музея, куда мы возвращались после каждого очередного отказа на почте, казались здесь, на ничейной земле между сном и воспоминаниями, свертотчетливыми и застывшими, как восковые фигуры паноптикума, словно дорогой духом через сказочный лес мы стремглав падали туда вниз головой: тувелька святой Бригитты нежно и серебристо мерцала во тьме, большие черные кресты утешали и грозили, борцы за свободу в зеленых мундирах, обмотках и красных беретах показывали нам свои раны и детскими голосами читали нам прощальные слова: «Моя дорогая Мэри, свобода Ирландии...», котел из тринадцатого века проплыл мимо и каноэ из доисторических времен, сияли улыбкой золотые украшения, кельтские застёжки — золотые, медные и серебряные, как бесчисленные запятыя, повисли они на невидимой веревке; мы въезжали в ворота Тринити-колледж, но безлюден был его большой серый двор, только бледная девушка сидела и плакала на ступеньках библиотеки, держа в руках ядовито зеленую шляпу — то ли ждала возлюбленного, то ли тосковала по нем. Суэта и неоновый свет с Дорсет-стрит с шумом проносились мимо нас, как время, которое на мгновение становилось историей; колыхаясь, проплывали памятники, или мы плыли мимо них — суровые бронзовые мужи с мечами, перьями, свитками чертежей, поводьями или циркулем в руках; женщины с маленькой грудью дергали струны лиры и сладостно-печальными глазами оглядывались на пройденные столетия, шпалерами стояли бесконечные вереницы одетых в синее девушек с клюшками в руках, они были безмолвны и строги, и мы боялись, что они взметнут свои клюшки, как палицы; обнявшись, мы скользили дальше. Все, что осмотрели мы, теперь осматривало нас: лвы рыкали на нас, кувыркающиеся гиббоны перебежали нам дорогу, мы карабкались вверх и съезжали вниз по длинной шее жирафа, и ящерка с красными глазами выставляла напоказ свое безобразие. Темная вода Лиффи, зеленая и грязная, бурлила в быстром потоке, кричали жирные чайки, глыба масла «двухсотлетней давности, найденная в болоте в Мэйо», проплывала мимо нас, как глыба золота, которую отверг Дурень Ганс; полицейский, улыбаясь, показывал нам свою книгу осадков. сорок дней подряд он писал в ней одни нули — целая колонна яиц, — и бледная девушка с зеленой шляпой в руках все еще плакала на ступеньках библиотеки.

Почернели воды Лиффи; как обломки, они уносили в море историю: грамоты, с которых грузилом свисали вниз печати, договоры с витиеватыми подписями, документы, отягощенные сургучом, деревянные мечи, картонные пушки, лиры и стулья, кровати и шкафы, чернилницы и мумии, пелены которых размотались и реяли в воде, словно темные пальмовые опахала. Кондуктор сматывал со своей катушки длинный билетный локоп, на ступеньках Ирландского банка сидела старушка и считала долларовые бумажки, и дважды, трижды, четырежды подходил к окошечку служащий и с сочувственным выражением говорил из-за решетки: «Сорри!»

Бесчисленные свечи горели перед статуей рыжеволосой грешницы Магдалины, акулий позвоночник, напоминающий волюнку, проплывал мимо, он покачивался на воде, хрящи ломались и позвонки, словно кольца для салфеток, по одному исчезали в ночи, семьсот О'Мейли маршировали мимо нас: русые, белокурые, рыжие, они пели хвалебную песню в честь своего клана.

Мы шептали друг другу слова утешения, мы крепко прижимались друг к другу, мы ехали через аллеи и парки, через ущелья Коннемары,

через горы Керри, через болота Мэйо длиной в двадцать — тридцать миль. Мы боялись встретить допотопного ящера, но встречали только кино — в центре Коннемары, в центре Керри, в центре Мэйо: здания из бетона, окна густо замазаны зеленой краской, а внутри, как хищный зверь в клетке, рычал проекционный аппарат, бросая на экран лица Монро, Треси и Лоллобриджида.

Все еще боясь ящера, ехали мы по тенистым зеленым дорогам, между бесконечных стен, далеко от наших вздыхающих во сне детей, и вниз головой снова упали в предместья Дублина — мимо пальм и олеандров, сквозь заросли рододендронов. Все больше становились дома, все выше деревья, все шире пропасть между нами и нашими вздыхающими во сне детьми. Палисадники все разрастались и наконец разрослись так, что за ними уже не видно было зданий, и мы еще быстрее вторглись в нежную зелень необъятных лугов.

Прощанье было тяжелым, хотя поутру в лязге дневного света хриплый голос хозяйки вымел, как ненужный хлам, добычу наших снов, и хотя тра-та-та проезжающего мимо автобуса так напоминало пулеметную очередь, что мы приняли его за сигнал к революции, но Дублин и не помышлял о революции, а всего лишь о завтраке, о бегах, о молитве и о целлулоидной ленте, покрытой изображениями. Хриплый голос хозяйки позвал нас к завтраку, по чашкам был разлит прекрасный чай; хозяйка в халате тоже сидела за столом, курила и рассказывала о голосах, терзающих ее по ночам: о голосе утонувшего брата, который зовет ее каждую ночь, о голосе покойной матери, которая напоминает дочери про обет, данный ею в день первого причастия, о голосе покойного супруга, который остерегает ее от виски; трио голосов слышит она в темной задней комнате, где она целый день остается наедине с бутылкой, тоской и халатом.

— Психиатр,— тихо сказала она,— утверждает, что голоса идут из бутылки, но я заявила ему, что он не смеет так говорить о них, потому что в конце концов эти голоса его кормят... Вот вы,— сказала она вдруг изменившимся голосом,— вы не хотели бы купить мой дом? Я бы дешево его уступила.

— Нет,— сказал я.

— Жаль.— Она покачала головой и ушла в свою темную комнату с бутылкой, тоской и халатом.

Убитые еще одним «сорри» служащего, мы вернулись в Национальный музей, оттуда пошли в картинную галерею, еще раз спустились в мрачное подземелье к мумиям, про которые один местный посетитель сказал: «Копченые селедки». Последний пенни мы истратили на свечи, быстро сгоревшие перед пестрыми образами, потом пошли вверх к Стивен-грин, покормили уток, посидели на солнышке, послушали, есть ли у Заката шансы на выигрыш: оказалось, есть. В полдень много дублинцев вышло из церкви и растеклось по Графтон-стрит. Наши надежды услышать «yes»¹ из уст служащего на почте пошли прахом. Его лицо становилось раз от раза все печальнее и печальнее, и мне показалось, что он уже почти готов самовольно запустить руку в кассу и предоставить нам заем от лица министра почт, во всяком случае пальцы его инстинктивно потянулись к сейфу, потом он со вздохом положил их на мраморную стойку.

На наше счастье, девушка с зеленой шляпой пригласила нас к чаю, угостила детей конфетами и поставила новые свечи перед тем святым, перед которым надо — перед святым Антонием, и когда мы еще раз при-

¹ Да (англ.).

шли на почту, улыбка служащего встретила нас прямо у дверей зала. Он радостно поклонил пальцы и начал торжествующе отсчитывать деньги на мраморной стойке: раз, два, много — он давал их нам самыми мелкими купюрами, потому что отсчет доставлял ему огромное удовольствие, и звякали на мраморе серебряные монеты. Девушка с зеленой шляпой улыбнулась: вот что значит поставить свечу перед тем, перед кем надо.

Прощаться было тяжело. Длинные ряды одетых в синее девочек с клюшками потеряли всякую грозность, не рыкали больше львы, и только ящерка с мертвыми глазами все так же выставляла напоказ свое первобытное безобразие.

Гремели музыкальные автоматы, кондукторы разматывали длинные бумажные ленты со своих катушек, гудели корабли, легкий ветерок долетал с моря, много-много бочек пива исчезало в темных трюмах парходов, и даже памятники улыбались: перья и поводья, лиры и мечи разогнали темноту сна, одни лишь старые вечерние газеты плыли к морю по водам Лиффи.

А в свежем номере вечерней газеты были напечатаны три читательских письма с требованием снести Нельсона, тридцать семь объявлений о продаже домов, одно о покупке, а где-то в Керри благодаря активности местного фестивального комитета был проведен настоящий фестиваль: бег в мешках, гонки на ослах, соревнования по гребле и конкурс на самого медленного велосипедиста. Победительница в беге улыбалась перед газетным репортером и показывала нам свое хорошенькое личико и скверные зубы.

Последний час мы провели на покато полу нашей комнаты в пансионе, мы играли в карты как на крыше, потому что стульев и стола в комнате не было. Сидя между чемоданами, раскрыв все окна и поставив чашки с чаем тут же на пол, мы прогоняли валета червей и туза пик сквозь длинный строй их родичей по масти, веселый шум с Дорсет-стрит заливал нас, а хозяйка сидела в задней комнате наедине с бутылкой, тоской и халатом, и горничная, улыбаясь, наблюдала за нашей игрой.

— Смотрите, какой выдался красавец,— сказал шофер такси, который доставил нас на вокзал.— Просто чудо!

— Кто? — спросил я.

— Да денек нынче,— сказал он.— Правда, парень хоть куда?

Я согласился и, расплачиваясь, посмотрел вверх, на черный фасад высокого дома: молодая женщина только что выставила на подоконник оранжевый молочник. Она улыбнулась мне, и я улыбнулся в ответ.

Перевели с немецкого В. Нефедьев и С. Фридлянд.



Генерал армии А. В. ГОРБАТОВ

★

ГОДЫ И ВОЙНЫ*

8. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Первый и второй день войны дивизии приводили себя в боевое состояние. Командование корпусом вместе со штабом выехало к Днепру, к находящимся там двум дивизиям, южнее Киева.

Сводки Информбюро приносили только печальные вести: 25 июня мы узнали, что противник занял города Каунас и Вильнюс. На восточном берегу Днепра появились беженцы, целыми селениями уходящие с Правобережной Украины. Считалось, что противник продвигается столь быстро из-за внезапности его нападения и потому, что Германия поставила себе на службу промышленность чуть ли не всей Европы. Конечно, это было так. Но меня до пота прошибли мои прежние опасения: как же мы будем воевать, лишившись стольких опытных командиров еще до войны? Это, несомненно, была по меньшей мере одна из главных причин наших неудач, хотя о ней не говорили или представляли дело так, будто «очистив армию от изменников» в 1937—1938 годах, увеличили ее мощь...

Дивизии нашего корпуса сначала сосредоточились в лесах у Киева, но в связи с оставлением Минска вернулись на восточный берег Днепра и перегрузились в эшелоны на станциях Дарница и Бровары для переброски на Западный фронт.

Следуя с одним из эшелонов, я на остановках переходил из вагона в вагон и рассказывал о том, как ровно двадцать семь лет назад ехал впервые на войну, веря, что меня не только не убьют, но и не ранят. Тогда, на второй год войны, у русской армии своего почти ничего не было: седла были канадские, ботинки американские, винтовки японские, и даже этого привозного не хватало, а воевали храбро и стойко. Теперь в результате индустриализации страны мы оружие имеем свое, советское, и стыдно нам было бы, защищая свое рабоче-крестьянское государство, воевать хуже, чем воевали русские солдаты тогда.

Узнав от командиров, что многие призванные из запаса плохо знакомы с новым оружием, я дал указание, чтобы в пути проводили с ними занятия, а на длительных остановках, которых в пути было много, мы организовали даже стрельбы боевым патроном.

В голове и хвосте поезда были установлены наблюдатели и пулеметы; но всякий раз, когда обнаруживали хотя бы один самолет противника, поезд останавливался, все люди без команды покидали вагоны и разбежались по полю. Когда самолет скрывался, трубач играл сбор и солдаты не спеша возвращались в вагоны... Я видел в этом чрезмерную боязливость и недостаток дисциплины; командиры были слабо подготовлены к руководству подразделениями; не хватало жизненности, энергии также и в партийно-политической работе с личным составом.

* Окончание. См «Новый мир» №№ 3, 4 с. г.

Наш эшелон, предназначенный к выгрузке на станции Рудня, задержался на несколько часов в Смоленске. Проходя по путям между эшелонами, я встретил командующего 19-й армией генерал-лейтенанта И. С. Конева, представился ему и доложил о прибытии эшелона. Внимательно всматриваясь в меня, Иван Степанович как будто что-то припоминал, потом спросил:

— Мне кажется, мы были с вами соседями в санатории в Сочи в тысяча девятьсот тридцать пятом году.

Услышав утвердительный ответ, он добавил:

— Уж очень вы похудели с того времени.

Я ответил, что поправиться еще не успел.

— Приятно встретить на фронте старого, хотя и мало знакомого военного, — сказал генерал. — Не так-то часто это случается теперь...

Он коротко меня информировал о положении на Западном фронте, предупредил, что Витебск уже занят противником, приказал беречь, как свой глаз, Витебское направление, пожелал успеха, и мы расстались.

После встречи с Коневым я невольно задумался. Почему те, что командовали полками в 1936—1937 годах, теперь командуют армиями или стали заместителями командующих фронтами, те, что командовали в то время дивизиями, теперь командуют фронтами (например, Фоминых, который был старшим политруком в 1938 году, теперь уже стал генерал-лейтенантом и членом Военного Совета Западного фронта!), а один из опытейших командиров И. С. Конев, который командовал стрелковым корпусом еще в 1935 году, командует армией.

Эшелоны 25-го стрелкового корпуса выгружались на станциях юго-восточнее Витебска. Не ожидая сосредоточения дивизий, а тем более корпуса, полки и даже батальоны, едва закончив выгрузку, занимали оборону и вступали в бой в шестидесяти километрах от Витебска. Штаб корпуса находился от этого города в двадцати пяти километрах.

В тот период войны, особенно в первый месяц, часто можно было слышать: «Нас обошли», «Мы окружены», «В нашем тылу выброшены парашютисты» и т. п. Не только солдаты, но и необстрелянные командиры были излишне восприимчивы к таким фактам, обычным в ходе современной войны; многие были склонны верить преувеличенным, а зачастую и просто нелепым слухам.

Однажды утром я услышал далекую канонаду в стороне Витебска, обратил на нее внимание командира корпуса и получил разрешение поехать для выяснения обстановки. На шоссе я встречал небольшие группы солдат, устало бредущих на восток. Получая на вопросы: «куда, почему» — лишь сбивчивые ответы, я приказывал им вернуться назад, а сам ехал дальше. Все больше видел я военных, идущих на восток, все чаще останавливался, стыдил, приказывал вернуться. Предчувствуя что-то очень нехорошее, я торопился добраться до командира полка; мне надоело останавливать и спрашивать солдат — хотелось скорее узнать, что здесь случилось.

Не доехав километра три до переднего края обороны, я увидел общий беспорядочный отход по шоссе трехтысячного полка. В гуще солдат шли растерянные командиры различных рангов. На поле изредка рвались снаряды противника, не причиняя вреда. Сойдя с машины, я громко закричал: «Стой, стой, стой!», и после того, как все остановились, командовал:

— Всем повернуться кругом.

Повернув людей лицом к противнику, я подал команду: «Ложись!» После этого я приказал командирам подойти ко мне. Стал выяснять причину отхода. Одни отвечали, что получили команду, переданную по цепи, другие отвечали:

— Видим, что все отходят, начали отходить и мы.

Из группы лежащих недалеко солдат раздался голос:

— Смотрите, какой огонь открыли немцы, а наша артиллерия молчит.

Другие поддержали это замечание.

Мне стало ясно, что первой причиной отхода явилось воздействие артогня на

необстрелянных бойцов. второй причиной — передача не отданного старшим начальником приказа на отход. Главной же причиной была слабость командиров, которые не сумели остановить панику и сами подчинились стихии отхода.

В нескольких словах разъяснив это командирам, я приказал им собрать солдат своих подразделений и учесть всех, кто отсутствует.

— Если в вашем подразделении окажутся солдаты других подразделений, подчините их себе, записав фамилии. И немедленно окопаться на этой линии!

Одного из комбатов я спросил, где командир полка. Получил ответ: утром был в двух километрах отсюда в сторону Витебска, слева от шоссе, а теперь — неизвестно. Я проехал еще километра полтора вперед, дальше пошел пешком. Ни справа, ни слева не было никого. Наконец я услышал оклик и увидел военного, идущего ко мне. Это был командир 501-го стрелкового полка Костевич; из небольшого окопчика невдалеке поднялись начальник штаба полка и связной ефрейтор. На мой вопрос командиру полка:

— Как вы дошли до такого положения? — он, беспомощно разведя руками, ответил:

— Я понимаю серьезность случившегося, но ничего не мог сделать, а потому мы решили здесь умереть, но не отходить без приказа.

На его груди красовались два ордена Красного Знамени. Недавно призванный из запаса, он был оторван от армии уже много лет. Мне показалось, что он действительно способен умереть, не покинув своего поста. Но кому от этого польза? Было стыдно смотреть на его жалкий вид.

Понимая, что о возвращении полка на прежнюю позицию нечего и думать, пригласил командиров идти со мной, посадил их в машину и привез в полк. Указал Костевичу место для его НП, посоветовал, как лучше расположить батальоны и огневые средства. Приказал разобраться в подразделениях и установить связь с НП батальонов.

В лесу, справа от шоссе, я нашел корпусной артиллерийский полк и обнаружил, что его орудия не имеют огневых позиций, а у командиров полка, дивизионов и батарей нет наблюдательных пунктов. Собрав артиллеристов, пристыдил их и дал необходимые указания, а командира артиллерийского полка связал с командиром стрелкового полка Костевичем и установил их взаимодействие. Кроме того, Костевичу приказал выслать от каждого батальона взвод в боевое охранение на прежнюю линию обороны, а командиру артиллерийского полка произвести пристрелку.

Возвратясь, доложил подробно командиру корпуса о беспорядке в передовых частях, но, к своему удивлению, увидел, что на него это произвело не больше впечатления, чем если бы он услышал доклад о благополучной выгрузке очередного эшелона... Я переговорил с командиром 162-й стрелковой дивизии, спросил его, знает ли он о случившемся в подчиненном ему 501-м стрелковом полку? Он не знал. Пришлось обратить его внимание на ненормальность положения, когда мне приходится ему докладывать о подчиненных ему частях, а не наоборот. Вызвал к телефону командующего артиллерией корпуса и спросил его: где находится и что делает корпусной артполк?

— Стоит на огневой позиции за обороняющимися пятьсот первым полком сто шестьдесят второй стрелковой дивизии на Витебском направлении, — ответил он твердо.

— Уверены вы в этом?

— Да, мне так доложили, — промолвил он уже с сомнением в голосе.

— Вам должно быть очень стыдно. Вы не знаете, в каком положении находится непосредственно подчиненный вам корпусной полк. Нечего и говорить, что вы не знаете, как выполняют артиллерийские полки дивизий свою задачу. А вам положено контролировать работу всей артиллерии корпуса!

Командир корпуса слышал мои переговоры, но не вмешивался в них.

После тринадцати часов снова послышалась канонада с того же направления. Позвонил командиру 162-й стрелковой дивизии, спросил его, слышит ли он стрель-

бу, а если слышит, то почему он еще не выехал в 501-й стрелковый полк? Не ожидая ответа, я добавил:

— Не отвечайте сейчас. Должите мне обо всем на шоссе в расположении пятьсот первого стрелкового полка, я туда выезжаю.

На этот раз не было видно отходящих по шоссе групп, хотя снаряды рвались на линии обороны полка. Я уже льстил себя надеждой, что полк приведен в порядок, и подумал: оказывается, не так много нужно, чтобы полк начал обороняться! Но внимательно осмотрев с только что прибывшим командиром дивизии участок обороны, мы присутствия полка нигде не обнаружили. Комдив высказал два предположения: первое, что полк, возможно, хорошо замаскировался, и второе — что полк занял свою прежнюю позицию, в трех километрах впереди. Решили оставить машины на шоссе и пошли вперед по полю к редкому березовому перелеску. Когда мы, пройдя около километра, стали подниматься на бугор, сзади раздался один за другим три выстрела и мимо нас прожужжали пули.

— Вероятно, наша оборона осталась сзади, — сказал мой адъютант. — Они думают, что мы хотим сдаться противнику, вот и открыли по нас огонь.

Мы вернулись и пошли на выстрелы. Нам навстречу, как в прошлый раз, поднялся из окопчика командир полка Костевич, а за ним верные ему начальник штаба и ефрейтор.

— Это мы стреляли, — сказал командир полка смущенно. — Не знали, что это вы.

Он доложил, что полк снова отошел, как только начался артобстрел, «но не по шоссе, а вон по той ложине, лесом». Костевич невинно оправдывался, что не смог заставить полк подчиняться его приказу. На этот раз я оставил его на месте, пообещав возвращать к нему всех, кого догоним.

В ложине мы увидели широкую притоптанную в высокой и густой траве полосу — след отошедших. Не пройдя и триста шагов, увидели с десяток солдат, сушащих у костра портянки. У четверых не было оружия. Обменявшись мнением с командиром дивизии, мы решили, что он отведет эту группу к Костевичу, потом вызовет и подчинит ему часть своего дивизионного резерва, чтобы прикрыть шоссе, а я с адъютантом поеду по дороге и буду возвращать отошедших.

Вскоре мы стали догонять разрозненные группы, идущие на восток, к станциям Лиозно и Рудня. Остановившая их, я стыдил, ругал, приказывал вернуться, смотрел, как они нехотя возвращаются, и снова догонял следующие группы. Не скрою, что в ряде случаев, подъезжая к голове большой группы, я выходил из машины и тем, кто ехал впереди верхом на лошади, приказывал спешиваться. В отношении самых старших я претупал иногда границы дозволенного. Я сильно себя ругал, даже испытывал угрызения совести, но ведь порой слова бывают бесильны.

В тот же день командир 162-й стрелковой дивизии доложил, что вызванным батальоном прикрыл шоссе и укрепил этот участок возвратившимися группами.

Первый день вступления полка в бой подтвердил мои опасения, не дававшие мне покоя во время следования с эшелонам по железной дороге на фронт.

Доложив командиру корпуса обстановку, я предложил немедленно отстранить командира 501-го стрелкового полка и предупредить командира дивизии. Он не возражал против предложенных мер, но не сказал ничего. Внешне он был невозмутим, а внутренне — не знаю... Я не мог понять генерала: то ли он абсолютно мне доверяет, то ли полностью меня игнорирует. Я решил действовать, как обремененный полным доверием.

В эту ночь я почти не сомкнул глаз, вспоминая об оставлении обороны 501-м полком. Ведь полк имел большую численность, и я не сомневался, что громадное большинство в нем — патриоты. Почему же командиры и солдаты отошли, почему же никто не остался в обороне, кроме той злополучной тройки? Вина командира полка, допустившего дезорганизацию своей части, была неоспорима. Но нить моих размышлений тянулась дальше. Почему командир дивизии, слыша обстрел 501-го стрелкового полка, не выехал к полку? Ведь он был к нему ближе

и слышал обстрел лучше, чем я. Почему он не выехал к полку немедленно после того, как я ему сообщил о страшном преступлении, которое там делается, а только тогда, когда я сам поехал туда и приказал явиться ко мне на шоссе? Что это — недомыслие или полное безразличие? А командиры корпусного артиллерийского полка?.. Они знали о стремительном наступлении противника за последние дни, но, находясь от него в десяти километрах, расположились, как на отдых, в сосновом бору, не имея ни ОП, ни НП. Даже видя, как в беспорядке отходит стрелковый полк, видя разрывы снарядов противника на поле, командование артполка никак не реагировало на происходящее.

Мне, только что вернувшемуся в армию, это казалось плохим сном. Не верилось тому, что видели глаза. Я пытался отогнать навязчивую мысль: «Неужели 1937—1938 годы так подорвали веру солдат в своих командиров, что они и сейчас думают, не командуют ли ими враги народа? Нет, этого не может быть. Вернее другое: неопытные и необстрелянные командиры несмело и неумело берутся за исполнение своих высоких обязанностей...» Эта мысль не давала покоя. Решил утром поговорить начистоту с командиром корпуса в присутствии начальника политотдела.

Разговор состоялся, но не дал результатов — события развивались слишком быстро.

На следующее утро было получено сообщение, что один из наших флангов оголен, а затем обойден. Чтобы не допустить выхода противника в наш тыл, захвата им города Демидов и узла шоссе дорог в сорока километрах за центром нашего корпуса, было решено послать для обороны Демидова один стрелковый полк с арtdивизионом.

На Витебском направлении было спокойно — видимо, противник предпочел обходное движение.

За два часа до темноты командир корпуса послал меня в Демидов, чтобы помочь полку и дивизиону организовать там оборону. Через час я был уже в городе, но наш полк и дивизион еще не прибыли. Нашел там небольшой численности разведывательный батальон не подчиненной нам дивизии. Информировал командира о том, что не исключено появление противника ночью перед Демидовом и что на усиление придет наш стрелковый полк с артиллерийским дивизионом, я приказал ему организовать оборону северо-западной и юго-западной окраины города, выслать разведку на машинах в этих направлениях и быть особо бдительным до прибытия полка.

Уже стемнело, а полка и дивизиона все еще не было. В ожидании их я расположился на ночевку в крайнем доме на восточной окраине. На рассвете меня разбудил пулеметный и артиллерийский огонь. Мимо меня неслись машины. Остановив свою машину, командир разведывательного батальона доложил, что наш полк так и не пришел, много танков и пехота противника уже ворвались в город. Действительно, в пятистах метрах от нас появились три танка и начали обстреливать улицу. Оставив город, мы заняли оборону у отдельных домов на высотах в двух километрах от него. По сторонам шоссе поставили две сорокапятимиллиметровые пушки.

Противника долго ожидать не пришлось. Через час из города показалась густая цепь солдат и до пятнадцати танков, ведущих по нас огонь с хода. Мы были вынуждены отходить по шоссе на город Духовщину. Несколько раз спешивались и вели огонь, тормозя продвижение противника.

Таким образом я оказался отрезанным от корпуса. В Духовщине находился тыловой эшелон нашего штаба, и там я узнал, что командующий Западным направлением со своим штабом расположился в лесу у города Ярцево, в двадцати пяти километрах к юго-востоку.

Я считал своим долгом явиться к командующему и доложить ему об угрозе со стороны Духовщины. Мой доклад о том, что противник находится от его управления в тридцати—сорока километрах, был неожиданным для маршала Тимо-

шенко. В мое распоряжение было дано шестьдесят человек из охраны штаба и шесть грузовых машин с четырьмя счетверенными зенитными пулеметами. Мне приказано было выехать в Духовщину, прикрыть, насколько возможно, ярцевское направление, а при отходе удерживать Ярцево и узел дорог, подчинив себе всю имеющуюся в этом районе артиллерию и отходящие с фронта части и подразделения.

Мы были на шести грузовиках в трех километрах от Духовщины, когда увидели выходящую из города нам навстречу колонну противника, состоящую из танков и моторизованной пехоты. Развернув свои машины, мы открыли по колонне огонь с дальней дистанции из трех счетверенных установок. Четвертую машину я послал к мосту, который находился сзади нас в трех километрах, чтобы подготовить его к сожжению после нашего отхода, облив бензином, взятым из бака машины.

Под воздействием нашего огня пехота противника начала спешиваться и разворачиваться в цепь; часть танков сходила с дороги и двигалась по полю вместе с пехотой, а другие продолжали идти по шоссе, ведя огонь. По мере приближения противника мы отходили, а когда отошли за ручей — подожгли мост.

Скрыв свои машины за бугорками, но сохраняя возможность вести огонь из пулеметов, мы спешили и открыли стрельбу сначала с дальних, а потом и с ближних дистанций, пока пламя полностью не охватило мост. Мы отошли лишь после того, как немецкая пехота залегла перед нами в двухстах метрах, а танки стали перебираться через ручей правее и левее вброд.

Используя выгоды местности, мы спешивались еще два раза, пока не отошли на бугры, прилегающие к автостраде у города Ярцево. Там уже имелись наблюдательные пункты наших артиллеристов, и появившийся противник был встречен мощным шквалом огня. Это значительно уменьшило его наступательный пыл.

Продвижение немцев от Духовщины к Ярцеву было задержано более чем на четыре часа. За это время штаб командующего Западным направлением успел уйти в район Вязьмы.

В Ярцевском районе находилось более ста пятидесяти стволов мощной артиллерии; кроме того, мы использовали артиллерию, отходящую по автостраде. При помощи главным образом артиллерии и организовав оборону из отходящих групп стрелков, мы удерживали ярцевский узел дорог и город Ярцево четверо суток.

Эти четверо суток, проведенных в районе Ярцева, оставили у меня неизгладимое впечатление. Но если все они были в равной мере насыщены яростными и безуспешными атаками противника, то каждый из четырех дней в отдельности запомнился все же по-разному.

Особенностью обороны первого дня было то, что артиллерийские наблюдательные пункты, расположенные на буграх, не были прикрыты даже отделением стрелков: при мне была всего одна рота в шестьдесят человек.

На вторые сутки из отходящих были сформированы до десяти рот и два батальона, которыми уплотнили оборону. Оборона на этом участке стала похожа на организованную. Поскольку у меня не было средств управления, приходилось пользоваться только артиллерийскими средствами связи, а главное — полностью было использовано «живое руководство» с моим постоянным хождением с одного бугра на другой — особенно там, где противник наступал (а наступал он по нескольку раз в день то на одном, то на другом участке). В этот второй день с запада появилась легковая машина и из нее вышел генерал А. И. Еременко. Обнялись, расцеловались: ведь мы увиделись впервые после моего освобождения! Я поблагодарил за смелое и доброе отношение к моей жене после моего ареста. Информировал об обстановке у Ярцева. Андрей Иванович видел наше пиковое положение, но сказал:

— Нужно удерживать позицию во что бы то ни стало, есть еще наши соединения, которые находятся западнее, — и уехал на запад.

Третий день нашей обороны был особо трудным, противник атаковал все бо-

лее настойчиво. Но и наша артиллерия, хорошо пристрелявшись за два предыдущие дня, была наверняка, а стволов у нас было уже более трехсот.

Переходя от одного дерущегося подразделения к другому, я видел, как один красноармеец, согнувшись под тяжестью другого, сходил с бугорка. Положив тяжелораненого на землю, он сел около него передохнуть. Когда я подошел к ним, у раненого были крепко сжаты губы, глаза закрыты, а щеки влажны от слез. Услышав разговор, раненый открыл большие серые глаза и, как будто оправдываясь, сказал:

— Я плачу не от боли, нет, я плачу от того, что дал себе слово не умереть, пока не убью хоть пять фашистов, а вот приходится умирать сейчас...

Красноармеец-санитар скороговоркой, как будто боялся опоздать, сказал ему:

— Ты из своего пулемета убил не пять, а может, пятьдесят. Я сам видел, как они падали от твоих очередей.

Не знаю, правду сказал санитар или хотел лишь успокоить умирающего, но после его слов раненый спокойно закрыл свои серые глаза и из них больше не текли слезы.

И вот с такими людьми отступать!..

На четвертый день, 22 июля, в наш район пришла укомплектованная дивизия, потом прибыл генерал Рокоссовский. В тот же день, проверяя оборону, я был с расстояния пятидесяти — сорока метров подстрелен автоматчиком из группы немцев, проникших ночью через нашу неплотную оборону. Я спрыгнул в глубокий кювет и, скача на одной ноге, добрался до своей машины. Доложив обстановку Рокоссовскому, был отправлен в госпиталь, в Вязьму. Там я узнал, что наш 25-й стрелковый корпус был окружен, отдельные подразделения и группы выходят из окружения, но командир корпуса с работниками своего штаба попал в плен. Я был потрясен.

Наутро меня отправили самолетом в Москву. Пуля ранила мне ногу навывлет ниже колена, не повредив кости, рана быстро зажила. Через тринадцать суток я уже выписался из госпиталя — только подошва была онемевшая, как чужая. Через десять дней пребывания в резерве был зачислен слушателем курсов для высшего комсостава.

Мне стыдно было ходить по улицам Москвы, поскольку с фронта не поступало радостных вестей. Казалось, что все на меня смотрят и хотят спросить: почему так плохо там получается и почему ты болтаешься в тылу? Очень хотелось попасть скорее снова на фронт, но, как я ни старался, а назначения не получал: корпусные управления к этому времени ликвидировали. Только через месяц я получил назначение, но не на фронт, а в глубокий тыл, к новым формированиям в районе Омска. Связался по телефону с женой. Она сообщила, что едет в Ташкент, к жене своего брата, которая ее приглашает; узнав, что я еду в Омск, обрадовалась, и мы решили, что она тоже приедет туда и мы побудем вместе, пока я буду занят формированием.

На другой день я пошел в гостиницу к Вильгельму Пик: до 1937 года он бывал у нас во 2-й кавалерийской дивизии как представитель компартии Германии, которая шефствовала над нами с 1926 года. Товарищ Пик знал о моем аресте и теперь встретил меня с распростертыми объятиями. Пробыл я у него часа два. Естественно, наш разговор был о положении на фронте и о Германии; оба мы твердо верили в победу над гитлеризмом и строили предположения, как именно она осуществится. Он напомнил нашу встречу в 1936 году; тогда, поднимая бокал с вином, он сказал: «За встречу в свободном Берлине».

— Несмотря на ваши большие неудачи, — сказал товарищ Пик, — я верю, что фашизм будет побежден и мы встретимся в свободном Берлине.

Поговорив со мной, Вильгельм Пик позвонил Мехлису и сказал ему:

— После ранения приехал с фронта и зашел ко мне комбриг Горбатов, он многое видел и, вероятно, больше, чем мне, может рассказать вам. Может быть, выкроите время и поговорите с ним?

Не опуская трубки, Пик спросил меня, где я остановился, и передал мой адрес Мехлису.

Через сутки, в час ночи, в мою дверь постучали, а когда я открыл ее, в номер вошел, как в ночь ареста в 1938 году, офицер НКВД и сообщил, что меня вызывает Мехлис и он может меня проводить к нему. Трудно описать мое состояние, когда я ехал в машине по пустым улицам ночной Москвы.

Увидев меня, Мехлис повышенным тоном спросил:

— Почему действуете в обход? Почему не обратились прямо ко мне?

Не дав мне ответить на этот вопрос, присутствовавший здесь же Щаденко добавил:

— По-видимому, его мало поучили на Колыме.

Не ожидавший такой встречи, я на минуту растерялся, а потом доложил о своем давнишнем знакомстве с Вильгельмом Пиком. Отвечая на дополнительные вопросы, рассказал о содержании нашего разговора, а также о том, что получил назначение в Омск. В обращении со мной Мехлиса и Щаденко все время чувствовалась угроза, а когда Мехлис отменил мою поездку в Омск и приказал положить на стол командировочное предписание, в моей голове был уже полный сумбур...

Первой моей здравой мыслью было пойти на телефонную станцию и предупредить жену, чтобы она ехала прямо в Ташкент. Но не только в это утро, а и в следующие два дня вызвать ее не удалось — связь была прервана. Дозвонившись позже, узнал, что она уже выехала из Донбасса в долгое, мучительное и бесполезное путешествие в Омск.

На мое счастье, Тимошенко командовал в это время Южным направлением. Он прислал начальника отдела кадров в Москву, чтобы отобрать комсостав из находящихся в резерве. Первым в списке едущих на юг был я.

Первого октября 1941 года в Харькове начальник отдела кадров полковник Портяников представлял нас, вновь прибывших командиров, главнокомандующему Юго-Западным направлением С. К. Тимошенко и члену Военного Совета Н. С. Хрущеву.

— Горбатова я знаю хорошо, — сказал главнокомандующий и, обернувшись к Н. С. Хрущеву, добавил: — Недавно реабилитирован, прибыл с Колымы, уже ранен. Этот будеть воевать. Ну, а как у вас дело с ранением и с чего мы начнем, с конницы или со стрелковых войск? — спросил он меня.

— С ранением все обстоит благополучно, — ответил я, — а начать хотел бы со стрелковой дивизии, уж очень соскучился по самостоятельной работе.

— Доставить такое удовольствие легче всего, — ответил Тимошенко.

Я тут же был назначен командиром 226-й стрелковой дивизии, находящейся в двадцати километрах от Харькова.

На прощанье Н. С. Хрущев сказал мне:

— Всеми силами и способами старайтесь вселять в подчиненных преданность родине и партии, уверенность в нашей победе. А она будет, обязательно будет, это вы сами знаете!

Я получил ту работу, которую вел девять лет назад; но тогда дивизия была кавалерийская и обстановка мирная, а теперь — война и дивизия стрелковая. Но все равно, старый опыт пригодится. И я так соскучился по настоящей работе!

От полковника Портяникова узнал, какие должности старших офицеров в дивизии вакантны. И тут же отправился на пункт сосредоточения офицеров резерва фронта, отобрал группу, в том числе на должность начальника штаба дивизии взял молодого майора Бойко. Вместе с отобранными офицерами прибыл в дивизию, находившуюся в местечке Ольшаны.

В первые дни знакомился с личным составом, настроениями солдат и командиров и с боевым прошлым дивизии. Через два дня собрал партактив, потом совещание старшего комсостава по одному вопросу: наши задачи по укомплектованию дивизии и приведению ее в боевое состояние. Мои выступления были дополнены речами начальника политотдела Урьева. В связи с продолжающимися неудачами

на фронте мы учитывали сложность настроения как старожилов дивизии, так и прибывающего пополнения. Мы с удовлетворением отмечали, что в пополнении есть участники гражданской войны, старые и молодые члены партии, комсомольцы — их мы считали цементом, способным спаять весь личный состав.

Не буду рассказывать о многообразных занятиях, немедленно начавшихся в дивизии. Скажу только, что мне приятно было наблюдать дружную работу командиров, политработников и всех начальников спецподразделений.

Двести двадцать шестая стрелковая дивизия отошла в район Харькова в составе только девятисот сорока человек; не хватало командиров батальонов и рот, специалистов, транспортных средств, оружия. У красноармейцев было только по одной паре белья. Делая все, что могли, сами, мы все же через восемь суток послали слезное донесение начальнику штаба Юго-Западного направления. В ответ была прислана комиссия, которая, пробыв у нас один день... выразила удовлетворение ходом комплектования и учебы. Нас предупредили, чтобы на укомплектование специалистами мы не надеялись — «учите сами!». Оружие обещали подбросить. Нам оставалось лишь еще усилить занятия.

В первых числах октября штаб фронта распорядился, чтобы из нашей дивизии был выслан передовой отряд на рубеж Шаровка — Марьино — совхоз Перебудово. В передовой отряд выделили батальон 989-го стрелкового полка и взвод саперов с минами (артиллерии у нас еще не было). Чтобы отряд лучше выполнил первую боевую задачу, я выехал на указанный рубеж — поставить на местности задачу командиру батальона, спросить его о способе выполнения и дать, если нужно, дополнительные указания.

В Шаровку мы прибыли 9 октября утром, выслали разведку в западном направлении и через сорок минут уже слышали перестрелку. Заняв оборону в указанной нам полосе, мы создали из лучших солдат в каждом подразделении группу истребителей танков: в роте — отделение, в батальоне — взвод, а в полку — роту; вооружили их бутылками с зажигательной смесью, противотанковыми гранатами, связками обычных гранат и посадили их на танкоопасных направлениях.

С волнением весь личный состав ожидал первой встречи с противником. Если каждый солдат тревожился о себе и товарищах, то командир подразделения еще и о всем своем подразделении, о своем районе и в конце концов все мы — о всей дивизии. Трудно описать это напряженное состояние. Я ощущал здесь у каждого офицера и солдата то чувство личной ответственности, ту спайку, которых не хватало в боях под Витебском.

В это время в дивизию прибыл новый комиссар Горбенко. Он сразу расположил к себе людей и действительно оказался исключительно честным, подвижным и целеустремленным работником. Сразу найдя с ним общий язык, я вместе с ним переживал и горечь неудач, и радость — когда было чему радоваться.

Первой нашей радостью было отражение передовых подразделений наступающего противника. Но эта радость была недолгой: мы получили известие об оставлении Харькова и о том, что Казачью Лопань, атакованную основными силами противника, удержать не удалось. В тот же день к вечеру было получено распоряжение об отходе. Отход был исключительно тяжелым, и не так из-за активности противника, как из-за трудно проходимых дорог: непрерывно шли дожди, неоставало тягловой силы, технику больше тащили люди, чем истощенные лошади.

Вот что я доносил командарму: «Горючее полностью отсутствует, нет надежды на его подвоз колесным транспортом. На дороге г. Волчанск — ст. Бибаково-Новый брошено шоферами большое количество машин с грузом, принадлежащим 14-й кавдивизии. Кроме того, в г. Волчанске оставлено много машин, даже танков, без горючего, принадлежащих 3-й танковой бригаде, хотя боевые части уже отошли восточнее». Доносил я и о том, что некоторые командиры, отступающие впереди войск, подрывают мосты, не ожидая перехода через них частей, уничтожают тысячи тонн горючего в то время, когда исправные машины остаются стоять на дорогах, не имея бензина.

В результате отхода 226-я стрелковая дивизия встала в оборону на восточном берегу реки Северный Донец. В ноябре шли бесконечные дожди со снегом, и это очень затрудняло создание оборонительных рубежей. Чтобы избежать отрывки траншей на невыгодной для обороны местности, я обошел с командирами полков каждый батальонный район. Сначала спрашивал у командира батальона его решение на оборону: где и как он будет располагать живую силу и огневые средства. Потом спрашивал командира полка, с чем он не согласен и какие намерены внести уточнения, почему он намерен делать так, а не иначе? Лишь после этого я давал свои указания, как расположить батальон и как окапываться. Приходилось учить командиров на переднем крае, чтобы развить у них умение находить выгодное расположение боевых порядков и избегать лишних работ для красноармейцев.

Известно, что в войну мы вступили с укоренившимися взглядами на прогрессивность групповой тактики, с распылением взвода почти по всему обороняемому району. Однако красноармейцы теряли при этом чувство локтя, не видели не только командира взвода, но порой и командира отделения, не слышали команд, то есть были неуправляемы. С тех пор как у меня начало складываться сознательное отношение к тактическим вопросам, я стал ярким противником такого расположения в обороне и считал это устарелой системой. Такая разобщенность на поле боя в известной мере оправдывала тех, кто покидал оборону, ничего не зная о своих, воображая, что «уже все отошли, я ушел последним».

Прослужив пять с половиной лет солдатом, я хорошо знал, на что солдат способен в той или иной обстановке. Понять, какое отрицательное действие производит быстрое и продолжительное отступление, совсем нетрудно. Поэтому от подчиненных нам командиров мы потребовали — не распылять взвод, располагать его на одном из бугров в общей траншее не более ста двадцати метров по фронту, чтобы командир видел своих подчиненных, а они — своего командира, чтобы он мог контролировать их поведение и заставлять их стрелять в наступающего противника, а не отходить, кому когда вздумается. Рекомендовал не бояться оставлять незанятыми промежутки между взводами и ротами, простреливаемые управляемым огнем.

Находясь в обороне, мы производили анализ потерь за время отступления. Большая часть падала на пропавших без вести, меньшая часть — на раненых и убитых (главным образом командиров, коммунистов и комсомольцев). Партийно-политическую работу мы подчиняли главной задаче — повысить устойчивость дивизии в обороне. Но это нас не удовлетворяло. Мы хорошо понимали, что даже самой упорной обороной противника не победишь, что, сидя в обороне, нужно готовить людей к наступлению. А это значило, что обучение войск и партийно-политическую работу необходимо подкрепить активными действиями.

Мы выяснили, что после успехов своего летнего наступления противник стал самоуверенным и в холодную погоду отсиживается в населенных пунктах, между которыми оставляет большие промежутки, не занятые войсками. Решили использовать это положение, чтобы проникать в тыл к противнику и уничтожать его гарнизоны. Только убив или пленив немца, думали мы, или хотя бы захватив трофей, боец поверит в свои силы.

Первый лихой налет был произведен под командой лейтенанта Заярного на деревню Огурцово, находящуюся на переднем крае обороны. Пленных взять не удалось, но противник оставил в деревне десять убитых. Нами были захвачены миномет, винтовки, гранаты, патроны, лошади с повозками, продовольствие, документы убитых, обмундирование, одеяла, белье и другие вещи. Потеряли мы одного убитым. Даже на этом опыте можно было убедиться, что работа не пропала даром, что мы можем осуществлять наладения на тылы противника в более крупном масштабе.

Мы преследовали при этом главным образом три цели: 1) доказать противнику, что мы способны больно его бить; 2) выработать у нашего личного состава уверенность в своих силах; 3) убедиться, на что способны в бою наши батальоны.

Для второй операции была намечена деревня Коровино. По имевшимся у нас сведениям, именно здесь находилась стопятимиллиметровая батарея, которая нас сильно беспокоила, систематически обстреливая оборону и Шебекино. Необходимо было на время операции выставить прикрытие на дорогах, идущих к Коровину; чтобы действовать наверняка, было решено взять по одному батальону от полков, разведроту дивизии и придать им саперного офицера с восемью солдатами и взрывчаткой. Поскольку этой операции мы придавали большое значение, командование я взял на себя, а Горбенко назначил комиссаром отряда. В качестве моего заместителя с нами пошел командир 985-го полка Шепеткин.

Ночь на 28 ноября была теплая, с низкой облачностью. Не замеченные противником, мы перешли Северный Донец, потом шли лесом. На просеке, идущей от реки, сделали последний привал. Здесь мы подтянули колонну, уточнили ранее отданные распоряжения, напомнили сигналы, место сбора и путь отхода.

Когда мы тронулись вперед, чтобы пройти последние пятьсот метров, вернувшийся от головного взвода красноармеец доложил мне:

— Мы увидели двух людей, идущих нам навстречу, услышали оклик немецки, а потом топот. Они убежали к деревне.

Было ясно, что эти двое обнаружили нас и поспешили предупредить своих. Нельзя было медлить: противник получил несколько минут на изготовку. Мы ускорили движение, чтобы начать атаку на пятнадцать минут раньше. Атаковали деревню одновременно и решительно, но внезапность атаки была утрачена, и к половине восьмого противник еще удерживал те хаты, у которых на огородах стояла батарея. Часть батальона 989-го стрелкового полка дрогнула и начала было отходить к лесу, однако ее удалось остановить. Бой затянулся. Противник дрался ожесточенно, но и мы не намеревались останавливаться на полпути, к половине девятого мы полностью овладели деревней, уничтожив гарнизон: бежало лишь человек двадцать — двадцать пять, многих из них расстреляло наше прикрытие, встретившее огнем также и подкрепление противника, пытавшееся подойти к деревне Коровино.

До девяти часов мы подрывали орудия, боеприпасы, сжигали машины их же горючим, бросали в огонь все, что не могли взять с собой, обыскивали закоулки уцелевших строений. В девять часов был дан отбой, и мы тронулись в обратный путь. Прикрытие вело бой с подходящим противником. Особенно сильный напор сдерживала разведрота под командой Бокова; занимая выгодную позицию, она за полтора часа отбила три атаки во много раз превосходящего противника.

При переходе через реку мы смогли из взятых нами ста тридцати рослых и здоровых артиллерийских, верховых и обозных лошадей перетянуть на наш берег только семь, а остальные провалились на слабом льду и остались в реке или были пристрелены нами на том берегу; жалко было, конечно: они очень пригодились бы под наши гаубицы, но другого выхода не было.

В этом бою противник потерял в живой силе по меньшей мере втрое больше нашего, мы уничтожили батарею стопятимиллиметровых орудий, восемь машин, боеприпасы, повозки, захватили шестнадцать пленных, унесли с собой рации, фотоаппараты, продовольствие и много вещевого имущества. Кроме того, каждый из участников — а их было больше тысячи — захватил различные трофеи.

Таким образом, задачу мы выполнили. Отрадно было видеть крепкую дисциплину не только на марше, но и в бою. Пропавших без вести почти не было. К недочетам мы относили недостаточно быстрые и умелые действия красноармейцев и некоторых командиров, неполное использование укрытий при ведении огня; некоторые подразделения все еще болезненно реагировали на возгласы: «Обходят», «Окружают».

Несомненно, встреченные и убежавшие два немца в какой-то степени усложнили выполнение задачи и увеличили наши потери. Если бы они несли охрану, трудно было бы избежать встречи с ними: но выяснилось, что красноармейцы из передового взвода, обнаружив провода, идущие к реке (вероятно, к артиллерий-

скому наблюдателю), перерезали их по своей инициативе, и, вероятно, те два немца были связисты и шли исправлять порванную линию.

Я спросил солдат, резавших провода, почему они это сделали, зная, что я запретил нарушать телефонные линии до первых выстрелов.

— Думали, так лучше будет, — ответил один.

— Считали, приказ касается только прикрытия, а мы не прикрытые, — ответил другой.

Значит, вина была наша, командиров: надо тщательнее обдумывать, достаточно ли точны и достаточно ли понятны наши распоряжения.

Много было разговоров в дивизии. Каждый из рассказчиков несколько приукрашивал храбрость свою и товарищей — но мы считали, что в этом случае даже фантазия пойдет на пользу общему делу. Ведь главное-то было правдой! Особо отличившихся командование посылало в другие батальоны и батареи рассказывать, как они побеждали немцев.

Немало был удивлен Военный Совет армии, когда я доложил о нашей вылазке. Командарм Гордов выразил удовлетворение, но добавил:

— Военный Совет, как правило, должен знать не только результаты ваших действий, но и ваши намерения, особенно если операция связана с выходом в тыл противника и возглавляется лично вами.

— Учту ваше замечание, — ответил я, — о следующей вылазке донесу заблаговременно.

Тридцатого ноября по 21-й армии был издан приказ: «Основной задачей усиленным батальонам ставлю: решительными, смелыми и внезапными действиями очистить от противника восточный берег р. Северный Донец. Образец такой работы показал 28.И отряд 226-й стрелковой дивизии под непосредственным руководством комбрига тов. Горбатова».

Мы предприняли еще две вылазки. Во второй раз имели успех не меньший, чем в первый, главным образом потому, что план операции был продуман на основании данных разведки, а личный состав подготовлен к действиям на случай неожиданности. В третьей вылазке мы все же допустили ошибку, атаковав боевое охранение, и лишней раз убедились на этом примере, какое огромное значение имеет хотя малочисленное, но бдительное охранение. На этот раз мы вернулись, не выполнив задачи, в свое исходное положение, но были удовлетворены тем, что, вовремя отказавшись от выполнения основной задачи, причинили противнику больший ущерб, чем потерпели сами.

После этих активных действий дивизия наша стала боевой силой, на которую могло положиться наше командование и которой должен был опасаться противник.

Чтобы закончить воспоминания о 1941 году, расскажу еще об одном мелком, но характерном эпизоде.

Однажды в нашу дивизию приехал инструктор политотдела армии. Он пришел ко мне вместе с комиссаром дивизии и доложил, что прибыл выяснить дело об аморальном поведении командира энского стрелкового полка подполковника Ш., «на которого в политотдел поступил сигнал». На мой вопрос, в чем заключается «аморальность» командира, инструктор ответил:

— В сожительстве с врачом.

Бывая у Ш., я встречал у него симпатичную женщину-врача лет сорока. Я знал, что они из одного города, имеют общих знакомых. Об этом я сообщил прибывшему к нам инструктору и спросил его:

— Неужели вам нечего делать, неужели нет у вас более важных дел в это тяжелое для нас время?

Он промолчал. Я еще спросил, кто его послал, но и на это не получил ясного ответа. Тогда я счел нужным прямо высказать свое отношение к этому вопросу. Во-первых, я не могу позволить, чтобы у нас в дивизии поднимали такого рода «дела», мне кажется, что, выясняя интимные взаимоотношения людей, их оскорбляют и мешают им воевать. А во-вторых, если бы я зашел в комнату или землянку Ш. и нашел его и женщину-врача спящими на одной кровати, я бы тихо

закрыв дверь и никогда ни им, ни тем более посторонним не сказал об этом ни слова. Другое дело, если бы она жаловалась, что он к ней пристаёт, держит себя некорректно. Но этого ведь нет?

Инструктор уехал.

Двадцать второго декабря 1941 года мне было присвоено первое генеральское звание. Командующий армией вручил мне генеральскую папаху, сказав:

— Вручаю как знак полного к вам доверия нашей партии и правительства, поздравляю с первым и, уверен, не последним генеральским званием.

Я поблагодарил в его лице партию и правительство за доверие, а его лично за добрые пожелания.

Многие в нашей дивизии были награждены орденами и медалями за три вылазки в тыл врага. В их числе и я получил орден Красного Знамени.

В ноябре 1941 года на юге был освобожден от противника Ростов-на-Дону, на севере — Тихвин, а в декабре мы узнали о разгроме немцев под Москвой. Эти одержанные Советской Армией первые, но большие успехи были лучшим доказательством того, что будущее за нами. Но зимняя кампания была все же очень тяжела.

В то время немцы еще дрались ожесточенно, до последнего, сдавались в плен редко и лишь тогда, когда не было иного выхода, часто оставались в окружении и дрались до подхода резервов из глубины.

Ставка Верховного командования своим письмом от 10 января 1942 года требовала не давать немцам передышки, сосредоточенными силами с превосходством над противником в три-четыре раза взламывать их оборону на большую глубину, обеспечивая свое наступление артиллерией — и не только артподготовкой, но и мощной артиллерийской поддержкой в ходе всего наступательного боя.

Письмо Ставки содержало глубокий смысл и содействовало бы успехам, если бы точно выполнялось все, что в нем указано. Но мы по-прежнему получали приказы, противоречащие требованиям письма, а поэтому не имели успеха. Трудно объяснить, почему поступали такие приказы даже от командарма, о котором я был хорошего мнения.

В той обстановке естественно было, чтобы командир дивизии сам выбирал объекты для частных операций, чтобы, учитывая положение и пути подхода, сам определял силы отряда, время для нападения с использованием внезапности. В таких случаях противник имел обычно потери в два, три, а то и в четыре раза больше, чем мы. Другое дело, когда тебе издалека все распишут и прикажут захватить 17 января — Маслову Пристань, 19 января — Безлюдовку, 24 января — Архангельское и т. д. с указанием часа атаки, определяют силы (к тому же не соответствующие ни задаче, ни твоим возможностям). В этих случаях результат почти всегда бывал один: мы не имели успеха и несли потери в два-три раза больше, чем противник.

Особо непонятными для меня были настойчивые приказы — несмотря на неуспех, наступать повторно, притом из одного и того же исходного положения, в одном и том же направлении несколько дней подряд, наступать, не принимая в расчет, что противник уже усилил этот участок. Много, много раз в таких случаях обливалось мое сердце кровью. А ведь это был целый этап войны, на котором многие наши командиры учились тому, как нельзя воевать и, следовательно, как надо воевать. Медленность, с которой усваивалась эта наука — как ни наглядны были кровавые примеры, — была результатом тех общих предвоенных условий, в которых сложилось мышление командиров.

Опишу коротко одно такое наступление, которое проводилось беспрерывно в течение шести дней подряд.

После крепких морозов началась с 10 февраля 1942 года оттепель с дождями. Поверх льда на Северном Донце образовался слой воды глубиной в двадцать --

сорок сантиметров. В это время нами был получен приказ о наступлении на села Сажное и Гостищево.

Сажное — большое село, расположенное вдоль западного берега реки, — было занято относительно сильным гарнизоном противника. Гостищево — тоже большое село — было левее, в трех километрах от Сажного, за чистым полем. Выполняя приказ, мы форсировали реку против Гостищева двумя полками: одним, чтобы наступать прямо на Гостищево, а другим — охватывать Сажное с юга и юго-запада.

Мой наблюдательный пункт находился в кустарнике, в полукилометре от реки, с него было видно, как три батальона дружно и смело вступили по колено в ледяную воду и по льду преодолели реку. Используя внезапность, с небольшими потерями, они за два с половиной часа овладели двумя десятками хат на южной окраине села Сажное, кустарником, что был южнее и юго-западнее этого села, и продвинулись по чистому снежному полю на два километра к Гостищеву. Однако наше наступление захлебнулось, встретив сильное огневое сопротивление из Гостищева и во фланги — справа из оставшейся у противника части села Сажное и слева из села Киселево. Противник, огонь которого подавить не удалось, перешел к активным действиям: нами были отбиты две сильные и настойчивые контратаки. В этот день обе стороны понесли большие потери. Мы потеряли отважного начальника штаба 389-го стрелкового полка майора Макарова, был ранен и командир полка майор Кучеренко; во временное командование полком вступил начальник разведки дивизии Боков. Предпринятое нами ночное наступление успеха также не имело. Использовать темноту удалось лишь для того, чтобы заменить батальоны с мокрыми ногами батальонами вторых эшелонов, переведя их через реку по наскоро наведенным переходам.

Ночью я доложил командарму о результатах наступления и получил указание: выполнять приказ. С рассветом наши части снова перешли в наступление, но под сильным огнем противника залегли. Одну контратаку мы отбили, в результате другой нас выбили из хат Сажного, которые мы заняли вчера.

Чувствуя безуспешность наступления, я решил на свою ответственность, когда стемнеет, отвести наши батальоны на восточный берег реки. В это время с наблюдательного пункта на левом фланге я получил донесение об идущих в нашу сторону восемнадцати — двадцати танках противника. Я увидел в бинокль, как отдельные танки втягивались в село Киселево, левее наступающего на Гостищево полка. Дал указание командующему артиллерией дивизии подполковнику Лихачеву огнем всех батарей не допустить выхода танков из села Киселево. Учитывая, что пехота, не имеющая других противотанковых средств, кроме бутылок с горючей смесью и гранат, обычно болезненно реагирует на атаки противника с танками, я вызвал к телефону командиров полков, предупредил их о подходе танков противника в Киселево и высказал предположение, что одновременно с контратакой танков нужно ожидать контратак пехоты из сел Сажное и Гостищево. Приказал командиру 987-го стрелкового полка подготовить по одному батальону к отражению контратак с двух этих направлений. Командиру 989-го стрелкового полка я приказал два батальона, находящиеся на поле, отвести в кустарник, обороняться там и уничтожать танки, которые попытаются войти в наши боевые порядки. Уведомил, что вся наша артиллерия будет использована для стрельбы по танкам.

Было видно, как четырнадцать танков противника вышли из Киселева: наш сильный огонь заставил их ускорить движение, но не против наших боевых порядков, а к Гостищеву и скрыться в нем. Однако через двадцать пять минут танки вышли из Гостищева вместе с густыми цепями пехоты. Противник был встречен огнем артиллерии и пулеметов, его пехота залегла, но танки продвигались, ведя ходу огонь из пушек и зажигательными пулями из пулеметов. В это время один из наших батальонов уже втянулся в кустарник, а другой спешил к нему. Я видел, как на снежном поле все увеличивалось количество темных гочек — лежащих тел.

Когда на поле не осталось наших войск, артиллерия получила возможность бить по танкам и пехоте противника, не боясь поразить своих. С радостью мы

заметили дым и пламя на одном, а потом на втором и третьем танке. Только один вошел в кустарник, но и он был там подожежен бутылками. Немецкую пехоту вынудили поспешно отойти в Гостинцево.

В это время, закрыв от нас поле боя, сгустилась вечерняя темнота, и мы, так ждавшие ее в этот день, облегченно вздохнули. Но тут связь с командирами полков перестала работать. Строя различные предположения, мы считали, что в лучшем случае порваны провода или что полки под давлением противника меняют свои позиции. Возможно было также — в худшем случае, — что противник захватил полковые командные пункты.

Через полчаса доложили, что связь есть — у телефона комиссар 939-го стрелкового полка. Я не узнал его голоса: он был так взволнован, что нельзя было его толком понять. Я уж подумал было, что НП захвачен противником и комиссар говорит по принуждению гитлеровцев. Но подошел к телефону командир полка и членораздельно доложил о положении: батальоны вовремя и без больших потерь отошли в кустарник, он просил разрешения отвести их на восточный берег. Волнение комиссара объяснялось его огорчением и смущением по поводу неудачи. К двадцати двум часам все были на восточном берегу, в том числе и раненые; принесли с собой и убитых, кроме тех, что остались на чистом поле. Утром подсчитали потери — к счастью, они оказались не такими большими, как мы предполагали. Но тем же утром получен был приказ снова наступать в том же направлении, и мы наступали еще четыре дня все так же безуспешно, пока обескровленная дивизия не стала временно неспособной к активным действиям.

В марте наша 226-я стрелковая дивизия была передана 38-й армии. Четвертого марта мы сосредоточились в десяти километрах восточнее Верхнего Салтова, а пятого марта получили уже приказ: в ночь на шестое сменить части 300-й стрелковой дивизии, седьмого — перейти в наступление.

Шестого после смены я с начальником штаба дивизии, командирами полков и батальонов и начальниками родов войск произвел разведку. Ознакомившись с местностью, мы выработали план действий и взаимодействия.

В день наступления была необычно сильная по этим местам пурга: в двадцати метрах ничего не было видно. Командиры взводов не видели своих людей, роты и батальоны были неуправляемы, поэтому наступление у нас и у соседей не увенчалось успехом. В восемнадцать часов я доложил командарму о неудаче.

— Кому вы служите? — спросил в ответ командарм.

— Служу советскому народу и нашей партии, товарищ генерал, — ответил я и попросил разрешения мне доложить свое мнение. Получив согласие начальства, я сказал: — Село Верхний Салтов, которым мы должны овладеть, вытянулось одной улицей вдоль западного берега реки больше, чем на два километра. Перед ним река с широкой открытой долиной. За селом высота, с которой противник просматривает впереди лежащую местность на три километра. Смена трехсотой дивизии, полагаю, была замечена противником, он подвел резервы и уплотнил свои боевые порядки. Внезапности не было в начале наступления, тем более не может быть сейчас. Если мы и овладеем Верхним Салтовом, то слишком дорогой ценой.

— Короче! Что вы предлагаете? — перебил меня командующий. — Отменить наступление вашей дивизии?

— Нет, я не этого хочу, — ответил я и продолжал: — Противник, имея стрелков и пулеметчиков в каждой из ста пятидесяти хат на фронте в два с половиной километра, занимает очень выгодное положение, и мы будем вынуждены подставлять себя под огонь. Поэтому наступление в лоб на этом участке нецелесообразно. Сомневаюсь, чтобы мои соседи своими силами овладели Рубежным и Старым Салтовом.

— Вы очень плохого мнения о своих соседях, посмотрите лучше на себя, — заметил командарм.

Я продолжал излагать свой план. Предложил сначала усилиями двух дивизи-

зий — правого соседа и нашей — овладеть одним селом Рубежное. Оттуда сосед будет наступать в первоначально указанном направлении, а мы — на юг, во фланг и тыл противнику, занимающему Верхний Салтов. При этом варианте мы наверняка овладеем Рубежным, а наступая на Верхний Салтов во фланг, встретим огонь не из ста пятидесяти хат, а лишь из двух крайних, во столько же раз меньше понесем потерь и больше будем иметь успеха. Овладев Верхним Салтовом, поможем левому соседу, продолжив наступление на Старый Салтов. Исходя из этого, я просил разрешить мне большую часть сил нашей дивизии привлечь к овладению селом Рубежное.

После небольшой паузы услышал:

— Не возражаю, договоритесь с Тер-Гаспарьяном, только не тормозите выполнение моего общего приказа.

Как я и ожидал, с командиром 227-й стрелковой дивизии мы легко договорились о совместных действиях против села Рубежное. Восьмого марта занимались перегруппировкой и не наступали. Девятого заняли лишь пятнадцать хат в Рубежном, но к двенадцати часам следующего дня с помощью двух танков дошли до половины этого села. Когда мы дрались у церкви, я, находясь в это время в ста метрах от нее, получил два документа за подписью Военного Совета армии.

Они были составлены в грубой, оскорбительной форме — командование дивизии обвинялось в позорных действиях, граничащих с преступлением.

Ознакомясь с этими документами, я вернул их привезшему и приказал ему ехать обратно.

К семнадцати часам мы с соседом очистили от противника Рубежное, захватили пленных, десять орудий (из них четыре — стопятидесятимиллиметровые). Я приказал наступать на Верхний Салтов.

Одиннадцатого мы освободили Верхний Салтов и Петровское, а двенадцатого овладели большим торговым селом Старый Салтов и даже заняли еще большое село Молодое. За три дня боев мы захватили 42 орудия, 51 миномет, 71 пулемет, 55 автоматов, 400 винтовок, 82 лошади, 16 кухонь, 72 повозки, 6 раций, 41 склад с боеприпасами, продовольствием и вещевым имуществом и другие трофеи.

Тринадцатого марта овладели деревнями Федоровка, Октябрьское, селом Песчаное и деревней Драгуновка за нашей правой границей, выдвинувшись впереди соседа и оказав ему этим существенную помощь. В этот день самый малолюдный 989-й стрелковый полк прикрывал на широком фронте открытый правый фланг далеко выдвинувшихся других полков, занимал Федоровку, Октябрьское, Песчаное и далее. В полдень из села Непокрытое на село Песчаное противник перешел в контратаку, которая в яростном бою была отбита. Из ворвавшихся в Песчаное немцев пятьдесят шесть нами были захвачены в плен¹.

Перед вечером противник, как бы мстя за оставленных пленных, снова перешел в контратаку, но уже с танками, при интенсивной бомбардировке с двадцатью шестью самолетами.

Песчаное нами было оставлено. У нас не было угрызений совести в связи с этим, ибо мы сделали все от нас зависящее и нанесли противнику большой урон. Однако обвинения в адрес дивизии не прекращались.

Нельзя не отметить, что успехами, достигнутыми за шесть суток наступления, наша дивизия полностью обязана героизму, проявленному всем личным составом, инициативе и находчивости своих командиров. Все приказы из армии опаздывали. Например, по одному приказу мы должны только начать наступление на Червона Роганна в 10.00 15 марта, а мы ее захватили уже 14 марта. Приказы повидали в воздухе...

22 марта мы получили еще один приказ по армии, в котором обвинялись в том, что отошли, оставив село Песчаное под натиском противника силой до двух рот

¹ В тот период соотношение сил было еще таким, что продвижение на каждый километр считалось заслугой, а в обороне за одного захваченного поиском пленного давали орден.

с танками. Сведения эти, отмечалось в приказе, получены от захваченных пленных.

Я вызвал к телефону командующего и спросил его, откуда им взяты такие нелепые сведения?

— Читайте внимательно мои приказы, там сказано откуда,— услышал я надменный ответ.

— Мы вам доносили, что первая контратака на Песчаное была в полдень четырнадцатого марта отбита, и не частями двести двадцать шестой стрелковой дивизии, а одним подразделением девятьсот восемьдесят девятого стрелкового полка, причем нами захвачены были пленные. Лишь в результате второй контратаки противника превосходящими силами пехоты с танками и при ожесточенной бомбардировке с воздуха село было оставлено. Почему вы верите больше пленному немцу, чем мне? Почему не задали пленному простой вопрос: если наши оставили село только завидя немцев, то кто захватил его и других пятьдесят шесть пленных? Считаю приказ сплошным вымыслом и клеветой на двести двадцать шестую дивизию.

В тот же вечер я позвонил Маршалу Советского Союза Тимошенко и попросил его вызвать меня к себе вместе с командармом, чтобы в его присутствии объясниться. Через несколько дней по пути к Главкому я взял с собой семь приказов, выпущенных армией за последние десять дней, в которых командиры и комиссары дивизии получили взыскания.

Я решил рассказать Военному Совету фронта все по порядку, начиная с бесцельных, непрерывных атак на одни и те же пункты в течение десяти — пятнадцати дней при больших потерях.

Когда я вошел к маршалу Тимошенко, в комнате были член Военного Совета Н. С. Хрущев, начальник штаба И. Х. Ваграмян и командарм 38-й армии.

После того как я представился и поздоровался, Тимошенко спросил меня:

— Ну, рассказывайте, что вы там не поделили?

Доведенный оскорблениями до белого каления, я в запальчивости, показывая рукой на командарма, воскликнул:

— Да разве это командарм!

Ко мне подошел Н. С. Хрущев и, положив на мое плечо руку, укоризненно сказал:

— Товарищ Горбатов, разве можно так говорить о командарме, да еще во время войны?

— Больше терпения нет, товарищ генерал. Я сказал то, что думаю. За пять дней наши дивизии захватили не одну сотню пленных, десятки орудий и минометов и все потому, что действовали по своей инициативе, вопреки приказам командарма. Все руководство командарма заключается в самом беспардонном отношении к подчиненным. Надоело слушать бесконечную брань. Неужели командарм не понимает, что своим поведением не мобилизует подчиненных, а только убивает их веру в свои силы? Подобные оскорбления я слышал в Лефортовской тюрьме от следователя и больше слушать не хочу. Все мы честно служим и будем служить нашей родине и партии, но незаслуженная ругань на любого человека действует отвратительно. Прошу оградить нас от нее.

Главком сказал, обращаясь к командарму:

— Я вас предупреждал, что грубость недопустима, но вы не сделали нужного вывода из моего замечания. Надо с этим кончать.

А мне он сказал:

— Не надо горячиться, товарищ Горбатов. Мы разберемся.

Расспросил меня о состоянии дивизии, и узнав, что у члена Военного Совета ко мне вопросов нет, маршал разрешил ехать к себе.

За все это время командарм не сказал ни одного слова. Когда я уезжал, он остался у Главкома.

Возвращаясь в дивизию, я обдумывал все сказанное и слышанное. Ругал себя за то, что погорячился: не надо на грубость отвечать грубостью, нужно было спо-

койно рассказать все по порядку. «Но нет, — возражал я себе. — Иначе нельзя. Пусть Военный Совет призовет его к порядку».

После этой поездки в Военный Совет оскорбительных приказов стало заметно меньше. Но командарм меня полностью игнорировал и сносился со мной только через начальника своего штаба генерала С. П. Иванова. Мне самому с Ивановым было куда приятнее иметь дело: я уважал его за хладнокровие и знание дела.

Двадцать второго июня меня назначили инспектором кавалерии штаба Юго-Западного направления. Не могу сказать, чтобы это назначение мне нравилось. В коннице я прослужил двадцать восемь лет, этот род войск я любил больше, чем какой-либо другой. Но с появлением авиации и танков, еще начиная с 1935 года, у меня появилось сомнение в роли, которую конница сыграет в будущей войне, особенно на западном театре. Именно поэтому перед самым началом войны я и высказал желание служить в общевойсковых соединениях. Первый год войны подтвердил верность моей мысли. Вот почему я без энтузиазма встретил свое новое назначение. Кроме того, должность инспектора, в значительной мере канцелярская, противоречила моей натуре — я больше всего не любил писанины. Три месяца мучился я в этой должности, отыскивая себе и на ней по возможности интересную работу.

В августе наша инспекция оказалась в Сталинграде. Меня, в течение десяти месяцев не удалявшегося от противника больше, чем на пушечный выстрел, город поразил своей обычной, почти как в мирное время, деловитостью. Странно было нам также видеть столько по-мирному одетых людей, отдыхающих в теплые вечера на берегу Волги. Прибытие штаба фронта для горожан было как будто неожиданным, и оно сразу наложило на облик тылового города прифронтовой отпечаток. Чем ближе был фронт, чем больше наводнялся город военными, тем тревожнее и лихорадочнее билась в нем жизнь. Потом началась эвакуация города. Второй эшелон штаба фронта перешел на восточный берег.

За Волгой стало мне совсем невыносимо. Оставив за себя полковника, я выехал к А. И. Еременко, который был назначен командующим фронтом.

Его командный пункт находился в одном из оврагов. У А. И. Еременко, когда я к нему вошел, были член Военного Совета Н. С. Хрущев и А. М. Василевский. На их лицах я прочел, что пришел не вовремя. Тем не менее я представился и поздоровался. Еременко сказал:

— Давно не виделись с вами, товарищ Горбатов. Что скажете?

— Не могу сидеть на восточном берегу в этой обстановке, прошу дать какую-нибудь оперативную работу. На инспекторской задыхаюсь от безделья, там и мой полковник справится.

Мне показалось, что на вопросительный взгляд Еременко Хрущев ответил каким-то знаком. Еременко сказал:

— Зайдите через часок.

Ровно через час я вернулся. Командующий сказал:

— Ну вот. Обстановка такова. Противник форсировал Дон, устремился к Волге — полагаю, к южной окраине Сталинграда. С севера идет наш корпус — три стрелковые дивизии. (Он указал, по каким дорогам.) Вам нужно их встретить и поставить для обороны юго-западной окраины города.

На моей карте он начертил рубежи обороны. Убедившись, что задача понятна, сказал:

— Ну, в час добрый, спешите.

Я был очень рад, что получил хотя временную, но работу. Подъезжая к деревне Городище, встретил одну дивизию, нашел ее командира, поставил ему задачу, за Городищем встретил вторую и тоже поставил ей задачу. Но когда я ехал, чтобы встретить третью дивизию, то увидел танки, идущие двумя кильватерными колоннами прямо по полю: за ними следовала пехота на машинах, а в воздухе реяло много самолетов. Я не сомневался, что это противник и что он идет не к южной, а к северной окраине города. Что делать? Решил: во-первых, не ехать дальше для

встречи дивизии (да и не мог я туда ехать, ибо мог быть отрезанным от Сталинграда); во-вторых, изменить задачу уже встреченным дивизиям, но прежде заехать на зенитные батареи, которые стояли недалеко от дороги и вели огонь по самолетам противника, и им тоже изменить задачу. Подъехал к ближайшей батарее. К счастью, на ней оказался полковник-зенитчик, и, показав ему на колонны танков и пехоты противника, я приказал всеми зенитными стволами этого района бить не по самолетам, а по наземным целям. Полковник, еще при мне приказав батарее опустить стволы и начать обстрел танков, обещал дать такое же указание другим батареям. Под ливнем снарядов зениток стройный порядок походных колонн противника нарушился. Надеюсь, что огонь зениток насторожит третью по счету дивизию и противник не застанет ее врасплох, я догнал первые две дивизии, объяснил командирам изменение в обстановке и указал рубежи для обороны северо-западной окраины города.

Получилось удачно: вместо того, чтобы дивизиям идти еще пятнадцать километров, они перешли к обороне почти в том же районе, где находились, с выдвинутыми отдельными частями на три—четыре километра навстречу противнику. Порекорендовав комдивам немедленно поставить артиллерию на огневые позиции, выбросить вперед наблюдателей и обеспечить ведение артотряда еще до занятия оборонительных рубежей стрелковыми частями, рассказал им, как связаться с КП фронта, и поехал для доклада к командующему.

Сдерживая возбуждение, я вошел к нему.

— Ну что, встретили?— спросил он.

Я доложил, что видел, что сделал и где КП двух дивизий. Видно было, что мой доклад о такой близости противника и о том, что он идет не на южную, а на северную окраину Сталинграда, был первым. Командующий поблагодарил за выполнение задания и тут же послал меня на Тракторный завод, чтобы все отремонтированные там танки отправить в две стрелковые дивизии, занявшие оборону. Кроме того, он приказал проехать в военное училище, находящееся в северной части города, и изготовить его к бою как воинскую часть. Лишь поздно вечером я вернулся усталый, но довольный своим рабочим днем.

На другой день противник вышел к Волге севернее Сталинграда, у деревни Рынок. С этого дня я стал выполнять много различных заданий оперативного характера.

В это время организовался Донской фронт, его командующим был назначен К. К. Рокоссовский, а членом Военного Совета — А. С. Желтов. Поскольку на Сталинградском фронте кавалерии не было, я был назначен инспектором кавалерии Донского фронта.

Когда я уезжал из города, он уже пылал сплошным огнем и никто нигде не пытался тушить пожары — это было невозможно. Машину с пристани пришлось отослать обратно в штаб, сам я с шофером на пароме переправился на восточный берег Волги к Красной Слободе, чтобы оттуда добираться в штаб Донского фронта по восточному берегу, через Камышин.

Через день явился к Рокоссовскому и вскоре был послан в смешанный кавкорпус, который выполнял одну из самых ответственных задач, обороняя плацдарм на Западном берегу Дона.

В эти тревожные дни я много думал о том, как же это случилось, что мы оказались на Волге, можно ли объяснить это только тем, что нападение противника было внезапным? Нет, дело не только в этом, думал я и все больше и больше склонялся к тому, что одной из основных причин наших неудач на фронте является недостаток квалифицированных кадров командного состава: сколько опытных командиров дивизий сидит на Колыме, в то время как на фронте подчас приходится доверять командование частями и соединениями людям хотя и честным, и преданным, и способным умереть за нашу родину, но не умеющим воевать. Части несут потери, получают пополнение, состоящее из людей, давно уволенных из армии в запас. Одни из них забыли военное дело, другие приходят в части, даже не ознакомившись с новым вооружением и техникой. В округах их не учат

самому необходимому. Все это усугубляется неумелым подбором людей. Кто ведет этим вопросом в вооруженных силах? — спрашивал я сам себя и отвечал: Саша Румянцев. Я видел, как он подбирает кадры, как разговаривает с людьми. Неспособный разобрататься в деловых качествах командиров, он интересуется только их анкетами.

Забегу вперед и скажу, что, побывав в Москве после битвы на Волге, я узнал, что Румянцев уже снят с поста заместителя Верховного главнокомандующего по кадрам. Обрадовало меня известие и о том, что боевой подготовкой руководит уже не Щаденко.

В апреле 1943 года я стал генерал-лейтенантом, а в июне был назначен командующим 3-й армией, которая оборонялась в районе Мценска, на реке Зуша.

Прежде всего я заехал в штаб Брянского фронта, чтобы представиться командующему Марку Михайловичу Попову и члену Военного Совета Л. З. Мехлису.

Командующий фронтом принял меня очень хорошо, предложил коротко рассказать о прохождении службы и оставил меня ночевать с тем, чтобы утром я выехал в армию с его заместителем генералом И. И. Федюнинским. Узнав, что я хочу представиться члену Военного Совета, Главком отпустил меня, добавив:

— А через час приходите ко мне обедать.

Настороженным шел я к Л. З. Мехлису, вспоминая разговор, который он и Щаденко вели со мной в сентябре 1941 года в Москве. Представляясь ему, я встретился с его колючим и вопросительным взглядом. Но все-таки это был уже не прежний Мехлис — очевидно, для него не прошла без следа тяжелая неудача в Керчи.

— Вы назначены к нам? — сказал Мехлис.

— Да, к вам во фронт, — ответил я.

— Хорошо, ознакомьтесь с армией. Когда встретимся в следующий раз, доложите о ее состоянии. Тогда и поговорим.

Только и разговора.

Познакомясь за обедом с командующим фронтом несколько ближе, я, к моей радости, увидел в нем молодого, но хорошо знающего военное дело генерала, находчивого и жизнерадостного человека. Об армии, которую мне предстояло принять, он сказал:

— Врылась в землю, засиделась в обороне, в прошлом провела ряд неудачных наступательных операций. Но все это в прошлом, — подчеркнул он. — Не буду характеризовать командиров сейчас, чтобы не привязывать вашего мнения к своему. Скажу одно: безнадежных нет. Нужна работа и работа — и с генералами и с солдатами.

Рано утром мы с Федюнинским выехали в 3-ю армию в село Ержино, где находился ее штаб. Федюнинский представил меня, как нового командующего, старшим офицерам и генералам.

С 3-й армией мне пришлось участвовать во многих славных и трудных боях. Здесь расскажу лишь о двух-трех операциях.

Восемнадцатого июля 1943 года мы наступали на Орел. Находясь в левофланговой 380-й дивизии, я узнал, что и без того широкая полоса нашей армии приказом фронта увеличена на десять километров за счет левого соседа. Если раньше овладение городом Орел было задачей 63-й армии, а мы лишь ей помогали, то теперь освобождение города целиком возлагалось на нас. Сосед выводил свои войска из нашей полосы, нам надлежало принять решение, кем заменить эти соединения, и создать группировку для овладения Орлом. На созванном мною совещании высказывалось мнение, что надо создать сильную группировку на левом фланге: однако неясно было, где взять для этого силы и средства, так как полоса армии превышала шестьдесят километров и наши полторы дивизии оборонялись еще на реке Зуша, на сорокакилометровом фронте. Мною было обращено внимание присутствующих на то, что город Орел делится на две равные части — восточную и

западную — рекой Окой, а западная его часть в свою очередь делится на северную и южную рекой Орлик. Если мы создадим ударную группировку для наступления на город с востока и захватим его восточную часть, а противник удержит западную, мы будем вынуждены бить по ней из орудий и авиабомбами, а противник будет бить по нас и разрушать восточную часть города. Если же мы овладеем южной частью западной половины города, то противник будет удерживать ее северный сектор и мы опять же будем разрушать город совместно с противником. Исходя из этого, я поставил вопрос: нужно ли создавать группировку для наступления на город с востока, не лучше ли поискать другого решения.

В результате поисков и размышлений было решено брать Орел обходом с севера и северо-запада; для этого создать ударную группировку армии на правом фланге, форсировать Оку в двадцати—тридцати километрах севернее города; нанося удар с северо-западного направления, мы будем угрожать окружением противнику, обороняющемуся по реке Зуша и находящемуся в городе Мценске, а наступая по западному берегу Оки и обходя Орел, будем также угрожать окружением противнику, если он вздумает оборонять город. Тем самым мы избегали уличных боев, разрушения города и лишних потерь. Левое крыло армии решили не усиливать — наоборот, 41-й корпус растянуть на дополнительные десять километров и лишь одной дивизией этого корпуса наступать с востока, а остальными двумя форсировать Оку севернее Орла.

Это решение вполне себя оправдало. В то время, как мы повернули основные силы армии на северо-запад, энергичный и предусмотрительный командир 342-й стрелковой дивизии полковник Л. Д. Червоний оставил по реке Зуше на тридцатикилометровом фронте один полк, а остальные силы дивизии сосредоточил против Мценска и зорко следил за противником. Как только противник начал отход, дивизия полковника Червоний форсировала Зушу на всем фронте и повела преследование. Правда, форсировав реку, Червоний излишне задержался в комфортабельных, поспешно оставленных немцами землянках и отстал от своих полков — мне пришлось посадить его в свою машину и перевезти туда, где ему надлежало быть. Но с тех пор ему больше не приходилось пользоваться моей машиной...

Выйдя на рубеж рек Ока и Оптуха, мы захватили ряд плацдармов на Оке, закрепляли и расширяли их. Бои особой ожесточенности разыгрались за узел сопротивления деревни Апальково и высоты 250,0. Этот узел закрывал нам путь на Орел с севера. Лишь 31 июля нам удалось обходным движением, внезапной атакой сломить противника в этом районе.

Вечером 2 августа я побывал в 308-й дивизии и упрекнул комдива генерала Гуртьева, всегда очень энергичного, за недостаточное использование успеха соседней дивизии.

Утром 3 августа мой НП был в пятистах метрах от противника на северном берегу реки Неполодь. В бинокль я видел перед собой Орел, слышал один за другим глухие взрывы в городе и видел поднимающиеся над ним клубы черного дыма: немцы взрывали склады и здания.

В это время я получил от генерала Гуртьева донесение о том, что его частями занят Крольчатник. Это было очень важно: Крольчатник был основным опорным пунктом противника на пути к городу. Но когда я перевел бинокль в том направлении, то увидел, что Крольчатник еще в руках противника. Я был уверен, что к этому времени комдив 308-й уже переместился на новый КП, и лично убедился в ошибочности посланного мне донесения. Зная Гуртьева как волевого, честного и решительного командира, я представил себе, как он болезненно пережил мое вчерашнее замечание за недостаточное использование успеха, а тут еще подчиненные ввели его в заблуждение с Крольчатником! Мне стало больно за него. Опасаясь, как бы он не сорвался и не стал искусственно форсировать события, я решил к нему поехать, чтобы его ободрить. По прямой он находился от меня в двух километрах, но объезжать надо было километров пять-шесть. Его НП оказался на чистом поле, между железной дорогой и шоссейной, в полутора километрах перед Крольчатником. «Да,— подумал я,— он уже и сам не прочь пойти в

атаку!» НП был выбран крайне неудачно: над ним виднелись частые разрывы снарядов. Остановив свою машину у обсадки железной дороги, я пошел по ржаному полю; рожь была невысокой, часто приходилось приземляться, пережидать разрывы. Мое появление на НП удивило Гуртьева, он смущенно, скороговоркой произнес:

— Как это вы здесь, товарищ командующий? Спускайтесь скорее ко мне в окоп, здесь у противника пристреляна нулевая вилка!

Я спрыгнул в узкую щель. Мы оказались прижатыми один к другому. Гуртьев, видимо, готовился выслушать новое замечание, но я сказал:

— Сегодня у вас дело идет хорошо. Не сомневаюсь, что и Крольчатником скоро овладеете.

Он облегченно вздохнул, повеселел, и мне это было приятно, так как я высоко ценил его скромность, даже застенчивость, совмещающуюся с высокими качествами боевого командира.

Мы услышали новые артвыстрелы у противника.

— Наклоняйтесь ниже, это по нас,— сказал Гуртьев.

Окопчик был неглубоким, мы присели, но головы оставались над землей. Один из снарядов разорвался перед нами в десяти—пятнадцати шагах. Мне показалось, что я ранен в голову, но это была лишь легкая контузия; Гуртьев приподнялся, проговорил:

— Товарищ командующий, я, кажется, убит, убит,— и уронил голову мне на плечо.

Да, он был убит. На память мне он оставил свою кровь на моей гимнастерке и фуражке. Эту гимнастерку и фуражку я хранил до конца войны.

В этот день Военный Совет армии выразил глубокое соболезнование 308-й стрелковой дивизии в связи с утратой их командира — доблестного генерала, коммуниста, одного из храбрейших защитников Сталинграда. Леонтию Николаевичу Гуртьеву посмертно присвоено было звание Героя Советского Союза.

В тот же день Военный Совет обратился с воззванием ко всем солдатам и офицерам армии: «Бойцы и командиры! На ваших глазах гитлеровские бандиты уничтожают г. Орел. Вы находитесь в 6—10 километрах от него. 2—3 часа быстрого наступления не только сохранят вас от лишних потерь, но и не позволят врагу окончательно разрушить родной город. Вперед, на скорейшее его освобождение!» Призыв был доведен до каждого командира и солдата.

Четвертого августа дивизии Кустова и 17-й танковой бригады под командованием полковника Шульгина ворвались в восточную часть города, части 308-й дивизии, переправившись через Оку у Щекотихина, ворвались в город с севера, а ударная группировка, форсировав реку Неолодь, охватывала город с северо-запада по западному берегу Оки. С юга ворвались в город части 5-й и 169-й стрелковых дивизий.

К пяти часам сорока пяти минутам Орел был полностью очищен. Население города восторженно встречало своих освободителей.

В то время, когда еще рвались мины замедленного действия, я побывал в привокзальной части города, обошел разрушенные казармы, в которых проходил службу в 1912—1914 годах, до начала первой мировой войны. побывал и в овраге, где был наш тир. Бывшему солдату случилось благодаря Октябрьской революции командовать армией, освободившей тот город, где он тридцать лет тому назад служил солдатом.

Член Военного Совета фронта Л. З. Мехлис, по-видимому, принадлежал к числу тех, кто имеет слишком цепкую память и с великим трудом меняет свое мнение о людях. Я не сомневался, что он хорошо помнил свой грубый разговор со мной у него в кабинете в Москве после моей встречи с Вильгельмом Пиком, помнил и то, как он отобрал у меня предписание на выезд для формирования конницы. После того разговора я не спал несколько ночей, ожидал самого худшего и был очень рад, что меня забрал к себе на юг С. К. Тимошенко.

Л. З. Мехлис при каждой встрече со мной до освобождения Орла не пропускал случая задать мне какой-нибудь вопрос, от которого можно было встать в тупик.

Я отвечал просто и, вероятно, не всегда так, как ему хотелось. Однако заметно было, что, хотя и с трудом, он изменяет на лучшее свое прежнее отношение ко мне. Когда мы уже были за Орлом, он вдруг сказал:

— Я долго присматривался к вам и должен сказать, что вы мне нравитесь как командарм и как коммунист. Я следил за каждым вашим шагом после вашего отъезда из Москвы и тому, что слышал о вас хорошего, не совсем верил. Теперь вижу, что был не прав.

Поблагодарив за откровенность, я не скрыл, что и он мне не очень понравился, я пережил много неприятных часов. Видел также, как настороженно он встретил меня на фронте. Но я привык прежде всего думать о деле.

После этого разговора Л. З. Мехлис стал чаще бывать у нас в армии, задерживался за чаепитием, что было совершенно не в его обычае. Он был неутомимым работником, но человеком суровым и мнительным, целеустремленным до фанатизма, человеком крайних мнений и негибким — вот почему его энергия не всегда имела хорошие результаты. Характерно, что он никогда не поручал писать кому-либо шифровки и писал их только сам своим оригинальным почерком.

Нет ни одной операции, о которой не хотелось бы рассказать. Условия, в которые попадала 3-я армия, и характеры людей, встретившихся в ее командовании и вскоре сблизившихся по взглядам, были причиной того, что ни одна операция нами не проводилась «по трафарету»: всякий раз мы искали решения, отвечающего именно данному случаю. Я не берусь оценивать их с общетеоретической точки зрения, но мне кажется, что описание и разбор таких отдельных операций не менее поучительны, чем повторение правил и приемов, как будто одинаково пригодных в любых однотипных обстоятельствах. Дело, однако, не только в этом. Даже в то время, когда я находился на высоких командных должностях, отношения с подчиненными, несмотря на мою требовательность, не ограничивались служебной официальностью. Может быть, солдаты и молодые командиры чувствовали во мне человека, видевшего в жизни много нелегкого, — во всяком случае я с их стороны встречал по большей части открытость и нечто личное, вполне уживающееся с уважением к старшему. Память сохранила много лиц, немало и имен. Если бы достало сил и умения, я написал бы о «незаметных героях», показывавших величие духа и простоту подвига, гибкость и силу ума. Здесь я могу лишь упомянуть о немногих. Разумеется, я пропускаю также очень важные эпизоды в ходе войны; но эти воспоминания — не история, не история даже армии.

После Орловской операции наша армия была выведена в резерв фронта и с 21 по 31 августа 1943 года находилась в районе города Карачев, где комплектовалась, приводила себя в порядок, усиленно занималась боевой и политической подготовкой по восемь—десять часов в день. Верховное командование поставило перед вооруженными силами задачу: в течение лета и осени 1943 года выйти на реку Сож и среднее течение Днепра, захватить плацдармы на западных берегах этих рек. Решение задачи возлагалось на несколько фронтов: не успело затихнуть сражение на Курской дуге, как вспыхнуло сражение на Орловском выступе, а когда шли бои за Орел, включились в наступление Западный, а потом и Калининский фронты; во второй половине августа перешли в наступление Юго-Западный и Южный.

При подходе к реке Сож на последних восьмидесяти километрах наступательный порыв в наших войсках был так силен, что ни одна дивизия не хотела оставаться в резерве, а на последних двадцати — тридцати километрах ни один полк не хотел оставаться во втором эшелоне своей дивизии. Все хотели быть впереди, и мы согласились на такое построение боевых порядков, ибо исключали на восточном берегу Сожа возможность не только контрудара, но и крупных контратак.

Правда, наши дивизии имели большой некомплект в личном составе еще до Орловской операции; естественно, он еще возрос после Орловской, а тем более Брянской операций. Централизованное пополнение поступало слабо — мы пополнялись главным образом за счет партизан и выздоровевших от ран и болезней в госпиталях нашей армии. Однако мы не думали останавливаться на реке Сож, а рассчитывали на передышку лишь по выходе на Днепр. Вот почему, когда наши передовые дивизии 1 октября вышли к Сожу, на другой день рано утром я был уже на берегу реки и проводил рекогносцировку на предмет ее форсирования.

Эту реку я видел впервые. Ширина ее была девяносто — сто пятьдесят метров, глубина три — восемь метров, долина шириной в два километра со множеством проток, а за ней — высокий западный берег, занятый противником, отошедшим на заранее подготовленные позиции.

Форсирование мы начали 2 октября. Находясь на командном пункте, на опушке леса у реки, я и мой штаб прислушивались к трескотне вражеских пулеметов и разрывам снарядов, по которым определяли силу сопротивления противника. Он наращивал огонь. В воздухе появились немецкие разведчики, потом бомбардировщики нанесли удар по нашим войскам в долине реки: начались и пехотные контратаки с танками при сильной артподдержке. Наблюдая эту картину, мы слышали разговоры об огневом превосходстве врага. Что мы могли сказать в ответ? Доставка боеприпасов у нас действительно отставала... И мы говорили подчиненным: «Да, возможно, сегодня и не удастся выбраться на высокий берег, занимаемый противником, но ничего — удастся позднее, когда подвезем боеприпасы. Сегодня берегите силы».

Противник имел преимущество на этих участках. Все же, прекратив форсирование, мы в этот день захватили и удержали три небольших плацдарма в долине реки. Это было в то время очень важно.

Задача, поставленная армиям левого крыла фронта, оказалась для них непосильной: вместо выхода на линию реки Слуочь — Слуцк — Минск войска продвинулись лишь до города Речица, а левее добились еще меньших результатов.

Три армии правого крыла вели бои местного значения; в частности, нашей 3-й армии рекомендовалось расширить один из захваченных плацдармов до размера в шестнадцать квадратных километров. Имея такую задачу, мы оставили в обороне три дивизии, а четыре вывели во второй эшелон и приступили к регулярным занятиям: стоящие в обороне изучали противника, его цели, поведение, отрабатывали варианты оборонительных боев и совершенствовали оборону, а дивизии второго эшелона отрабатывали варианты наступления для расширения плацдарма, изучали противника и местность в глубине его обороны.

Срок решительных действий по расширению нашего южного плацдарма, назначенный на 12 октября, приближался. Но, несмотря на старание тыловых работников, боеприпасы прибывали медленно, их едва хватало на покрытие текущей потребности. Причин этому было много: отставание складов, подвоз конным транспортом, ибо шоссе дорог не было, а проселочные из-за дождей для машин стали непроходимыми, да и большая часть машин была неисправной; один рейс занимал четырнадцать суток.

Что же получалось? С одной стороны, нельзя проводить активных действий с таким количеством боеприпасов, которого и для обороны мало, с другой стороны, при каждом докладе командующему фронтом мы слышали требование — вести активные действия. Мы были вынуждены отбирать боеприпасы у одних соединений, прибавлять тем, которые предназначены для активных действий.

На рассвете 12 октября после десятиминутного артналета мы пошли в наступление. Используя внезапность, в течение первых трех часов мы захватили на высоком берегу реки деревни Костюковка, Салабута и Студенец, а еще за два часа, слабая сильное сопротивление, продвинулись еще на два километра. К этому времени противник подтянул свои резервы с танками, начал контратаки

при поддержке мощной артиллерии и бомбежки с десяти самолетов. Наши дивизии, поддерживаемые лишь слабым артогнем, были вынуждены отойти к деревьям, что на берегу реки, в немецкие траншеи, и оказались в невыгодном положении, так как траншеи имели хороший обзор и обстрел к востоку, а к западу местами всего пятьдесят и нигде не больше двухсот метров.

Мы даже превосходили противника живой силой и количеством пулеметов и орудий, но значительно уступали ему в боеприпасах и не имели танков. Учитывая также, что мы у противника ничего не видим, а он просматривает на всю глубину наши боевые порядки, мы сделали вывод, что дальнейшая активность будет безрезультатной и лишь увеличит наши потери. Решили продержаться дотемна и отойти в исходное положение.

В восемнадцать часов я доложил командующему фронтом о результатах боя, о решении отойти и о том, что в дальнейшем надо отказаться от активных действий, если нельзя обеспечить их боеприпасами. Командующий фронтом генерал армии К. К. Рокоссовский хотя и не выразил неудовольствия по поводу нашей неудачи, но активных задач с нашей армии не снял. Тогда я ему доложил, что был на переднем крае обороны перед фронтом правого соседа — 50-й армии, там, где на реке Проня шириной тридцать—сорок метров имеются броды и хорошие подступы с нашей стороны. Просил прирезать к нашей армии пятнадцать километров из полосы соседа. На том участке наши активные действия себя оправдают: можно будет захватить большой плацдарм с меньшими потерями в людях и средствах.

Мне показалось, что предложение «прирезать полосу в пятнадцать километров» удивило командующего фронтом: обычно командующий армией просит уменьшить, а не увеличить его полосу. После небольшой паузы Рокоссовский спросил:

— Сколько времени вам потребуется, чтобы начать там активные действия?

— На перегруппировку потребуется пять—семь суток, — ответил я. — Но нас по-прежнему будут лимитировать боеприпасы. Прошу резко увеличить их отпуск.

На другое утро мы получили шифровку о прирезке нам от соседа полосы в пятнадцать километров с предоставлением 50-й армии права вывести из нее свою дивизию.

При рекогносцировке новой полосы совместно с командирами тех дивизий, которые переходили в нее, было решено: реку Проня форсировать у села Красная Слобода, где есть брод и хорошие подступы к реке. Форсирование начать 25 октября; до того дня перевести в этот район пять из семи дивизий и обеспечить их боеприпасами — одним боекомплектком.

Была уверенность, что, имея хотя бы такое количество боеприпасов, мы захватим и удержим плацдарм. Основывалась она на том, что свои силы мы сосредоточим незаметно для противника и, используя брод, атакуем его внезапно. Из имеющихся боеприпасов были намерены расходовать на первые два дня захвата плацдарма шестьдесят процентов, на отбитие контратак двадцать процентов и двадцать процентов иметь в резерве. Кроме того, мы подвезли трофейные пушки и минометы с боеприпасами к ним и рекомендовали командирам расходовать их в первую очередь.

Саперам дано было приказание в первый день форсирования реки построить два свайных моста и четыре пешеходных мостика; места для них были выбраны такие, которые не будут наблюдаться противником, если мы удержим плацдарм. Командиры дивизий получили указания захватить как можно больший плацдарм в первый день, пока противник не успел подвести резервы, и каждый день без промедления закреплять захваченное. Мы сказали также комдивам, чтобы они не боялись за свои фланги: мы будем их оберегать огнем с восточного берега.

С рассветом после арталета мы захватили плацдарм в шесть километров по фронту и три километра в глубину. Было взято сорок шесть пленных, четырнадцать орудий, десять минометов, восемнадцать пулеметов и другие трофеи. Ночные действия успеха в первые сутки нам не принесли.

26 октября, возобновив наступление, мы расширили и углубили плацдарм на один километр, захватили еще пленных, орудия, минометы. Контратаки мы отбили, но потери несли не меньше, чем при форсировании в первый день.

27, 28 и 29-го мы уже не наступали, а только отбивали атаки противника, поддержанные танками и авиацией. Его артиллерия каждый день выпускала три-четыре тысячи снарядов и мин по захваченному нами плацдарму. За эти три дня мы, контратакуя, захватили еще 28 пленных, 11 орудий, 7 минометов. 33 пулемета. Суточные потери у нас были меньше, а все поле перед плацдармом было усеяно вражескими трупами. Удержав плацдарм семь на четыре километра, мы закрепились на достигнутых рубежах.

Я доложил комфронта, что армия перешла к обороне. Он сказал:

— Хорошо, что удержали плацдарм. Мы видим, что армия не может сейчас действовать активно, но не давайте противнику разгадать это. Заставьте его думать, что вы готовитесь продолжать наступление, а в это время накапливайте боеприпасы. Продумайте план поведения своих войск.

На совещание в наш штаб собрались мои заместители, начальники родов войск и служб и командиры корпусов. Было решено: временно перейти на всем фронте нашей армии к обороне — готовиться к наступлению; четыре дивизии оставить в обороне и три вывести во второй эшелон.

Чтобы приковать внимание противника к северному участку и создать у него впечатление, что мы не отказались от расширения плацдарма и наступления с него, мы выработали план дезинформации, которым предусматривались: дополнительная пристрелка целей перед северным плацдармом и установка макетов орудий; маскированное движение войск на юг и немаскированное на север; разведение и поддержание костров за правым флангом в лесу на глубине пять—десять километров; временами организовать шум моторов, имитирующий подход танков; постройку и укрепление мостов ко всем плацдармам, заготовку и подвоз запасного леса. План начали осуществлять со следующего же дня.

Противник проявлял нервозность: усиленно освещал передний край **по ночам**, производил мощные артналеты по ложным орудиям, **по районам**, где поднимался дым от костров, и туда, где был слышен шум моторов, ежедневно расходуя от двух до трех тысяч снарядов на протяжении десяти—двенадцати суток. Было видно, что он придавал большое значение нашим мероприятиям. Потом противник, вероятно, понял наш обман: он перестал реагировать на наши выдумки. Но мы на большее и не рассчитывали.

Однажды мне доложили, что перед нашим самым маленьким плацдармом у села Рудня противник сосредоточивает силы. Мои помощники делали вывод: противник хочет прогнать нас с плацдарма, а судя по сосредоточиваемым там силам, возможно, затевает и что-то более серьезное. Чтобы выяснить истинное положение, я выехал туда на НП. Наблюдатели доложили, что два вечера они отмечали подход подразделений из глубины к селу Рудня, примерно по два батальона каждый вечер за тридцать—двадцать минут до наступления темноты; место, где видны были колонны противника, находится от нас примерно в трех километрах, и всякий раз наблюдать удавалось примерно пять—семь минут. Доложили еще, что противник ведет эти дни пристрелку по плацдарму и по нашему берегу орудиями разных калибров, до тяжелых включительно. Мне все стало ясно: если бы противник имел намерение ликвидировать наш плацдарм, а тем более если бы замыслил более крупную операцию, он не стал бы показывать свои батальоны перед наступлением темноты, а использовал бы для их движения темноту, обеспечивая себе внезапность удара. Более вероятно, что немцы уведут часть сил с этого участка, а хотят создать обратное впечатление. Возможно, они перебрасывают подкрепления на участке юго-западнее Гомеля, к Речице, где наши войска ведут наступление уже месяц. Я приказал всем дивизиям, стоящим в обороне, усиливать наблюдение днем, внимательно прислушиваться ночью и обо всем замеченном доносить, уделяя особое внимание не тому, что противник **показывает**, а тому, что он **тщательно скрывает**. Командующему артиллерией **дал указание:**

с временных позиций орудиями разных калибров произвести пристрелку реперов против нашего южного плацдарма, записав данные пристрелки и температуру, имея в виду, что они могут нам пригодиться, когда на эти позиции будут поставлены целые дивизионы.

Комфронта при очередном разговоре мне сообщил:

— Пленные, захваченные у Речицы, принадлежат тридцать шестой дивизии, снятой с вашего фронта. Нужно сделать новую попытку расширить один из ваших плацдармов, чтобы не допускать дальнейшего снятия сил, находящихся против вас. Подумайте, где это лучше сделать, и доложите мне завтра.

Мы не могли не верить командующему: действительно, было много случаев, когда противник в трудные моменты снимал целые дивизионы с более спокойных участков, но бывало и так, что он снимал один полк или даже один батальон и перебрасывал далеко от их дивизии.

Хотя нашей разведке пленного захватить не удалось, напрашивался вывод, что обстановка благоприятствует нашим активным действиям. Решено было не только расширить один из плацдармов, а перейти в решительное наступление всей армией с целью выхода на Днепр.

В тот же день я вызвал по ВЧ командующего фронтом и доложил ему:

— Вы обещали выслушать нашу комбинацию и помочь ее осуществлению, если она заслуживает внимания. Так вот, во-первых, мы просим полосу, прирезанную нам от пятидесятой армии, вернуть обратно соседу, с тем чтобы он, сменяя наши войска, ввел на плацдарм за рекой Проня две дивизии. Я полагаю, что ввод соседом войск на плацдарм будет замечен противником, который может принять это как усиление наших войск с целью активных действий именно на том участке. Тем временем мы незаметно для него выведем с плацдарма наши дивизии. Во-вторых, все силы нашей армии мы сосредоточим у нашего южного плацдарма и начнем там активные действия, но не с целью его расширения, а для перехода в решительное наступление, чтобы выйти к Днепру в полосе армии. По выходе к Днепру прикроемся справа частью сил, а всеми остальными поведем наступление на Довск для захвата этого узла шоссейных дорог, отржем пути отхода на север гомельской группировке противника. Если нам удастся захватить Довск, противник будет вынужден оставить район Гомеля вместе с городом. Конечно, при выполнении нами этого варианта мы рассчитываем и на то, что вы прикажете активно действовать нашим соседям — пятидесятой армии левым флангом с переданной ей нами плацдарма, а шестьдесят третьей армии — правым флангом.

Я не был бы удивлен, если бы командующий фронтом плохо подумал о нас в этот момент, сопоставляя факты: месяц тому назад Горбатов просил прирезать полосу, теперь просит забрать ее обратно. От него требуется расширить один из плацдармов, а он решает наступать всеми силами на Днепр да еще сделать решительную попытку отрезать пути отхода гомельской группировке.

Мне послышалась в голосе командующего фронтом ирония или легкая усмешка, когда он сказал:

— Ну что ж это неплохо... — А потом спросил: — Когда думаете наступать? Услыхав, что 25-го, он снова спросил:

— А нельзя ли ускорить дня на три?

— Можно, — ответил я, — если вы поможете подвезти боеприпасы своими машинами.

— Подвозить будете сами, наши машины заняты. Будете успешно наступать к Днепру — прикажу соседям не отставать от вас.

На другой день мы получили шифровку о возвращении полосы соседу с правом вывода наших войск из нее, а вместе с этим приказание 50-й армии о передаче нам 40-й истребительной противотанковой артбригады, минометного и тяжелого минометного полков. Тогда я понял, что командующий говорил вполне серьезно.

Перед наступлением наши дивизии были укомплектованы до 4500 человек, а две из них доведены до 5 тысяч. Боеприпасов накопили до одного боекомплекта.

На плацдарме построили два свайных моста под грузы в шестьдесят и шестнадцать тонн, два пешеходных мостика; в последнюю ночь должны были навести наплавной мост и еще два мостика.

От захваченных до 9 ноября пленных мы имели сведения лишь о наличии против нас 267-й и 110-й пехотных дивизий и о резервах невыясненной численности и принадлежности. Наблюдатели отмечали, что противник продолжает укреплять свои позиции, уплотняет минные поля и усиливает проволочные заграждения.

На рассвете 22 ноября с первыми выстрелами десятиминутного, но мощного артиллерийского налета головные батальоны поднялись и пошли в наступление. Преодолев нейтральное пространство, они с последними пушечными выстрелами атаковали ошеломленного противника и ворвались в его первую траншею.

За день был захвачен плацдарм в двадцать километров по фронту и десять — четырнадцать километров в глубину. Противник понес большие потери в живой силе и технике, нами было захвачено 200 пленных, 41 орудие, 50 минометов и много других трофеев.

Все наши оптимистические предположения на этот день были превзойдены. Я долго ничего не докладывал командующему фронтом, и из штаба фронта не спрашивали, как идут дела. Не потому ли, подумал я, считают наши действия довольно обычным безрезультатным «активничаньем»? Позвонил командующему, как всегда, в семнадцать часов и доложил о результатах первого дня. Константин Константинович только сказал:

— Да неужели это правда?

— Да, правда, — коротко ответил я.

Тогда он воскликнул:

— Так развивайте, жмите, сколько хватит сил! Это отлично... и неожиданно!

Резервы противник подтягивал издалека, и хотя сопротивление он постепенно усиливал, наше наступление продолжалось.

Командир 362-й стрелковой дивизии — высокий, полный генерал В. Н. Далматов, хороший командир и прекрасный товарищ, — донося мне на третий день о занятии села Рудня, поставил необычное условие: «Город Пропойск не входит в полосу нашей армии, но мы можем им овладеть при условии, что вы не будете возбуждать ходатайства о присвоении дивизии наименования «Пропойской». Конечно, я ему это обещал, и в тринадцать часов того же дня 362-я стрелковая дивизия овладела городом Пропойск, а к исходу дня заняла Шеломы и Ржавку.

283-я стрелковая дивизия под командованием отважного и расчетливого В. Н. Коновалова, преодолевая сопротивление контратакующего противника, к семнадцати часам тридцати минутам вышла к Днепру у селца Холопеев. Таким образом, боевые порядки противника на восточном берегу Днепра были рассечены и он лишился рокадного шоссе, идущего от Могилева через Довск на Рогачев и Гомель.

Четыре дивизии армии наступали по расходящимся направлениям, не имея связи между собой, кроме радио, соревнуясь в беге вперед. Лишь три дивизии имели тактическое взаимодействие. Они наступали в юго-западном направлении, их целью было овладеть Довском, узлом шоссейных дорог.

К исходу третьего дня для противника, находящегося в районе Гомеля, оказалось критическое положение: ему не осталось иного выхода, как перебрасывать войска против нашей группировки. Но и положение нашей армии было исключительно сложным, можно даже сказать опасным: дивизия понесла потери, резерв армии был уже израсходован, а между нами и правым соседом образовался разрыв тридцать пять километров. Артснарядов и мин оставалось 0,35 боекомплекта, а автобат, находившийся у нас на подвое боеприпасов, был отобран и возвращен во фронт.

Оценивая сложившуюся обстановку, мы были убеждены, что успех достигнут: противник не сможет удержать район Гомеля и будет вынужден отступать. В то же время мы понимали, что, оставив район Гомеля, противник всю свою ярость обрушит на нас. Не исключалась также возможность удара с севера по шоссе от

Могилева. Беспокоил нас и огромный разрыв с 50-й армией, которая еще не перешла в наступление своим левым флангом. Успокаивали мы себя тем, что без риска на войне не обойтись, а наш риск мы считали обоснованным. Надеялись — и, как оказалось, ненарасно, — что правый сосед подтянет свой левый фланг, уменьшая образовавшийся между нами разрыв, а левый сосед (63-я армия), используя наш успех, перенесет свои усилия на правый фланг и также облегчит этим наше положение.

Особенно мы боялись за разрыв с 50-й армией и за шоссе, идущее от Могилева, а потому 362-й стрелковой дивизии приказано было одним полком захватить и оборонять село Хачинка до подхода частей 50-й армии, а остальными силами сосредоточиться в Бол. Зимнице, образуя армейский резерв. В этой сложной обстановке хотелось иметь хоть что-нибудь в резерве.

Четвертый день операции ознаменовался тем, что противник начал отход из Гомеля и его района. Город заняли части 11-й армии.

На пятый день в Москве был дан салют в честь освобождения Гомеля. Некоторым нашим соединениям и частям присвоено наименование «Гомельских», хотя они и действовали далеко от этого города.

Лишь теперь мы получили уведомление, что из состава 63-й армии на переправах реки Сож в состав нашей армии передается 5-я Орловская стрелковая дивизия. Лучше поздно, чем никогда!

Уроки этой смелой и доведенной до конца операции были для нас, принадлежащих к командованию 3-й армии, очень важны.

Командование фронтом, ведя армиями левого крыла наступление за Днпром, резонно требовало от армий правого крыла активных действий, то есть проведения боев местного значения, чтобы удерживать стоящего перед нами противника. Но хорошо известно, что частные операции, не принося большого вреда противнику, причиняют большие потери наступающим, особенно ощутительные для малочисленных дивизий и не обеспеченных боеприпасами. Такие операции приносят больше вреда, чем пользы, даже в том случае, когда нас и противника разделяет поле в пятьсот метров, а сейчас нас отделяла от немцев такая река, как Сож, с долиной в два километра шириной. Я всегда предпочитал активные действия, но как только возможно избегал безрезультатных потерь людей. Вот почему мы так тщательно изучали обстановку не только в своей полосе, но и в прилегающих к нам районах соседей, при каждом захвате плацдарма полностью использовали внезапность и одновременно с захватом предусматривали закрепление и удержание его; я всегда лично следил за ходом боя и, когда видел, что наступление не сулит успеха, не кричал: «Давай, давай!», а приказывал переходить к обороне, используя для нее, как правило, выгодную и сухую местность, имеющую хороший обзор и обстрел.

После первых безрезультатных попыток наступления с плацдарма у села Студенец нам приказано было продолжать активные действия. Чтобы избежать лишних потерь при переводе их через реку Сож в невыгодных условиях, мы пошли, как я рассказал выше, даже на то, что просили прирезать нам полосу в пятнадцать километров от соседа; это позволило выполнить приказ со значительно большими результатами, меньшими потерями и приковать резервы противника к плацдарму за рекой Проня. Удачно выработанный и осуществленный план дезинформации заставил противника верить, что мы готовимся продолжать активные действия на правом фланге.

Когда мы почувствовали, что обстановка перед армией изменилась в лучшую сторону, мы не постеснялись обратиться с новой просьбой — вернуть 50-й армии прирезанную от нее полосу с захваченным нами плацдармом, хотя и понимали, что ставим себя этой просьбой в смешное положение. И мы не побоялись взять на себя столь ответственную задачу — всеми дивизиями армии пролезть через «игольное ушко», через плацдарм в два с половиной на два километра, и выйти на Днепр, вместо того чтобы наносить противнику булавочные уколы частными операциями.

Разговаривая с комфронтом по этому вопросу, я чувствовал неполное его доверие. Полагаю, что в этом я не ошибаюсь: если бы К. К. Рокоссовский вполне верил в наш успех, он не премянул бы в первый же день дать распоряжение командующему 50-й армией о переходе в решительное наступление его левым флангом, а также о переброске к нам от левого соседа 63-й армии стрелкового корпуса или заставил бы командарма 63-й сосредоточить свои силы на его правом фланге для наступления одновременно с нами. Но этого не случилось. Мало того, в критический момент у нас был отобран автобатальон.

Перед четырьмя армиями правого крыла стояла одинаковая задача: местными боями удерживать перед собой противника. Что же помогло нашей 3-й армии хорошо выполнить свою задачу? Больше всего помогла уверенность, основанная на сплоченности всего личного состава. Только вера в свои силы, в то, что мы слаженными и инициативными действиями захватим и удержим большой плацдарм в первый же день операции, могла подсказать нам решение — ввести на плацдарм второй эшелон армии, а именно ввод в сражение второго эшелона с утра второго дня позволил нам своевременно наращивать силы и заполнять большие промежутки между дивизиями, наступающими по расходящимся направлениям. Большую роль сыграло вошедшее у нас в правило личное наблюдение командиров дивизий за полем боя с приближенных к противнику НП; это позволяло вводить резервы своевременно. Оправдал себя и такой риск, как ввод в сражение последней резервной дивизии в той критической обстановке, когда на фронте в сто двадцать километров было так много больших разрывов.

Как ни велика была наша вера в боеспособность армии, действительность превзошла ожидания. Мы считали бы большим достижением, если бы прошли пятидесятикилометровое расстояние до Днепра к исходу четвертого дня; но армия выполнила эту задачу на сутки раньше, притом в условиях почти непроезжих дорог, недостатка боеприпасов, когда даже патроны доставлялись самолетами У-2. (Поддержка с воздуха отсутствовала — погода была нелетной.) В этой операции заслужили похвалы и подражания действия многих солдат и командиров.

Самостоятельный интерес представляют многочисленные случаи применения трофейных боеприпасов. В артиллерийских полках не все расчеты имели орудия. Командиры артполков учитывали трудности втаскивания орудий на руках на крутой западный берег реки и предвидели, что орудия непосредственной поддержки будут отставать от боевых порядков батальонов. Выход из положения нашли в том, что расчеты, не имевшие орудий, шли с пехотными батальонами первого эшелона. Так, например, при одном батальоне шли расчеты во главе со старшим лейтенантом Селезевым и лейтенантом Манчаком. Через тридцать минут после атаки переднего края была захвачена в деревне Солобуда семидесятипятимиллиметровая батарея с большим количеством боеприпасов. Расчеты, заранее ознакомленные с трофейными орудиями, быстро встали за них, повернули их в сторону противника и открыли огонь. Они продолжали бить противника не только с этой позиции, но и продвигаясь вместе с батальоном — до тех пор, пока не израсходовали весь запас трофейных снарядов. Всего в этой операции было использовано более шести тысяч трофейных снарядов различной мощности, включая стопятидесятипятимиллиметровые, много мин и патронов.

В этой операции мы еще раз убедились, как велико значение личного общения старших начальников с подчиненными, особенно в трудные моменты боя. Даже в тех случаях, когда старший не может помочь силой или средствами, он помогает своим авторитетным советом.

Не буду рассказывать здесь о боях на реках Днепр и Дзурь и о первых днях освобождения Советской Белоруссии, а перейду прямо к тем крупным операциям, которыми 3-я армия завершила свое участие в Великой Отечественной войне против фашизма.

После того, как 3 июля 1944 года мы освободили Минск, противник упорно сопротивлялся лишь на особо выгодных рубежах и у особо важных объектов. Пройдя с тяжелыми боями за десять дней двести километров, мы продвигались

на запад по двадцать пять—тридцать километров в сутки, выделив от каждой дивизии по усиленному полку в походное охранение, и вели параллельное преследование.

Вскоре наша армия была передана из 1-го во 2-й Белорусский фронт, и мы стали испытывать острый недостаток всего необходимого. Он ощущался особенно сильно потому, что не были еще ликвидированы группы противника в глубоком тылу нашей армии.

Мы послали командованию 2-го Белорусского фронта полное тревоги донесение и одновременно, чтобы не остаться без самого необходимого, дали строгие указания командирам корпусов и дивизий — не надеясь на улучшение подвоза в ближайшие четыре дня, более широко использовать трофейные боеприпасы, поставить на прикол трофейные грузовые и легковые машины, горячим обеспечить только машины, перевозящие орудия и минометы, очистить весь обоз от хлама (шкафов, стульев, столов и прочего) и взять под строгий контроль продовольствие, чтобы каждый грамм положенного солдату попадал только в его желудок.

Штаб армии предупредил командиров соединений, что на ближайших рубежах противник постарается задержать наше наступление, попытается контратаковать нас на марше, ночевке или привале. Беспечность поэтому недопустима. Между тем в последнее время, когда противник сопротивляется слабо и наши войска быстро продвигаются, маршевая дисциплина понизилась: артиллерия, минометы и даже пулеметы иногда движутся отдельно от пехоты, а некоторые батальоны идут просто толпой. Бывают случаи, когда разведка и охранение на марше и на месте вовсе не высылались, причем командиры это объясняют усталостью людей, надеждой, что противник не нападет, тем более что впереди имеется армейское охранение. К рекам и выгодным для обороны рубежам соединения и части подходят, зачастую не задумываясь о том, как обеспечить их захват.

Командование армии напомнило, что все это может привести к печальным последствиям: враг еще не добит, он крайне озлоблен и можно от него ждать любого коварства.

Предупредив командиров о соблюдении осторожности, мы не ошиблись: на реке Сервич противник оказал упорное сопротивление. Правда, и здесь оборона его была вскоре прорвана. Первыми форсировали реку гвардейцы 120-й дивизии в ночном ожесточенном бою, вынудив противника на рассвете к общему отходу. В этом бою командир дивизии Ян Янович Фогель был, как всегда, впереди; он получил в этот раз тяжелое ранение и скончался. Это была большая утрата. Мы потеряли старого большевика, прекрасного, всеми уважаемого командира и боевого товарища. Он был похоронен с подобающими почестями в местечке Дятлово. И это была не единственная наша потеря в высшем командном составе. Когда мы выходили на западную границу Белоруссии, наша радость была омрачена новой утратой: был убит командир 35-го стрелкового корпуса Виктор Григорьевич Жолудев. (Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.) В тот день был контужен командир 323-й стрелковой дивизии генерал Маслов и подорвались на минах заместитель командира 348-й полковник Праслов, командующий артиллерией 40-го стрелкового корпуса полковник Медведев и помощник начальника разведотдела корпуса майор Шеймович.

После освобождения города Волковыска наиболее плотная группировка противника оказалась перед правым флангом нашей армии, где находился корпус генерала Жолудева; поэтому корпус отставал от общего продвижения. Рано утром 28 июля я вызвал к телефону генерала Жолудева, информировал его о том, где находятся дивизии 40-го и 41-го корпусов, и спросил, как обстоят дела у него.

— Плохо, — с горечью ответил он.

— Не отстают ли командиры дивизий и полков от боевых порядков? — спросил я.

— Как будто нет.

— Выезжаю к вам, — сообщил я.

Когда я прибыл в штаб корпуса, мне доложили, что генерал Жолудев выехал в 323-ю стрелковую дивизию. Уточнив маршрут, я поехал следом за ним, сначала на КП этой дивизии, потом на НП, который был оттуда в одном километре. Там происходили спешные сборы к перемещению, и ненапрасно: с этого НП видимость была очень ограниченной. Командир корпуса и командиры дивизий стояли у машин, готовые к выезду. Я не стал задерживать их, лишь спросил: знают ли они дорогу ко вновь выбранному НП и имеется ли там связь. Мне ответили утвердительно. Командир корпуса, оставив свою машину, поехал впереди с командиром дивизии. Я ехал за ними. Отчетливо выраженных дорог не было, местность была пересеченной: мы ехали сначала полевой, потом лесной дорожкой на запад. Потом машина, идущая впереди, проехала немного на юго-запад по несколько лучшей дороге и свернула на север. Мне стало ясно, что дороги к вновь выбранному НП комдив не знает; на остановке я слышал, как командир корпуса упрекал его за это. Я, не вмешиваясь в спор, чтобы не смутить и не сбить окончательно с толку комдива, следовал за ними.

Когда мы выехали на хорошую полевую дорогу, справа у нас было поле, слева лес: у дороги стояли в ряд три отдельных дома, а в полутора километрах перед ними находилась большая пологая высота, куда мы и держали свой путь.

Мне показалось подозрительным, что на склоне, обращенном к нам, не видно ни людей, ни повозок, ни огневых позиций. Я приказал шоферу догнать переднюю машину и немного посигналить, чтобы оттуда оглянулись. Когда мы подъехали ближе, я громко сказал:

— Не останавливайтесь, продолжайте ехать, но тихо и слушайте меня внимательно. Вы не знаете, куда едете. Я буду считать до трех. По счету «три» быстро соскакивайте все с машины и бегите за дом.

Своему шоферу я сказал:

— Как соскочим, быстро развернись и уходи назад за бугор.

У третьего (последнего) дома Жолудев и Маслов, а также я и мой адъютант выскочили по моему счету из машин и обежали дом. В тот же момент по нас открыли огонь из трех пулеметов и десятка винтовок. Оставленная на дороге машина комдива вся была продырявлена, как решето. Моя машина уходила на большой скорости, прикрытая клубами пыли, как дымовой завесой. Пули летели вдоль дороги, продолжали цокать о разбитую машину, застревали в стенах дома.

Противник находился в двухстах метрах от нас в хорошо замаскированной траншее. Ясно было, что три пулемета уже были нацелены на наши машины на случай их остановки и, несомненно, расстреляли бы нас, если бы мы повернули назад. Продолжая ехать вперед, мы попали бы в руки противнику.

Мы четверо стояли за домом, но стрельба продолжалась. В доме никого не было.

— Куда вы нас везли? — спросил я у мертвецки бледного генерала Маслова. Он не ответил, только бледность на его лице сменилась краской стыда.

За него сказал Жолудев:

— Я говорил, что едем не туда.

Наши дивизии, наступая по отдельным направлениям, не имели сплошного фронта: мы попали в промежуток между дивизиями.

Наших войск не было видно, противник мог сделать вылазку из своей траншеи, чтобы пленить нас. — нельзя было медлить, долго оставаться за этим домом. Но что делать? Как выйти из-за укрытия и не быть убитыми?

Мы решили доползти по ржаному полю до второго дома, метрах в двухстах от нас, а потом до следующего, еще метрах в ста пятидесяти за ним. Ползти надо было в невысокой ржи по-пластунски, плотно прижимаясь к земле.

Было жарко. Мокрые от пота, мы, подгоняемые страхом, ползли, не замечая усталости, и все время слышали выстрелы, хотя уже не прицельные. Наконец-то мы были в двадцати пяти метрах от второго дома. Но нас отделяло от него картофельное поле, по которому ползти было бесполезно. Мы сделали передышку, изго-

товились к перебежке и одновременно оказались за домом; противник нас заметил поздно. Таким же образом мы перебежали и за следующий дом. Мы были уже в пятистах метрах от противника, боязнь быть плененными отпала — но не опасность быть убитыми. Оставалось преодолеть еще пятьсот метров, чтобы добраться до леса или скрыться за бугром. Это было тоже нелегко: мы должны были подниматься в гору на виду у противника. Решили идти, но быстро, взяв большой интервал один от другого. После небольшой передышки пошли. По нас стреляли из пулеметов, потом ударили из пушки и минометов: наверно, немцы поняли, какая крупная добыча уходит, — может быть, различили красные лампы у троих.

Генералов Жолудева и Маслова потянуло к выдающемуся в нашу сторону углу леса, хотя я и пытался их остановить, говоря, что опушка, вероятно, противником пристреляна. Мы с адъютантом продолжали идти по полю, чтобы скрыться за гребнем высоты. Как только наши товарищи стали подходить к лесу, послышался артиллерийский залп, а потом десять — двенадцать разрывов у опушки. Увидев, как рослый генерал Жолудев был подброшен взрывом кверху, а потом упал, я понял, что случилось непоправимое.

Когда мы оказались невидимыми противнику и огонь прекратился, я послал адъютанта И. А. Галушко на угол леса узнать, что произошло. Моя машина была прострелена в нескольких местах, но шофер и мотор остались невредимы. Я следил за адъютантом. Увидев, что он остановился у опушки и машет, кружа рукой над головою, я сел в машину и поехал к нему. Предчувствие меня не обмануло. Галушко доложил:

— Подойдя к лесу, услышал сначала стон и нашел контуженного и присыпанного землей генерала Маслова, вытащил его из земли. Потом увидел убитого генерала Жолудева.

Мы не знали, куда девались их адъютанты и шофер. Генералы, укрываясь за дом, успели им крикнуть: «Спасайся, кто как может». Оказалось, что пока все внимание противника было поглощено нами, им удалось углубиться в лес. Они вышли оттуда на наш зов, помогли посадить в машину Маслова, положили Жолудева, и мы медленно поехали в штаб 323-й стрелковой дивизии.

Виктора Григорьевича Жолудева и подорвавшихся в тот же день на минах командиров похоронили в Волковыске. Именем Жолудева названа главная улица этого города.

Двадцать девятого июля разгорелась битва за Белосток, которым удалось овладеть через двое суток. 30-го мы уже продвинулись западнее города на двадцать километров к верхнему течению реки Нарев.

С каждым днем наступать становилось труднее: за следующие тридцать семь дней мы преодолели в напряженных боях предполье с девятью хорошо оборудованными оборонительными рубежами, со сплошным минированием и продвинулись лишь на сто двадцать километров, выйдя к среднему течению реки Нарев у крепости Рожаны и овладев городом Остроленка. Насколько большое значение враг придавал этим последним перед Наревом рубежам с двумя крепостями, можно судить по захваченному приказу, с которым командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Модель обратился к своим войскам:

«Враг стоит у ворот Пруссии!.. Наши армии, сражающиеся на западе и юге в таких же условиях, как и мы, ждут от нас, что мы удержим предполье и не допустим врага на немецкую землю... Теперь ни шагу назад. Никаких колебаний. Каждый на своем месте должен сделать все, что только от него зависит».

Бои за Нарев в его верхнем течении, за его двух-трехкилометровую торфянистую долину, шли девять дней. Наши стрелковые части, захватившие плацдарм, не могли переправить орудия через эту долину, а строящиеся мосты систематически разрушались противником; поэтому населенные пункты и высоты на плацдарме переходили по пять — восемь раз из рук в руки. Нас контратаковали вновь укомплектованные до полного состава части германской 17-й пехотной дивизии с

танками: мы же, понеся потери в восьмидесятидневном непрерывном наступлении, пополняли свои ряды главным образом за счет вливавшихся в нашу армию партизан...

Чем объяснить, что наши войска добились столь громадного успеха в этом длительном наступлении, пройдя от Бобруйска до Нарева более шестисот километров?

Конечно же, основная и главная заслуга принадлежит героическим солдатам и офицерам, которых только за одну эту операцию было награждено более тридцати трех тысяч человек.

И, конечно, как всегда, успеху способствовала большая подготовительная работа. Если перед наступлением и до выхода на Березину главная роль в оценке обстановки, принятии решения и проведения его в жизнь принадлежала командованию армии, ее штабу, начальникам родов войск и служб, то в дальнейшем ходе боев эта роль в значительной мере перешла к командирам соединений, частей и подразделений, к их штабам и помощникам. Успех далеко не был бы так полон без тесного взаимодействия между командованием соединений и частей, между родами войск, без взаимодействия с авиацией, без ее активности и мастерства.

Присматриваясь к плацдарму за рекой Нарев, захваченному в первых числах сентября левым соседом, 48-й армией, мы часто говорили между собой о том, что будет целесообразнее: захватывать ли нашей армией новый плацдарм или совместными усилиями 3-й и 48-й армий расширить уже имеющийся? Каждый вариант заключал в себе выгоды и невыгоды. Выбирая сами район для форсирования и определяя время операции, мы бы могли воспользоваться преимуществами, которые дает внезапность. Однако эта выгода исчерпывается в течение первого дня (может быть, и первых часов), а потом нам придется очень трудно, ибо много сил и средств мы затратим на форсирование реки. Невыгода второго варианта заключалась в том, что перед плацдармом мы встретим более плотную группировку, более глубокую и совершенную оборону; зато нам не придется форсировать реку и, кроме того, несомненно, скажется благотворно объединение усилий двух армий, особенно в дни развития операции. Действуя обдуманно и дисциплинированно во время сосредоточения, можно надеяться на достижение внезапности и при наступлении с плацдарма.

Вообще же мы считали, что проведение частной операции у границ Пруссии, да еще в то время, когда весь остальной фронт стоит в обороне, совершенно нецелесообразно: это потребует больших затрат, но не даст больших результатов. При общей пассивности нашего фронта противник без всякого риска снимет резервы откуда захочет, сосредоточит их на узком фронте нашего наступления и не даст нам его развить.

Наши соображения были доложены командующему фронтом генералу армии Г. Ф. Захарову. Он сперва настаивал на первом варианте наступления — с форсированием реки; но, очевидно, не без помощи прибывшего во фронт представителя Ставки, согласился на второй вариант. Мы получили директиву фронта, по которой два-три плацдарма передавались нашей армии и одна треть оставалась у 48-й. Наступление с целью расширения плацдарма до определенных размеров было приказано провести силами обеих армий; разведку боем — силами одной 48-й армии до смены нашими частями.

В ночь с 5 на 6 октября мы сменили части соседа на плацдарме, получив у него данные о противнике и его обороне. Передний край немецкой обороны находился перед нами в пятистах—тысяче метрах и состоял из двух сплошных траншей; подходы к первой из них преграждали проволочный забор, сплошные минные поля. Меня удивило, что перед плацдармом оказалась не более развитая система оборонительных сооружений, как мы полагали, а наоборот, более слабая, ибо перед нами за рекой мы видели не две, а три траншеи, и не проволочный забор, а заграждения в три кола, кое-где даже в четыре и пять кольев. Кроме того, удивляло, что на карте, переданной нам 48-й армией, передний край обороны и нашей и противника обозначен был в низине, тогда как в одном-двух километрах запад-

нее был высокий край долины с превышением в восемнадцать—двадцать метров. Я подумал: это что-то на немцев не похоже! Более вероятно, что передний край обороны находится на высоком берегу, а внизу — только усиленное боевое охранение с проволочным забором или специально вынесенная передовая позиция.

Чтобы установить настоящее начертание переднего края, я, выехав на плацдарм, в разных местах поднимался на деревья, всматривался в оборону противника, но ничего нового не увидел, так как наблюдению мешали лес и кусты.

Река Нарев от города Остроленка течет почти строго на юг; от города Рожана она поворачивает на юго-восток, а потом на юго-запад. В этой излучине и был захвачен плацдарм. Пользуясь тем, что берег у Рожана сплошь покрыт на нашей стороне высоким сосновым лесом, я решил просмотреть оборону противника не только с плацдарма, то есть с востока, но и сбоку — с севера. На следующий день выбрал деревья повыше, с помощью саперов забрался на те, что были ближе к высокому краю долины. При тщательном осмотре можно было заметить на нем три траншеи, а перед первой из них замаскированное проволочное ограждение в шесть кольев. С того же дерева я видел и две траншеи внизу, восточнее на один-два километра, и проволочный забор перед ними. Значит, так оно и есть: настоящая оборона у противника на высоком берегу. Противник рассчитывал, что в случае нашего наступления с плацдарма мы израсходуем больше всего боеприпасов, разрушая его передовую позицию, а основная оборона будет мало подавлена; за время нашей артподготовки он подведет к переднему краю резервы и остановит наше наступление. «План неплохой, — подумал я, — но все-таки рассчитан на проस्ताков».

В этой операции мы не были так ограничены в боеприпасах, как прежде. По графику командования фронтом артподготовка была предусмотрена в течение ста минут, а после захвата переднего края артиллерия должна была сопровождать частующие войска огненным валом на глубину полтора-два километра. В нашем же решении мы в этот план ввели некоторые поправки. Атака начнется не на сотой, а на пятнадцатой минуте после первого огневого налета артиллерии. В целях одновременной атаки всей передовой позиции, учитывая, что она не везде одинаково удалена от нас (от полукилометра до километра), одни наши стрелковые цепи с танками пойдут в наступление с первым выстрелом, другие через пять минут после него; после захвата передовой позиции огонь артиллерии переносится на основную оборону и ее глубину. За восемьдесят пять минут этого второго этапа артподготовки наши стрелковые цепи с танками должны преодолеть пространство, отделяющее передовую позицию от основной. Саперы и танки с ттрами пойдут впереди пехоты и танков, чтобы проделать проходы в минных полях и проволочном ограждении. На сотой минуте наши стрелковые части и танки должны ворваться в «главную боевую линию» (выражаясь немецким термином). Лишь после этого начнется сопровождение огненным валом в глубине обороны противника.

Это решение было доложено командующему фронтом, но он настаивал на своем графике. Накануне операции я еще раз обратился к нему и получил раздраженный ответ: «Вы все чудите, умнее всех хотите быть». Нельзя было понять, что этот ответ означает практически, и мы решили истолковать его как согласие на то, чтобы мы «чудили», то есть действовали по-своему.

Артподготовка началась 10 октября ровно в полдень. Пехота выскочила из траншей и вместе с танками пошла в наступление.

Взяв на себя полноту ответственности, мы напряженно следили за продвижением наших цепей. Радостно было видеть, как танки, а за ними и пехотные цепи миновали проволочку, первую траншею и продолжали наступление. Огонь артиллерии после того, как занята была вторая траншея, перенесли на основную оборону противника. Передовую позицию мы захватили, потеряв лишь несколько человек.

В результате первого дня наступления наши войска овладели всеми тремя траншеями на высоком берегу. Противник отошел на вторую позицию, прикрытую

минными полями. Наш левый сосед, действуя по графику фронта, овладел лишь передовой позицией и не смог подняться на высокий берег.

В ночь на 11-е саперы разминировали проходы, а с рассветом, после короткой, но мощной артподготовки мы возобновили наступление. За этот день удалось овладеть тремя траншеями второй позиции и в ряде мест выйти к шоссе Рожан — Пултуск; на правом фланге части овладели двумя фортами крепости Рожан и разрушенным мостом через Нарев. Один из полков дивизии, оставленный в обороне, форсировал рэку севернее города, но был встречен сильным организованным огнем, вклиниться в оборону противника не смог и окопался в долине реки.

Двенадцатого октября, несмотря на то, что сопротивление противника не ослабело, мы овладели двумя траншеями третьей позиции, выйдя к шоссе Рожан — Макув, а на правом фланге овладели городом и крепостью Рожан.

Тринадцатого и четырнадцатого продвижение было лишь незначительным. Дальнейшие попытки наступать успеха не имели. Вой приобрели крайне напряженный характер. Мы взяли пленных из целого ряда вновь подошедших частей и соединений; пленные показывали, что немецким войскам приказано любой ценой восстановить утраченное положение. Памятуя, как важно вовремя остановиться, я во избежание лишних потерь 15 октября приказал перейти к обороне.

В результате боев мы углубили плацдарм с шести до двадцати километров и расширили до восемнадцати. Левый сосед также углубил и расширил свою часть плацдарма. Противник понес большие потери в живой силе и технике; правда, пленных мы взяли немного — 369 человек.

Удивительным было такое противоречие: противник, в общем, сопротивлялся весьма упорно, но многие пленные артиллеристы, немцы, без принуждения помогали нам поворачивать свои орудия в западном направлении, включались в расчеты и посылали снаряды в гитлеровские части. Легко было предположить, будто разочарование и недовольство в Германии достигли уже такого уровня, что антифашистское настроение, наблюдавшееся среди немецких солдат и раньше, начало выливаться в активную форму. Однако мы не считали возможным преувеличивать значение этого случая, зная, как опутаны умы множества немцев фашистской пропагандой. Вернее, в какой-то из действовавших на этом участке артиллерийских частей была достаточно серьезная группа подпольщиков-антифашистов.

На расширенном плацдарме мы в короткий срок создали глубокую оборону. Просидеть нам здесь пришлось почти три месяца, но это время мы использовали для подготовки к будущему общему наступлению всего фронта. В сентябре пришло большое пополнение, малолюдные роты выросли тогда в два-три раза, а многие роты и даже батальоны были созданы заново; но в боях выявился ряд недостатков этого пополнения: не обстрелянные, а частью совсем не служившие еще в армии солдаты слишком болезненно реагировали на контратаки противника с танками, слабо использовали местность и в наступлении и в обороне; недостаточно умело и полно пользовались своим оружием; не на высоте была и дисциплина. Преодоление этих недостатков стало основной нашей задачей.

Между прочим, замечу, что антисоветская пропаганда так называемого «лондонского польского правительства», обвинявшего советские войска в нежелании помочь восставшей Варшаве, была не только клеветой на национальную политику Советского Союза, но еще и свидетельствовала о военной безграмотности бывших польских генералов. Ведь всякий солдат, не говоря уже об офицере, знает, что армия, преодолевшая с боями шестьсот километров, как мы, нуждается в длительной остановке, прежде чем начать новое наступление на заранее подготовленные мощные оборонительные рубежи, да еще с форсированием таких рек, как Бисла или Нарев.

В конце декабря мы получили выписку из оперативной директивы штаба фронта, в которой 3-й армии было приказано осуществить прорыв на семиклометровой полосе, нанося главный удар в направлении Красносельца, Янова и вспомогательный — на Александрово. Нам предстояло прорывать сильную, глу-

боко эшелонированную оборону. На глубину в тридцать пять километров у противника были три оборонительные полосы: первая состояла из передовой позиции и пяти сплошных траншей полного профиля. вторая (на реке Ожиц, с предместным укреплением у Красносельца) — из трех траншей с проволочным заграждением и минными полями: такая же третья полоса была на линии Улятово — Шляхеца — Ростково. Между полосами имелись промежуточные и отсечные позиции.

В тактической зоне у противника были сильные резервы: мы не имели сведений о местонахождении оперативных резервов, так как они часто перемещались. Численность в немецких пехотных ротах за три месяца обороны была доведена до девяноста — ста человек. Всколмленная местность с повышением к северу, заболоченные речки, а дальше озера способствовали обороне противника и созданию фланкирующих огней.

Мы решили прорывать оборону корпусами генерала Урбановича и Никитина; генерал Кузнецов частью сил своего корпуса наступал правее, нанося вспомогательный удар.

В декабре 1944 года вместо генерала армии Г. Ф. Захарова командующим 2-м Белорусским фронтом был назначен уже хорошо знакомый нам по совместной боевой работе маршал К. К. Рокоссовский. К началу наступления мы получили из фронта много ценных указаний, среди них и такие: с целью сохранения внезапности и чтобы сэкономить боеприпасы, разведки боем накануне наступления не производить, а провести ее штурмовыми батальонами в первые пятнадцать минут артподготовки. Исходя из того, что противник, вероятно, окажет настоящее сопротивление лишь во второй траншее, предлагалось первую траншею захватить на пятнадцатой минуте артподготовки. Эти указания встречены были нами с особым энтузиазмом, так как первое из них наша армия уже проводила в жизнь по собственному почину, начиная с Брянской операции, а второе применила в последнем наступлении, при расширении плацдарма на реке Нарев.

Одно нас огорчило: мы рассчитывали получить усиление в виде одного из танковых корпусов, но узнали, что их получили другие армии, наступающие левее нас, несмотря на то, что они наступали на более узком фронте, имели по стрелковому корпусу во втором эшелоне и, кроме того, на их направлении вводилась целая танковая армия. Наша же 3-я армия не имела не только танков, но и второго эшелона для развития успеха — у нас был лишь армейский резерв; кроме того, после продвижения на пятнадцать километров в глубину наша полоса расширялась до сорока пяти километров... Однако огорчившее нас решение командующего фронтом было обоснованным: армии, находящиеся левее нас, наступали в более важном западном и северо-западном направлении, наша же армия наступала на север и лишь отчасти на северо-запад.

Наконец настало 14 января 1945 года. День был пасмурный, туманный, с видимостью в сто пятьдесят — двести метров; это мешало наблюдению, мешало полному использованию артиллерии, не могли действовать и летчики. Как узнали позднее, назначенное на этот день наступление не было отменено лишь по просьбе наших западных союзников, которые были тревогу из-за эффективного контрудара, нанесенного им немцами.

Ровно в десять часов разразилась неслыханной силы канонада на широком фронте. Хотя мы из-за тумана не могли видеть разрывов снарядов, но были уверены в отличной работе хорошо подготовившихся артиллеристов. На пятой минуте наши цепи покинули навсегда свои траншеи и устремились вперед. На пятнадцатой минуте они почти без потерь овладели первой траншеей. К одиннадцати часам, несмотря на огонь противника, саперы вместе с танками-тральщиками проделали проходы для пехоты, и в одиннадцать часов десять минут мы овладели всюду второй траншеей. Хотя противник наращивал свои силы и огонь, за день боя войска армии продвинулись на главном направлении на три — семь ки-

лометров, на вспомогательном — на два-три километра, а в результате **ночного боя** — еще на один-полтора километра.

Страшное по силе и ожесточению сражение разыгралось на второй, такой же пасмурный, день наступления. Противник ввел все свои резервы и, кроме них, танковую дивизию «Великая Германия». Прежде она находилась у южной границы Восточной Пруссии, в районе города Вилленберг, и разведкой на нашем направлении не отмечалась. Но, воспользовавшись пасмурной погодой, за сутки незаметно сосредоточилась перед участком прорыва с задачей сначала восстановить положение на фронте нашей армии, а потом и в полосе левого соседа.

Мы намерены были возобновить наступление в девять часов, но противник нас упредил. Он начал свою контрартподготовку в восемь часов двадцать минут из двадцати трех артиллерийских и семнадцати минометных батарей, нескольких дивизионов шестиствольных минометов и из тяжелых метательных аппаратов, а в восемь часов тридцать минут контратаковал наши войска, вклинившиеся в его оборону. За два часа мы отразили семь контратак. В полдень в бой вступила немецкая танковая дивизия. До вечера мы насчитали тридцать контратак. Бой утих только в темноте.

Многие населенные пункты переходили из рук в руки. Мы не продвинулись вперед, но и не отступили ни на шаг, хотя были моменты, когда танки вклинивались в наши боевые порядки. Одна из танковых групп подошла на сто пятьдесят метров к высоте, на вершине которой находился командир корпуса Никитин. Он не только не перенес свой НП, но лично командовал орудиями прямой наводки, воодушевляя артиллеристов; несколько тяжелых немецких танков были подбиты, другие скрылись в тумане. Я всегда знал, что генерал Никитин отличный военачальник, но никогда не предполагал, что в его маленьком и худеньком теле живет столько силы и энергии, что у этого человека столько солдатской отваги и уверенности в своих боевых товарищах. Через полчаса я был там, горячо поблагодарил артиллеристов, а Никитина крепко обнял и расцеловал.

Пасмурная погода второго дня досаждала не только нам: летчики тяжело переживали свое бездействие. Опытнейший авиационный генерал К. А. Вершинин по телефону мне сказал:

— Все летчики не отходят от самолетов, они страшно волнуются. Но что поделаешь с погодой?

Противнику удалось временно задержать наше наступление. Но какой ценой? Пленные из мотополка дивизии «Великая Германия» показали, что их полк, усиленный семьюдесятью тяжелыми танками «пантера» и «тигр», только в первые три часа боя потерял не меньше трети танков и личного состава.

С рассветом 16 января возобновилось ожесточенное сражение. Мы отражали контратаки — их было более двадцати. Но во второй половине дня погода прояснилась, и с помощью авиации мы продвинулись вперед на два-три километра. Авиаразведка установила большое движение немецких обозов, машин и отдельных танков в западном направлении от фронта. Потерпев неудачи в контратаках и видя угрожающее продвижение наших левых соседей, противник начал отводить свои тылы.

Каждый из командиров частей мечтал первым пересечь границу Восточной Пруссии. Эта честь выпала 1172-му стрелковому полку под командованием подполковника Серегина. Случилось это днем 20 января 1945 года. Военный Совет армии поздравил солдат, сержантов и офицеров со вступлением на землю врага и обратился с воззванием к ним: «Наше всеобщее давнишнее желание сбылось. Теперь нужно добраться до сердца гитлеровской Германии и вонзить в него наш красноармейский штык. Так ускорим же наше наступление!..»

В приграничных населенных пунктах гражданского населения мы почти не встречали; оставались лишь дряхлые старики и старухи, которые хотели умереть, где родились. Немецкие войска и полиция выгоняли всех, кто не хотел уходить (это по большей части были крестьяне); те скрывались семьями в лесу, ожидая,

пока придут наши войска. Но чем дальше мы продвигались, тем больше встречали оставшихся.

В Вилленберге, на реке Омудев, у противника был заранее подготовленный рубеж с двумя граншеями и проволокой в два кола. Город горел, подожженный самими немцами; форсировав реку, мы обходили его с востока и запада. Восточно-прусским городом Алленштейн овладели 22 января соединения 3-го гвардейского кавкорпуса и 35-го стрелкового корпуса.

Мы прошли более ста километров и задачу, поставленную нам на восемь суток (выход на линию Клайн — Данкхайм и Мушакен), выполнили за семь.

На следующий день, продвинувшись лишь на три—пять километров, мы оказались перед укрепленным районом, созданным до войны. В полосе нашей армии он проходил в северо-западном направлении. Противник оборудовал берега озер, почти всегда высокие и покрытые сосновым лесом, в ряде мест разрушил плотины, затопив низменности и овраги.

В это время генерал-от-инфантерии Госбах отдал своим войскам приказ прорваться одной группой к Эльблонгу, а другой на Алленштейн. Но к Эльблонгу, к заливу, противнику прорваться не удалось. Ему оставался один путь отхода — по льду на косу, отделяющую залив от моря. Эта поросшая лесом коса шириной в три-четыре километра, длиной в восемьдесят километров выходила к Данцигу (Гданьску). Пленные рассказывали, что все дороги, идущие к морю, забиты машинами, военными и гражданскими повозками с различным имуществом, что некоторые из солдат передеваются в гражданское платье, пытаются уйти в глубь Германии и занимают грабежом, отбирая ценности у гражданского населения; войсками получен приказ упорно обороняться, пока не отойдут скопившиеся на дорогах обозы. Противник приспособил для обороны многочисленные здесь хутора, их каменные и кирпичные постройки.

К 1 февраля наша полоса была резко сужена, и мы вели упорный бой за город Гутштадт. Сил у нас осталось немного, но, учитывая высокое моральное состояние войск, мы решили овладеть городом ночью. В двадцать три часа, после короткой артподготовки, первым ворвался в город с штурмовой группой капитан Алейник. К трем часам ночи город был очищен от противника.

В кармане убитого обер-лейтенанта было найдено интересное письмо жительницы города к министру пропаганды Геббельсу. Привожу его полностью:

«Г-ну имперскому министру пропаганды доктору Геббельсу. Берлин.

Надеюсь, что эти немногие строки дойдут до вас. Мы переживаем здесь, в маленьком городе Гутштадте, нечто ужасное. Хаос, хуже которого нельзя себе представить. Необходима немедленная помощь. Я молю нашего фюрера о немедленной помощи!

Солдаты, проходящие здесь без командиров, грабят, передеваются в гражданское платье, а свои мундиры швыряют на улице. Все документы, кабуры и каски, все, что напоминает солдатское, все брошено и валяется вокруг домов, все выглядит так, будто русские полностью свершили свое дело. Все улицы заполнены амундией, конскими группами, съестными припасами, которых наворовали столько, что не смогли унести. Местный руководитель национал-социалистской партии, он же бургомистр, сбежал, бросив гражданское население на произвол судьбы.

Потерявшая страх перед старшими начальниками военщина разбегается. Но солдаты, преданные фюреру, возмущены этим образом действия. Офицеры будто бы говорили солдатам: «Думайте сами, как вам уйти от русских».

К сожалению, я не могу больше писать. Хочу, чтобы эти строки дошли до вас. Хорошие солдаты оказывают мне услугу, беря это письмо, и если им удастся, они отправят его в ваш адрес.

Я верю вам. Я хочу упомянуть, что я старый член партии. Гауляйтер Эрнх Кох меня хорошо знает.

Ваш верный товарищ по партии Хилли Борнинская».

Письмо не дошло до адресата — мы его передали Илье Григорьевичу Эренбургу, который был у нас и использовал это письмо для своей статьи в газете «Красная звезда».

Разъяренный поражениями фюрер сместил командующего 4-й армией генерала-от-инфантерии Госбаха и ряд старших офицеров, обвинив их в намеренной уступке русским Восточной Пруссии. На место Госбаха был назначен генерал-от-инфантерии Мюллер. До всех солдат и офицеров довели приказ Гитлера, гласящий, что «каждый дезертир является предателем родины, он будет расстрелян, а семья его подлежит разорению и репрессиям. всякий, кто, не имея ранения, попадет в плен к русским, приговаривается к смертной казни, а семья его идет на котлугу или в концлагерный лагерь». Генерал Мюллер издал в свою очередь дополнительные строжайшие приказы. Немцы всеми способами пополняли действующие дивизии. Выпущены были листовки-воззвания, где гитлеровское командование уверяло свои войска, что «планы большевиков сорваны», что «в германском тылу созданы мощные военные силы» и пр. В результате всех мер сопротивление противника возросло. Мы это почувствовали в ближайшие дни, выйдя к городу Вормдигт и внешнему обводу кенигсбергского оборонительного рубежа.

Кенигсбергский укрепленный район был построен в 1930—1934 годах, он был самым мощным из виденных нами до сих пор. Кроме железобетонных дотов и бронеколпаков, соединенных сетью траншей и ходов сообщений, там были блиндажи с тяжелыми перекрытиями, проволочные заграждения в несколько рядов, усиленные спиралью Бруно и различными малозаметными препятствиями: перед проволокой стояли надолбы, ежи и вырыты были противотанковые рвы. В ряде мест были установлены плотные минные заграждения.

Стальные двери дотов и убежищ были в пятьдесят миллиметров, стены и потолок из железобетона в полтора метра толщиной, все доты опоясывала проволока, через которую пропускался электроток. Сидя за такими сооружениями, гитлеровцы были намерены прикрыть войска, отходящие из Восточной Пруссии.

Оценивая обстановку, мы подсчитали, что в пехоте у нас с противником силы равные, по количеству артиллерийских и минометных стволов мы его значительно превосходим, а по танкам и самоходкам резко ему уступаем. Но наше неоспоримое превосходство заключалось в том, что у нас войска были в прекрасном моральном состоянии, а у немцев настроение было катастрофически «отступательное».

Мы решили из наступающих в линию корпусов вывести 41-й во второй эшелон, чтобы было чем развивать прорыв двух других корпусов; не наступать каждый день, лучше изготавливаться и поднакапливать боеприпасы; прорыв осуществлять на узком фронте.

Через три дня, на рассвете 5 февраля, по ложине, заросшей кустарником, наши цепи подошли к обороне противника и после десятиминутного артиллерийского налета внезапно атаковали ее правым флангом. От силы и внезапности удара немцы растерялись, и наши войска, пользуясь этим, преодолели противотанковый ров и заграждения. Основные силы устремились к лесу, а остальные с орудиями сопровождения блокировали и уничтожали доты на переднем крае. Вслед за наступающими цепями с помощью саперов преодолели ров и мины те немногие танки и самоходки, которые были у нас: у леса они присоединились к основным силам пехоты. Вскоре в сосновом бору, который раскинулся на площади в шестьдесят километров, разгорелся ожесточенный бой. С наблюдательной вышки было видно, как наши войска втянулись в лес. Прошел час непрерывного боя; что делается в лесу, мы не знали: из донесений мы узнавали только о ликвидированных дотах на переднем крае. Когда с ними было покончено, второй эшелон устремился к лесу и тоже скрылся в нем. Лишь к утру мы овладели всем лесом и вышли к реке Древенц, где встретились с новым оборонительным рубежом.

Ставка на высокое моральное состояние наших войск полностью себя оправдала. Мелкие подразделения и отдельные группы, проявляя инициативу и отвагу, творили просто непостижимое.

Сильная контратака вынудила полк подполковника Хомуло залечь в лесу, но

он остановил огнем продвижение противника, вынудив его тоже залечь в пятидесяти—ста метрах. Хомуло поставил задачу старшему лейтенанту Маякину — обойти фланг противника и ударить по нему с тыла. Взяв с собой всего двенадцать человек, Маякин пробрался в тыл, открыл из автоматов огонь и с криком «ура!» бросился в атаку. Командир полка, услышав выстрелы и крики, поднял в атаку и свою цепь. В результате противник оставил в лесу шестьдесят девять убитых и отошел за реку. На подходе к ней продвижению полка Хомуло мешал фланговый огонь; тот же старший лейтенант Маякин вызвался выйти в тыл и этой группе противника и, совершив менее чем за сутки вторую удачную вылазку, обеспечил успех. Он сохранил этим жизнь многим советским воинам. Из своего отряда он не потерял убитым ни одного — всего три солдата были ранены, да и то легко. Старшему лейтенанту Маякину было присвоено звание Героя, все его подчиненные получили ордена и медали.

На второй день части дерзкого генерала Телкова и расчетливого полковника Абилова первыми форсировали реку Древенц и вклинились в следующий рубеж обороны. За эти два дня нами было отбито более тридцати контратак.

Противник использовал густую сеть хороших дорог и быстро перебрасывал свои резервы туда, где намечался наш успех. 7 февраля мы только отражали удары и нигде не продвинулись. Не имея достаточно снарядов и мин, я был вынужден дать указание командирам соединений: заняв выгодные позиции, отбивать атаки стрелковым оружием, а артиллерию и минометы использовать только наверняка, на близких расстояниях.

Немцы атаквали непрерывно два дня, неся значительные потери, но нигде не могли нас сбить; мы несли потери меньшие и не отступили нигде. На третий день настала некоторая пауза, которой мы воспользовались, чтобы подвести боеприпасы, «подчистить» еще раз тылы и пополнить за их счет малочисленные роты.

В это время 2-й Белорусский фронт наступал уже строго на запад, и наша армия, как правофланговая, была передана 3-му Белорусскому фронту, которым командовал генерал армии Черняховский. От соседа слева нам были переданы части 152-го укрепленного района, оборонявшиеся на широком фронте. Полоса армии увеличилась по прямой на треть, а с учетом изгибов фронта — вдвое.

Обстановка была сложной: до моря оставалось пятьдесят километров. Окруженный с трех сторон и прижатый к заливу, противник яростно сопротивлялся. Чтобы не допустить его отхода по льду к Данцигу и не драться с ним потом снова где-то в Германии, нужно было непрерывно его бить и теснить. Но ни одна наша дивизия не имела больше четырех тысяч бойцов, многие меньше, то есть в полку по десять—двенадцать стрелковых рот с тридцатью активными штыками; боеприпасов успевали подвести не более 0,10—0,15 боекомплекта в сутки. Командиры частей и даже соединений не все и не всегда правильно понимали требование активных действий. Многие считали, что с таким количеством людей и боеприпасов не только наступать, но и обороняться трудно. Учитывая обстановку, я был вынужден дать специальные указания и разъяснения (копии были посланы в штаб 3-го Белорусского фронта).

Направление нашего главного удара было на северо-запад, ибо мы стремились отрезать противнику отход на север, на Мельзак. Вспомогательный удар наносили с юго-запада на северо-восток. Курсантам двух учебных батальонов (курсы сержантов) дали красные нарукавные повязки и приказали им, войдя в город, обеспечить порядок, не допускать пожаров.

Четырнадцатого февраля в двенадцать часов после короткой артподготовки наша ударная группировка пошла в наступление. Ровно через сутки узел железных и шоссейных дорог Вормдит был полностью очищен от противника, и в нем благодаря обходному маневру не было разрушено ни одного дома.

На следующий день после того, как наша армия вошла в подчинение 3-му Белорусскому фронту, к нам в Фраймарк прибыл генерал армии Черняховский. Его я видел впервые. Он был очень молодым, энергичным и уверенным. Сразу, как

только познакомились, он выразил свое большое удовлетворение нашими практическими указаниями командирам соединений. Помню его слова: «Это хорошо, очень правильно». Вторично он выразил удовлетворение, выслушав мою оценку обстановки и доклад о наших намерениях. Спросил, сколько мне лет, чем командовал до войны.

— Пятьдесят четыре года, командовал дивизией, — ответил я.

Он немного отошел, осмотрел меня и промолвил:

— Это тоже хорошо.

Потом спросил фамилию командира дивизии, которого он встретил на шоссе. Я затруднился ответить, не зная, о ком идет речь. Он описал его:

— Да такой старичок.

Я ответил, что у нас стариков среди командиров дивизий нет. Он дополнил:

— Ему будет лет сорок пять.

— Если бы он в свои сорок пять лет играл в куклы, — сказал я, — тогда было бы верно, что для этого он староват. А командовать дивизией он еще не стар. — И добавил: — В тысяча девятьсот четырнадцатом году, когда немцы обходили Париж с севера, фланговыми армиями командовали Бюлов и Клук, одному было шестьдесят семь, а другому шестьдесят девять лет, и командовали они хорошо.

После этого разговора генерал армии Черняховский стал более официальным в обращении. Что поделаешь? Старик...

Для овладения городом Мельзак у нас было два варианта: первый — это обход с востока и северо-востока, и второй — предложенный генералом Никитиным — ночной бой (мы уже брали так три города). За первый вариант было то, что мы имели бы еще один неразрушенный город; но обстановка здесь была иной, чем перед Вормдитом: наш левый фланг не только не охватывал его с юго-запада, а сильно отставал от правого фланга, а перед правым были две реки.

Оба варианта были доложены Черняховскому.

— Какой вариант вам больше нравится? — спросил меня командующий.

— Я думаю использовать тот и другой, но раздельно, — ответил я. — Днем шестнадцатого наступать с решительной целью правофланговым сорок первым корпусом и его наступление обеспечить мощной артподдержкой, чтобы привлечь к правому флангу все резервы противника. А в полночь на семнадцатое атаковать город тридцать пятым корпусом.

— Считаю это правильным, — услышал я в ответ.

Противник, выбитый из Мельзака, отошел на запасные позиции в трех километрах севернее и западнее.

Утром 18 февраля генерал армии Черняховский вызвал меня к телефону. Поздравил с успехом, ознакомился с обстановкой и спросил, не отстают ли командиры дивизий и корпусов от боевых порядков и где находится штаб армии. Ответив на его вопросы, я добавил:

— Только что вернулся от Урбановича, он находится от противника в полутора километрах. Немцы ведут систематический артобстрел, я от Урбановича с трудом выбрался. Остальные в таком же положении.

— Часа через два буду у вас, — сказал Черняховский.

Учитывая, что он поедет с востока по шоссе, я предупредил его, что шоссе здесь просматривается противником, обстреливается артогнем, но Черняховский не стал слушать и положил трубку.

Имея в своем распоряжении два часа, я решил съездить к командиру 35-го корпуса Никитину — его НП находился в одном километре севернее города и на таком же расстоянии от противника. Подходы к НП просматривались и обстреливались, поэтому я был вынужден оставить свою машину на северной окраине города и пойти пешком между железной и шоссеиной дорогами.

Командиры 290-й дивизии и 35-го корпуса находились вместе. Моему появлению они нисколько не удивились: такие посещения были делом обычным. Доло-

жили обстановку и свои намерения. После этого я отправился тем же путем обратно.

Добравшись до машины, я проехал на ней город и, чтобы не опоздать, поспешил к развилке шоссе в семистах метрах восточнее. Не доехав ста пятидесяти метров, я увидел подъезжавший «виллис» и услышал выстрел у противника. Как только «виллис» командующего подъехал к развилке, раздался единственный разрыв снаряда. Но он был роковым.

Еще не рассеялись дым и пыль, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело пять человек: командующий, его адъютант, шофер и два солдата. Генерал сидел рядом с шофером, он склонился к стеклу и несколько раз повторил: «Ранен смертельно, умираю».

Я знал, что в трех километрах находится штаб 41-го корпуса и там же медсанбат. Через пять минут генерала смотрели врачи. Он был еще жив и, когда приходил в себя, повторял: «Умираю, умираю». Рана осколком в грудь была смертельной. Вскоре он скончался. Никто из сопровождавших его не был ранен, не была повреждена и машина.

Из штаба 41-го корпуса я донес о случившейся беде в штаб фронта и в Москву. В тот же день к нам прибыл член Военного Совета фронта, а на другой день приехали представители следственных властей. Потом тело Черняховского увезли в штаб фронта.

О гибели командующего были извещены войска армии с призывом беспощадно отомстить врагу за нашу большую утрату.

После гибели генерала Черняховского объединенное командование 3-м Белорусским и 1-м Прибалтийским фронтами возложено было на начальника Генерального штаба Маршала Советского Союза А. М. Василевского. В Москве Василевский бывал только тогда, когда готовились большие операции, а остальное время находился в войсках, помогая командующим и контролируя их.

Александра Михайловича Василевского я видел в Сталинграде осенью 1942 года. Он произвел на меня впечатление выдающегося по способностям генерала и в то же время человека исключительно скромного и обаятельного.

Сразу же после назначения Василевский побывал в нашей армии, поздоровался со всеми присутствующими на КП и, обращаясь к ним, сказал:

— А вашего командующего я встретил еще в Сталинграде, он шел темной ночью вне города, и я подвез его на своей машине.

Когда в комнате остались я, член Военного Совета Коннов и начальник штаба Ивашечкин, Василевский предложил мне доложить обстановку, состав и численность армии, обеспеченность питанием, боеприпасами и коротко сказать о командирах корпусов.

Наступление наше было медленным: упорство противника возрастало по мере того, как у него оставалось все меньше надежд на победу или хотя бы на такой мир, который позволил бы сохранить фашистскую власть. Военнослужащие, которые сознавали себя лишь невольными участниками войны, дезертировали, но на фронте было много таких, которые чувствовали себя ее виновниками и боялись расплаты за свои преступления. Фронт все сокращался, противник уплотнял оборону. Нам мешала и погода: она была все время нелетная, и мы, без авиационного наблюдения, очень мало знали о противнике; местность была плоская, покрытая перелесками, селами и хуторами. Чтобы хоть что-то видеть в глубине обороны противника, мы при каждом трехкилометровом продвижении строили вышки в уровень с высокими деревьями; однако и с них было видно немного, мешали туманы.

Из лесов к нам выходили поодиночке и группами советские женщины, угнанные на работы из Ленинградской, Псковской, Новгородской, Смоленской областей, из Белоруссии и с Украины. Я не могу описать, как они рады были возможности попасть к себе домой, а ведь им предстояло возвратиться в местности, дочиста ограбленные и сожженные немцами.

Хорошо запомнив уроки бережливости, полученные от командира полка в 1914 году, я издал приказ о сборе и сохранении брошенного бежавшими немцами

скота и имущества. (Позднее был получен такой же приказ и из штаба фронта.) К 1 марта нами было уже собрано 29 240 голов крупного рогатого скота (недоенных коров, мычавших от боли, доили солдаты), 890 свиней, 6 тысяч овец, 3100 тонн зерна.

После некоторой передышки и перегруппировки войск мы сосредоточили на пятикилометровом фронте пехоту с двойным превосходством над противником, артиллерию и минометы с превосходством в пять раз (танков и самоходок у нас было всего восемнадцать) и перешли 14 марта в наступление. За три дня удалось продвинуться на пять километров, овладев двумя оборонительными рубежами противника. При этом наша армия вклинивалась узким острием, подвергаясь обстрелу не только с фронта, но и с флангов.

Восемнадцатого—девятнадцатого марта была, к счастью, летная погода. Авиаация помогла нам овладеть автострадой, которая, находясь в тылу противника, служила прекрасным рокадным путем для маневрирования его резервов. В два летные дня авиация не только помогла наземным войскам продвинуться, но и дала ценные сведения о группировке противника в глубине обороны. В эти два дня наши войска продвинулись еще на пять километров, что в то время было большим успехом. От залива мы находились уже всего в пяти—семи километрах. Последний рубеж противника проходил у города Хайлигенбайль и идущей от него к городу Браунсбергу железной дороге, сплошь заставленной вагонами. Этот рубеж был взят ночной атакой 25 марта. В тот же день корпус генерала Урбановича вышел к заливу Фришгоф. К рассвету вся наша армия была на его берегу.

Утро 26 марта было солнечным и тихим. Тишину нарушали отдельные выстрелы из орудий — это снайперы-артиллеристы вели огонь по удаляющимся баржам и плотам; из пулеметов расстреливали более мелкие цели — пытающихся уйти от плена, пользуясь «подручными средствами». Наша авиация стройным рядом укладывала свои бомбы на узкой косе, видневшейся вдаль.

А что делалось на берегу залива! Площадь в несколько километров вся была завалена машинами, повозками, груженными военным имуществом, продовольствием и предметами гражданского обихода. Между машин и повозок лежали трупы немецких солдат. Лошади, привязанные к коновязи по триста—двести голов, часто так и оставались привязанными после того, как уже были убиты.

Рано утром я видел на берегу укрытия из ящиков с консервами и из мешков кофе, которые были уложены на бруствере траншей. В ряде мест эта картина напоминала то, что мы видели в расположении немцев при освобождении Сталинграда, а иногда и превосходила виденное там своей странностью — странностью войны. Ведь почти вся Германия в это время голодала, а здесь было полно запасов.

Я позвонил маршалу Василевскому, пригласил его приехать и сказал:

— Чтобы поверить, нужно видеть своими глазами.

Часа через три Александр Михайлович прибыл к нам, поздравил войска с окончательной победой на этом фронте, а потом добавил:

— Это надо увековечить для потомков.

Политотдел заснял картину разгрома гитлеровцев на кинолентку, переданную затем в Музей Советской Армии. Уезжая к Кенигсбергу, Василевский сказал:

— Теперь отдыхайте. Отдых вы честно заслужили.

А из толпы солдат ему кричали: «На Берлин, на Берлин!»

Этот день был радостным, ликование было всеобщим. Вместе с Москвой мы сами себе салютовали весь вечер: до самой полуночи то тут, то там звывались к небу ракеты. Выстрелов на всем фронте нашей армии не было слышно нигде.

С 27 марта армия впервые за все время войны не имела ни соприкосновения с противником, ни боевой задачи. Мы находились в резерве. Без усталости работали трофейные команды, разгружая, сортируя взятое с обозов и складов. Им охотно помогали стрелки, артиллеристы, саперы, связисты.

В штабах подсчитывались итоги последних двух дней и операции в целом. Итог получался отличный.

Оказавшись в резерве Ставки, мы рассчитывали в течение десяти—пятнадцати дней пополнить свои ряды, привести себя в порядок. Однако уже 1 апреля мы получили директиву на переход в район северо-восточнее города Франкфурт-на-Одере.

Получение этой директивы нас не огорчило, скорее даже обрадовало, так как всем хотелось участвовать в битве за Берлин. Смущала наша малолюдность, но мы, как всегда, надеялись на лучшее и верили, что получим пополнение до вступления в бой. Мы не ошиблись: по прибытии в указанный нам район мы получили небольшое пополнение. Там же были вручены награды большому числу генералов, офицеров, сержантов и солдат, прочитаны указы о присвоении звания Героя Советского Союза большой группе военных, в том числе и мне.

Я явился к командующему 1-м Белорусским фронтом маршалу Г. К. Жукову, доложил о степени сосредоточения армии. Маршал сообщил мне: начало наступления на Берлин назначено задолго до рассвета при ослеплении противника и превращении ночи в день ста сорока пятью прожекторами; с плацдарма в двадцать четыре километра по фронту будут наступать четыре общевойсковых и две танковых армии; рассказал о мерах, которыми будут отвлекать противника от Берлинского направления; Берлин будет захвачен на пятый день, а на Эльбу мы выйдем 26 апреля.

Я высказал опасение, что ночное наступление при таких плотностях боевых порядков повлечет и перемешивание соединений и частей. И зачем ночь превращать в день — не лучше ли обождать рассвета? Я подумал еще, хотя этого и не сказал, что боевые порядки на плацдарме излишне уплотнены и что нецелесообразно брать Берлин штурмом: лучше блокировать его и выходить на Эльбу.

В разговоре со мной командующий фронтом остался при своем мнении по поводу ночной атаки. Однако наступление он начал не ночью — в 6 часов 30 минут.

Войска фронта, выйдя к рекам Одер и Нейсе и захватив плацдармы, готовились к Берлинской операции. К 15 апреля, когда наша армия (за исключением некоторых тыловых частей, идущих своим ходом) сосредоточилась во втором эшелоне 1-го Белорусского фронта, подготовка к наступлению уже была закончена. В это время две наши дивизии были поставлены в оборону перед плацдармом, который противник занимал на восточном берегу Одера, против города Франкфурт-на-Одере.

Не было сомнения в том, что немецкое командование ожидало нашего наступления со дня на день. Оно успело создать постоянную оборону на реках, — и это был глубокий оборонительный район с промежуточными рубежами и отсечными позициями. Особенно сильной была оборона перед Кюстринским плацдармом, на Зееловских высотах; гребень их находился в четырех-пяти километрах от нашего переднего края, и противник оттуда просматривал весь плацдарм. Против англо-американцев, между Берлином и Эльбой, немцы оборонительных рубежей не создавали.

Берлинское направление оборонялось группой армий «Висла» в составе 3-й танковой и 9-й армий и основных сил группы армий «Центр» общим количеством до шестидесяти дивизий с несчетными отдельными частями усиления. Кроме того, в самом Берлине, опоясанном тремя оборонительными рубежами, формировалось до двухсот отдельных батальонов. Немцы расформировали свою запасную армию, все военные училища и высшие военные учебные заведения и обратили их личный состав на укомплектование фронтовых частей (доведя их до семидесяти—восемидесяти процентов штатной численности) и на формирование отдельных батальонов; они снимали свои соединения с западного фронта, не боясь его оголения, и перебрасывали их на восточный фронт. Гитлер еще не терял надежды на заключение компромиссного сепаратного мира с англо-американцами.

Прорыв обороны противника на реках Одер и Нейсе, расчленение и уничтожение этой сильной группировки было возложено нашим командованием на войска 1-го Белорусского, 1-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов.

Наступление 1-го Белорусского фронта началось 16 апреля. Оборона была прорвана. К 22-му линия фронта проходила у северных предместий Большого Берлина и далее изгибалась через Штраусберг, Кинбаум, Духхольц, Белендорф, к северной окраине Франкфурта. Одновременно передовые соединения 1-го Украинского фронта подходили к окраинам Большого Берлина, обходя с юга и юго-запада Франкфурт — губенскую группировку противника.

В это время наша армия сосредоточилась и получила задачу: наступать в полосу Шенфельд — Кагель — Бондсдорф и слева — Хейнерсдорф — Буххольд — Биндов — Маттенвольде, войти в связь с соединением 1-го Украинского фронта, завершить окружение и отрезать пути отхода франкфурт-губенской группировки к Берлину, а потом ее уничтожить во взаимодействии с соседями. Правей нас наступала армия генерал-полковника Чуйкова, а левее — армия генерал-полковника Колпакчи.

Решение на полное окружение группировки противника принималось нами в старинном замке Янсфольде. Свидетелями были многовековые хозяева замка и почитаемые ими властители; все они смотрели на нас застывшими глазами из больших позолоченных рам со стен обширной библиотеки.

Мы считали, что моральный дух противника подорван, что немецкие солдаты будут оказывать сопротивление лишь из боязни быть расстрелянными своими же заградительными отрядами; поэтому выгодней наступать ночью, когда действия солдат слабо контролируются офицерами, особенно в лесу. Мы решили форсировать Шпрее и канал Одер — Шпрее в ночь на 23-е, наступать стремительно и к 25 апреля выйти на шоссе Берлин — Цессен, завершив окружение. Это была трудная задача, учитывая не только расстояние в тридцать пять километров, но и большие озера с узкими перешейками, перерезанными судоходными каналами. Однако задача была выполнена в срок. Сопротивление мы встречали, правда, организованное, но далеко не такое, как в Восточной Пруссии. Нас часто контратаковали в лесистой местности, используя внезапность, но атаки были не слишком настойчивыми. Не спасло отступающего противника разрушение всех мостов, даже малых мостиков на дорогах и каналах. Не помогло ему и массовое разбрасывание мин-«сюрпризов» в виде пачек сигарет, спичечных коробок, тюбиков зубной пасты, автоматических ручек, которые взрывались при нажатии, вскрытии и т. п.

Форсирование озер нам облегчили приданный батальон лодок-амфибий и захваченные немецкие моторные лодки и самоходные баржи. Мы высаживали десанты на слабо занятых берегах широких озер и потом с тыла атаковали части противника, обороняющие междуозерные промежутки.

Самые ожесточенные бои начались после того, как мы замкнули кольцо и приступили к уничтожению окруженной группировки.

По мере продвижения мы овладевали местностью с вековым сосновым лесом, с множеством красивых особняков, расположенных по озерным берегам. В этом районе издавна жила немецкая знать, позднее — приближенные Гитлера. Слуги, оставшиеся в виллах и особняках, вывесили белые флаги. Нередко мы находили гитлеровцев, покончивших жизнь самоубийством — кто повесился, кто застрелился. Кое-где были пристрелены целые семьи: фанатики-фашисты прежде, чем покончить с собой, убивали жену и детей.

В Нойе-Моле захвачена была мощная берлинская радиостанция в полной исправности с частью персонала, который предложил нам свои услуги. Захвачен был завод взрывчатых веществ и другие заводы с исправным оборудованием.

Нашей армии приказано было выйти на линию сплошных озер — Тойпиншерзее, Хельцернерзее, Вольцирензее — и перейти к обороне, не допуская просачивания противника. Мы вышли на эту линию 26—27 апреля. Из двадцатипятикилометрового фронта двадцать два километра приходилось на широкие озера и три километра на сухопутные промежутки между ними, прорезанные каналами. Целесообразно ли дальше наступать? Было мнение, что лучше перейти к оборо-

не на этом водном рубеже, и пусть другие армии теснят на нас противника. Но мы продолжали наступать в промежутках, а также форсируя озера.

Мы знали, что шестидесяти-восьмидесятитысячная армия гитлеровцев будет прорываться только на запад и северо-запад — значит, через нашу армию и через правого соседа. Знали, что нам может быть очень трудно. Почему же мы не перешли к обороне? Потому что противник, подойдя к озерам, мог прикрыться небольшой частью сил, а основными прорваться у правого соседа, где была более слабая оборона. Чтобы это не случилось, кольцо окружения надо было сжимать и с нашей стороны.

Двадцать восьмого апреля мы намеревались выйти к реке Даме, но, продвинувшись за линию озер на два-три километра, были вынуждены остановиться: противник нас атаковал плотными цепями, гитлеровское командование совсем уже переставало считаться с потерями.

Нетрудно было догадаться, что 29 апреля противник обрушится на нас всей массой своих сил. И действительно, с рассветом немцы перешли в наступление еще более плотными боевыми порядками. Трудно себе представить этот бой в редком сосновом бору без единого кустика! Наши войска, отрывая окопы и ячейки для стрельбы лежа, стреляли с упора, уверенно и метко. Противник же шел во весь рост и стрелял на ходу, неточно, не видя цели. Вся двенадцатикилометровая полоса перед нами была усеяна трупами врагов.

В течение этого дня случалось, однако, и не раз, что командирам батальонов, которые были в одной цепи с солдатами, казалось, будто на их участке оборона не выдержит и враг прорвется. Но выдержали все. Лишь кое-где удалось просочиться мелким вражеским группам; они были уничтожены или пленены нашими тыловыми подразделениями.

На рассвете 30 апреля мы услышали отдаленные разрывы снарядов: это была артиллерия армий генералов Колпакчи и Цветаева. Вскоре окруженная группировка гитлеровцев перестала существовать как военная сила.

Этот день ознаменовался еще тремя событиями: было водружено красное знамя над рейхстагом, покончил с собой Гитлер, а войска 1-го Украинского фронта встретились с американскими войсками на Эльбе.

Вечером 30 апреля у всех было настроение особо торжественное. Военный Совет поздравил личный состав армии с праздником 1-го Мая и пожелал успехов в последнем бою.

Первого мая мы получили новую задачу: сосредоточиться на северной окраине Берлина с целью нанести удар по окруженному гарнизону противника. С семи часов 2 мая наши дивизии уже были на марше. Но на ночевке мы получили новую задачу: в связи с капитуляцией берлинского гарнизона следовать к реке Эльбе через южную окраину Берлина. Мы рассчитали, что расстояние до Эльбы — сто двадцать километров — мы должны преодолеть за трое суток, чтобы не допустить ухода гитлеровских войск к англо-американцам. Выслав по двум маршрутам передовые отряды, мы поспешили вслед за ними.

Первую треть пути, до Потсдама, мы прошли по территории, занятой нашими войсками. До Бранденбурга мы имели дело с мелкими группами противника, оставленными, чтобы разрушать мосты и, насколько возможно, задерживать наше продвижение. У Бранденбурга и на проходящей через него линии нашим войскам пришлось встретиться с обороной арьергардных частей противника, которую пришлось преодолевать основным силам головных дивизий, идущих по этим маршрутам. Приходилось не раз изумляться изобретательности наших офицеров, смелости бойцов, доходящей до полного забвения опасности. Дивизии оставляли небольшие подразделения перед частями противника, остальными же силами, как вода, просачивались в незначительные промежутки; одни из этих частей выходили в тыл противника, окружали, брали в плен, а другие спешили к Эльбе. Наши левофланговые соединения отважных командиров — генерала Михалицына и полковника Романенко — вышли к Эльбе 5 мая.

Выход наших частей к Эльбе был встречен салютом с того берега, стрельбой вверх и приветственными выкриками американцев.

В правой части полосы нашего наступления соединения полковника Грекова и генерала Абилова встретили ожесточенное сопротивление на подступах к городу Гентан. Гентан был окружен тремя траншеями полного профиля и превращен в сильный узел сопротивления. Лишь когда мы подтянули основную артиллерию, форсировали канал и обошли город с севера, удалось им овладеть, захватив много пленных.

Наши правобанговые соединения преследовали отступающих в северо-западном направлении, к Эльбе. Я был при одной из этих дивизий и, оказавшись на берегу реки, увидел не только скопление окруженных немцев, но и уплывающих через реку различными способами: на пароходах, самоходных баржах, моторных и весельных лодках, даже одиночек, плывущих в одном белье, несмотря на холод. Видел, что много пароходов и барж у западного берега причалены в два-три ряда и к ним подходят еще другие. Тогда я обратился к командиру американской 102-й пехотной дивизии и находящемуся на том берегу командиру пехотного полка с просьбой вернуть нам немцев, переправляющихся на их берег вместе с пароходами, баржами и лодками. Законность моей просьбы я обосновал тем, что мы могли бы перестрелять переправляющихся из автоматов, пулеметов, а пароходы потопить из орудий, но, боясь поразить своих союзников на том берегу, огня не открываем. Командир 102-й пехотной дивизии генерал-майор Китинч мою мотивировку признал правильной и вернул нам значительную группу немцев вместе с пароходами и баржами. От имени армии и от себя лично через переводчика и при помощи рупора я передал американским войскам и командиру 102-й пехотной дивизии благодарность, которая на том берегу была принята восторженными возгласами американских солдат.

Седьмого мая вся 3-я армия вышла к Эльбе, очистив свою полосу от противника. Но война еще не была окончена; мы слышали отдаленную канонаду севернее, а потому продолжали наступать на север, очищая от противника полосу правого соседа, захватывая пленных и трофеи. По берегу оставляли сторожевое охранение с задачей задерживать всех пытающихся переправиться на ту сторону.

Утро 9 мая было самым радостным для каждого советского человека. В это утро мы узнали о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии перед союзными войсками. В это утро, казалось, и солнце светило особенно ярко.

Все слушали радио из родной Москвы, непрерывно передававшей сообщения о полной капитуляции врага. Солдаты и офицеры, даже незнакомые, бросались в объятия друг другу и, целуясь, поздравляли с победой. Всюду во всю мощь играли оркестры, люди ходили толпами, смеялись и плакали, пели песни, стреляли вверх трассирующими пулями, бросали ракеты.

На всех немецких домах появились самодельные белые флаги.

Вечером 9 мая офицеры штаба армии отмечали День победы коллективным ужном, и, конечно, подобные же торжества происходили в каждой дивизии, полку, в каждой роте.

Я упоминал, что в 1907 году дал клятвенное обещание никогда не курить, не пить и не сквернословить. Ко мне всю мою жизнь приставали и принуждали выпить, особенно во время войны. Однажды я имел неосторожность сказать: «Вот когда добьемся победы, тогда и выпью». Я об этом забыл, но мои товарищи не забыли и в этот вечер всем коллективом потребовали от меня выполнения слова. Наш ужин проходил в цветущем саду одного из красивейших особняков Бранденбург-Вест, и в этот вечер я нарушил один из трех своих обетов.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Т. МОТЫЛЕВА

★

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ В США

1

Дни перед отъездом, как всегда бывает, прошли в хлопотах и спешке. И только по середине пути, сидя в зале копенгагенского аэропорта в ожидании самолета на Нью-Йорк, мы смогли немного отдышаться и начали по-настоящему знакомиться друг с другом.

Мы — это женская делегация. Во главе — Анна Бойкова, член Президиума Верховного Совета РСФСР; она постоянно живет и работает в Ленинграде. Другие мои спутницы — москвички: Лариса Бабушкина — научный работник, биохимик, Любовь Шавернева — учительница английского языка. Мы очень не похожи друг на друга — и по внешнему облику, и по характерам, и даже по возрасту: Лариса могла бы быть моей дочерью.

В США многие нас спрашивали: кто вас послал? А потом дома многие спрашивали: кто вас принимал?

Мы отвечали: нас послал Комитет советских женщин. У него маленький штат, но много добровольных помощниц — общественный актив. Из этого актива обычно и формируются различные делегации. Мы — уже четвертая группа советских женщин, которая отправилась в США по приглашению Комитета международных дружеских визитов...

В США есть несколько женских организаций и группировок, которые стоят за мир и хотят добрых отношений с Советским Союзом. И среди них — Комитет международных дружеских визитов; он ставит перед собой только одну задачу — укрепление связей с женщинами СССР путем взаимных посещений. Руководитель этого комитета Олив Мейер — женщина незаурядная — инженер-изобретатель, глава компании, производящей наглядные пособия. И Олив, и ее муж Генри Мейер, врач-кардиолог, — энтузиасты американско-советской дружбы. Они в первый раз побывали в СССР еще в 1956 году, а потом отправили сына в Артек. Двенадцатилетний школьник перелетел через океан без провожатых, провел каникулы среди советских ребят и, когда вернулся домой, неплохо говорил по-русски. Теперь и он не менее горячий друг СССР, чем его родители.

Идея, возникшая у Олив Мейер несколько лет назад, была проста и разумна. Многие американки интересуются жизнью Советского Союза и хотят побольше узнать о нем. Это женщины различных политических и религиозных взглядов, некоторые и вовсе далеки от политики. Иные занимаются только домашним хозяйством, но тоже хотят как-то прикоснуться к общественной жизни и услышать о том, что творится на другом полушарии. Почему бы не привлечь их к такому доброму делу, как прием гостей из СССР? Олив Мейер создала комитет в Сан-Франциско, а затем и филиалы его в других городах, так сказать, на самостоятельных началах. Участницы вносят, каждая по-своему, вклад в развитие

дружбы с СССР — одни дают средства, другие предоставляют советским гостям комнаты у себя дома, третьи возят их на своих машинах, четвертые пускают в ход свои связи с университетами, прессой, благотворительными, культурными организациями, чтобы познакомить советских женщин с разными сторонами жизни США.

Все мы бывали за границей не раз. Никогда еще так не уставали. Но никогда еще не видели так много. Каждая из нас успела за время поездки пожать не десятки, а сотни рук. А на сколько вопросов успела ответить каждая из нас? Мы даже и не пытались подсчитывать.

Узнали ли мы страну как следует? Ну, конечно же, нет. Двадцать шесть дней — срок слишком малый. И дело не только в сроке. Выбор маршрута зависел не от нас. Мы не видели южных штатов, а ведь многие острейшие проблемы жизни США связаны именно с Югом. Мы вернулись домой за сутки до трагической гибели президента Кеннеди. Дома нас спрашивали: почувствовали ли вы накал политической жизни в США? Столкнулись ли с «бешеными»? Увидели ли, как живет самая обездоленная часть народа? Нет, мы со многими не столкнулись, многого не увидели — и вовсе не по недостатку любознательности. И не по вине гостеприимных хозяек...

Впрочем, будем справедливыми: нам показывали не только фасад, но об этом — дальше. Мы так или иначе были в несравненно лучшем положении, чем бывают обычно туристы.

Пожить несколько дней в американской семье (а потом в другой, третьей, восьмой семье), провести вечер-другой за откровенным разговором с хозяевами дома, с их детьми, соседями, знакомыми — это возможность, которую надо ценить. В этом смысле нам повезло.

Всего четыре дня в Нью-Йорке — этого, конечно, мало. Но мы и сами понимали: в Нью-Йорк и без нас приезжает немало гостей из СССР, а вот в места менее людные... Следующим пунктом был Поукипси, городок в штате Нью-Йорк, где находится Вассарский женский колледж. Затем Хартфорд, главный город штата Коннектикут, один из старейших центров Новой Англии (переселенцы из Европы жили там еще в XVII веке), — он связан с именем Марка Твена и Гарриет Бичер-Стоу. Затем Топика в штате Канзас, хлеботородном крае страны. Затем Сан-Франциско и примыкающие к нему города Тихоокеанского побережья. И в заключение Вашингтон.

В каждом пункте — своя программа: школы, фермы, музеи, выставки, клубы. Но главное — встречаемся с очень разными людьми, общаемся, беседуем, спорим, рассказываем о советской жизни. Именно в этом — основной смысл нашей поездки.

2

Во время путешествия репортеры то и дело задают нам традиционный вопрос:

— Как вам нравится эта страна?

Иногда он звучит в иной вариации:

— Что вам больше всего нравится в этой стране?

И мы отвечаем (отнюдь не сговорившись):

— То, что мы встретили здесь много друзей Советского Союза.

Иногда ответ уточняется так: мы встретили здесь немало людей, которые стоят за мир, за хорошие отношения между нашими странами, и встретили еще больше людей, которые могут стать и станут друзьями Советского Союза, когда будут больше знать о нем.

Друзей и в самом деле немало. Это проявляется самым непосредственным образом в том поистине трогательном гостеприимстве, которое нам оказывают. Мы иногда задумываемся: что побуждает этих женщин (и их мужей, и их детей) нарушать ради нас распорядок своей жизни, уступать нам комнаты, обедать в ресторанах (потому что из-за нас некогда приготовить обед дома), подниматься ни свет ни заря, чтобы проводить нас на аэродром — словом, терпеть всевозмож-

ные неудобства? Конечно же, не просто личная симпатия к нам, а прежде всего — уважение к нашей стране. Нам говорят:

— Если бы вас приехало не четыре, а двадцать, и то нашлось бы, где вас разместить.

Очень многие хотели бы повидать «рашен лэди-визиторс», побеседовать, пригласить к себе. В Музее современного искусства Сан-Франциско незнакомая женщина, услышав, что я из Москвы, обратилась ко мне:

— Я — учительница. Запишите мой адрес. Приходите, если будет время. Если хотите — поживите у меня.

Иногда нам кажется, что все люди, с которыми мы встречаемся, делятся на две основные категории: те, кто были в СССР, и те, кто хотя бы побывал там.

В Поукипси нас принимает президент (по-нашему — ректор) Вассарского колледжа мисс Сара Блэндинг — одна из самых известных и уважаемых женщин в стране. Ее специальность — социальные науки. Она рассказывает нам, что в молодости хотела быть врачом, но медицинское образование обходится очень дорого, да и пробиться женщине-врачу нелегко, и не только прежде, но и теперь.

— А вот у вас в стране женщина стоит высоко — и в политике (взгляд на Бойкову), и в науке (взгляд на Бабушкину)...

Мисс Блэндинг очень хотела бы побывать в СССР, скоро у нее будет много свободного времени, она через год уходит на пенсию — но ведь такая поездка требует денег, — «а я не скопила и десяти центов!». Почти то же говорил мне за три дня до того молодой негр — шофер такси в Нью-Йорке:

— Вы из Москвы? Правда? В первый раз везу русского пассажира. Как бы мне хотелось повидать вашу страну! Но ведь такая поездка требует денег...

В одном из маленьких городков Тихоокеанского побережья я побывала в семье рабочего. Хозяин дома — инструментальщик высокой квалификации, он хорошо зарабатывает, недавно перебрался в новый дом, купленный в рассрочку, собрал за много лет библиотеку — не меньше тысячи томов («книжки — это моя страсть»). Он с гордостью показывает первый том «Истории гражданской войны в СССР», изданный у нас много лет назад на английском языке, — вот бы приобрести второй! Вышел ли он по-английски? Меня, незнакомого советского человека, принимают здесь с покоряющей сердечностью — дарят и орехи из своего сада, и домашнее печенье — сами пекут! — и редкую книгу из сокровищ хозяина. Мне задают вопросы — о том, как изменилась Москва за последние годы, о строительстве новых домов. «Мы знаем, что у вас еще не хватает жилья, и это понятно — война причинила страшные разрушения, но скажите: как распределяются квартиры в новых домах?» Всем участникам беседы очень хочется побывать в СССР, но как это сделать? «На свои средства — дорого, а в рабочую делегацию разве попадешь? Профсоюзные боссы норовят всюду поехать сами...»

Американцы бывают разные — теперь, как и во времена Маяковского. И источники дружеских чувств к СССР у разных американцев тоже разные. Понятно, если инструментальщик-книголюб видит в нашей стране нечто близкое своим собственным социальным идеалам. Но мы встречались и с людьми из иных общественных слоев — с людьми, у которых симпатия к СССР вытекает из трезвой оценки современной ситуации: лучше жить с русскими в мире, дружить, торговать с ними, чем воевать!

В Сан-Франциско нас приглашает к обеду мистер Мур — крупный судостроитель. Среди гостей, как мы понимаем, преобладают люди весьма состоятельные. Многие из них бывали в СССР и охотно вспоминают, как красив Ленинград, как их угощали в Тбилиси. Нам показывают отличные цветные фотографии, привезенные из этих путешествий: «Узнаёте ваши родные места?» На столе лежит номер «Правды». Хозяин дома приветствует нас на безукоризненно правильном русском языке, — а ведь он начал учиться уже в весьма зрелые годы. Один из гостей вручает мне оригинальный подарок — металлический зажим для бумаг с выгравированной эмблемой.

— Видите эти инициалы — У. Ф.? Это название моего банка — «Уэлс Фарго бэнк». Пусть у вас будет сувенир от капиталиста!

Во время обеда произносится несколько дружественных речей, а потом гости делятся на группы, и каждая из нас попадает «в окружение». Ко мне подходит пожилой джентльмен, к нему потом присоединяются другие.

— Вы член Коммунистической партии? Да? А с какого возраста? Что привело вас в Коммунистическую партию? Дает ли это вам какие-либо привилегии? Нет? Скорей влечет за собой обязанности? Какие? Много ли у вас единомышленников среди беспартийных? Вы говорите — очень много? А в чем же все-таки вы видите свое отличие как члена партии от беспартийных?

Я не чувствую в этих вопросах предвзятости или недоброжелательства. Любопытство? Да. Но — любопытство серьезное: желание понять, узнать ближе тот мир, силы которого растут так стремительно.

Все-таки гораздо чаще мы встречаем не просто любопытство, но и активное желание найти общий язык, дружить.

В городе Топика мы проводим один из свободных вечеров в семье врача. Доктор Гаролд Восс — высокий, худощавый, с подвижным молодым лицом — ведет меня по всему дому, чтобы показать картины. У него коллекция полотен художника Меннона, который в двадцатые годы был близок к немецким левым экспрессионистам: эти картины, сумрачные по колориту, резкие и сухие по рисунку, проникнуты какой-то неуловимой болью и состраданием к людям. Заходим в детскую, и здесь, когда мы стоим среди ребячьих игрушек, разбросанных в беспорядке на полу, хозяин дома прерывает разговор о живописи и начинает говорить взволнованно, доверительно:

— Мне не хочется, чтобы вы смотрели на меня, как на буржуа. Я сын лесоруба, я в детстве вместе с отцом дрова пилил. Все, что у меня есть, и дом, и эти картины — все добыто своим трудом. Это потребовало времени — я не так молод, как выгляжу. Да не во мне дело. Главное вот что: я считаю, что напряженные отношения между нашими странами — это страшная, вопиющая нелепость! Надо покончить с этой нелепостью. Именно поэтому мы все так рады видеть вас здесь...

День спустя мы едем на ранчо крупного скотовода Адамса — это ранчо существует семьдесят лет и ныне дает продукции, как нам сказали, на три четверти миллиона долларов в год. Мистер Рэй Адамс-младший, который дает обстоятельные пояснения, кажется, несколько досадует, что мы не проявляем слишком большого внимания к технико-экономическим деталям. Нам здесь, как и всюду, интереснее всего люди. За чаем собираются сыновья и дочери, внуки, племянники хозяина дома — неужели все они живут здесь? Оказывается, нет — они приехали из разных мест. Один из молодых Адамсов — архитектор.

— Мы с женой не так часто тут бываем, мы живем далеко отсюда. Но нам сообщили, что на ранчо сегодня будут русские. И мы приехали, чтобы повидать вас. Я никогда не был у вас в стране, а хотелось бы. Я работаю по интерьерам. Вот бы посмотреть внутреннее убранство Кремля! Говорят, в Москве интересная архитектура станций метро и у каждой станции свой стиль — правда?

«Приехал издалека, чтобы повидать вас», — мы слышали такие слова и от других людей, по другим поводам.

В том же доме Адамсов я обратила внимание на старого негра в белой куртке, который с сосредоточенно суровым видом разливал чай: мне вспомнился герой романа Фолкнера «Осквернитель праха» — человек, умудренный долгой нелегкой жизнью, сдержанно корректный в обращении с белыми и втайне смотрящий на них свысока. На обратном пути я разузнала о старике. Когда-то он служил в доме Адамсов, но давно уже работает в городе в ресторане и лишь изредка приезжает в частные дома, чтобы помочь на больших приемах. В сущности, ему это не очень нужно, он и так прилично зарабатывает.

— Так зачем же он явился сюда в воскресенье по такой жаре?

— Ему сказали, что здесь будут русские.

Стоит рассказать о нашем приезде в город Топика. Дело было седьмого нояб-

ря. В Хартфорде, откуда мы вылетели рано утром, стояла ненастная погода, наш рейс был отменен, нам предложили сделать пересадку не в Нью-Йорке, как предполагалось, а в Чикаго — словом, мы после утомительного перелета оказались в Канзас-Сити значительно раньше, чем нас ожидали. (Канзас-Сити находится на границе штата Канзас, а Топика, административный центр штата, — на расстоянии примерно ста километров от этой границы.) Нас никто не встретил, и мы довольно долго сидели в зале ожидания аэровокзала. То и дело тоскливо вспоминалось: а дома праздник. Мы купили чикагскую газету, увидели несколько анти-советских статей — это не способствовало веселому настроению. И вдруг появились две златокудрые девочки лет семи — девяти с большими букетами цветов. А вслед за ними подошла их мать, высокая красавица, подхватила наши тяжеленные чемоданы, словно они были игрушечные, и через несколько минут мы уже мчались по широкому, довольно пыльному шоссе в Топику. В дороге девчужки притомились, задремали, а в Топике встрепенулись: их по просьбе матери освободили от уроков, но им хотелось забежать в школу перед концом занятий, рассказать о встрече с русскими, показать советские значки, открытки с видами Москвы и Ленинграда.

Так началось наше знакомство с Кэтрин Меннингер. Она по образованию философ, окончила Гарвардский университет, но теперь воспитывает четверых детей, — «это и есть моя работа». В последующие дни мы познакомились и с мужем Кэтрин, побывали в их доме.

Топика считается одним из главных центров психиатрии в США. Здесь и госпиталь для душевнобольных ветеранов, и психиатрическая больница, принадлежащая штату Канзас, и частная клиника «Меннингер-фаундейшен», где ведется научная работа, широко применяется трудовая терапия, исповедуется принцип: «Неизлечимых нет». Для Меннингеров психиатрия — фамильная профессия. В отличие от большинства владельцев американских частных клиник они всей семьей отказались от прибылей; те несколько членов этой семьи, которые работают здесь врачами, получают зарплату на равных правах с другими, а доход идет на исследовательские нужды.

И Кэтрин, и ее муж расспрашивали меня о многом, в частности о том, как воспринимается в СССР американская литература. Доктор Рой Меннингер задавал вопросы на редкость конкретные: читают ли у вас Уитмена? Нравится ли он? Чем именно? А переводы действительно хороши? А Сэндберга тоже знают? Что больше всего ценят в Твене? А если любят Уитмена и Твена, то как вы объясните, что любят и Хемингуэя — ведь он совсем другой и люди у него другие? Кэтрин еще по дороге из Канзас-Сити успела выяснить, что у нас любят Хемингуэя, Стейнбека, Колдуэлла, и спросила:

— А вам не кажется, что мы, американцы, — более здоровая нация, чем персонажи этих писателей?

Я ответила ей вопросом же:

— А вам не кажется, что литература, которая откровенно критикует общественные пороки, сама по себе есть выражение здоровых сил нации?

Кэтрин религиозна: именно в ее доме мы познакомились с методистским епископом — он пришел туда, чтобы встретить нас. Она в родстве с английскими лордами, одного из ее сыновей зовут Бонар в честь известного консервативного деятеля Бонара Лоу. При всем при том я почувствовала в этой семье необычайно активный, пытливый интерес к Советскому Союзу, искреннее желание помочь сохранению мира. Перед прощанием Кэтрин показала мне иллюстрированную книжку об СССР, вышедшую недавно в Нью-Йорке:

— Просмотрите эту книжку: можно ее давать детям? Что тут, по-вашему, неправильно? Пожалуйста, отметьте на полях!

Супруги Меннингер хотят побывать в Советском Союзе — может быть, не так скоро, надо, чтобы младшие дети хоть чуть-чуть подросли, — и хотят приехать, тщательно подготовившись, подучившись немного по-русски. Надеюсь, что путешествие им удастся.

3

Мои спутницы мне нравятся. Гораздо важнее, конечно, что они нравятся американцам, по крайней мере большинству тех американцев, с которыми мы общаемся.

В США иные газеты насаждают представление о советских женщинах, как о мрачных, неженственных существах, привыкших подавлять в себе все личные чувства и привязанности, не имеющих понятия об элементарном комфорте (нас не раз спрашивали: «А есть у вас холодильники?», «А есть у вас телевизоры?»). Мы то и дело слышим: «А вы совсем не такие, какими мы представляли себе советских женщин!»

Еще бы! Достаточно посмотреть на Ларису Бабушкину, на ее юное раскрасневшееся лицо, когда она рассказывает о своей научной работе («нуклеиновые кислоты — это, знаете ли, очень важно...»), чтобы понять, что значит для советской женщины любимый творческий труд. Впрочем, Лариса не менее увлеченно рассказывает и о своей семье, о том, какие у нее хорошенькие дочки, что за одаренный человек ее муж — биофизик, а главное, какая у нее добрая, чудесная свекровь! Лариса не скрывает, что совместить научные и домашние дела вовсе не легко. Но я подозреваю, что иные американки завидуют ей.

Уважение, смешанное с любопытством, вызывает и Любовь Шавернева. На первый взгляд трудно предположить, что у этой слегка флегматичной на вид молодой женщины есть та быстрота реакции, та культура непринужденной и скорой речи, которая нужна для синхронного перевода. Американцы восхищаются тем, как миссис Шавернева владеет их родным языком («Где вы учились? Неужели в Москве?»), и с интересом слушают ее, когда она говорит о школах, о советских детях: спокойно, с легким юмором, убедительно и дельно.

Однако наибольшее внимание к себе привлекает Анна Бойкова. Американцев интересует и ее биография (родилась в крестьянской семье, в прошлом учительница, работала в Ленинграде во время блокады), и ее нынешняя государственная деятельность. Многие отмечают, что Бойкова — человек, как здесь говорят, *informal* — неформальный, что у нее приятная манера держаться. Все это разрушает шаблонные представления о коммунистической «важной персоне».

Во время коллективных встреч, в беседах с журналистами на долю Анны Петровны выпадают наиболее ответственные вопросы: «Как вы оцениваете личность и деятельность Иосифа Сталина?», «С какой целью Советский Союз помогает кубинской революции?», «Знает ли ваш народ, что вы покупаете у нас пшеницу?»

Когда мы приехали в Хартфорд, нас разместили поблизости, в маленьком городке Гластонбэри. Каждая из нас нашла у себя в комнате аккуратно отпечатанный вопросник, подготовленный, как нам сказали, учениками местной школы. Тридцать пять вопросов! И весьма непростые. «Считаете ли вы, что величина земельных пространств в Советском Союзе — источник преимуществ или трудностей?», «Как удастся коммунистической партии привести в соответствие число членов из среды городских рабочих и из крестьян, чтобы весь народ был равно представлен?», «Как выясняют ваши планирующие органы потребность масс в товарах?» И еще многое другое... Для того, чтобы выслушать наши ответы, в школьном зале на следующее утро собрались не только старшие школьники и преподаватели, но и родители некоторых учеников, и журналисты. По форме — это занятие по текущей политике, включенное в школьное расписание, а по существу — настоящая пресс-конференция.

Под конец учитель истории, молодой человек с красным цветком в петлице, задает вопрос сверх программы:

— Если вы считаете Соединенные Штаты гнилой упадочной капиталистической страной, то зачем вам торговать с нами? Ведь вы против капитализма?

Анна Петровна спокойно отвечает:

— Мы ведем торговлю с вами на взаимовыгодных условиях. В ваши внутренние дела мы не вмешиваемся. Мы строим коммунистическое общество, а вам,—

добавляет она с улыбкой, — не мешаем жить при капитализме, живите сколько вам захочется!

Мы встречаемся с молодым учителем истории час спустя, когда осматриваем учебные кабинеты. При нем проглядываем пособие, которым пользуются старшие школьники: европейские социалистические страны охарактеризованы как сателлиты Советского Союза, тексты перемежаются нарочито сенсационными фотографиями: советские танки на улицах Будапешта, беспорядки в Познани... Спрашиваем:

— Считаете ли вы такое освещение истории современной Европы действительно объективным?

Лицо учителя становится краснее цветка в петлице. Он куда-то исчезает, а потом нагоняет нас в коридоре, неся пачку журналов «Советский Союз»: видите, мол, и такой учебный материал у нас тоже есть!

Школа в Гластонбэри представляет собой *highschool* — это означает школа второй ступени. Здесь учится молодежь в возрасте от тринадцати до восемнадцати лет; она получает полное среднее образование и — по выбору — практические знания. Мы видели в нескольких школах такого типа столярные, слесарные мастерские, классы машинописи, домоводства, кройки и шитья и т. д. Все это нам с большой охотой показывали. Но всюду нам хотелось прежде всего поговорить со школьниками, узнать, каковы их настроения и интересы.

В школе «Топика Уэст» для беседы с нами собралась группа юношей и девушек, изучающих русский язык. Разговор на русском языке не получился — ведь они только еще начали заниматься! Но зато эти розовощекие юные канзасцы, одетые в бело-лиловую форму ученического спортивного общества, с удовольствием поговорили с нами на своем родном языке, на этот раз без всякого вмешательства со стороны педагогов. Они жадно расспрашивали нас о том, что их действительно интересовало — о своих сверстниках в СССР. Что читает советская молодежь? Читает ли американских писателей, и каких именно? В каком возрасте юноши и девушки выбирают профессию? А спортом занимаются — каким именно? А что еще они делают в свободное время?

Отвечает главным образом Лариса Бабушкина. Ей сподручнее всего рассказать и о лыжах, и о плавании — сама спортсменка! — и о художественной самодеятельности — сама недавно еще этим увлекалась! — и о танцах под джаз. Сообщение о том, что джаз у нас не запрещен, вызывает небольшую сенсацию: а им-то говорили... Тихий паренек, до тех пор молчавший, набирается храбрости и спрашивает:

— Скажите, на что похожа Сибирь?

Чувствуется, что у него со словом «Siberia» связаны какие-то кошмарные представления. Все, что он слышит в ответ — о больших сибирских городах, театрах, университетах, о Сибирском отделении Академии наук СССР, об озелененном Омске, — для него совершеннейшая новость. Расстаемся друзьями.

Нам показывают в разных городах просторные классные помещения, превосходно оборудованные мастерские, лаборатории. Хорошо, ничего не скажешь! Но нас особенно занимает вопрос: как духовно формируется американская молодежь. Как прививается школьникам тот комплекс мыслей и чувств, та система поведения, которые принято называть «стопроцентным американизмом»?

Арлингтонская школа второй ступени, наверное, одна из лучших в штате Нью-Йорк. Все здесь новенькое, с иголочки, все блестит. И даже адрес завлекательный: Плэзент-валли, Фридом-Плэйнс род (в переводе: Приятная долина, шоссе Свободных полей). К гостям здесь привыкли и хорошо умеют их встречать. В большом зале собралась вся школа; ради нас устроили утренник с обширной программой. Исполняются государственные гимны США и СССР, произносятся речи, выступает ученический хор. Все это открывается церемонией, которая называется «Салют флагу». Председательница ученического самоуправления, миловидная девушка Нэнси, кладет руку на сердце — это сигнал. Вслед за ней все ребята кладут руку на сердце и произносят очень отчетливо, вполголоса:

— Обещаю быть верным флагу Соединенных Штатов Америки. Единая нация, неделимая, под богом. Справедливость и свобода для всех.

Эту формулу знает наизусть каждый школьник. «Салютом флагу» открывается начало занятий и все торжественные собрания. Слова клятвы произносятся негромко, без всякого пафоса, каждый ученик как бы разговаривает сам с собой. Школьники привыкают к этой церемонии в том возрасте, когда они еще не могут критически осмыслить заученных слов. «Под богом...» — как согласуется это со свободой совести? Единая нация? Справедливость для всех? Тут многое можно было бы возразить...

Но не будем обижать Нэнси, ее друзей и подруг. Они верят в то, что произнесли со всей искренностью. И принимают нас приветливо — тоже с полной искренностью. Они аплодируют речам Анны Бойковой и Ларисы Бабушкиной, которые говорят о сохранении мира, о дружбе между нашими странами. У арлингтонских школьников вера в американские идеалы не приходит в противоречие с идеями мира и дружбы народов.

Но всегда ли так бывает?

Мне запомнилось посещение Тринити-колледжа в Хартфорде, где я была одна.

Студенты колледжа учатся четыре года и получают степень бакалавра; одни идут потом на старшие курсы университета, другие — на работу. В ряде городов колледжи принадлежат штатам, там плата за обучение невысока и главное внимание уделяется практическим занятиям. В Окленде, где мы были недели через две после Хартфорда, мы посетили колледж именно такого типа: здесь можно, помимо общеобразовательных предметов, изучить и типографское дело, и кулинарию, и фотографию, и косметику, мы видели там даже лабораторию химической чистки! В такие учебные заведения идет молодежь из малообеспеченных семей. Но существуют и частные колледжи, в основе их бюджета — наследство или пожертвования богатых лиц; там плата за обучение высокая и преподаются главным образом предметы, дающие, так сказать, общий кругозор. Именно таков Вассарский женский колледж, названный так в честь основателя-жертвователя. Таков и Тринити-колледж в Хартфорде. Студенты (вернее, их родители) платят тысячу четыреста долларов в год. Выпускники поступают иногда в университеты, а чаще всего, как сказали мне, идут into business — в деловую жизнь.

Мне разрешили побыть на занятиях. На уроке немецкого языка присматриваюсь к студентам. Они собираются на урок не спеша, держатся вольно, даже чуточку развязно, одеты добротнo-небрежно, на некоторых — мешковатые спортивные куртки с большой надписью «Тринити» на спине. Пока идет упражнения в разговорной речи, листаю учебник «Немецкий язык для американцев», авторы — Гёдше и Шпани, год издания 1960. Он представляет собой не только пособие по языку, но и по географии Германии. На внутренней стороне обложки — географические карты. Силезия и Восточная Пруссия обозначены отдельно — понимай, как знаешь. Вроцлав назван Бреслау, Калининград назван Кенигсбергом. Читаю статейку о Берлине: «Ни война, ни русские не смогли сломить волю этого города к жизни... Курфюрстендамм — пятая авеню Берлина — с его элегантными магазинами, современными кафе и ресторанами, с его кино, театрами и ночными кафе являет собою блеск и жажду жизни, присущую большому западному городу. Сталиналлее, главная улица Восточного Берлина, состоит из гигантских многоквартирных домов. Для жизнерадостности там нет места. Ночью Курфюрстендамм ярко освещен. Там слышна музыка, смех и уличный шум. Зато на Сталиналлее темно и тихо». Ночные кафе как признак высокой культуры? И гигантские многоквартирные дома как признак бедственной жизни?

...Иду на занятия по истории американской литературы. Профессор Смит — молодой и способный лектор, его речь звучит подкупающе непринужденно. Заглядываю в контрольные работы, которые он возвратил студентам. Они напоминают литературную викторину: какому автору принадлежит такой-то текст? По каким особенностям стиля можно определить принадлежность текста данному писателю?.. Студентам вручен план лекции: после общего очерка поэзии начала

XIX века профессор Смит должен перейти к Эдгару По. Попутно он замечает: поэзия обращается, конечно, не только к чувству, но и к разуму, но не верьте тем критикам, которые рассматривают литературу как выражение политических взглядов! Профессор набрасывает портрет Эдгара По: шутник и курильщик опиума, пьяница, личность сложная — «наверное, он соответствует студенческому представлению об артистической натуре...». Лектор все время общается с аудиторией, задает вопросы, отвечает на вопросы — это мне нравится. Но несколько смущает слишком школьный характер этих занятий, неоднократные напоминания: о том-то прочтите в учебнике, страницы такие-то. Учебник лежит тут же перед каждым слушателем. Он очень краток. Студенты нелюбознательные могут не слишком себя утруждать.

У меня осталось еще сорок минут свободных — нельзя ли послушать еще какую-нибудь лекцию? Выясняется, что можно пойти в «спикинг класс» — на практические занятия по ораторскому искусству.

В расположенной амфитеатром аудитории сидят сорок — пятьдесят студентов. Здесь как будто бы собрались слушатели постарше, и внешний вид у них более подтянутый — почти все в темных костюмах и галстуках. Вспоминаю роман Синклера Льюиса «Гидеон Плениш»: для героя этого романа занятия ораторским искусством в колледже были началом успешной политической карьеры.

Студентам розданы листки-анкеты. На них проставляются отметки каждому из выступающих ораторов. Обозначены показатели для оценок: грамматическая правильность речи, отчетливость дикции, литературное произношение, интонация, манера держаться, внешний вид оратора (вот для чего галстуки!). Показатели касаются всего — кроме содержания речи.

Первые два оратора выступают на спортивные темы. Третий в несколько развязной манере отстаивает тезис: «Матери должны сидеть дома». Что ж, не буду спорить, я здесь гость — мое дело молчать и слушать.

Четвертый — мне о нем заранее сказали, что это один из самых способных студентов, — начинает свою речь в спокойном тоне. Он хочет разобрать вопрос о равновесии военных сил в Европе. Точнее — о соотношении сил между западными державами и Советским Союзом (косой взгляд на меня). В настоящее время и Советский Союз и США обладают большой военной мощью. Страны Западной Европы оправились от разрушений и потерь, понесенных ими во время войны. Они уже в состоянии создать свои объединенные ядерные силы. При этом условия США могли бы вывести свои войска из Западной Европы, чтобы потратить освободившиеся средства на внутренние нужды.

По некоторым лицам мелькает ехидная улыбочка — или это мне так кажется? Да, эти молодые гидеоны плениши выросли в убеждении, что это их задача поддерживать порядок в Европе и что моя страна — их потенциальный враг.

За мной уже приехали. Но ведь промолчать невозможно! Прошу разрешить мне краткую реплику. Говорю о мирной политике Советского Союза...

Направляюсь к выходу — и студенты встают. Ехидных улыбочек как будто бы не видно, иные лица выражают даже нечто похожее на доброжелательство — или это мне так кажется? Вряд ли я их в чем-либо убедила. Но, может быть, все же заставила задуматься?

4

Настороженность и любопытство, неосведомленность и желание знать — мы сталкиваемся со всем этим здесь постоянно. И не только у американцев.

В один из первых дней пребывания в Нью-Йорке нас пригласили на ленч в Дом квакеров. Тут были журналисты, религиозные и общественные деятели, так или иначе связанные по характеру своей работы с Организацией Объединенных Наций.

Среди гостей оказалась женщина, очень заинтересовавшая нас, — дипломат из Уганды. Пумала Кисунсангала, одна из первых женщин своей страны, занявших видное место в государственной жизни. Это, несомненно, яркий, недюжин-

ный человек. Пумала Кисунсанталя принимает участие в деятельности «Юнисеф» (организации при ООН, которая оказывает помощь детям в слаборазвитых странах), она, судя по всему, очень высоко оценивает роль ООН в судьбах молодых африканских государств. Много ли она знает о Советском Союзе? Нет, кажется, немного... От нас она впервые слышит о том, как тщательно изучается и переводится в СССР современная литература африканских стран.

Среди гостей есть еще один дипломат — из Уругвая. Он работает в ЮНЕСКО, участвует в составлении плана ликвидации неграмотности во всемирном масштабе и очень увлечен этим. Он убежден, что для воспитания народов в духе подлинного миролюбия нужно по-настоящему раскрыть философское и политическое значение понятия «мир». Во многих юридических документах «мир» трактуется просто как понятие негативное, как отсутствие войны. Правильно ли это? Ведь в слове «мир» должен быть и положительный смысл — не так ли? Что думают об этом в Советском Союзе?

В этом вопросе нетрудно уловить подтекст: действительно ли вы, советские люди, серьезно, искренно стремитесь к миру?

Тут мне приходит на помощь опыт моих товарищей-литературоведов, авторов новых работ о «Войне и мире». Толстой имел в виду разные смысловые грани слова «мир»: не только отсутствие войны, но и общность жизненных интересов, общение, взаимосвязь людей, то есть нормальное состояние человечества. Так понимаем это слово и мы, советские люди!

Все это как будто бы элементарно. Но ведь у многих американцев — или у людей, находящихся в орбите идеологического влияния США, — существуют самые превратные представления о нашей стране, о ее политике.

Одним из первых неприятных впечатлений для нас был двухметровый полотняный плакат, висящий как раз напротив здания ООН. Он информирует нью-йоркцев о том, что в СССР девяносто пять миллионов нерусских граждан, а в «коммунистических странах Европы» живут сто миллионов человек. Подразумевается, что все это — жертвы советского «колониализма».

Нелепо? Глупо? Ну да, помимо того, и вопиюще бестактно. Мы спросили одного советского гражданина, работающего в Нью-Йорке, давно ли висит этот плакат. Он ответил:

— Давно.

— Но как же это допускают? Ведь это оскорбление одного из государств — членов ООН!

— Но ведь дом-то частновладельческий! Де-мо-кра-тия!

Как-то так выходило, что на протяжении всего путешествия разговоры, связанные с национальной политикой и национальными культурами нашей страны, доставались именно мне. Это получалось само собой, потому что американцы всегда проявляют интерес к личности собеседника.

— Вы профессор, значит — читаете лекции? На Высших литературных курсах — а что это за курсы? Ваши слушатели взрослые и даже писатели и тем не менее учатся? Приезжают в Москву из других городов и даже из других республик — а что это за республики?

Приходится разъяснять совершенно азбучные истины по политической географии СССР. И они воспринимаются как занимательная экзотика. Попутно рассказываю и о бывших слушателях наших курсов — о творческой судьбе Кайсына Кулиева и Чингиза Айтматова, об Антонове-Калгане — переводчике Шекспира на чувашский язык, о бурятском драматурге Шагжине, которого заинтересовало творчество Тенесси Уильямса; называю одного из нынешних слушателей, Владимира Санги, писателя-нивха, у которого вышло на Сахалине несколько книг и на родном и на русском языках.

Подчас возникает необходимость в дополнительных пояснениях.

— Вы говорите — языки национальных республик, — спрашивает почтенная дама в Клубе университетских женщин в Калифорнии, — а может, правильнее сказать — наречия? Вот вы упомянули узбекский язык, — а похож он на русский?

— Чуваши — а что это за народ?

— Это тот народ, из которого вышел космонавт Андриян Николаев!

— А-а!

К сожалению, мало знают в США и о культурной жизни социалистических стран Европы. Если легко заинтересовать американцев элементарной информацией о национальных культурах нашей страны, то не всегда легко прошибить стену недоверия, окружающую те государства, которые буржуазная пропаганда называет «сателлитами» СССР.

Я испытывала большие огорчения всякий раз, когда разговор заходил о ГДР, литература которой мне знакома и дорога. Разговор этот возникал опять-таки сам собой, потому что американцы проявляли интерес к профессиональной работе каждой из нас.

«О чем ваши книги?» — «О мировом значении Толстого». Это воспринимается благосклонно. «Война и мир» стоит на книжной полке почти во всех домах, где мы бываем. «А о современных авторах у вас есть работы?» — «Да, например, об Анне Зегерс».

И тут оказывается необходимым напомнить: это та крупная немецкая писательница, антифашистский роман которой «Седьмой крест» был бестселлером в США в годы войны. Люди постарше иногда вспоминают фильм «Седьмой крест» и больше ничего не знают об авторе романа. Ну как тут не попытаться рассказать о послевоенном творчестве Анны Зегерс, а затем и о ГДР — какая там замечательная миролюбивая молодежь, какая активная научная жизнь в университетах! Но тут, как правило, мои собеседники отгораживаются невидимой стеной — не знаем, мол, и знать не хотим.

Незнание — плохой советчик. А в представлении многих американских интеллигентов о демократической Германии участвует не только незнание, но и дезинформация наподобие той, какую можно найти в учебнике Гёдше и Шпанна.

...С неосведомленностью многих американцев в результате долговременной дезинформации приходилось сталкиваться и по другому поводу. Нам настойчиво и тревожно задавали вопросы о нынешнем положении евреев в СССР. Американская буржуазная пресса то и дело поднимает шум о преследовании иудейской религии, о притеснении верующих вообще.

В Хартфорде на вечере женской организации «Джуниор-Лиг» меня спросили:

— Можете ли вы рассказать о положении православной церкви в СССР?

— В общих чертах могу, но учтите, что я атеистка и еврейка.

Взрыв удивления: разве эти качества совместимы?!

Затем следуют вопросы:

— Вы атеистка — как это понимать? С какого возраста? А если получили безрелигиозное воспитание, то когда стали атеистами ваши родители? И вы утверждаете, что еще при царизме интеллигентные евреи, как правило, были неверующими? Неужели?

В других аудиториях возникают вопросы, связанные с культурной жизнью советских евреев: действительно ли они могут читать книги на родном языке?

— Могут. Но давайте разберемся, что понимать под родным языком. Журнал «Советиш геймланд» выходит тиражом в двадцать пять тысяч экземпляров, номера можно часто видеть в газетных киосках. За последние годы вышел ряд книг на еврейском языке — произведения Шолом Алейхема, Менделе-Мойхер-Сфорима, Переца. Но я подозреваю, что не только я, не только мои друзья и родственники, но и большинство советских евреев предпочитают читать и этих и других писателей на русском языке... В царской России было громадное гетто — оно называлось «чертой оседлости». На основе старого еврейского быта и выросла классическая еврейская литература с ее горьким юмором. Октябрьская революция вывела евреев из гетто — бывшие обитатели черты оседлости расселились по всей стране. У нас есть одаренные писатели, пишущие по-еврейски. Но большинство советских писателей-евреев пишет на русском языке — он для

них родной. Творчество Маршака, Эренбурга, Казакевича — часть русской литературы...

— Значит, вы считаете, что отмирать будут не только еврейская религия, но и другие различия между евреями и неевреями?

— Не берусь делать прогнозов, но, на мой взгляд, отмирание этих различий — процесс естественный и необратимый.

— И вы утверждаете, что в Советском Союзе не осталось антисемитов?

— Нет, этого я не утверждаю. Как не утверждаю, что у нас не осталось воров, убийц, взяточников, клеветников. Мы еще не до конца покончили с преступностью, не покончили и с тем, что мы называем пережитками капитализма в сознании людей. Остатки националистических предрассудков могут еще прятаться в темных уголках сознания остальных людей; но народу нашему в его массе такие настроения чужды. И сама природа советского строя создает предпосылки для окончательного их преодоления.

Разумеется, мы не раз сталкивались с ехидным любопытством, неумело замаскированной предубежденностью, но гораздо чаще наши собеседники задавали трудные вопросы вовсе не с намерением поставить нас в тупик, а с намерением узнать правду. И подчас самые сложные, самые острые вопросы исходили именно от друзей, от прогрессивно мыслящих американцев, которым хотелось с нашей помощью рассеять в себе сомнения, укрепить свои позиции, чтобы самим суметь давать отпор враждебным вымыслам.

С такими людьми я встретила в Сан-Франциско в первый же вечер. Именно в Сан-Франциско, вернее, в примыкающих к нему городах и поселках Тихоокеанского побережья — в Вудсайде, Пало Альто, Эзертоне, Окленде, Беркли, — живут деятельницы Комитета международных дружеских визитов, пригласившие нас в США. Понятно, что здесь встреча была особенно шумной и многолюдной. Прямо с аэродрома нас привезли в загородный дом Олив Мейер; здесь нас ждали хозяйственницы нашего путешествия. Нам показали план нашего шестидневного пребывания в Сан-Франциско и окрестностях. План был заманчив, но устрашающе насыщен экскурсиями, приемами, собраниями. Нам предстояло почти все время быть врозь и чуть ли не каждый день переселяться из дома в дом, из города в город. Добрая Олив Мейер, видя, как мы устали с дороги, предложила дать нам передышку и хотя бы на первые полсутки разместить нас всех у себя. Но тут ко мне подошла худенькая женщина в скромном черном платье, назвала себя — Пег Каллер — и быстро заговорила:

— Мне обещали, что вы поедете сегодня со мной. Вечером должны собраться несколько человек, которые вас очень ждут. Им будет обидно, если вы не придете. Это не так далеко отсюда — всего час-полтора езды, в Саусалито, за мостом «Золотые ворота»...

Ну и стремительная же эта Пег Каллер! Сто километров в час и сто слов в минуту! Пока мимо нас проносились улицы Сан-Франциско, мосты, загородные поселки, каменные особняки и деревянные домики-дачки, пока мы то спускались, то поднимались по извилистому приморскому шоссе, напоминающему дорогу где-нибудь между Сочи и Адлером, — мы успели хорошо познакомиться. Пег рассказала мне, что она жена директора Музея современного искусства, что ее друзья, в доме которых мне предстоит пожить день или два, — художники, владельцы керамической мастерской, Эдит и Брайан Хис, «очень славные люди, совсем-совсем не формальные!». И что дом у них расположен «как раз над заливом, в одном из самых красивых мест на всем побережье, — сейчас уже темнеет, вы ничего не увидите, а утром проснетесь, и прямо перед вами — океан!». И что здесь, в Саусалито, не так уж часто бывают советские люди — «вы не пожалеете, что к нам приехали, ведь многим хочется послушать, расспросить вас...»

На дворе была непроглядная темень, когда мы с Пег Каллер вошли в помещенные фабрики-мастерской «Хис керамика». Рабочий день давно кончился. На стеллажах громоздилась керамическая посуда изящно строгих форм, покрытая матовой глазурью. В глубине стояли несложные производственные приспособле-

ния, пахло краской и глиной. И вся эта артистически трудовая обстановка, и внешний облик людей, ожидавших меня — их было человек сорок, — все это было до крайности не похоже на приемы в зажиточных домах и очень меня вдохновило.

Выражение «простые люди» тут, пожалуй, не подошло бы. Когда я в заключение беседы спросила собравшихся об их профессиях, мне стали отвечать: «студент», «учительница», «журналист», «пенсионер», «медицинская сестра». Это были в большинстве своем люди интеллигентного труда и притом отнюдь не благоденствующие и не зависящие от буржуазного общественного мнения. Когда они задавали вопросы, на которые, как писал недавно Роберт Рождественский, «больно отвечать», — чувствовалось, что и им больно спрашивать. Но они спрашивали, и я отвечала: и о последствиях культа личности Сталина, и о писателях, пострадавших от незаконных репрессий. А потом разговор зашел о принципах партийного руководства искусством, и о молодых поэтах, и об издании иностранной литературы у нас. Здесь не нужны были простейшие фактические сведения: передо мной были люди, которые читали и слышали о Советском Союзе немало и хотя бы знали больше, из первоисточника.

В подобном же обществе трудовых мыслящих людей, относящихся с искренней симпатией к нашей стране, я очутилась два дня спустя, когда поселилась в городе Беркли у адвоката Ван Бурга.

Мне понравилась в этой семье живость умственной атмосферы. Друзья дома — учителя, журналисты, служащие — собираются здесь, чтобы поговорить о новых книгах, обсудить политические новости. Собрались они и для разговора со мной.

Интерес к советской культуре в этой среде очень большой и знание ее выше среднего американского уровня. Один из гостей, преподаватель школы, расспрашивал меня, например, как оценивается у нас педагогическое наследие Макаренко.

В «дискуссионном клубе» Ван Бургов есть свои внутренние разногласия, есть один присяжный скептик, с которым часто спорят остальные. Он особенно настойчиво задает вопросы. Как оценивают в СССР современные течения западной философии, например, экзистенциализм? Как относятся к наследию Аристотеля, Канта — словом, великих мыслителей прошлого?

Отвечаю, как умею. Под занавес гость-скептик задает еще вопрос:

— Нас интересует, как вы, советский литератор, понимаете смысл человеческой жизни. Ну хорошо, — мы знаем, что вы придерживаетесь марксистско-ленинской мировоззрения. Но ведь в современной жизни много нерешенных проблем. И они есть у каждого человека. Может ли быть, по-вашему, философия вне политики? Нет ли у вас потребности отвлечься от политики и задуматься — ну, просто так — над смыслом своего существования?

— Философия вне политики? Откровенно говоря, сомневаюсь. Смысл человеческой жизни? Вряд ли можно себе представить отдельного человека в изоляции от других людей. А если хочешь делать то, что полезно другим, — это неминуемо приводит нас к политике, не так ли?

Прощаюсь, уйду наверх в отведенную мне комнату, а внизу продолжают бурно спорить. Спорили до двух часов ночи!

5

Наше путешествие далеко не всегда протекало в условиях «бесконфликтности». Особенно запомнилось в этом смысле пребывание в городе Топика. Здесь, в земледельческой области, в самом центре североамериканского континента, советские люди бывают редко. И наш визит оказался в некоем роде событием.

Мы прибыли сюда седьмого ноября. Лариса и я поселились в розовом особнячке оригинальной архитектуры, с черепичной крышей мягких, волнообразных очертаний. Хозяин дома Гарри Крэйн — владелец адвокатской конторы, видный местный специалист по вопросам земельного права. В доме полным-полно пред-

метов старины, всяких восточных редкостей, привезенных из далеких путешествий. Супруги были в Советском Союзе — им особенно понравился Самарканд; Марджори Крэйн выступала потом с лекциями об этом путешествии, и ее слушало в общей сложности пятнадцать тысяч человек. Хозяева повезли нас обедать к старшей дочери, которая замужем за врачом. Вечер прошел в дружеских разговорах, был поднят тост в честь нашего праздника — словом, день закончился хорошо.

На следующее утро мы узнали, как провели праздничный вечер наши спутницы. Их поместили в доме мистера Марлинга, владельца нескольких мебельных магазинов. Там собрались знакомые, советских женщин поздравили, все шло мирно и приятно, но вечером попозже явился еще один гость, направился прямо к Бойковой и Шаверновой и к великому смущению хозяев заговорил в агрессивнo-враждебном тоне:

— Зачем вы сюда приехали? Что вам нужно в нашей стране? Я вас ненавижу!

Анна Петровна приняла вызов:

— Что ж, давайте объяснимся.

Разговор окончился тем, что агрессивный гость сказал обеим советским женщинам:

— А знаете — вы мне нравитесь.

На следующее утро мы были приглашены завтракать к жене губернатора штата Канзас. Особняк губернатора стоит на холме неподалеку от города. Когда мы подъезжали к холму, мы увидели небольшую кучку людей с грубо намалеванными, вызывающе антисоветскими плакатами. Это были мужчины средних лет, ветер трепал их пиджак и плащи, и вид у них был довольно-таки жалкий.

Губернатор Андерсон — молодой еще человек с открытым, энергичным лицом — встретил нас очень любезно. За завтраком шел оживленный разговор, Анну Петровну расспрашивали о ее депутатской работе, о советской избирательной системе, потом миссис Андерсон повела нас смотреть дом — и неприятное утреннее впечатление окончательно рассеялось. Но инцидент привлек внимание газет. В одной из них плакаты были воспроизведены крупным планом. Было сообщено, что губернатор после завтрака с советскими гостями подошел к пикетчикам, поговорил с ними, а потом ответил на вопросы журналистов о том, как он относится к этому происшествию:

— Что ж, у нас — свободная страна.

Свободная — для кого? Мне, признаться, не раз вспоминалась эта фраза в свете последующих драматических событий в жизни США.

Так или иначе население города отнюдь не солидаризировалось с действиями горстки хулиганов — скорей осудило их. Мы почувствовали это день спустя, в субботу десятого ноября, находясь на стадионе, где происходил студенческий спортивный праздник.

Хозяева поля — футболисты Уошбёрнского университета — разгромили «всухую» своих противников; игра была грубой и не понравилась нам. С тем большим удовольствием мы наблюдали вторую часть праздника, избрание университетской «королевы» 1963 года: хорошенькие претендентки на звание королевы объезжали стадион в открытых машинах, толпа их приветствовала, затем было объявлено имя победительницы, и проректор, произнеся несколько шутливо похвальных фраз, возложил бутафорскую корону на ее стриженую головку, — все это было мило и весело. Еще во время футбольного матча комментатор сообщил по радио о присутствии советских женщин, назвал наши имена, и публика дружно нам зааплодировала. Газета «Канзас-Сити стар» сообщила на следующий день: «Толика проявила доброжелательство к четырем женщинам из Советского Союза; более восьми тысяч болельщиков, присутствовавших на футбольном матче Уошбёрнского университета, устроили им шумную овацию в противовес пикетчикам, которые в пятницу протестовали против их визита».

По-другому памятным оказалось для нас утро десятого ноября. Мы были приглашены на богослужение в главную методистскую церковь города Топика: в этот день отмечалось «Воскресенье мира» — в память годовщины прекращения огня в первой мировой войне.

Нам вручили печатную программу богослужения, где мы прочли следующие строки: «Мы приветствуем сегодня Анну Бойкову, Тамару Мотылеву, Ларису Бабушкину и Любовь Шаверневу, гражданок СССР. Нашим приветствием мы хотим заверить их, что христианская церковь не признает «железного занавеса». Мы знаем, что люди всех наций — дети единого бога и, следовательно, братья».

(Дети единого бога... Я не увидела в этой церкви ни одного черного лица. У негров в Топике своя церковь.)

Молодой пастор Гленн Томпсон произнес проповедь на тему о мире. «Наша надежда на будущее, — сказал он, — в сотрудничестве наций и поисках справедливости для всех людей».

После богослужения мимо нас двинулся поток прихожан. С нами здоровались, нам говорили сердечные приветственные слова. Отцы и матери подводили к нам детей, и мы пожимали ребячьи ручонки. Сколько человек прошло мимо нас — двести, триста? Так или иначе это была демонстрация добрых чувств к нашей стране — демонстрация волнующая и искренняя.

...Десять дней спустя, во время пребывания в Вашингтоне, перед самым отъездом мы соприкоснулись с большим политическим миром США. В нашем плане стояло: «Посещение Капитолия». Организатором этого посещения была Аннели Стюарт, деятель Женской лиги за мир и свободу, а по основной профессии — лоббист. В приблизительном переводе это значит ходатай: она «проталкивает» дела различных общественных групп, которые должны рассматриваться в законодательных органах, и по роду своей работы лично знакома с виднейшими политическими лидерами страны.

Миссис Стюарт подготовилась к задаче, взятой ею на себя, необычайно тщательно. Она выучилась произносить правильно наши имена и фамилии, запомнила основные биографические сведения о каждой из нас, чтобы представлять нас государственным деятелям и журналистам. С помощью Хьюберта Х. Хэмфри, сенатора от штата Миннесота, человека широко известного своей поддержкой политики мирного сосуществования, она получила для нас пропуска на галерею сената и устроила ленч в сенатском ресторане.

Нас встретил в вестибюле сенатор от Арканзаса Дж. У. Фулбрайт, председатель Комиссии по иностранным делам. По внешнему облику он похож на ученого: тонкое интеллектуальное лицо, задумчивое и чуть ироническое выражение близоруких глаз. Он сказал несколько дружеских слов А. П. Бойковой и всем нам.

Во время ленча к нашему столу подходили и беседовали с нами и другие члены сената, главным образом те, которые сыграли активную роль в ратификации Московского договора.

В зале показалась сенатор Маргарет Чейз Смит. Очень любопытно было посмотреть на женщину, которая отвергает политику мира и предпочитает гонку вооружений. Сенатор Смит подошла к нашему столу, корректно-сухо поздоровалась. Худошавая, подтянутая, с аккуратно причесанными седыми волосами, около губ жесткая складка — властная натура. Именно такой я представляю себе героиню пьесы Дюрренматта «Визит старой дамы».

В ресторан все время входили люди. И за столами, и в проходах завязывались оживленные разговоры, — у нас сложилось впечатление, что многие важные дела решаются или обсуждаются именно здесь. У одного из столов в противоположном конце зала было особенно оживленно. Оказывается, там сидел губернатор Нью-Йорка Нельсон Рокфеллер. Его было трудно разглядеть — он был все время окружен посетителями.

Аннели Стюарт нерешительно спросила:

— Губернатор Рокфеллер, наверное, подошел бы поздороваться с вами, но вы видите, как он занят, он не может отойти от всех этих людей, которые его ждут. Не хотите ли подойти к нему сами?

Мы отрицательно замотали головой:

— Уи ар лэдис! — Мы — дамы!

Перед тем, как подняться на галерею, мы успели прочесть наставления, напечатанные на оборотной стороне гостевого билета. Не разрешается брать с собой пакеты, свертки, чемоданы, портфели. Запрещается стоять или сидеть на порогах или в боковых проходах, курить, аплодировать, читать, делать записи, фотографировать, а мужчинам также и оставаться в головных уборах. Нельзя класть на барьер шляпы, пальто и другие предметы; посетителям запрещается высовываться за барьер или класть руки на него.

Мы вошли на галерею и чинно уселись, соблюдая все правила: не делали записей, не курили, не клали рук на барьер, не аплодировали. Из ста сенаторов присутствовало не более пятнадцати. Медлительный и несколько вялый ход заседания в почти пустом зале представлял резкий контраст с той живой, динамичной картиной, которую мы наблюдали только что в ресторане.

...Мы посмотрели на часы и заторопились к выходу.

6

Американцы, оказывающие нам гостеприимство, как правило, принадлежат к той части населения, которую в США называют *upper middle class* — верхушка среднего класса. Милые, внимательные хозяйки охотно раскрывают перед нами свои владения от просторной гостиной внизу до детских и спален наверху, ведут в подвал, где стоит усовершенствованная стиральная машина, показывают кухню с электрической плитой, которая после пользования задвигается внутрь буфета и совсем не занимает места, и холодильником современного образца (вроде нашего ЗИЛа, только немного побольше). Я охотно пользуюсь всей этой техникой, осваиваю даже такой предмет далеко не первой необходимости, как электрическое одеяло, но от электрической зубной щетки отказываюсь: ручная, по-моему, удобнее.

Быт американских семей, с которыми мы знакомимся, заключает в себе немало привлекательного не столько в смысле материальных удобств — это дело наживное и для нас не самое первостепенное, — сколько в смысле нравов и привычек. Нам нравится, что большинство интеллигентных семей США привыкло, даже при хорошем достатке, обходиться без домашней работницы. Хозяйки тех домов, где мы живем, либо работают сами, либо тратят много времени на общественные дела; они управляются с домом не только благодаря различным механическим приспособлениям, облегчающим их труд, но и благодаря тому, что им помогают муж и старшие дети. Нам нравится широко распространенный в американском быту принцип: *do yourself* — делай сам! Взрослые потомки Тома Сойера, дяди с солидным достатком и учеными степенями, не только красят заборы, но и белят потолки, оклеивают комнаты водонепроницаемыми обоями, чинят замки — своими руками.

Привычка обходиться своими силами сказывается и в американской манере принимать гостей. Лишь изредка, в очень богатых домах, где мы бывали на обедах, гости сидят за столом, а еду подает прислуга. Гораздо чаще званые обеды устраиваются на началах самообслуживания. Вы приходите, вам предлагают подойти к столику и выпить — никого не обижает, если вы предпочитаете не виски и не джин, а томатный сок. Вы усаживаетесь в гостиной, участвуете в общей беседе, а потом хозяйка говорит как бы невзначай — «обед подан» или «еда в другой комнате». Вы подходите к большому столу, берете большую тарелку и — *do yourself!* — кладете на нее мясо, салаты, гарниры по выбору, садитесь опять на свое место, продолжаете разговор — никого не касается, едите вы много или мало: внимание присутствующих сосредоточено не на приеме пищи, а на разговоре, гости в течение вечера перемещаются и рассаживаются группами как хотят...

Несколько раз мы были на званых вечерах, которые называются pot-luck-party (от слова «pot» — кастрюля, и «luck» — удача). Каждая гостя привозит с собой одно горячее блюдо в кастрюле, из всего этого и составляется «обед наудачу», импровизированная общая трапеза.

...В городе Поукипси молодая учительница спросила нас:

— Вы, надеюсь, убедились, что в быту американской провинции многое изменилось со времени «Главной улицы» Синклера Льюиса?

На этот вопрос трудно было ответить в категорической форме. Те города, где мы были, — это не Гофер-Прэри и не Гранд-Рипаблик, не те одноэтажные или двухэтажные захолустные городишки, которые, по свидетельству не только Синклера Льюиса, но и наших Ильфа и Петрова, похожи как две капли воды один на другой и погружены в рутину бездумного деляческого существования. Поукипси находится как-никак поблизости от Нью-Йорка, а Хартфорд и Топика — центры штатов. В каждом из этих городов есть свои высшие учебные заведения, художественные музеи — словом, своя умственная жизнь. Правда, если судить по Хартфорду и Топике, местный Капитолий — здание, где находятся органы власти, в каждом городе похоже одно на другое и все они несколько наивно копируют большой, самый главный Капитолий, находящийся в Вашингтоне. И в нескольких городах на нашем пути встречалась улица под таким же названием, как у Синклера Льюиса, — Main street. Но в этом ли дело? Мы по многим поводам могли убедиться, что ветер больших исторических событий продувает иные глухие углы американской провинции...

В стародавних традициях американского быта есть свои приятные стороны. Когда мы были в Поукипси, там отмечался день «Халлоуинз» — народный праздник урожая. Дома были украшены пучком кукурузных стеблей — эмблемой изобилия — и громадными выдолбленными тыквами, в которых были вырезаны дыры, изображающие глаза, нос, рот. Когда мы сидели в доме ректора местного колледжа профессора Холла, в гостиную вошли дети в маскарадных костюмах, старший — мальчик в черной маске и в пиратской шляпе — ни дать ни взять старый моряк из «Острова сокровищ». В день «Халлоуинз» ряженые дети ходят из дома в дом, получают угощение, собирают в копилки деньги на общественно-благотворительные нужды. Перед нашим уходом хозяин дома поставил пластинку «Песнь Авраама Линкольна» — взрослые и дети слушали ее с таким благоговейным вниманием, словно в первый раз. У нас осталось теплое воспоминание об этом вечере, и о детях, и о песне — во всем этом была частичка того неповторимого, что дорого очень многим честным американцам и что составляет неотъемлемую часть их национальной культуры.

...Нас много раз спрашивали о жилищном строительстве и городских квартирах в СССР. И когда я говорю, что плата за трехкомнатную московскую квартиру не превышает двадцати рублей, мои собеседники ахают. Такие ставки квартирной платы им неизвестны. В Нью-Йорке мы были в квартире рабочего в недавно построенном доме — не частновладельческом, а муниципальном. Хозяин, квалифицированный металлист, зарабатывает четыреста долларов в месяц, а за квартиру размером не больше пятидесяти метров платит шестьдесят долларов, — считается, что это баснословно дешево, в частновладельческих домах квартиры обходятся гораздо дороже. Девушка-гид, которая показывала нам здание ООН, получает триста долларов в месяц (она знает несколько иностранных языков, включая русский), а за однокомнатную квартирку платит сто пятьдесят долларов. Дорого? Что поделаешь, дешевле тут поблизости устроиться нельзя, а надо жить недалеко от места работы, если нет своей машины...

Каждый город в США, включая и небольшие, состоит из нескольких обособленных комплексов зданий. Жилые районы — отдельно, причем домики-особнячки очень рассредоточены (нам встречаются дома под четырехзначными номерами). Деловая часть города — бизнес-центр — отдельно; торговый район — шоппинг-центр — отдельно; если тут есть колледж или университет, то учебные корпуса вместе с домами профессоров образуют особый поселок — «кампус». Машина

нужна, чтобы поехать и на работу, и за покупками, и к друзьям в гости — без нее пропадешь: общественный транспорт в США плох.

— Хорошо машиновладельцам, — говорит нам молодой советский ученый, находящийся в Вашингтоне в длительной командировке. — А я вот — жди автобуса сорок минут, чтобы попасть, куда мне нужно.

Да, заботы о пешеходах не видно. Автобусов в больших городах не так много, а на шоссе, связывающих один город с другим, они почти что вовсе не попадают. С утра и днем можно видеть желтые школьные автобусы, которые возят детей на занятия, а потом развозят по домам: это, конечно, хорошо придумано. Но рабочие и служащие таким удобством не пользуются.

— Своя машина — вовсе не такое уж удовольствие, — сказала мне пожилая работница, живущая недалеко от Сан-Франциско. — Но ведь без нее на работу не попадешь, другого транспорта у нас почти что нет.

У машиновладельца — свои заботы, свои расходы. В Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, кое-где в Хартфорде мелькает надпись: «Но паркинг» — стоянки нет. Есть другие места, где «паркинг» допускается только в определенное время дня, на определенный срок, нередко — за плату. Перед мостами, на людных дорожных перекрестках, перед линиями железных дорог высится повелительно лаконичная надпись: «Стой, плати пошлину». И водитель машины платит — четверть доллара, полдоллара, а то и больше.

Очень нелегко учесть все компоненты, из которых складывается бюджет американца. В типографии «Уэстерн Принтинг» — отличной большой типографии с современным оборудованием, выпускающей и многотиражные издания, и дорогостоящие детские книги с красочными иллюстрациями, — нам сказали, что минимальная зарплата для необученных рабочих — один доллар восемьдесят пять центов в час. Печатники — привилегированный отряд рабочего класса, для них давно уже установлены высокие ставки. Но когда мы пришли в просторный уютный кафетерий, где цены намного ниже, чем в городских ресторанах, и можно прилично закусить за доллар, нас удивило, что рабочих там в час перерыва было не так уж много. Мы видели брошюровщиков и линотипистов, которые съедали всухомятку взятый из дома завтрак, не выходя из цеха. Я спросила потом одного из наших новых знакомых в Поукипси, доктора Д., штатного психолога одной из больших местных больниц (есть, оказывается, такая должность!), почему рабочие типографии, несмотря на высокие заработки, не всегда позволяют себе поесть по-человечески? Ответ был прост:

— They're all in debt. — Они все в долгу! Платят в рассрочку за дом, за холодильник, за стиральную машину. Вот и урезают себя в чем только можно.

Из дальнейших разговоров с доктором Д. и его женой, учительницей, выяснилось, что и их семейный бюджет требует некоторого напряжения. За дом, купленный в рассрочку, приходится, и долго еще придется, платить шестьдесят долларов в неделю. Младшие дети, школьники, учатся пока бесплатно. А за старшего сына, студента университета, надо платить три тысячи долларов в год! Я не узнала, какую часть бюджета семьи Д. поглощают разнообразные налоги. В Вашингтоне один заслуженный профессор жаловался, что на налоги уходит тридцать пять процентов его заработка.

В США, как и в ряде стран Западной Европы, товары широкого потребления относительно недороги, продукты питания тоже сравнительно доступны. Но большое место в бюджете занимают расходы, вовсе нам неизвестные, — учение детей, лечение, медикаменты. (Нужен пенициллин — выкладывай десять долларов!)

А как все-таки живут те, которые не принадлежат к категории обеспеченных? К стати, здесь в обиходе редко встречаются слова «нуждающиеся», «обездоленные» — чаще для этих понятий употребляется более деликатное слово, которое еще не успело войти в словарь: «underprivileged» — недопривилегированные. С некоторыми сторонами жизни этой части американцев мы столкнулись в первые же дни.

Приемом нашей группы в Нью-Йорке руководила доктор Рита Морган. По специальности она педагог, по должности — консультант городского отдела народного образования, по убеждениям квакер и, как многие квакеры, — друг Советского Союза. Рита Морган — у меня осталось к ней чувство большой благодарности — сама показывала мне Нью-Йорк. Он описан в нашей литературе столько раз, что мне этого делать не надо. «Бруклинский мост — да... Это вещь!» — лучше Маяковского не скажешь! А про Сентрал-парк, единственный большой парк в гигантском городе, верно писали Ильф и Петров, что он устроен, видимо, для того, чтобы автомобили могли подышать там свежим воздухом: автомобильных дорог там много, а места для пешеходов мало... Но ведь каждый приезжий открывает Нью-Йорк для себя как бы заново, каждый по-своему обнаруживает, что, скажем, Бродвей, наперекор своему названию («широкий путь»), в значительной части не так уж широк, что знаменитый Уолл-стрит — всего-навсего короткая, мрачная с виду улица на южной оконечности острова Манхеттен, и что небоскребы, когда их видишь вблизи, и особенно в ясный день, по-своему красивы: в этих каменно-стеклянных громадинах, вонзающихся в небо, есть свое изящество и даже легкость. И вместе с тем — каждый приезжий убеждается в этом по-своему — Нью-Йорк утомителен и гнетуще неуютен. И вовсе не из-за величины зданий и не из-за уличного шума и грохота, а прежде всего потому, что в нем на протяжении километров не увидишь ни цветочка, ни травинки, ни деревца... Нью-Йорк — это, в сущности, не один, а несколько очень разных городов — в этом тоже каждый путешественник убеждается по-своему. Далеко не весь Нью-Йорк состоит из индустриально-деловых каменных глыб. Есть в нем и Гринвич-вилледж, аристократически-артистический район, состоящий из сравнительно невысоких, тщательно подновленных особняков в стиле XVIII века. Есть и свой Китай-город — Чайнатаун — живописно замусоренный, с китайскими вывесками и даже телефонными будками в китайском стиле. Есть и... Рита Морган помрачнела, когда мы въехали в Гарлем. Я оценила ее решимость — не скрывать от приезжего человека то, что составляет позор ее родного города. Мы довольно долго ехали улицами, где не увидишь ни одного белого. Ехали и по другим улицам, где живут пуэрториканцы — вывески лавчонок тут чаще всего на испанском языке, а многие закоулки могли бы служить декорацией для какой-нибудь новой «Вестсайдской истории».

— Видите, какая грязь на улицах, — сказала моя спутница со вздохом. — А завтра мы вам всем покажем Ист-Гарлем. Это район со смешанным населением — тут и негры, и итальянцы, и пуэрториканцы, и евреи. Вы увидите, как им живется. Но мы хотим вам показать и то, что общественности делает для них.

Передо мной брошюра об Ист-Гарлеме, изданная районным просветительным центром «Джеймс Уэлдон Джонсон». На нескольких фотографиях воспроизведены уличные сцены, близкие к тому, что мы увидели: старые, жалкого вида дома, тесно прижатые один к другому, убого одетый люд на балконах и около дверей. Цитирую текст: «Это — Ист-Гарлем. Большинство людей в Ист-Гарлеме никогда не знало хороших дней. Им приходится бороться за все — за место в жизни, за деньги, чтоб заплатить домовладельцу, за достойные условия существования. Здесь процент правонарушителей среди юношества один из самых высоких в городе. Дети приучаются к пользованию наркотиками. Они становятся опасными для самих себя, для района и для города. Все школы в Ист-Гарлеме переполнены. Фактически все они работают в две или три смены. Детям негде проводить свободное время. Здесь, в этом густонаселенном районе, борьба за существование на первом плане. Нужды детей часто — на последнем».

В Ист-Гарлеме, как нам сказали, живет двести тысяч человек. В новые муниципальные дома переселено сорок тысяч. Это значит, что четыре пятых населения района по сей день обитает в старых домах-трущобах.

Мы побывали в культурных учреждениях Ист-Гарлема, познакомились с их руководителями. В школе второй ступени, носящей имя Бенджамина Франклина, нас встретил доктор Ковелло, основатель этой школы, заслуженный педагог, эн-

тузиаст своего дела. Он с гордостью рассказал, что из трехсот выпускников нынешнего года шестьдесят человек пошло учиться дальше, — считается, что это много, ведь тут преобладает молодежь из малоимущих семей... В просветительском центре «Джеймс Уэлдон Джонсон» мы познакомились с директрисой мисс Милдред Зуккер; под ее началом — сложное хозяйство, тут и детский сад, и библиотека, тут ведется клубная работа с подростками, молодежью, пожилыми людьми, тут организуются «группы квартиросъемщиков», которые добиваются от домовладельцев, чтобы дома ремонтировались — хотя бы в самых неотложных случаях. Просветительский центр работает при материальной поддержке муниципалитета, но получает помощь и от благотворителей.

В районной поликлинике мы выслушали обстоятельный рассказ главного врача. Обстоятельный — и горестный! Самые распространенные заболевания в Ист-Гарлеме — туберкулез и венерические болезни. Среди молодых матерей — много незамужних, совсем еще юных женщин. Дети нередко рождаются недоношенными, весят при рождении от двух до трех фунтов (американский фунт — четыреста пятьдесят граммов). Больных, у которых вовсе не было бы средств на пропитание, в этом районе, как правило, нет, но многие болезни связаны с антисанитарными жилищными условиями.

Лечение в этой поликлинике бесплатное, работа врачей оплачивается городским отделом социального обеспечения.

— И вы принимаете всех желающих? Или только самых неимущих?

— Мы не спрашиваем наших пациентов об их материальном положении. В городских больницах — другое дело, там задают вопросы, — например, если женщина может заплатить за роды, с нее берут пятьдесят долларов... А сюда приходят те, кто нуждается в бесплатном лечении.

Мы прошли по коридорам поликлиники, увидели мрачные, бутылочного цвета стены, темную старую мебель, тесные кабинеты и поверили, что сюда приходят те и только те, кому нечем заплатить частному врачу.

В ходе разных бесед в США нам много раз пришлось слышать слово «welfare», иногда оно значит благотворительность, иногда — социальное обеспечение. Одна видная нью-йоркская журналистка, весьма состоятельная женщина, недавно побывавшая в СССР, рассуждала примерно так:

— Мне в вашей стране многое нравится, особенно то, что женщины достигли высокого положения в государстве. В этом смысле есть чему у вас поучиться. Но у вас своя концепция социализма, а у нас своя. Тем, кому плохо живется, общество помогает путем благотворительности — вот это наш социализм...

Система социального обеспечения в США очень пестрая и запутанная: в ней участвуют и городская администрация, и профсоюзы, и страховые компании, и благотворительные общества. Помощь, которую трудящийся получает (а в других случаях и не получает) при безработице, болезни, в старости, зависит от его профессии, от особенностей профсоюза, в котором он состоит, и от многих других переменчивых факторов.

— Зачем американским женщинам, — говорила мне одна из наших собеседниц, — оплаченный отпуск по беременности? Ведь многие предприниматели сами дают матерям-работницам пособие, чтобы было чем заплатить врачу.

Подчас трудно бывало убедить апологетов частной благотворительности, что никакие, даже щедрые (а всегда ли щедрые?) подачки хозяина не могут заменить трудящемуся человеку тех благ, которые в условиях социализма принадлежат ему по праву.

...В городе Гластонбэри нас пригласили на обед в Ротари-клуб. Такие клубы есть и в Англии, и в других странах Запада. Сюда принимаются только лица, занимающие «самостоятельное положение в обществе», то есть бизнесмены, владельцы адвокатских контор, больниц и т. п. Ротарианцы встречаются на клубных обедах для делового общения, для отдыха в кругу себе равных и вместе с тем занимаются благотворительностью: так принято.

Нас приняли добродушно-вежливо, краткая речь А. Бойковой была выслушана с напряженным любопытством (в члены Ротари-клуба принимаются только мужчины, и слышать женщин-ораторов здесь не привыкли). А затем мы были предоставлены сами себе — медлительный, тяжеловесный обед шел по привычному для ротарианцев ритуалу. Председатель клуба, постучав молоточком по столу, объявил, что у мистера такого-то на прошлой неделе был день рождения. Собравшиеся поднялись и пропели: «С днем рожденья, с днем рожденья поздравляем мы вас!» — а виновник торжества покорно вынул из бумажника несколько банкнот и опустил их в резиновую копилку-свинку, которую подставил ему назначен. Взнос в общую копилку делается, как нам объяснили, если член клуба упомянут в печати, если у него родился сын или внук и по разным другим поводам. После обеда нам в виде особой любезности предложили присутствовать на заседании директоров клуба. Рассматривались ходатайства нуждающихся лиц о помощи. У Ротари-клуба свои стипендиаты в местных колледжах; на средства клуба школьники совершают экскурсии в Нью-Йорк. Все это очень мило и доставляет самим благодетелям, наверное, немало удовольствия. Но покончить такими способами с нищетой, видимо, столь же легко, как вычерпать Гудзон суповой ложкой.

В чистеньком, уютном городке Гластонбэри, где среди густой зелени стоят особнячки обеспеченных жителей, бедность не разглядишь невооруженным глазом. Иное дело, например, большие города Калифорнии, где поблизости крупные предприятия, склады, верфи Сан-Франциско и куда приезжает из разных мест немало безработных в поисках куска хлеба. Там в глухих переулках попадаются двухэтажные деревянные домики захудалого вида, где лишь по числу почтовых ящичков (шесть, а то и восемь и десять) можно догадаться, сколько семейств здесь живет; в будние дни тут видишь бедно одетых празднующихся людей или целые семьи, сидящие на крылечке, — делать все равно нечего!

В городах Калифорнии чаще, чем в других местах, можно увидеть на улице «кэмпер» — небольшой закрытый автофургон, эдакий дом на колесах. На молочной ферме около Поукинси хозяин мистер Бенхэм, человек солидного достатка, показал нам свой кэмпер, похожий на салон-вагон — тут и диван, и душевая, и электроплита: так, конечно, можно путешествовать по всей стране. Но вблизи Сан-Франциско встречаются совсем другие кэмперы — небольшие, обшарпанные. Семьи безработных «путешествуют» в них — как Джоуды из стейнбековских «Гроздьев гнева» — в поисках заработка. И сколько таких в Америке? А ведь в официальную статистику безработицы они, наверное, не входят.

Осень — время сбора урожая — привлекает сезонную рабочую силу в богатые фруктами и хлопком места. Мне попадались объявления в таком роде: «Гонсалес снял виноград. Помощи больше не требуется». Или: «Требуется сборщики хлопка. Три доллара за сто фунтов. Транспорт 1. 65. Сбор у автобуса в 4 утра». Или: «Нужны 16 мужчин для раздачи листовок. 75 центов в час. Сбор в 5.45 утра. Должны уметь читать». Мне объяснили, что речь идет о рекламных листовках и что оговорка насчет умения читать совсем не лишняя: среди негров и пуэрториканцев есть и неграмотные.

7

Путешественник, который приземляется в нью-йоркском аэропорту, первым делом видит следующее. В зале аэропорта сидят служащие, которые проверяют билеты, документы, просматривают багаж прибывших пассажиров: все эти служащие — белые американцы. А несколько поодаль стоит бригада рослых носильщиков: все они — негры. Белую работу делает белый, черную работу — черный! Неужто так ничего и не изменилось с времен Маяковского?

Впечатления последующих дней показали нам, что перемены, конечно, есть. В Ист-Гарлеме мы встретили и негров-врачей, и негров-учителей, работающих вместе с белыми, на равных основаниях с ними. Черные и белые дети сидят там рядом и за школьными партами, и за маленькими столиками в детском саду. Нас

даже сфотографировали рядом с ребяташками разного цвета кожи, и снимок появился в газете «Нью-Йорк пост».

Но Ист-Гарлем — это еще не весь Нью-Йорк! Из разных бесед, которые мы вели с американцами, следовал вывод: за последние годы, особенно за время президентства Кеннеди, положение негров несколько улучшилось, но постыдные расистские нравы все еще очень сильны. И далеко не только на Юге, где мы не были, но и там, где мы были.

Одна из наших нью-йоркских знакомых, молодая журналистка А. — человек порывистый, ищущий, — рассказывала мне:

— Мы с мужем участвовали в походе на Вашингтон. И не только мы — много белых участвовало. Мой муж страстно ненавидит расизм — знаете почему? Он южанин, он вырос в той атмосфере и многого насмотрелся. Есть очень горячие защитники негров именно среди белых южан... Поход на Вашингтон — это необычайно важное событие. Если бы вы видели эти лица, полные решимости, это спокойствие! Шли молча, иногда пели песни. Шли с сознанием своей силы. У нас в Нью-Йорке очень многие убеждены, что дискриминация негров — это позор, с которым пора покончить. Но это не так просто. Взять хотя бы школы. Формально родители-негры вроде как бы могут отдать ребенка учиться куда угодно. Но ведь в каждую школу принимаются только дети, живущие поблизости. А во многих районах домовладельцы не сдают неграм квартир. Есть улицы, где живут только белые — там и учатся только белые дети...

Советским читателям известна драма Лоррэйн Хенсбери «Измюминка на солнце», опубликованная в «Иностранной литературе» в 1959 году. Там действие происходит в Чикаго. Семья трудящихся негров отстаивает свое право жить в той части города, куда по традиции не допускаются «цветные». Закон и человеческая справедливость на стороне героев пьесы, и они стоят на своем, хотя расисты прибегают и к скрытым угрозам, и к попыткам подкупа... Конфликт был взят писательницей из самой жизни. И то, что пьеса была с успехом поставлена в Нью-Йорке, отмечена премией Кружка театральных критиков, затем экранизирована — во всем этом знамение времени.

А как живет сейчас Лоррэйн Хенсбери? Мы навестили ее в Гротоне, недалеко от Нью-Йорка. Небольшой, очень светлый деревянный дом с плоской крышей, напоминающий мастерскую художника, стоит среди зелени над обрывом. Обстановка спартански простая, на стенах — репродукции Ренуара и гравюры замечательного художника-негра Чарльза Уайта. Нас встретила невысокая стройная женщина с одухотворенным, очень подвижным лицом, похожая на одного из тех мальчишек-подростков, каких можно видеть на улицах Гарлема. Она закончила новую пьесу, которая скоро должна быть напечатана и поставлена...

— Однако тут не обойдется без борьбы, — говорит она.

— Но ведь вы и есть борец!

— Надеюсь, что так...

Лоррэйн Хенсбери с интересом выслушала сообщение о том, как высоко оценил Джон Стейнбек в своих московских интервью то негритянское движение, которое развернулось ныне в США.

— Он так и сказал — революция? Правда? Лишь бы только это движение не пошло на убыль...

Нельзя сказать, чтобы среди тех образованных, обеспеченных американцев, которые нас принимали в разных городах, вовсе не встречалось негров. В доме известного врача, куда нас пригласили в Нью-Йорке, среди гостей была немолодая негритянка, доктор Милдред Фишер, занимающая ответственный пост в городской системе социального обеспечения. В школе второй ступени в Гластонбэри, где подавляющее большинство учеников белые, преподаватель математики — негр. В Пукинси на большом собрании, где присутствовали почитаемые в городе лица, была немолодая негритянка, которая весьма активно задавала нам вопросы. В Топике нас позвали на репетицию молодежного самодельного оркестра «Юс симфони» — там были юноши и девушки и белого и черного цвета

кожи. Но там же в Топике одна образованная дама ненароком бросила фразу, которая меня сильно покорибила:

— Среди негров теперь много смутьянов (troublemakers) — к счастью, они не все такие...

Когда мы приехали в Сан-Франциско, я попросила наших хозяек из Комитета международных дружеских визитов дать мне возможность познакомиться поближе с положением негров. Мне взялась в этом помочь Элизабет Айзенберг, активная участница местной организации «Кор» (Congress of racial equality — Конгресс расового равенства; среди его членов — и негры и белые).

Я встретила с группой деятелей «Кор» и увидела вблизи негров новой, современной формации — тех «смутьянов», возмутителей обывательского спокойствия, которые твердо намерены искоренить расизм. Это был необычный вечер: мне было предложено спрашивать, а мои собеседники отвечали.

Я спросила:

— Почему в различных почтенных обществах нам то и дело приходится видеть одного или двух негров среди большого количества белых — как это понимать?

Присутствующие улыбнулись.

— Слышали ли вы такое выражение — «tokenism»? Это от слова «token» — признак. Если в доме белых появляется гость-негр — это признак, что хозяйка против дискриминации. Или хотят показать, что против. Сейчас в северных штатах уже как-то неудобно быть расистом. Это, конечно, знаменательно. Но и сейчас то, что мы называем tokenism, проявляется в ограниченных пределах. Возьмем простой пример. Вы знаете, что есть студенческий обычай — избирать осенью университетскую королеву?

— Да! Мы даже были на коронации королевы Уошбёрнского университета, в Топике. И я обратила внимание, что одна из шести претенденток в королевы была негритянка и ее сопровождал юноша-негр.

— Вот видите! А у нас, в Калифорнии, негритянку, кандидатку в королевы, хотел было сопроводить белый юноша. Но университетское начальство воспротивилось. Выдвигать негритянку кандидаткой в королевы — это можно, это — признак либерализма. Но чтобы ее кавалером был белый — это уж слишком! Все это, конечно, мелочи. У нас здесь, в Калифорнии, есть более серьезные заботы.

— Какие именно?

— У нас, как и по всей стране, две главные проблемы — работа и жилье. Многие домовладельцы не хотят сдавать и продавать неграм дома — об этом вы, наверное, слышали. Но еще сложнее обстоит дело с работой. Общий процент безработных мужчин в стране примерно пять. А среди национальных меньшинств, в частности среди негров, безработных пятнадцать — двадцать процентов.

— А за права негров здесь борется только ваша организация?

— Нет, в стране таких организаций несколько. Прежде всего — движение Мартина Лютера Кинга на Юге. Доктор Мартин Лютер Кинг — большой человек, мы все его глубоко чтим. Но там, на Юге, — своя особая ситуация, свои задачи. У нас есть Комитет студентов-негров; есть и Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения... Сокращенно: «Эн-даблэй-си-пи». У нашей организации «Кор» два принципа: отрицание насилия и прямое действие.

— Как же вы действуете?

— Мы боремся прежде всего с безработицей и еще с одним злом — оно у нас называется underemployment. Это значит — использование работника ниже его действительной квалификации. Мы выясняем, сколько негров работает на фабрике или, скажем, в магазине, какие они занимают должности. Часто бывает, что негры работают грузчиками, уборщиками, сторожами — и только. Мы идем к предпринимателю и предъявляем конкретные требования: надо на такие-то свободные места принять негров, выдвинуть таких-то негров на лучшую работу...

— И хозяйка удовлетворяет ваши требования?

— Не всегда и не сразу. Но, как правило, с нами считаются. Если не счита-

ются — мы выставляем пикетчиков, ведем агитацию за то, чтобы покупатели не шли в магазин или бойкотировали продукцию такой-то фабрики. Это наносит ущерб коммерческим интересам предпринимателей... Конечно, мы не во всех случаях добиваемся успеха. Мешает нашему делу и то, что среди негров много неквалифицированных рабочих. Иногда мы требуем, чтобы хозяева создавали краткосрочные курсы для обучения негров тем или иным профессиям... Обратите внимание: в объявлениях о найме рабочей силы иногда имеются слова: «Equal opportunities» — равные возможности. Это значит — принимаются и белые и негры. Это не в малой степени — результат наших усилий. Раньше молодой рабочий-негр знал: учись не учись, все равно негру нет ходу, ничего в жизни не добьешься. А теперь мы говорим молодежи: учись — и добивайтесь своих гражданских прав!

...Два дня спустя я побывала в доме рабочего-негра. Рабочего, впрочем, далеко не рядового. В комнате с низким потолком стоит старенькое пианино, на стенах висят гравюры Чарльза Уайта; сын хозяина, подросток-школьник, показал мне семейную реликвию — советскую пластинку «Поль Робсон в Москве».

Хозяин дома мистер М. — по профессии фотограф, но сейчас работает кладовщиком на бумажной фабрике. Его жена занята на той же фабрике — там немало женщин-работниц, причем платят им значительно меньше, чем мужчинам. В должности кладовщика работает и друг семьи мистер Б., по профессии учитель. В этом человеке средних лет, с умными быстрыми глазами и неторопливой речью, чувствуются задатки народного просветителя и лидера: он и внешним и духовным обликом напомнил мне негритянского деятеля Мансарта — героя документальных романов Уильяма Дюбуа. Что поделалась — и фотографу и учителю не так-то легко получить работу по специальности. Мне потом объяснили, что работа на складе устраивает их обоих, потому что дает им возможность состоять в профсоюзе складских и портовых рабочих Западного побережья — это профсоюз передовой, он не допускает расовой дискриминации и защищает права своих членов.

Я встретила с семьями М. и Б. в хлопотливый для них день. И главы обеих семей, и их жены участвуют в деятельности организации «Эн-даблэй-си-пи». Эта организация проводила в тот день обследование населения большого района, где живут исключительно негры. Мне показали образец анкеты, которую давали заполнять всем взрослым. Там были вопросы в таком роде: где и в какой должности вы работаете? Какое у вас образование? Какую работу вы хотели бы получить? Какое содействие вам для этого требуется?

— Добиваться выдвижения негров на лучшие места очень трудно, — заметил с горечью мистер Б. — У нас есть теперь новый класс праздных людей — безработные... И вовлекать рабочих в борьбу за мир тоже по этой же причине нелегко. Многие боятся сокращений на предприятиях военной промышленности и прямо говорят: «Мирная экономика — опасность для нас» — или даже так: «Что мы будем делать, если разразится мир?»

...Я вспоминала об этих встречах и беседах в последующие дни, когда мы переехали из Сан-Франциско в Вашингтон. И вспоминала по понятной ассоциации роман Синклера Льюиса «Кингсблад — потомок королей», персонажей этого романа — умных и гордых интеллигентов-негров. Писатель очень прозорливо — сразу же после окончания второй мировой войны — показал рост чувства достоинства, гражданского сознания среди негров, нарастание в них нетерпимости к дискриминации и вместе с тем поназал, насколько живучи уродства расизма не только на Юге, но и на Севере. Столица США в этом смысле не составляет исключения.

Вашингтон — город музеев и официальных зданий, памятников и парков — не похож на другие американские города. Но и в этом городе есть свое негритянское гетто. Ребята-негры, и только негры, выбегающие гурьбой из школы или чинно идущие по улице в сопровождении негритянки-учительницы, район, где около магазинов, церквей, жилых домов не заметишь ни одного белого лица, —

все это можно увидеть на расстоянии двух-трех километров от прославленного памятника Линкольну. Негры величественного вида, подтянутые, одетые в форменные костюмы, несут охрану мемориальных зданий, дежурят в залах Национальной галереи искусств. А после службы отправляются в свой «гарлем». Нам рассказывали, что Ралф Банч — негр, член представительства США при ООН — с трудом нашел подходящее жилье в Вашингтоне. Домохозяйка не любит селить у себя «цветных», какой бы пост те ни занимали...

Олив Мейер сказала мне на прощанье:

— У вас было здесь мало времени, чтобы изучить негритянский вопрос; возьмите с собой вот эту пластинку. Это запись митинга в день похода на Вашингтон...

Демонстрация и митинг, состоявшиеся у памятника Линкольну в Вашингтоне 28 августа 1963 года, были подробно описаны в печати; речи Мартина Лютера Kingа и других ораторов были опубликованы целиком или в отрывках. Но звукозапись запечатлела то, что не попало в газеты: накаленную атмосферу митинга, интонацию каждой речи, разнообразные шумы двухсоттысячной толпы.

Перед началом собрания женский хор поет на старинный, однообразно протяжный мотив:

— Мы не боимся теперь, не боимся... Мы победим, придет наше время... Мы победим...

Удивительный оратор Мартин Лютер King! Ему всего тридцать пять лет, но говорит он как человек, умудренный огромным жизненным опытом. В его речи есть первозданная величественная простота, библейские и фольклорные образы сочетаются с будничными, житейскими понятиями, привычными для рядового американца.

— ...Мы пришли в столицу нашей страны, чтобы получить то, что нам причитается по чеку. (Оживление в толпе)... Мы отказываемся поверить, что банк справедливости обанкротился. (Взрыв аплодисментов, шум)...

...Мы не можем мириться с тем, что негр имеет возможность передвигаться лишь из более тесного гетто в более просторное... Мы не можем мириться с тем, что негр в Миссисипи не может голосовать, а негр в Нью-Йорке убежден, что ему не за что голосовать. (Одобрительный гул, аплодисменты.)

...Год 1963 — не конец, а начало. Не будет тишины, не будет покоя в Америке, пока негру не будут гарантированы его гражданские права...

Говорят еще и еще ораторы. Толпа скандирует слова клятвы — не успокаиваться, продолжать борьбу:

— Мы обя-зу-ем-ся...

И снова — хор женских голосов:

— Мы не боимся теперь, не боимся... Мы победим, придет наше время... Мы победим!

8

В свое время Ильф и Петров писали о «духовной вялости», которую всемерно поддерживает в людях американский капитализм. Писали, конечно, верно. И вместе с тем картина культурной жизни США значительно более пестра, более контрастна, чем это представляется на дальнем расстоянии.

В одном из небольших городов я увидела две автомашины, стоявшие рядом. Обе довольно потрепанные, они явно принадлежали людям скромного достатка. На задней стенке кузова одной из них, над номером, виднелся плакат — узкая полоса бумаги: «Посетите вашу церковь в воскресенье!» Другая машина была украшена афишей футбольного матча.

— Вот посмотрите, — сказал мой спутник, местный житель. — Церковь и спорт. Вот что больше всего интересует рядового американца после собственной работы и хлеба насущного.

В духовный паек такого американца входят, конечно, и телевидение и кино. Но те мыслящие люди, с которыми мы общались в США, к своим отечественным фильмам относятся критически, в кино ходят редко или вовсе не ходят. Еще более неодобрительно судят они об американском телевидении. В Нью-Йорке писательница и публицистка Мария Маннес рассказывала нам, как она сражается с засылем коммерции в телепередачах и как нелегко ей это дается. Молодые журналистки в Сан-Франциско расспрашивали меня о нашем телевидении:

— Говорят, что у вас вовсе нет рекламных передач? Как хорошо!

А когда я сказала, что у нас телевидение рассматривается как полноправный вид искусства, имеющий свою специфику, свои творческие проблемы (я сослалась, например, на интересную книгу В. Саппака), у моих собеседниц глаза загорелись.

Как известно, в США нет или почти нет постоянных театральных трупп. В Поупкипси работники местных библиотек спрашивали меня:

— Правда, что у вас много постоянных театров? И не только в Москве, в Ленинграде, но и в городах поменьше? Даже и в таком городе, как наш, мог бы быть свой театр? Невероятно!

В Нью-Йорке нас повели в эстрадный театр «Радио-Сити» — роскошное здание на Пятой авеню, но с такой оговоркой:

— Мы сами сюда не ходим и таких представлений не любим. Но Радио-Сити — популярное место увеселения в Нью-Йорке, приезжие здесь обязательно бывают, и вам, наверное, это будет любопытно.

Глядя на мюзик-холльную программу, которую в тот воскресный вечер смотрели несколько тысяч нью-йоркцев, я мысленно сравнивала ее с ревью, виденным в прошлом году в парижском «Фоли-бержер». В представлении «Фоли-бержер» была изрядная доля пошлости. Но были и отдельные номера, поставленные остроумно, изобретательно. Тут же мы увидели пошлость в чистом виде.

Совсем другое впечатление произвел на нас спектакль «Антология Спун Ривер» в «Бус-тиэтр» — маленьком театрике неподалеку от Бродвея.

Книга Эдгара Ли Мастерса «Антология Спун Ривер» (известная нашим читателям лишь в небольшой своей части, по отрывкам, переведенным И. Кашкиным и М. Зенкевичем) вышла впервые в 1915 году. В ней двести сорок четыре стихотворения. Это эпитафии и вместе с тем автобиографии, автохарактеристики жителей одного захолустного города: лаконичные до предела рассказы, написанные вольным стихом. Молодые артисты нашли для «Антологии Спун Ривер» оригинальное и простое сценическое решение. Перед зрителями — несколько мужчин и женщин, одетых в старомодные костюмы. Время от времени актеры на глазах у публики слегка изменяют свою внешность, надевают шляпу, платок, очки, пересплощавая то в одного, то в другого из персонажей «Антологии». Исполнение стихов перемежается пением народных песен — то печальных, то простодушно задорных — под аккомпанемент банджо. В спектакле-концерте присутствует и сатирическая и лирическая струя: тут и издевка над стяжательством и ханжеством, тут и любовь к простому человеку, и привязанность к патриархально-провинциальному быту, который как-никак человечнее и чище, чем самоновейшая космополитическая атомно-нейлоновая цивилизация!

Нам рассказывали, что в США сейчас наблюдается повышенный интерес к фольклору, в разных городах устраиваются конкурсы на лучшее исполнение народных песен, концерты музыкального фольклора передаются по радио. Публика, уставшая от визга и лязга ультрамодернистской музыки, тянется к старым народным мелодиям.

...В одном доме я увидела на книжной полке длинный ряд сборников «Ридерс Дайджест» в стандартно старомодных переплетах: в каждом томе — несколько романов в сокращенных вариантах.

— А у вас нет таких изданий? — спросил хозяин дома.

— У нас — нет, наши писатели не разрешили бы уродовать свои произведения подобным образом.

— А наши разрешают, им за это хорошо платят!

Но за последние годы в книжном деле произошли сдвиги. Распространилась практика выпуска книг в удешевленных массовых изданиях. Не только в книжных магазинах, но и в уличных и привокзальных киосках можно видеть наряду с авантюрно-криминальным чтивом и доброкачественную художественную литературу в изданиях карманного формата, в бумажных переплетах, часто с пометкой: «Полный, несокращенный текст». Такие издания, так называемые «пейпербакс», выходящие тиражом в полмиллиона экземпляров и больше, приближают книгу к массовому читателю.

Инженер-полиграфист, который показывал нам типографию «Уэстерн Принтинг», сказал, что тиражи комиксов имеют тенденцию падать: их «забывает» телевидение, но на сбыт серьезной художественной литературы телевидение не влияет. Это наблюдение книжника-практика немаловажно: оно опровергает мнение, будто роман устарел и отстывает перед конкуренцией телевидения, кино и радио.

Крупнейшие американские писатели XX века пользуются в стране широким читательским признанием. Посмертная слава Хемингуэя настолько велика, что сборник его ранних публицистических статей, написанных в двадцатые годы, вышел в 1963 году сразу массовым тиражом. К Фолкнеру отношение более сложное. Меня не раз спрашивали, знают ли его у нас. Когда я призналась, что мне трудно читать Фолкнера в оригинале, мне неизменно подавали реплику: «И нам тоже!» Вместе с тем Фолкнера уважают, считают одним из великих писателей столетия. Большим авторитетом — что бы ни говорила о нем критика — пользуется Стейнбек, его «Путешествие по Америке вместе с Чарли» считается одной из лучших книг последних лет; меня то и дело расспрашивали о его московских встречах и интервью. Из молодых прозаиков наиболее популярны те, в чьих книгах встают наиболее проблемные проблемы современной американской жизни. Джеймс Болдуин, талантливый и острый писатель-негр, вызывает споры как автор романов и широко признан, особенно в передовых кругах, как смелый публицист. Большое внимание привлекают к себе психологические романы Джона Апдайка, особенно «Кентавр», вышедший в 1963 году; у этой книги, сложной по форме, отмеченной резким социальным критицизмом, есть свои сторонники и свои противники. Зато исключительно счастливо, судя по всему, сложилась литературная судьба романа Харпер Ли «Убить пересмешника...»: эту книгу знают, любят, единодушно хвалят читатели разных профессий и возрастов.

...Мы были в доме фермера, где на полке — всего несколько книг: справочники по сельскому хозяйству, библия, антология американского юмора и объемистый однотомник избранных сочинений Марка Твена. Это самый любимый в США национальный классик.

В Хартфорде, в доме на Фармингтон-авеню, где ныне расположен мемориальный музей Твена, писатель жил с 1874 по 1891 год.

Музей Твена нам показывала заместитель директора Сэри Лоусон-Ларсон. Она охотно рассказывала историю каждой комнаты и чуть ли не каждой вещи. Вот модель памятника Твену, где писатель изображен вместе со своими героями; к сожалению, памятник так и не был воздвигнут, ведь для этого нужны средства... Вот издания Твена на разных языках, — вот видите, тут и новое собрание сочинений на русском языке, оно получено с помощью Ленинской библиотеки.

Миссис Лоусон-Ларсон ведет нас в научный читальный зал — здесь хранится часть писем Твена, первоначальные тексты некоторых крупных произведений. Но — далеко не все. Большая часть рукописей — в Калифорнийском университете, и осталось еще немало неопубликованного...

Беспокойство, неудовлетворенность — вот что звучит в последних записях и фрагментах Твена, которые он хранил под спудом. Писатель видел наступление новой, империалистической эпохи, и это внушало ему тревогу за судьбы человечества.

Тревога, беспокойство, неудовлетворенность — эти чувства свойственны многим современным писателям США. Об этом говорил Джон Стейнбек в своих бе-

седах с московскими литераторами и читателями. Об этом он говорит и в предисловии к сборнику стихов молодых поэтов, который вышел в Сан-Франциско в 1963 году под названием «Теперь». Я привезла с собой этот сборник — мне дали его поэты Аллен Гинзберг и Филипп Уэлен.

Сборник открывается большой поэмой Чарльза Плаймслла «Слава революции». Приведу отрывок в подстрочном переводе:

Америка скована ледяным страхом,
Он медленно завладел нами под личиной добра,
Но солнце растопит лед, когда будет надо,
Точно — когда будет надо.
...На экране телевизора чиновник,
Он говорит о «нашей» обороне,
Его лицо сияет безумием,
Оно сжигается паранойей.
Он говорит об «их» запасах оружия,
Это намек на Россию.
Войны теперь отгремели,
Безвинные лежат в могилах,
А я не хочу вооружаться
Против страны, чей народ
Тысячами приходит,
Чтобы послушать поэта...
...Не хочу, чтобы ученые подонки предписывали нам законы.
Пусть пишут законы те, кто сами испытали угнетение,
Пусть у власти будет тот, кто шагает
Вместе со всем человечеством...

Эти стихи внушают симпатию к автору: он тут говорит действительно о том, что наболело у миллионов людей. Но в других стихах сборника «Теперь» — отчасти и на других страницах поэмы «Слава революции» — есть немалая доля цинической бравады, словесного сумбура и мусора. В «Поэме на одну страницу» Филиппа Уэлена слова: «Идея свободы, чувство свободы, мыслить свободно, действовать свободно» — поданы в нарочито причудливом графическом расположении, в сочетании с непристойными ругательствами. По-видимому, иные поэты-бунтари надеются именно таким образом расшатать устои старого мира. Но это — попытка с явно не подходящими средствами.

По совету Аллена Гинзберга я пошла в Музей современного искусства на вечер поэта Герда Стерна. Вечер был задуман как опыт синтетического искусства, дающего одновременно зрительные и слуховые впечатления. На стенах зала с обеих сторон виднелись плакаты: «Who R-U». (Этот нехитрый ребус расшифровывается: «Who are you?» — «Кто ты такой?») У входа в зал висела небольшая печатная табличка, где автор пояснял, что он хочет дать публике непосредственное ощущение отдельно взятого слова в его самостоятельности и многозначности: в заключение он выражал благодарность лицам, благодаря материальной поддержке которых оказалось возможным смонтировать техническую аппаратуру, необходимую для устройства вечера. В зале было полутемно. На сцене стояло три освещенных экрана. На них то появлялись, то исчезали слова, короткие фразы или обрывки фраз, лишённые всякой связи и смысла. Все это сопровождалось музыкально-шумовыми эффектами или пением, похожим на завывание. Публика, сидевшая в зале, человек двести, судя по облику — небогатые интеллигентные люди, воспринимали это странное зрелище с несколько растерянным видом. Иногда слышался смех, иногда — единичные аплодисменты.

Мои спутники — художница и искусствовед — оценили опыт Герда Стерна довольно сдержанно; это экспериментальное искусство, а эксперимент, мол, как бы то ни было надо уважать...

Понятно, что многие интеллигенты Запада охвачены тревогой за будущее человечества, понятна и ненависть их ко всякому мещанскому стандарту в искусстве и в быту. Но обидно, когда все это выражается в уродливых словесных или живописных фокусах.

В Нью-Йорке я испытала глубокое разочарование, когда попала в знаменитый музей Гуггенгейма. Вот не повезло! Богатые коллекции музея были в то время убраны, чтобы освободить место для двух персональных выставок — Морриса Льюиса и Фрэнсиса Бэкона. Картины М. Льюиса — это заурядно бессодержательные абстракционистские полотна: разноцветные полосы, плоскости, примитивные геометрические формы — как образцы для обоев или занавесок это, быть может, и не так плохо, но зачем заполнять этим музейные залы? Картины английского художника Фрэнсиса Бэкона представляют собой нечто более сложное. Они не абстрактны, а предметны и даже с некоторой претензией на философское содержание. Человеческие тела — кровотокащие, изуродованные, искромсанные, нередко в вызывающе неприличных позах. Лица — звероподобные, идиотические. Цвет несвежего мяса в сочетании со свинцово-серым. Патологическая анатомия, возведенная в художественный принцип; человеку с элементарно здоровым восприятием такая живопись может внушить лишь отвращение. Но некоторые из моих нью-йоркских знакомых брали под защиту подобного рода искусство, ссылаясь на «хаос эпохи» и «протест против машинной цивилизации». Но если живопись Бэкона что-нибудь и выражает, то скорее капитуляцию человека перед враждебными ему силами, подчинение этим силам, чем протест против них! Еще с полбеды, если бы круг зрителей этой живописи ограничивался публикой музея Гуггенгейма. Но я видела вырезку из журнала с репродукциями картин Бэкона и хвалебной статьёй о них как образцах современного искусства в классе рисования одной из средних школ...

Было бы несправедливо умолчать о тех счастливых переживаниях, которые дали моим спутницам и мне художественные музеи США. В них сосредоточены громадные богатства. Даже в провинциальном Хартфорде музей «Атенеум» поражает разнообразием живописных ценностей: тут и человечный, мудрый «Святой Франциск Ксавер» Мурильо, и динамично красочная, словно предвосхищающая буйные полотна Делакруа «Охота на тигра» Рубенса, и «Портрет молодого человека» Рембрандта и многое другое. А о сокровищах, сосредоточенных в Вашингтонской Национальной галерее искусств, в нью-йоркском Метрополитен-музее, можно, вовсе не будучи искусствоведом, написать целые тома. Большая радость увидеть впервые картину, известную и любимую по репродукциям, ощутить мрачную силу «Герники» Пикассо, встретиться, как со старой приятельницей, с «Арлезианкой» Ван-Гога или «Цыганкой» Модильяни, проследить по оригиналам путь молодого Эдуарда Мане от традиционно условной живописи с сумрачным колоритом к пленеру, светлой палитре, образам живых современников.

В Национальной галерее искусств отродно не только обилие замечательных картин, но и умелая пропаганда знаний о них. В важнейших залах лежит на столе печатная листовка с краткими сведениями о художнике, с аннотацией-разбором каждой картины, — посетитель имеет право взять экземпляр листовки бесплатно.

9

Во всех городах, где мы были, мы встречались с молодежью, изучающей русский язык. Школьники изучают по выбору один или два иностранных языка, — многие выбирают русский. Преподавание его налажено сейчас, как нам сказали, в восьмистах школах США.

В русском классе школы имени Бенджамина Франклина в Ист-Гарлеме сидят двадцать подростков — белые и негры. Молодая учительница задает несложные вопросы — ученики отвечают. Воспроизвожу буквально:

- Как сегодня погода?
- Погода сегодня плохая.
- Как ты сегодня чувствуешь?
- Я чувствую хорошо.

Учительница показывает пластмассовые фрукты, и школьники называют: это

яблоко, это апельсин. Потом ребята поют хором под пластинку: «Чижик-пыжик, где ты был?»

Квалифицированных преподавателей русского языка, судя по всему, не хватает, а потребность в них растет. В школах широко используются пластинки с русскими диалогами и песнями (мы слышали в разных классах и «Метелицу», и «Катюшу», и «Подмосковные вечера»); школьники зовут учителя на русский манер — по имени-отчеству, а он в свою очередь дает им русские имена — Аня, Коля, в одном классе нам попалась даже Евдокия.

Школа второй ступени в Гластонбэри особо запомнилась нам не только потому, что там была устроена своеобразная пресс-конференция, но и потому, что там хорошо поставлено преподавание русского языка. Нас разместили в семьях учениц этой школы.

Я поселилась в доме инженера-механика Винсента Пёппелмейера. Три его дочери, Фрэн, Пегги и Барбара, семнадцати, тринадцати и двенадцати лет, — все три хорошенькие и шустрые — учатся русскому языку. Фрэн довольно прилично говорит, Барбара только еще начинает читать, а Пегги бойко повторяет наизусть диалоги, усвоенные с помощью пластинок: «Здравствуй, Маша, куда ты идешь?» — «Я иду в магазин купить подарок моей сестре, у нее завтра день рождения...»

Мистер Пёппелмейер относится к этим занятиям дочерей очень серьезно.

— Раньше мы, американцы, считали, что можно обойтись знанием родного языка. Теперь времена не те, мы все шире общаемся с другими народами, к нам приезжают люди из разных стран — надо уметь говорить с ними... Учитесь, девочки, скоро куплю вам магнитофон, оборудуем дома лингвистическую лабораторию!

Мы побывали на уроке русского языка в старшем классе, где учится Фрэн и где преподает Саймон Явнер (школьники зовут его Семен, Иванович). Он год занимался в МГУ, вспоминая об этом с удовольствием и до сих пор скучает по своим московским друзьям.

В начале урока учитель задал несколько вопросов по рассказу Чехова «Ванька»:

— Почему Ванька не мог учиться в школе? Потому что надо было зарабатывать на жизнь — так? А когда происходит действие этого рассказа? Давно, много лет назад, — верно, скажите точнее — до революции! Живут ли теперь русские дети так, как жил Ванька? Нет, теперь живут совсем иначе. Правильно. У нас здесь присутствует учительница из Москвы, Любовь Ивановна Шавернева. Пожалуйста, расскажите, Любовь Ивановна, как учатся сегодня русские дети?

Импровизированная десятиминутная лекция о советских школах выслушивается с самым живым интересом. Наступает моя очередь: Семен Иванович предлагает мне рассказать, как советские люди смотрят на искусство? И уж заодно, кстати: что такое социалистический реализм?

Вот не думала, не гадала, что доведется выступать на такую тему перед коньктикутскими школьниками! Имя Горького было знакомо моим слушателям — это облегчило мою задачу. Зато имя Джона Рида, к моему огорчению, оказалось им вовсе неизвестным.

Такие учителя, как Саймон Явнер, прививают школьникам не только знание русского языка, но и идеи американско-советской дружбы. Таких педагогов-славистов, может быть, и не очень много, но они есть. Скажем, в Поукипси в одной из школ русский язык преподает Фрида Казнер и она же возглавляет местный филиал Комитета международных дружеских визитов. Она недавно была в Советском Союзе, серьезно работает над диссертацией и хочет учесть в этой работе точку зрения советских ученых. В духе идей мира и взаимопонимания народов она воспитывает и своих учеников, и своих собственных детей-подростков.

Преподавателей русского языка и переводчиков с русского готовят отделения славистики колледжей и университетов. Беда в том, что эта отрасль науки на протяжении десятилетий находилась — находится отчасти и сейчас — в руках

белоэмигрантов. В Вассарском колледже нам рассказали, что у них долгое время преподавала русский язык «сама» Александра Толстая. Сейчас она уже на пенсии, но иногда приезжает в Вассар читать лекции. Можно себе представить, какие представления внушает она своим слушательницам о Советском Союзе и советской культуре! Среди преподавателей этого колледжа, с которыми мы встретились, была миссис С. — дама с русской фамилией, весьма преклонного возраста, — как нам сказали, профессор русского языка. В разговоре она обнаружила поистине дремучее невежество в области советской литературы и полное отсутствие интереса к ней.

О результатах такого преподавания мы смогли судить по беседам со студентками Вассарского колледжа. Некоторые из этих милых, изящных мисс бегло болтают по-русски, но знакомство с советской литературой — и художественной и научной — у них самое приблизительное.

В Нью-Йорке я благодаря помощи ассистента Колумбийского университета Элизабет Валкенир смогла встретиться с группой молодых научных работников-славистов. Некоторые из них занимаются русской классической литературой со старанием и любовью. Один изучает истоки русского романа в XVIII веке, другая — своеобразие драматургии Чехова в сопоставлении с его прозой.

Однако у меня сложилось впечатление, что в иных случаях научные стремления начинающих славистов сковываются привычными, далеко не научными догмами буржуазного литературоведения...

Я провела час в Колумбийском университете на семинаре по истории русской критики, куда пригласил меня профессор Роберт Магуайр, человек молодой и знающий. В руках студентов — томик избранных статей Белинского, Чернышевского и Добролюбова в американском карманном издании. Длинноволосая девушка в очках выступает с рефератом по статье Чернышевского «Русский человек на rendez-vous». Видно, что ей импонирует страстность великого критика, его, как она говорит, «взволнованный ораторский тон»; цель этой статьи, утверждает она, «возбудить народ к действию». Но и в ходе прений, и в заключительном слове руководителя семинара сказываются отголоски шаблонного и предвзятого тезиса о равнодушии классиков русской критики к художественной природе литературы.

Я просмотрела в нескольких университетских библиотеках предметный каталог книг по истории советской литературы. Работы наших литературоведов там присутствуют, хотя и далеко не все и далеко не самые новые. Гораздо полнее представлены писания американских и западногерманских славистов, имеющие более или менее открыто выраженную антисоветскую направленность. Неприкрытая враждебность к нашей литературе заметно сказывается и на составе и на комментариях некоторых хрестоматий и сборников, которые изданы большими тиражами и имеются во многих школьных библиотеках.

Характерный пример — «Антология русской литературы советского периода от Горького до Пастернака под редакцией, в переводах и с комментариями Бернарда Гилберта Герни». Почти половину этой книги занимает антиреволюционный роман Е. Замятина «Мы». Вся современную советскую литературу составитель в своих комментариях называет «эрзацем», который создается «халтурщиками и приспособленцами». Тексты произведений, приведенных в «Антологии», переведены, в общем, нельзя сказать, чтобы неточно, но местами препарированы так, что приобретают одиозный смысл. Стоит привести хотя бы один пример — в «Двенадцати» Блока строки: «...В красной гвардии служить — буйну голову сложить!» — переведены так: «...В Красную Армию служить и умереть, как забияки-дураки!» Комментируя «Скифы» Блока, составитель обращает особое внимание на четырнадцатую строфу: «А если нет, — нам нечего терять, и нам доступно вероломство...» — и усматривает в ней некий пророческий смысл, намек на «будущее, обремененное стронцием-90».

В другом издании подобного типа — в книге «Русские рассказы» под редакцией и в переводах неизвестного Глеба Струве — тексты даны параллельно на русском и английском языках. Тут по замыслу должна быть представлена рус-

ская литература от Пушкина до наших дней. Однако из всей советской литературы Глеб Струве отобрал — помимо рассказа Е. Замятина «Пещера», трактующего действительность первых послереволюционных лет в гротескно-пастельном духе, — всего два произведения: «Смерть Долгушова» Бабеля и «Святочную историю» Зощенко. Горький в хрестоматию не включен, как объясняет составитель в предисловии, по недостатку места (!).

Разумеется, все это не случайно. Среди американской молодежи существует — я убедилась в этом на множестве примеров — здоровый интерес к русскому языку, здоровая любознательность по отношению к советскому народу и его культуре. Но этот интерес используется в корыстных или злых целях издателями-коммерсантами, переводчиками-фальсификаторами, «специалистами» из эмигрантов, которые пытаются привить ложные представления о нашей стране. И это не может не наносить ущерба делу взаимопонимания народов.

Калифорнийский университет в городе Беркли — один из центров, где готовят славистов. Здесь отделением славянских литератур заведует названный выше профессор Струве. Я встретила с большой группой аспирантов и молодых научных работников университета на квартире у одной из преподавательниц. Далеко не все они разделяют идейные позиции своего наставника. Среди них были, судя по тону разговора, люди очень разные: и явно предубежденные по отношению к нашей стране, и корректно равнодушные, и вполне доброжелательные. Многие из них регулярно следят за нашей печатью и новыми книгами. Но если они и знают советскую литературу, то односторонне, выборочно. О направлении их интересов свидетельствовали заданные мне вопросы: «Когда у вас напечатать Андрея Белого?», «Почему у вас не издают Пильняка и Замятина?» и т. д. Мне нетрудно было обнаружить у моих собеседников серьезные пробелы в знаниях даже в кругу тех вопросов, которые их, казалось бы, интересуют. У них был двухгодичный семинар по русской литературе двадцатых годов, но им незнакомо имя Виктора Кина или мало что говорят имена Ларисы Рейснер или Сергея Третьякова. Они задавали вопросы о нашей молодой прозе. Но им неизвестны произведения Ю. Бондарева и А. Кузнецова. Никто из участников беседы не читал роман Д. Грапина «Иду на грозу».

Меня много и придирчиво расспрашивали в разных городах и аудиториях об издании американской литературы в СССР и с удовольствием убеждались, что у нас знают и Мелвилла, и Торо, и Колдуэлла, и Сэлинджера, что у нас отлично переведены и Лонгфелло и Роберт Фрост, ставятся на сцене и Артур Миллер и Тенесси Уильямс. Я могла, не греша против истины, сказать, что в «читательский минимум» образованного советского человека входят по крайней мере четыре-пять, а то и больше крупных американских писателей нашего столетия. А сколько есть интеллигентных американцев, которые не читали ни одной советской книги? Они, может быть, и рады бы прочесть, но выбор не столь велик. В СССР (по данным Иностранной комиссии Союза писателей) изданы произведения двухсот пятидесяти семи американских прозаиков, поэтов, драматургов. Число советских авторов, книги которых вышли в США, несравненно меньше.

Многие и многие американцы хотят — мы в этом убеждались вновь и вновь! — знать правду о Советском Союзе. Но источников такого познания у них не столь уж много и добрать до этих источников не всегда легко.

На фоне той предубежденности, того недоброго безразличия, на которые налетывается все советское у немалой части ученого и издательского мира США, тем ярче выступает деятельность американцев, которые, преодолевая препятствия, идя нередко против течения, помогают развитию дружеских отношений между нашими народами.

...Мне хочется рассказать об Алисе Ричардс, последней, восьмой по счету хозяйке, оказавшей мне гостеприимство в США. Это высокая седая женщина с тонким профилем, с большими задумчивыми глазами, говорящими о нелегких жизненных испытаниях. Много лет назад она ушла из богатой семьи, чтобы соединить свою судьбу с человеком прогрессивных убеждений. И она, и ее муж — ода-

ренные, стойкие духом люди, активные сторонники мира. Не так давно они оба повторили — пусть в уменьшенном масштабе, но и в гораздо более трудных условиях — творческий подвиг супругов Торндайк. Они вдвоем сняли, смонтировали, выпустили документальный фильм о Советском Союзе, почти полнометражный: он идет час десять минут. Авторы фильма проделали путешествие по Советскому Союзу — на восток от Москвы до Иркутска и Ташкента, и на юг до черноморского побережья Кавказа; они показали несколько больших городов, труд и быт советских женщин, судьбы народов Средней Азии, их экономику, культуру, искусство. Эта картина не вышла на большие экраны, но она демонстрируется в различных аудиториях, имеет негромкий, но прочный успех, доносит до американских зрителей дыхание советской жизни.

Идея дружбы с Советским Союзом и мира между народами медленно, но верно завоевывает новых сторонников, проникает в сознание подрастающего поколения. Это проявляется в разных формах.

В Калифорнии одна молодая мать с гордостью показала мне рисунок своей девятилетней дочери. Я не сразу поняла причину этой гордости — рисунок был сделан довольно неумело. Но мать объяснила мне:

— В школе, где учится моя Джули, проводился «вечер открытых дверей», куда приглашаются родители. Детям дали задание — нарисовать и подарить родителям свой автопортрет. Джули отдала мне эту картинку и сказала: «Кажется, не очень похоже получилось, и лицо не совсем так, и «пони-тэйл» («конский хвост») совсем не вышел, но все же, мама, здесь можно меня узнать — видишь, у меня тут тот же значок, какой носишь ты».

Девочка нарисовала себя со значком женской организации, выступающей за мир.

Этот рисунок остался у меня в памяти как одно из обнадеживающих впечатлений, полученных за двадцать шесть дней пребывания в США.



ПУБЛИЦИСТИКА

В. СМОЛЯНСКИЙ

Комментатор АПН

★

НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ НА СТАРЫЙ ЛАД

Мы уже привыкли к тому, что идейные противники коммунизма на каждом этапе истории советского общества, на каждом сколько-нибудь существенном ее повороте высказывают самые мрачные прогнозы относительно нашего будущего. Чего только они нам не сулили! В последнее время самым модным стало предвещать провал советского планирования. Они усердно выискивают «структурные пороки» и «диспропорции» в советской экономике, и «кризисы» в идеологии, твердят о тенденции к понижению темпов хозяйственного роста, чтобы возвестить о нереальности генеральной перспективы нашей страны.

Придумывание всевозможных «кризисов», которые вот-вот появятся, а затем «углубятся», стало любимым занятием антикоммунистов. Они готовы ухватиться буквально за любую соломинку, лишь бы навести тень на социалистическую державу. Но действуют они такими старыми, затасканными методами, о которых говорил еще В. И. Ленин: «В области явлений общественных нет приема более распространенного и более несостоятельного, как выхватывание отдельных фактиков, игра в примеры. Подобрать примеры вообще — не стоит никакого труда, но и значения это не имеет никакого, или чисто отрицательное, ибо все дело в исторической конкретной обстановке отдельных случаев. Факты, если взять их в их целом, в их связи, не только «упрямая», но и безусловно доказательная вещь. Фактики, если они берутся вне целого, вне связи, если они отрывочны и произвольны, являются именно только игрушкой или кое-чем еще похуже».

Именно такой игрой в фактики, таким выдергиванием частных примеров из критических материалов советской печати, партийных выступлений для создания в целом ложной картины социалистической действительности и занимаются западные идеологи антикоммунизма, многие из которых сльвуг «экспертами по России». Они по-своему «анализируют» и неурожай прошлого года, и поворот в сторону Большой химии. Все это используется ими для поиска «кризисов» и дает повод для призывов проводить «жесткую», «ультимативную» политику в отношении Советского Союза.

СТАТИСТИКА ПРОТИВ СОФИСТИКИ

В интервью корреспонденту американского журнала «Лук» (декабрь 1963 года) западногерманский экс-канцлер Аденауэр заявил: «Я могу сказать вам, основываясь на исследованиях, проведенных нашими экспертами, что я знаю, как отчаянно нуждается Советская Россия в нашей помощи. Она не может получить ее ни в каком другом месте. Но если свободные страны предоставят России помощь, в которой она нуждается, им следует сделать это лишь на определенных ясных условиях: пусть Россия делами, а не только словами покажет, что она изменила свою политику в отношении Запада.

Сейчас у нас есть возможность настаивать на уступках в обмен на помощь. Помогать русским стать более сильными и более процветающими без таких условий — может стать для нас самоубийством».

И это говорит человек, проживший долгую жизнь, который должен был бы усвоить азы исторической грамоты. Кому-кому, а ему доподлинно известно, что Страна Советов пересела с сохи на трактор и совершила прыжок в космос безо всякой помощи Запада. Тем более нелепо говорить теперь о каком-то «безвыходном» положении СССР! Однако, как известно, Центральное разведывательное управление США подхватило эту заведомую нелепость и заявило, что ежегодный прирост советской экономики составляет всего 2,5 процента! Агентство Ассошиэтед Пресс, основываясь на этом, сообщило (9 января с. г.): «Выводы ЦРУ подкрепляют довод Вашингтона, что его западные союзники не должны предоставлять русским долгосрочных кредитов».

ЦРУ на сей раз хватило через край настолько, что многие американские ученые вынуждены были дезавуировать официальные оценки. Вот что они заявили — профессор Нью-Йоркского университета Н. Спунберг: «Я просто не могу в это поверить». Профессор Сиракузского университета Уоррен Исон: цифра ЦРУ «ужасно занижена». Профессор Индианского университета Роберт Кэмпбелл: «Разница между данными ЦРУ и имевшимися ранее данными фантастична». Фальшивку ЦРУ пытался подкрепить московский корреспондент «Нью-Йорк таймс» Теодор Шабад. Он передал в США свои «расчеты», по которым темпы экономического роста СССР возросли в 1963 году всего лишь на неполных три процента.

Как экономический комментатор агентства печати Новости, я направил тогда же редактору «Нью-Йорк таймс» письмо, которое просил опубликовать на страницах его газеты. Я писал в нем, что не могу согласиться с толкованием некоторых показателей из сообщения Центрального Статистического Управления СССР об итогах выполнения плана развития народного хозяйства СССР за 1963 год, которое дает Теодор Шабад. Он, например, уверял, что в сообщении ЦСУ, мол, умышленно были опущены данные о национальном доходе, которые-де подкрепляли оценку советской экономики экспертами ЦРУ. Но ведь цифру роста валового общественного продукта Советского Союза, то есть суммарной продукции всех отраслей материального производства (увеличение в прошлом году по сравнению с предыдущим — пять процентов), ЦСУ СССР опубликовало. Такой показатель принят во всей международной практике. Им пользуется и американская статистика в качестве основного показателя развития экономики. Он неоднократно упоминался и в выступлениях Кеннеди, и в посланиях Джонсона! Поэтому противопоставлять рост валового общественного продукта росту национального дохода или считать, что с помощью одного показателя кто-то пытается скрыть другой, глубоко ошибочно, так как динамика обоих показателей почти совпадает. Если, например, за 1952—1962 годы валовой общественный продукт СССР увеличился на 138 процентов, то национальный доход — на 141. Эти цифры опубликованы в статистическом ежегоднике «Народное хозяйство СССР в 1962 г.».

Нет оснований сомневаться в том, что и в 1963 году цифры роста валового общественного продукта и национального дохода примерно одинаковы. Несколько более позднее формирование цифры национального дохода СССР за 1963 год объясняется просто: на получение отчетных данных не только о продукции отдельных отраслей, но и материальных издержках производства требуется немало времени. А установить окончательно величину этого показателя можно только после получения отчетности всех заводов, фабрик, строек, колхозов, совхозов и т. д. Сделать же это в масштабе такой огромной страны, как Советский Союз, не так-то просто.

Г-н Шабад подошел, однако, к делу, скажем прямо, неквалифицированно (не хотелось бы думать худшее). Он использовал предположительную цифру национального дохода из газетной статьи, а не из официального документа, к тому же статья, опубликованной всего лишь несколько дней спустя после окончания года. Правда, и здесь он допустил неточность: в статье речь шла о том, что национальный доход СССР в 1963 году перевалил за 170 миллиардов рублей (то есть был больше), а Шабад взял эту цифру как окончательную. Дальше — больше. Он разделил показатель нацио-

нального дохода в ценах 1963 года на аналогичный показатель предыдущего года в ценах 1962 года. Но такая арифметика экономически не оправдана. Ибо брать надо соотношение национальных доходов за 1963 и 1962 годы, пересчитанных на единой основе — в сопоставимых ценах (ценах одного определенного года — скажем, оптовых ценах на 1 июля 1955 года). Стоит лишь это сделать — и результаты окажутся совсем не такими, что у г-на Шабада.

«Нью-Йорк таймс» опубликовала мое письмо (6 февраля с. г.). Но отнюдь не для того, чтобы исправить ошибку своего московского корреспондента. Через несколько дней она поместила статью одного из своих экспертов по советской экономике Гарри Шварца, который без какой-либо серьезной аргументации, просто ссылаясь на профессора Питера Уайлза, отстаивал данные ЦРУ. А 12 февраля под заголовком «Советскому экономисту возражают. Не видно оснований для критики доклада о темпах роста дохода» было опубликовано еще и письмо Абрама Беккера из экономического отдела корпорации «Рэнд» (Санта-Моника, Калифорния).

Г-н Беккер торопился подчеркнуть, что американское понятие о национальном валовом продукте очень сильно отличается от понятия с валовым общественным продукте, поскольку оно включает такие услуги, которые считаются «непроизводительными» в советской теории, и исключает промежуточный продукт, который включает советское понятие.

Полемизируя с нашей точкой зрения, он писал: «Утверждение, что в январе еще слишком рано давать оценку национальному доходу за предыдущий год, было бы более убедительным, если бы Советский Союз не публиковал регулярно таких оценок в ежегодных докладах о выполнении годового плана».

Известно, что корпорация «Рэнд» занимается исследованиями, скажем прямо, весьма близкими к проблемам, «изучаемым» ЦРУ. Поэтому у меня сложилось впечатление, что г-н Беккер представлял в своем письме не только самого себя и не только частную корпорацию. И я снова обратился к редактору «Нью-Йорк таймс». Я разъяснил ему, что окончательные цифры национального дохода Советского Союза появляются в статистических ежегодниках «Народное хозяйство СССР» обычно в середине следующего за отчетным года. Они значительно точнее, чем предварительные январские оценки. За 1960 год, например, эти показатели в фактически действовавших ценах (в миллиардах рублей) были: 144 («Правда», 26 января 1961 года) и 146,6 («Народное хозяйство СССР в 1960 г.», стр. 153). Окончательная цифра увеличилась по сравнению с предварительной оценкой на 2,6 миллиарда рублей. Данные за 1962 год были соответственно: 161,5 («Правда», 26 января 1963 года) и 165,1 («Народное хозяйство СССР в 1962 г.», стр. 482). Снова увеличение на 3,6 миллиарда рублей.

Вероятно, поэтому, учитывая опыт прошлых лет, ЦСУ СССР в целях предоставления более точной информации не опубликовало оценочной цифры национального дохода страны за 1963 год.

Г-н Беккер отметил, что методология определения валового национального продукта США отличается от методологии расчета валового общественного продукта СССР. Но почему-то он позабыл сказать, что и метод подсчета национального дохода США также отличается от советского метода. В национальный доход СССР не включаются непроизводительные услуги, в то время как американская статистика включает их. Тем не менее и в советских и в американских официальных выступлениях сопоставляются темпы роста СССР и США (в результате соответствующих расчетов).

Я рассказал об этой переписке, чтобы еще раз показать недобросовестность американских экспертов. А ведь на «данных» ЦРУ пытались строить целую внешнеполитическую концепцию.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РОСТ И «РУССКИЙ ВОПРОС»

Когда корреспондент «Лук» спросил Аденауэра, думает ли он, что Запад разделяет его мнение насчет торговли с Советским Союзом — ведь речь сейчас идет о хлебе для населения, — Аденауэр ответил: «Приходилось ли вам слышать об осажденной крепости? Ни одна страна не пострадала в такой степени от берлинской стены, как Германия,

и поэтому нужно сказать: «Хочешь пшеницу — докажи свою добрую волю и уберечь стену». Нужно сказать, что мы в корне расходимся с г-ном Аденауэром в понимании «доброй воли». Но не в этом суть. Разумно ли преходящие трудности советского хозяйственного роста делать основой для языка ультиматумов? Исторический опыт свидетельствует как раз об обратном...

Гёте сказал как-то: цифры не управляют миром, а показывают только, как мир управляется. В самом деле, цифры статистики характеризуют социальный и экономический прогресс. Познакомьтесь со статистическими ежегодниками ЦСУ СССР. Какой великолепный материал для анализа хода и исхода исторического состязания советской и американской экономики дают они! В них систематизированы обширные данные о территории и населении нашей страны, приводятся основные показатели развития народного хозяйства в целом и его отдельных отраслей, роста материального благосостояния трудящихся. и так далее. Советская статистика получила, как известно, объективное признание многих западных ученых-специалистов, в том числе и далеких от симпатий к коммунизму. Английский экономист Роджерс Пирсон в своей работе «Существование конкурентов» писал, что «некоторые преувеличения могут там иметь место, но эти цифры являются именно теми цифрами, на которых советские правительственные ведомства основывают свои расчеты, и, хотим мы этого или нет, мы должны согласиться с тем фактом, что они не могут быть далеки от истины». Американский экономист Дж. Бэдиш более прямодушен: «Основанная на централизованном планировании и контроле, социалистическая система для того, чтобы функционировать, нуждается в точной статистике».

Факты — упрямая вещь. И те буржуазные социологи, которые не закрывают глаз на действительность, вынуждены признать объективность наших статистических данных.

Так вот, если взять важнейшие показатели, исчисленные по единой методологии, то картина будет такая: за 1950—1962 годы национальный доход Советского Союза вырос в три раза, а в Соединенных Штатах — на 45 процентов.

Не менее красноречивы и данные о среднегодовых темпах прироста промышленной продукции. Советский Союз шагает вперед почти в три с половиной раза быстрее Соединенных Штатов. Разрыв между Советским Союзом и Соединенными Штатами за 1950—1962 годы по общему объему промышленного производства и в расчете на душу населения сократился более чем в два раза, а по сравнению с уровнем дореволюционной России в 1913 году — в пять—семь раз. Советский Союз уже не только догнал, но и оставил Соединенные Штаты позади по производству железной руды (174 процента к уровню США), цемента (102), зерновых комбайнов (361), тракторов (149), шерстяных тканей (131), молока (110), животного масла (127) и некоторой другой продукции.

Добавим, что показатели планового роста советской экономики перекрываются практикой: фактически прирост промышленной продукции выше, чем намечалось в общенациональной хозяйственной программе. Меняются структура и пропорции советской экономики. Опережающими темпами развивается химическая индустрия, возрастает удельный вес отраслей, связанных с современной научно-технической революцией. Кроме химии, это радиоэлектроника, полупроводники, автоматика, атомная энергетика и другие отрасли. Фронт этой революции необычайно широк. В ней участвуют миллионы людей.

Ведь уже доказано, что для социализма характерен интенсивный, а не экстенсивный рост в промышленности. Под «интенсивным ростом» мы подразумеваем увеличение производства главным образом за счет повышения производительности труда. Именно таким путем в первой пятилетке был получен 51 процент всего прироста промышленной продукции, во второй — 79, за военные годы и в четвертой пятилетке — 69, в пятой — 68 процентов. А за 1959—1962 годы — 66 процентов общего прироста промышленного производства.

У нас есть немало предприятий, где производительность труда уже не только достигла, но и превысила американский уровень на аналогичных производствах. Например, на Магнитогорском металлургическом комбинате на одного работника выплавляется стали и чугуна в полтора раза больше, чем на американских металлургических заводах. На многих нефтяных промыслах Татарии производительность труда в полтора-

два раза выше, чем в Соединенных Штатах. Конечно, пока это отдельные факты — мы еще значительно отстаем от Америки в целом, — но в них выражена общая тенденция: производительность труда в промышленности Советского Союза возрастает почти в два раза быстрее, чем в Соединенных Штатах.

Один из важнейших сдвигов, происходящих ныне в структуре общественного производства СССР, — это повышение удельного веса химической индустрии. Оно и понятно: химия расширяет сырьевую базу, дает новые материалы для перерабатывающей индустрии и наиболее эффективные средства для увеличения выпуска и повышения качества товаров народного потребления.

Пленум ЦК КПСС наметил увеличить в 1964—1970 годах общий объем производства химической продукции в 3—3,3 раза; а среднегодовые темпы роста достигнут 17—19 процентов!

Западные «специалисты по России» по-своему истолковали наши планы ускоренного развития химической промышленности. Они поставили под сомнение выполнимость наших планов.

— А реальны ли эти наметки? — скептически спрашивают западные комментаторы.

— Совершенно реальны. Потому что наметки эти — результат весьма реалистичного анализа наших нынешних и будущих возможностей, — отвечаем мы им.

И можем добавить еще вот что: несмотря на прежние ошибки и недостатки в руководстве народным хозяйством, оказавшие отрицательное воздействие на те или иные частичные результаты, постоянный рост экономической мощи Советского Союза и благосостояния населения бесспорен.

Расчеты показывают, что производство пластических масс и синтетических смол в Советском Союзе достигнет за семилетие четырех миллионов тонн (это примерно на 500 тысяч тонн больше, чем было произведено в 1962 году в Соединенных Штатах). Выпуск химических волокон в нашей стране достигнет в 1970 году 1350 тысяч тонн (на 330 тысяч тонн больше, чем в США в 1962 году). Примерно так же обстоит дело и с другими видами продукции.

Это уже признанный факт, что уровень развития нашей науки во многих ее областях, особенно в теоретическом отношении, уже достиг и даже кое в чем превзошел уровень науки в США и в других капиталистических странах. Наши ученые вносят серьезный вклад и в разработку важнейших производственных процессов, в том числе синтетического каучука, пластмасс, лекарственных препаратов и так далее.

Вице-президент Академии наук СССР Н. Н. Семенов в своем выступлении на декабрьском Пленуме ЦК КПСС назвал много примеров подлинного планирования и координации научно-технического прогресса, где преимуществва социализма выявились столь ярко, что поразили весь мир. Это, скажем, работы по скоростной авиации, по космическим ракетам и баллистическим ракетам дальнего действия, по овладению атомной энергией. Здесь никогда не было ведомственного подхода, хотя в исследованиях участвуют сотни институтов самых разных ведомств. Во главе разработки проблем здесь стоят крупнейшие ученые и инженеры. Это настоящий научно-технический штаб. Планирование здесь непрерывное, подвижное, оно изменяется в зависимости от получаемых результатов. Не удивительно поэтому, что во всех названных областях мы быстро догнали и перегнали Соединенные Штаты. Теперь такой же порядок планирования и организации научно-технических исследований предлагается и для химической промышленности.

Разумеется, мы были бы наивными людьми, если бы думали, что химическая индустрия капиталистических стран застынет на месте, дожидаясь, пока мы ее догоним. Но мы так же твердо знаем, что планомерное развитие советской экономики, международное социалистическое разделение труда, богатая сырьевая база, быстрый рост капитальных вложений — все это, помноженное на волю и энергию народа, служит прочной гарантией нашей победы в экономическом соревновании.

Темпы хозяйственного роста позволяют нашей стране к 1970 году приблизиться по производству тканей к современному уровню их производства в США, а по производству трикотажа и чулочно-носочных изделий значительно опередить их. Словом, Боль-

шая химия даст советскому народу не только много дополнительных продуктов питания, одежды, предметов домашнего обихода, но и вооружит новыми средствами для осуществления других программных задач по повышению жизненного уровня трудящихся. И это совершенно очевидно. Однако критики коммунизма пытаются поставить реализацию решений Пленума в зависимость от кредитов капиталистических государств, от их желания продавать Советскому Союзу химическое оборудование. «Вашингтон пост» пытается иронизировать: ни один осведомленный американец не сомневается в том, что русские могут реализовать свою программу, но откуда возьмутся деньги для этого?

«Что можно сказать по этому поводу?—спросил Н. С. Хрущев в своем заключительном слове на Пленуме и ответил:— Неужели, господа, вы и теперь, на 47-м году существования Советской власти, проявляете такую наивность в отношении Советского Союза, которую проявляли в первые годы существования социалистического государства? Неужели вы допускаете, что Советский Союз, разрабатывая громадную программу развития химии, ставит ее в зависимость от случайностей, от того, будут ли даны кредиты капиталистическими странами или не будут. Такая ваша наивность, позвольте заметить, граничит с глупостью.

Советский Союз, намечая программу развития большой химии, от миллиардов до последней копейки рассчитывает на собственные силы, на собственные возможности, на сотрудничество с братскими социалистическими странами.

В истории нашей страны не было года, когда доходы не превышали бы расходную часть бюджета. Социалистическое воспроизводство приносит накопления, вполне достаточные для претворения в жизнь самых смелых программных задач коммунистического строительства. И когда те или иные политики, держащие курс на «холодную войну», строят свои планы в расчете на внутреннюю экономическую слабость Советского Союза, требуют от государственных деятелей Запада «жесткой политики», «ультимативных условий» по отношению к нашей стране, то они просто теряют элементарное чувство реального.

Мы никогда не скрывали и не скрываем, что нам приходится преодолевать в своем движении вперед многочисленные трудности, в том числе и экономические! Это трудности роста. Возьмем, к примеру, сельское хозяйство. По темпам своего развития оно пока еще отстает от широкого шага промышленности. Но что говорит по этому поводу статистика? За 1930—1940 и за 1946—1962 годы (мы исключаем годы Отечественной войны) валовая продукция сельского хозяйства росла в среднем на 4,2 процента. Если же мы возьмем 1954—1962 годы, то ее среднегодовой рост составляет 5,5 процента.

Известно, что колхозы и совхозы СССР, опираясь на имеющиеся материальные возможности, ставили перед собой задачу — собрать в 1963 году более высокий, чем в предшествующие годы, урожай и продать государству больше зерна. Но природа есть природа. В прошлом году в Советском Союзе сложились крайне неблагоприятные для зерновых культур климатические условия. На Украине, в Ростовской и Волгоградской областях, а также в центрально-черноземной зоне Российской Федерации большие площади пшеницы и ржи сильно пострадали от мороза или вовсе вымерзли. К тому же климатически весьма неблагоприятными оказались весна и лето в Казахстане, Сибири и во многих других районах. Специалисты говорят, что такой засухи не было с 1921 года, то есть со времен голода в Поволжье. Естественно, это резко уменьшило возможности наших колхозов и совхозов.

Как реагировали на это сторонники «холодной войны»?

Аденауэр, например, заявил на пресс-конференции, что в ближайшее время нужно очень тщательно следить за событиями в Советском Союзе. Нехватка продовольствия будет повторяться... Советский Союз больше не получает риса из красного Китая, и поэтому он в большей степени зависит от пшеницы.

Причина же наших трудностей, по его мнению, такова: Советский Союз оголил деревню в смысле рабочей силы, но не смог изготовить достаточно много машин. Советский Союз переоценил свои возможности. Поэтому теперь постепенно намечается путь, по которому можно прийти к решению русского вопроса без войны. Когда Советская Россия поймет, что задачи, которые она на себя взяла, непосильны, она откажется

от одной из них — от вооружения против Запада, и это сразу скажется на советской зоне и Берлине. В общем, «наступает новая эпоха»...

Может, и не стоило бы приводить эти сентенции престарелого недруга нашей страны — и тем более разъяснять их абсурдность, — но их сейчас перепевают на все лады газеты и журналы «ультра» во всех западноевропейских столицах и за океаном.

Так вот для ясности: г-на Аденауэра подвели его советники — поставки риса из Китая никогда не занимали существенной доли в продовольственном балансе страны. И парк машин в советской деревне постоянно растет, а высвобождающиеся рабочие руки, естественно, находят себе применение в бурно растущей промышленности. За двадцатилетие число занятых в СССР увеличится на 40 миллионов человек. Это хорошо, когда общая квалификация тружеников растет вместе с экономическим ростом страны. Что же касается утверждения, будто Советы «вооружаются против Запада», то самому г-ну Аденауэру прекрасно известно, откуда исходит угроза миру. Мы просто не забыли уроков истории. И потому мы обладаем достаточной ядерно-ракетной мощью, чтобы день, когда любой агрессор попытался бы развязать войну, стал бы для него последним днем. И достаточной экономической мощью, чтобы добиться намеченных целей в хозяйственном состязании двух систем. Многие объективные западные обозреватели правильно увидели в решениях декабрьского Пленума стремление к прочному миру. Ибо программа созидания неотделима от программы мира.

А та «новая эпоха», наступление которой ныне возвещает Аденауэр, — это всего лишь плод его собственной фантазии. Никакие трудности, никакие ультиматумы и нажимы извне не в состоянии поколебать нашу державу, вынудить ее изменить свой курс. Это так же невозможно, как невозможно «закрыть» коммунизм. Тщетность сей затеи пора уже понять. Не лучше ли господам западным политикам и советникам заняться реальными вещами, разрешимыми задачами.

Мирное сосуществование — вот генеральная линия внешней политики социалистических государств. Она не зависит от каких-либо конъюнктурных колебаний или трудностей роста. Она обусловлена социальной природой советского строя, идеологическими принципами марксизма-ленинизма.

Вернемся, однако, к неурожаю. Если взять не один неурожайный год, а скажем, все три с лишним десятилетия колхозного строя, то стоит напомнить прежде всего, что жизненная сила его была достаточно проверена. Даже в тяжелую годину войны, когда почти половина европейской части страны была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, хозяйство колхозов, поддерживаемое лишь трудом женщин, стариков и подростков и государственной-организованной помощью городского населения, даже в самые напряженные периоды обеспечивало страну хлебом.

Расчеты показывают, что объем сельскохозяйственного производства в 1962 году в Советском Союзе составлял примерно 75—80 процентов американского, а в расчете на душу населения — около 70 процентов.

Не следует, однако, забывать, что естественно-географические и исторические условия для развития сельского хозяйства в Соединенных Штатах куда более благоприятны, чем в Советском Союзе. Напомним лишь об отсутствии разрушений, вызванных двумя мировыми и гражданской войнами, которые опустошительными шквалами прошли по Советской стране, а также о высокой конъюнктуре мирового рынка из-за войн и их последствий. Добавим к этому, что территория США находится к югу от 48 параллели, а у СССР здесь лишь треть сельскохозяйственных земель. В Советском Союзе пашни с количеством годовых осадков 700 миллиметров и более составляют лишь 1,1 процента общей площади, а в Соединенных Штатах — 60 процентов. Не секрет и то, что по количеству тракторов СССР пока еще отстает от США примерно в четыре раза. Электрической энергии в нашей деревне пока потребляется тоже в четыре раза меньше.

Минеральных удобрений на один гектар у нас вносится пока в три с половиной раза меньше. По расчетам спелых листов для того, чтобы вносить в землю столько же удобрений, сколько вносят в Соединенных Штатах, Советскому Союзу надо достигнуть валового производства удобрений вдвое большего, чем у американцев. Поэтому в СССР планируется такое ускоренное развитие отраслей химической промышленности, которое

даст возможность уже к 1970 году увеличить производство удобрений до 70—80 миллионов тонн. По плановым темпам роста нам понадобится несколько лет, чтобы преодолеть отставание от Соединенных Штатов в сельском хозяйстве.

И если некоторые западные политики не хотят видеть фактов, если полагают, что Советский Союз «переоценил свои возможности», то пусть они хотя бы прислушаются к голосу голландской буржуазной газеты «Трау» (12 декабря 1963 года). В статье о закупках зерна Советским Союзом газета пишет, что закупки эти кажутся на первый взгляд странными. Как это возможно, чтобы страна, о которой мы в детские годы учили, что она является житницей Европы, вдруг вынуждена покупать зерно для сохранения жизни собственному населению.

Но поскольку, говорится дальше в статье, «большие области в Азии, предназначенные для зерновых культур, подвержены резким изменениям погоды, между одним и другим урожаем бывает большая разница. Нам приходится сделать вывод, что, какого бы мнения ни были мы о коммунистической системе, в общем и целом произошло не уменьшение производства зерна, а увеличение его. Закупки зерна нужно объяснять также в политическом смысле; в сравнении со сбором зерна покупаемое количество является незначительным... У русских сильно возрастает спрос на потребительские товары и высококачественные товары. И правительство правильно желает удовлетворить этот спрос. В этом отношении Хрущев опять значительно отшел от Сталина. Последний продавал зерно за границу, в то время как собственный народ голодал. Хрущев поступает иначе. Он покупает зерно, чтобы народ мог жить в условиях некоторого благосостояния... Примечательно, что глава русского правительства заботится о постоянном изменении условий жизни. Это связано и с переменами во внешней политике, которые выражаются не только в покупке зерна, но также в сфере иных экономических связей. Такое развитие событий делает войну все менее вероятной».

Что ж, вполне разумный подход. Имеющий уши да слышит.

«СПОНТАННОЕ СХОЖДЕНИЕ»?

«Экономика Советского Союза испытывает огромные трудности, и перед русскими руководителями стоит проблема — либо приблизиться к капиталистическим принципам, либо вернуться к еще более жестким мерам контроля...» — заявил 9 января с. г. заместитель государственного секретаря США Джордж Болл. Признав, что наша страна создала современную развитую экономику, он тут же оговаривается: это, дескать, удалось сделать только благодаря тому, что «Россия получала готовые технические навыки у ведущих стран «свободного мира». И нет, мол, у коммунизма иного пути вперед, как старая, протоптанная дорожка частной капиталистической инициативы...

Невольно вспоминаются аналогичные лобасенки итальянского писателя Куарантотти Гамбини — автора вышедшей в прошлом году книги «Под небом России», которую он написал, побывав в СССР. По словам Гамбини, успехами в индустриализации и коллективизации советские люди «обязаны не собственно большевизму», а «законам технического прогресса», которым советская власть открыла дорогу, всячески благоприятствуя и поддерживая их. Но, полагает Гамбини, «если миром будут править коммунистические режимы, взлет технической мысли будет затруднен, так как руководители производства не будут располагать такой экспериментальной базой, чувствительность которой была бы равна чувствительности рынков, где действует закон спроса и предложения».

А как же тогда успехи Советского Союза в освоении космоса, атомной энергии, реактивной техники, радиоэлектроники, в которых как бы синтезирован весь современный научно-технический прогресс? Ведь эти успехи признаются даже недругами. В статье «Экономика и идеологии», опубликованной в «Новом мире» № 11 за 1963 год, я писал об итальянской версии оружейной эволюции советского хозяйственного строя. Однако после декабрьского Пленума ЦК КПСС идеологи антикоммунизма чаще вытаскивают на свет, так сказать, англо-американский вариант. Речь идет о некоем «спонтанном схождении социализма и капитализма в одной точке». И если итальянские пророки не делали прямых внешнеполитических выводов из своих георетических

«открытий», то их англо-американские коллеги идут куда дальше — они просто делают ставку на такую рода «схождение».

Вот как рассуждает, например, бывший профессор Оксфордского университета Питер Уайлз, ныне перекочевавший в США. Все дело в том, видите ли, что в рамках одной страны постоянно происходит уравнивание материального положения людей. Главный источник этого уравнивания — растущее изобилие. Опираясь на американскую действительность, Уайлз рассуждает так: если Джонс имеет в двадцать раз больше денег, чем Смит, который голодает, то неравенство очень велико. Но жизнь не стоит на месте. И в ходе экономического роста страны коллеги Смита по классу обеспечиваются работой, четырехкомнатными домами и трехнедельным отпуском во Флориде. А партнеры Джонса получают возможность владеть яхтой, самолетом и замком в Испании. Из этого умозрительного сюжета делается вывод, что неравенство все же уменьшается.

Уайлз уверяет далее, что и Джонс и Смит сидят в одинаково комфортабельных креслах при одинаково хорошем освещении, почти одинаково хорошо питаются и почти одинаково долго живут.

«Возможно, именно этот факт больше всего заставляет людей верить в схождение, — пишет Уайлз. — Шейх в своем «кадиллаке», щит с рекламой кока-колы на крыше миланского собора, лондонец, растянувшийся перед телевизором с кружкой холодного пива в руке, — все это признаки «американизации», или, точнее, состояния изобилия, испытать которое первым довелось американцам. При таком очевидном проявлении схождения в некоммунистических странах посмотрим на поляка, танцующего рок-н-ролл, русского, аплодирующего Бенни Гудману, телевизионные антенны в Праге, рекламу безалкогольных напитков в Белграде; не является ли все это предвестником того же самого?»

Идиллическая картина «уравнивающего изобилия в капиталистических странах, и в частности в Соединенных Штатах, однако, весьма далека от действительности. Достаточно лишь сопоставить ее с некоторыми фактами, приведенными в выступлении Дж. Кеннеди 30 августа 1963 года по случаю так называемого «Дня труда»:

«4250 тысяч наших соотечественников не могут найти полезного занятия. Автоматизация увеличивает производительность труда и выпуск продукции, но в то же время она приводит к тому, что многие рабочие места и трудовые навыки становятся лишними... — И дальше: — По мере того, как экономика становится все более сложной, просвещение во все большей степени становится ключом к занятости. Чем меньше классов оканчивают наши юноши и девушки, тем больше вероятности, что они не найдут работы. Низкий уровень обучения, низкий уровень подготовки и недостаток технических навыков — таковы основные препятствия для получения работы и для плодотворной жизни. Ныне в сфере рабочей силы положение таково, что один из каждых четырех американцев в возрасте от 16 до 21 года не учится и не работает».

Вот оно — равенство условий и возможностей в США!

Выходит, далеко не все столь «одинаково», как изображает это Питер Уайлз, в «обществе изобилия». Мы не касаемся сейчас других, не менее «серьезных» аргументов, связанных, скажем, с «кружкой холодного пива» лондонца или со стремлением придать аплодисментам московских любителей джазовой музыки глубокий социально-экономический смысл: их легковесность очевидна. «Синтетики» идут по банальному пути буржуазных идеологов.

А. И. Микоян заметил на пресс-конференции в Сан-Франциско: в Советском Союзе при таком же уровне развития производства, как в Соединенных Штатах, рабочий жил бы вдвое лучше, чем американский...

Не случайно сам Уайлз сомневается в реальности рассматриваемых им аргументов. Не случайно и то, что на Западе родилась своеобразная концепция конфликта буржуазных «отцов» и «детей». Ее выдвинул Джордж Бокка — обозреватель «Джорно» и «Еуропо» — в своей книге «Молодые львы неокapитализма», вышедшей в конце 1963 года в Бари (Италия). Он анализирует нынешнее положение дел в западном мире так: «Молодой европейский промышленник получает от старшего поколения эффективный производственный аппарат, но мало или почти ничего с точки зрения морального

престижа. Рассмотрев баланс капитализма отцов, приходишь к выводу, что это — выгодное дело... Но есть одно, что капитализм отцов уже не умеет делать, — это завоевывать уважение, оказывать моральное воздействие на общественное мнение, предохранять его от бюрократической посредственности». Бокка далее говорит, что сегодня капитализм отцов преуспевает лишь частично, что он «создает» административный аппарат определенной эффективности, но теряет способность к дерзанию и изобретательству; он усиливает свою монополистическую структуру, но перед рабочими занимает позицию осажденного «противника».

Поэтому Бокка предлагает «молодым львам неокapитализма» возродить престиж и руководящую функцию буржуазии. Он, однако, понимает, что для этого нет условий. Нынешний мир обеспокоен: концентрации богатств и экономическому могуществу в нем противостоят мощные классовые политические и профсоюзные движения, настоятельно требующие коренных изменений.

У Питера Уайлза есть и другой аргумент в пользу «спонтанного схождения»: идея о том, что с помощью эконометрики — то есть различных математических приемов изучения конъюнктуры рынка, методов расчета баланса, а также построения систем уравнений и формул, характеризующих взаимосвязь и соотношение отдельных хозяйственных факторов, перспективы и состояние экономики, — можно осуществить социальное тождество двух общественных систем.

Но даже сами буржуазные идеологи, например, английский экономист П. Флоренс, оценивая современные методы и достижения буржуазного регулирования экономики, признают: «...планирование в Британии — в целом поверхностно и оборонительно по своим целям, а не фундаментально, прогрессивно или активно»; «Распоряжения, которые отдавались нанимателям и капиталистам, носили, подобно десяти заповедям, негативный, часто просто увещательный характер: «Не делай этого» (или «Пожалуйста, не делайте этого, сэр»).

Ясно, что такое «планирование», даже если оно берет на вооружение современную электронную технику и новейшие математические методы, не может выполнить возлагаемых на него П. Уайлзом и «синтетиками» социальных функций. И что бы ни утверждали сторонники экономического варианта «спонтанного схождения капитализма и социализма в одной точке», «вся соль буржуазного общества состоит как раз в том, что в нем а priori не существует никакого сознательного общественного регулирования производства» (К. Маркс).

По концепции сторонников «спонтанного схождения», «разум должен в конце концов одержать верх над догмой или управляющие над идеологами, в результате чего если линии руководства и не станут одинаковыми, то по меньшей мере будет проявляться большая терпимость...» В переводе на язык конкретной общественной практики это будет означать не что иное, как требование отказаться от марксистско-ленинских принципов в руководстве социалистической экономикой, создать «технократию» как новое общество, где власть принадлежала бы не непосредственным производителям — трудящимся массам, а неким «вне политики» находящимся инженерам и научно-техническим специалистам.

А собственность на средства производства? О, это не имеет значения! — говорят те, кто придерживается теории «спонтанного схождения». Частная собственность объявляется ими, как и всеми буржуазными идеологами, «вечной», «естественной», «органически присущей самой природе человека». И вот здесь-то ложность подобных концепций становится особенно явной. Ибо и «спонтанное схождение», и «синтез» противоположных социальных систем просто невозможны: ведь они сохраняют глубочайшее отличие в главном — своей экономической основе, в собственности на средства производства. Ибо нельзя соединить или «синтезировать» несоединимое — частнокапиталистическое предпринимательство и всенародное достояние.

Теоретики «спонтанного схождения», точно так же как и русские либеральные народники конца прошлого века, пытаются искусственно отделить те или иные черты одной системы производственных отношений и привить их прямо противоположной. Им чужд диалектический метод, обязывающий смотреть на общество, как на живой организм в его деятельности и развитии. В. И. Ленин писал по этому поводу в своей

работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» «Субъективный метод в социологии гут весь как на ладони: социология начинается с утопии — принадлежность земли работнику — и указывает условия осуществления желательного: «взять» хорошее отсюда-то да еще отсюда. Философ этот чисто метафизически смотрит на общественные отношения, как на простой механический агрегат тех или других институтов, простое механическое сцепление тех или других явлений. Он вырывает одно из таких явлений — принадлежность земли земледельцу в средневековых формах — и думает, что его можно точно так же пересадить во всякие другие формы, как кирпич переложить из одного здания в другое».

Именно такой субъективный метод применяют и западные теоретики «спонтанного схождения».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

«Мозговой трест» ангикоммунизма нередко бывает консервативен в своих приемах и методах. Вот уже пятый десяток лет он изображает любой новый шаг социалистического общества как провал, срыв, нереальность, хотя подобные пророчества всегда оказывались блефом.

Журнал «Бэрронс» (орган деловых кругов США) посвятил статью советской Большой химии. «Современная химия, которая дает лучшие товары для лучшей жизни, — это, уверяет журнал, исключительно продукт буржуазного мира. Какими бы широкими ни были усилия, она просто не будет процветать на менее гостеприимной почве. «Так же как и другие грандиозные промышленные планы Кремля, «химизация» закончится неудачей. Премьер Хрущев, как он постоянно угрожает, когда-нибудь, может быть, сумеет похоронить Запад либо «в мирном соревновании», либо каким-либо иным способом. Однако он сделает это только в том случае, если свободный мир предоставит ему лопату и выкопает себе могилу».

Для чего нужна такого рода демагогия? Да для того, чтобы доказать, будто Запад похоронит себя, если пойдет на разрядку международной напряженности. В который уже раз мы слышим из уст западных политиков самых разных рангов, что мирное сосуществование — лишь «тактический прием»! Это утверждал, например, нынешний премьер-министр Англии Дуглас-Хьюм в лекции «Мирное сосуществование», прочитанной в 1963 году в «летней школе» политического центра консерваторов. Если, дескать, по утверждению самих коммунистов, «мирное сосуществование не означает отсутствия борьбы», то и не надо расширять с Советским Союзом экономические связи — не надо давать ему в руки «лопату».

Мы живем, однако, в реальном, а не иллюзорном мире. Мы исходим из того, что мирное сосуществование — это не только состояние, когда нет войны. И это отнюдь не временное неустойчивое перемирие между войнами. По убеждению марксистов-ленинцев, сосуществование двух антагонистических общественных формаций предполагает взаимный отказ от войны как средства решения межгосударственных споров.

Ленин неоднократно подчеркивал, что после победы Октябрьской революции, победоносного завершения гражданской войны и разгрома антисоветской интервенции речь пойдет не о каком-то «перерыве между войнами», не о какой-то передышке, а о «чем-то гораздо более серьезном». «Мы сейчас, — сказал Ленин в ноябре 1920 года, — также не позволяем себе увлекаться и отрицать возможность военного вмешательства в наши дела капиталистических стран в будущем. Поддерживать нашу боевую готовность нам необходимо. Но если мы взглянем на те условия, при которых мы разбили все попытки русской контрреволюции и добились формального заключения мира со всеми государствами Запада, то станет ясно, что мы имеем не только передышку, — мы имеем новую полосу, когда наше основное международное существование в сети капиталистических государств отвоевано».

Само по себе завоевание мира, прекращение войны, отмечал Ленин, еще далеко не достаточно для того, чтобы между социалистической страной и окружающими ее капиталистическими государствами установились мирные отношения. Надо было, говоря

словами В. И. Ленина, «добиться перехода от отношений войны с капиталистическими странами к отношениям мирным и торговым». Он подчеркивал, что одних дипломатических побед «для нас слишком мало». «Нам нужны настоящие торговые сношения, а не только дипломатические победы».

Так считал Ленин тогда, когда страна лежала в развалинах, а буржуазные и социал-демократические идеологи — от Милюкова до Мартова и Каутского — предрекали неизбежный крах советского строя «в ближайшие месяцы» из-за экономической разрухи, голода и неопытности коммунистов в руководстве народным хозяйством. Да, нам тогда крайне нужны были торговые отношения. Они полезны нам и сейчас. Но остается непреложным фактом и то, что мы и без помощи Запада прочно стоим на ногах. И, разумеется, любые торговые ограничения, которые применяли правящие круги западных стран в их отношениях с Советским Союзом, не смогут помешать выполнению коммунистической программы. Иными словами, по Ленину, мирное сосуществование — не просто отсутствие военных действий, а широкое развитие политических и хозяйственных связей с капиталистическими странами. Поэтому разговоры о том, что будто бы за последние десять лет советские руководители по конъюнктурным соображениям отказались от теории неизбежности войны и перешли к политике мирного сосуществования, не соответствуют историческим фактам.

К сожалению, такой же точки зрения придерживаются и руководители КПК. Пекинские лидеры допускают термоядерную войну как средство утверждения социализма. Они по существу ратуют за «подталкивание» революции извне, за ее экспорт. Поэтому они против мирного сосуществования государств с различным общественным строем как генеральной линии внешней политики стран социализма. На деле китайские руководители призывают к тому, чтобы социалистические страны, коммунисты, стали фатальными и признали неизбежным принесение в жертву новой войне по меньшей мере половины населения земного шара.

Но Советский Союз, наша Коммунистическая партия отнюдь не считают, что взаимоотношения между странами с различными социальными системами должны быть обязательно враждебными. Напротив, мы за самые широкие контакты. Принцип мирного сосуществования государств с различным общественным строем означает невмешательство во внутренние дела, необходимость взаимных уступок, компромиссов, приспособления с обеих сторон в области межгосударственных отношений при решении назревших практических вопросов.

Ленин учил, что рабочий класс как до, так и после завоевания власти должен уметь проводить гибкую политику, идти на компромиссы, на соглашения, когда этого требует жизнь, требуют интересы дела. Именно такого рода разумным компромиссом с взаимными уступками был разрешен кризис в районе Карибского моря. И заслуга советских руководителей в том, что они не приняли вызов к всеобщему столкновению, который им бросили крайне правые американские круги. Ибо мирное сосуществование в марксистско-ленинском понимании — это стратегия, которая строится на поисках решений, приемлемых для обеих сторон.

Следовательно, курс на мирное сосуществование — не «тактический прием», а генеральная линия внешней политики Советского государства. И он не обусловлен какими-либо преходящими трудностями роста и в то же время вовсе не является проявлением какой-то слабости Советского Союза, как это утверждают на Западе.

Те, кто требует отказа от мирного экономического соревнования двух систем, по существу ничем не отличаются от приверженцев «спонтанного схождения». Они также связывают мирное сосуществование не с реально действующими, противоположными по своей классовой сути общественными системами, а с «взаиморастворением» Востока и Запада с целью ликвидации коммунизма как системы и политического учения.

Только подменяя реальность вымыслом, только отворачиваясь от фактов к «фактикам», от правды к фальсификации, теории антикоммунизма способны придумать к таким измышлениям, как «кризис марксизма» или «идеологический вакуум».

«Взаиморастворение» относится к числу все тех же измышлений. Не лучше ли вспомнить, что мы живем во времена Московского договора, когда наметилась определенная международная разрядка?

Можно согласиться с Уолтером Липпманом, что «суть вопроса в том, что Советский Союз и Соединенные Штаты больше не идут навстречу столкновению... Нельзя сказать, что обе державы сейчас на одном и том же пути или хотя бы на параллельных путях, но по крайней мере перед ними открывается довольно большое свободное пространство, на котором они не столкнутся».

Конечно, «мирное сосуществование государств с различным социально-политическим строем» будет достигнуто не при помощи договора, составленного юристами, а в процессе разрешения проблем, разобщающих различные государства.

Надо, однако, прямо сказать, что и среди сторонников концепции «спонтанного схождения» есть немало людей, искренне заблуждающихся и по-своему желающих устранения угрозы ядерной войны. Так, например, автор нашумевшей на Западе книги о холодной войне Ф. Шуман, утверждающий, что советское и американское общества развиваются по постепенно сближающимся путям, призывает свою аудиторию обратить внимание вовсе не на «козны международного коммунизма, а на борьбу за прочный мир». Если мы не поспешим, пишет он, то «эффективный контроль над нашими судьбами перейдет из наших рук и из рук наших политических руководителей в руки профессиональных военных и военных промышленников. Эта опасность сильнее в Америке, чем в России, так как в России не существует военной промышленности в частном владении, которая работала бы ради частных прибылей».

Такие настроения, разумеется, не случайны. Ибо все более широкие слои американской общественности ищут пути к установлению прочного мира. Все громче звучат голоса ее представителей. Президент американской ассоциации психологов Чарльз Осгуд часто выступает на страницах прессы против гонки вооружений, против «фатального чувства неизбежности войны», против социальных предрассудков, совокупность которых он называет «мышлением неандертальцев» и которые, по его словам, мешают понять, что все блекнет и становится второстепенным перед лицом термоядерной войны. По его мнению, американцам это трудно понять и из-за отсутствия опыта: «Трудно дать людям убедительное представление об опасностях ядерной войны, когда они незнакомы даже с обыкновенными бомбардировками гражданского населения. Нелегко это говорить, но, может быть, для нас было бы лучше всего, если бы около какого-либо большого города взорвалась случайно ядерная боеголовка — и взрыв передавали бы по телевидению». Тогда, продолжает он, вероятно, американцы поняли бы, что решать политические проблемы с помощью ядерного оружия — все равно что «пользоваться динамитом для того, чтобы избавиться от мышей в доме».

Думаю, что г-н Осгуд несколько преувеличил отрицательные последствия отсутствия у американцев печального опыта войны на своей территории. Ибо миллионы простых людей в Соединенных Штатах ничего более так не желают, как сохранения мира. Они недвусмысленно выступают против вооруженного конфликта крупнейших держав.

Что же касается Советского Союза, то вся его история — это свидетельство последовательной борьбы за претворение в жизнь ленинской идеи мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Эту политику ныне одобряет громадное большинство населения Земли.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ АРХИВОВ

В январе 1965 года журналу «Новый мир» исполняется сорок лет. В связи с этим мы предполагаем напечатать некоторые материалы, относящиеся к его истории. Переписка А. М. Горького с редактором журнала В. П. Полонским, письма членов редакционной коллегии — А. В. Луначарского и И. И. Скворцова-Степанова — В. П. Полонскому являются первой публикацией такого рода.

Переписка Горького и Полонского подготовлена к печати Н. И. Дикушиной и А. Е. Погосовой, письма Луначарского и Скворцова-Степанова — Н. И. Дикушиной. Подлинники писем Горького и Полонского хранятся в Архиве А. М. Горького, подлинники писем Луначарского и Скворцова-Степанова — в фонде В. П. Полонского в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ).

ГОРЬКИЙ И ПОЛОНСКИЙ

1

ПОЛОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ

Москва, 27 января 1926 г.

Дорогой Алексей Максимович.

Вместе с этим письмом посылаю Вам первую книжку «Нового мира». Вы, вероятно, встречали в прошедшем году журнал с этим наименованием¹. К сожалению, он не был блестящ. По этой печальной причине мне предложили превратить его в издание, если не в первосортное, то во всяком случае в приличное. Задача интересная, журналов у нас немного, литература — растет, я согласился. Вышедшая книжка — первая, которую я проредактировал. Насколько она удачна — судить не мне. Но опасения мои за будущее журнала — основательны, и я взываю к Вам: Алексей Максимович, поддержите!

Вы спросите: почему я раньше Вам не написал? Именно потому, что сначала хотел показать «реформированный» журнал: у старого была репутация незавидная. А без Вашего согласия поставить Ваше имя в числе авторов, «намеченных» для ближайших номеров, я не решился.

Трудно делать журнал художественной литературы. До последнего времени я редактировал (и продолжаю) «Печать и революцию»². Тоже дело нелегкое, но как-то оно проще, да и материала больше. А за два месяца, что я читаю рукописи для «Нового мира», я успел прийти в состояние весьма мирное. Маловато хороших вещей — что подедаешь. Очень много браковать приходится — а это, Вы ведь знаете лучше меня, доставляет мало радости.

Удалось извлечь из крымского затворничества Сергеева-Ценского. Он все тот же — несколько мрачный, философичский, но яркий и крепкий мастер. С февраля в «Новом мире» идет его повесть «Жестокость» — из эпохи гражданской войны — вещь сильная³. Он, оказывается, много написал в последние годы.

«Новый мир» имеет большие возможности сделаться массовым журналом. Я очень надеюсь, что Вы не откажетесь прислать ему что-нибудь или по крайней мере, если у Вас сейчас ничего готового нет, обещайте сделать это в близком будущем. Ведь мысль о хорошем популярном литературно-художественном издании была Вам всегда близка.

Вместе с «Новым миром» посылаю последнюю книгу «Печати и революции» (декабрь; через два-три дня пошло дополнение первую за этот год). Если у Вас этого журнала нет и Вы захотите его иметь — буду посылать регулярно. Посылаю Вам также мою книжку о Бакуinine (первый том). Если прочтете и напишете мне (хоть кратко) Ваше мнение — очень меня обрадует. «Бакуинин» отнял у меня много лет жизни. Сейчас дописываю второй том — большая выходит книга: фигура-то очень замечательная и в нашей литературе (да и в мировой) освещена еще слабовато.

Итак, Алексей Максимович, жду ответа.

Привет!

Крепко жму Вашу руку.

Вяч. Полонский.

Да, простите, забыл финансовую сторону. Если Вам нужны деньги, могу выслать (почтой или телеграфом) авансом, ну, скажем, тысячу рублей (даже если Вы сразу ничего нам дать не сможете). Не будете возражать против гонорара в 300 руб. за печ. лист?

Пожалуйста, ответьте.

Вяч. П.

Домашний мой адрес: Воздвиженка, Крестовоздвиженский пер., д. № 2, кв. 28.

¹ «Новый мир» начал выходить в Москве с 1925 года. Его редакторами вначале были А. Луначарский и Ю. Стеклов, в середине 1925 года Ю. Стеклова заменил И. Скворцов-Степанов. В. П. Полонский вошел в редакцию «Нового мира» в конце 1925 года. В первый год существования лицо журнала еще не определилось, и работа «Нового мира» подвергалась критике в печати. Указывалось на «случайность, небрежность в подборе материала», «недостаточную художественность» его.

В присланной В. Полонским Горькому первой книге «Нового мира» за 1926 год были напечатаны: поэма С. Есенина «Черный человек», рассказ Вс. Иванова «Яицкие притчи», отрывки из романа С. Сергеева-Ценского «Преображение» и начало романа С. Клычкова «Чертухинский балакирь», рассказ В. Пильняка «Грэгго-тримунтан», стихи В. Манковского, Н. Асеева, П. Орешина, В. Наседкина.

В разделе «Статьи, обзоры, воспоминания» были опубликованы статьи В. Вересаева, Л. Войтовского, Г. Лелевича, В. Полонского и других. В журнале имелись разделы: «В чужих краях», «Земля советская», «Отзывы о книгах».

² «Печать и революция» — журнал литературы, искусства, критики и библиографии. Выходил в Москве с 1921 по 1930 год.

³ Повесть С. Сергеева-Ценского «Жестокость» печаталась в «Новом мире», №№ 2, 3, 1926.

2

ГОРЬКИЙ — ПОЛОНСКОМУ

Сорренто, 10 февраля 1926 г.

Дорогой Вячеслав Михайлович —
сердечно благодарю Вас за книгу о Бакуinine.

Первую книгу «Н. М.» я нахожу весьма удачной, рад, что у Вас будет печататься Пришвин¹, и позвольте обратить Ваше внимание на Юрия Тынянова, автора интереснейшей повести «Кюхля», и на Никулина, автора очень умело и серьезно сделанного авантюрного романа «Никаких случайностей».

Простите, что вмешиваюсь с моими советами, но так хочется, чтоб молодежь писала и училась писать, а ее бы читали и учились читать.

О себе: пока — ничего не могу дать Вам, это — по двум причинам: а) ничего нет, все роздал, а теперь мелкого вещей не пишу, ибо занят огромнейшим романом², б) а если бы и было что-то, уже не мог бы дать теперь, ибо протестует Госиздат. Тут какая-то путаница, которую может разрешить лишь один тов. Бройдо.

Мой договор со Стомоняковым передан им Госиздату³. Госиздат распродал первое издание, книг моих — нигде нет, как мне отовсюду сообщают, а второго издания Госиздат не делает, частным лицам печатать меня не велит, советским издательствам — тоже. Это несколько обидно, не говоря о том, что я скоро буду сидеть без денег, а они мне совершенно необходимы — представьте! Ибо работа над романом заработка не дает, а роман потребует не менее года времени.

К тому же в 26 году — 35-летие литературной деятельности моей, и к этому сроку книги следовало бы выпустить на рынок — не так ли?

Впрочем — все это Вам скучно слушать и читать.

В конце концов — повторяю: ничего готового у меня для «Н. М.» нет и долго не будет. Вот — печаль.

Крепко жму руку.

А. Пешков.

Пожалуйста, высылайте мне «Печать и революцию» — интересный журнал. Не в комплимент будь сказано, Вы его отлично ведете.

А. П.

¹ М. Пришвин с 1926 года постоянно печатался в «Новом мире». Продолжение романа «Кашеева цепь» — «Юность Аллатова», «Любовь», «Зеленая дверь», «Юный Фауст», «Врачный полет», «Положение», «Живая ночь» (№№ 2, 3, 4, 5, 1926; №№ 1, 11, 12, 1927; №№ 4, 5, 6, 7, 1928); рассказы — «Охота за счастьем», «Ленин на охоте» (№№ 11, 12, 1926); «Нерль» (№ 6, 1927); рассказы из книги «Журавлиная родина» (№ 12, 1928).

М. Пришвин в письме к Горькому 10 апреля 1926 года писал: «От Воронского я перешел в «Новый мир» к Полонскому, не знаю этого человека, но относится ко мне хорошо, и журнал его «Новый мир» как-то веселей «Красной нови». Благодаря поддержке Полонского написал новое звено «Кашеевой цепи...» («Литературное наследство», т. 70, М. 1963, стр. 331).

² «Жизнь Клима Самгина».

³ Григорий Исаакович Вройдо в 1925—1927 годах заведовал Госиздатом. Борис Спиридонович Стомоняков — торговый представитель РСФСР в Берлине. В июне 1922 года Горький подписал с ним договор о передаче торгпредству прав на издание всех своих сочинений.

3

ПОЛОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ

Москва, 24 мая 1926 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Получил я из провинции воспоминания о встречах с Вами, о Вашей юности¹. Автора их я лично не знаю и довериться боюсь: такие вещи всегда приходится проверять: желающих писать воспоминания всегда много. Вы не рассердитесь, если я Вас попрошу прочитать и сообщить, много ли в них «поззии»? Ведь, кроме Вас, никто не сможет дать авторитетного отзыва. Если читать не захотите — рукопись уничтожьте, так как этот экземпляр переписан для Вас.

Я не хочу скрыть от Вас, что меня сильно огорчает Ваше решение «долго» ничего не давать в «Новый мир». Мне почему-то казалось, что я встречу полную Вашу поддержку в таком трудном деле: наладить журнал для широкого читателя. Ведь «Новый мир» идет в читательские слои, лишь теперь заново создающиеся. Культурная роль его поэтому огромна — так мне кажется.

Книжки получаете исправно? Кроме «Н. М.», Вам посылается «Печать и революция». Если случайно не получится какая-нибудь книжка — затребуйте. Иногда теряются на почте.

Если бы Вы, Алексей Максимович, захотели высказаться о нашей молодой литературе! Вы ведь следите за ней и лучше, чем кто-нибудь другой, могли бы дать ей оценку. Не знаю в точности Вашего мнения, но мне кажется, что хныканье и пессимизм — все это надо оставить. Подрастает хороший, талантливый народ. Правда, у нашего молодняка нет культурных навыков. Это не вина его, а беда его, что приходится строить нередко на голом месте, но ведь такова наша эпоха! Это не так плохо в конце концов. Культура, навыки, мастерство — все это придет, и над всем этим и приходится работать сейчас. Но зато какие крепкие таланты, хотя и сырые. Вам попались вещи Артема Веселого²? Леонова Вы цените, я знаю. В майской книжке «Красной нови» совсем молодой Леонид Завадовский — далеко не бездарный. В майской книжке «Нового мира» посмотрите рассказ Александра Макарова: также молодой и, кажется, способный парень³. Мне думается, что мы накануне хорошего и крепкого подъема нашей литературы: это не из редакторского оптимизма говорю. Как редактор-

то я — брюзга, многое не нравится в моем журнале, да и у соседей, но когда окинешь обним взглядом все, что прет сейчас из земли, — право — сердце радуется.

Так вот — если бы Вы написали статью или письмо большое и попросту рассказали бы о своих впечатлениях от того, что Вы прочитываете, — какое бы это оказало на молодежь оживляющее, ободряющее действие. Это ничего, если Вы крепко кого побраните, ведь не похвал хочется получить, а веское, хотя и суровое, оценивающее слово мастера. Вы ведь знаете, как велико обаяние Вашего имени как художника. Как вы смотрите на это дело? Вы вот похвалили «Печать и революцию» в прошлом письме. Спасибо. Эта строчка мне доставила большое удовольствие. Но если бы Вы дали для этого журнала вот такую статью, о которой я говорил, — это была бы похвала!

Вы мне хвалили Л. Никулина. Я взял у него повесть «Матросская тишина». Пойдет в летних книжках «Н. мира»⁴. Он талантливый человек, но кино его заедает: стряпает сценарии, сейчас это вроде болезни — даже Бабель увязался. А халтура губит писателей. Боюсь, что она испортит Никулина, для него, например, работать над романом год — страшно долго. Он хочет в два месяца. И так многие: утеряна воля к длительному, систематическому, упорному труду. А ведь без такого труда нет большого искусства.

Простите, что оторвал Вас от дел. Буду очень рад, если Вы меня не забудете.

Жму Вашу руку крепко.

Привет.

Вяч. Полонский.

Кстати: мое отчество — Павлович, а не Михайлович.

¹ Речь идет о воспоминаниях журналиста Смирнова Федора Васильевича (1865—1936) «М. Горький в начале своей литературной карьеры». Воспоминания не публиковались. Черновая незаконченная рукопись воспоминаний хранится в Архиве А. М. Горького.

² В «Новом мире» в 1928 году (№№ 10, 11, 12) печатались главы романа Артема Веселого «Россия, кровью умытая».

³ В «Новом мире» в 1926 году в № 5 был напечатан рассказ А. Макарова «Счастливая земля».

⁴ Повесть Л. Никулина напечатана в №№ 7, 8-9 за 1926 год.

4

ГОРЬКИЙ — ПОЛОНСКОМУ

Сорренто, 5 июня 1926 г.

Дорогой Вячеслав Павлович, — воспоминания Ф. В. Смирнова — совершенно неинтересны, на мой взгляд. Все, о чем он «вспоминает», рассказано в «Мои университеты», и рассказано, право, не хуже его. Он или плохо видел, или плохо помнит. Не умеет различить флигель от бани, чем весьма напомнил мне одного молодого писателя, который не знает разницы между щеколдой и щиколоткой. Говорит Смирнов кое о чем, чего он не мог знать, принадлежа ко кружку «культуртрегеров» и сторонясь той народнической интеллигенции, коя в те годы уже соблазнялась марксизмом. Близкими мне людьми в те поры были Егор Васильевич Барамзин, Н. В. Флёров и другие, кои — как Флёров — были впоследствии большевиками¹. Барамзин до большевизма не дожил, но уже при жизни дважды привлекался, как с.-д. Есть и еще кое-что неверное. Но — это бы еще хорошо, да уж очень вяло написано и читателю знакомо.

Мне нечего дать «Н. М.», последнюю вещь дал несколько месяцев тому назад «Ковшу»². Если Вы встречаете Ефима Зозулю, — у него должны быть мои «Заметки», выпрошенные им для какого-то журнала³. Журнал, видимо, не вышел, Зозуля денег мне не заплатил. Возьмите у него «Заметки».

Вы совершенно правы: «хныканье и пессимизм надобно оставить». Удивляюсь г.г. критикам — о чем плачут? Плакать не о чем. Такого подъема в литературе, какой ныне наблюдается, — никогда еще не было. Это — факт. Плохо пишут? Правильно, очень многие пишут плохо. Но, когда нам было по шести, восьми лет от роду, мы тоже плохо говорили. Потом — научились говорить лучше. Не правда ли?

О молодых писателях очень хочется написать, очень! Я — всех знаю, читаю и многие весьма радуют. А всех — необходимо приободрить. К осени я это сделаю. Наверное. А сейчас — не могу. Поглощен работой над романом, пишу по 8—10 часов в день, нездоров и сижу без денег. Госиздат не платит за отдельные издания моих рассказов, немецкий издатель — разорился, француз — надул. Очень скверно! Привет. Жму руку.

А. Пешков.

«Печать и революция» у меня есть, но только две книги за 26-й год, 1-я и 2-я. Если вышла 3-я, пожалуйста, пришлите. «Крокодил» — не плох. «Прожектор» — технически стал лучше.

¹ Егор Васильевич Варамзин (1867—1920) — социал-демократ, член русской редакции «Искры». В середине восьмидесятых годов участвовал в кружках народников. О Варамзине см. в очерке М. Горького «Н. Ф. Анненский» (Собр. соч., т. 17 стр. 92). Николай Михайлович Флэров (ок. 1860—1915) — народоволец, впоследствии член РСДРП. М. Горький вспоминает о нем в очерке «Камо» (Собр. соч., т. 17 стр. 336—337).

² В книге четвертой ленинградского альманаха «Ковш», вышедшей в 1926 году, напечатан рассказ М. Горького «О тараканах».

³ Ефим Давыдович Зозуля (был заместителем редактора журнала «Огонек» (с 1924 по 1932 год). О «Заметках» см. примечание к письму № 5.

5

ПОЛОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ

Москва, 25 июня 1926 г.

Дорогой Алексей Максимович.

За письмо — спасибо. Я Вам и послал воспоминания Смирнова потому, что сомнение меня взяло. Сейчас только немножко совестно — заставил Вас читать столь плохую вещь.

Обрадовало меня Ваше желание написать о молодняке нашем. А еще больше меня Вы обрадовали бы, если бы эту будущую статью обещали мне в «Печать и революцию».

Ефима Зозулю я видел, — но, увы — «Заметки» Ваши он отдал в «Огонек»¹. «Нозый мир» — опять в ожидании. Если бы Вы мне прямо сказали, что «Новому миру» вообще Вы не дадите ничего, даже в будущем, я, по совести говорю, оставил бы Вас в покое. Но что ж поделаешь, если Вы этого не говорите. Поэтому я к Вам еще раз с предложением. Вы пишете большую вещь; будет она написана, вероятно, к будущему году. Почему бы Вам не дать ее «Новому миру»? Ведь по договору с Госиздатом она для отдельного издания все равно попадет к нему. А в журнале Вы могли бы ее пропустить совершенно свободно. Если бы Вы мне сообщили (по телеграфу предпочтительней, так как я 12 июля уезжаю лечиться) о согласии и примерном объеме романа, я Вам немедленно, гоже по телеграфу, выслал бы для начала аванс в 1500 руб. (за пять листов по 300 р.). Остальные деньги мог бы Вам выслать либо по частям, либо сразу по получении рукописи. В денежном отношении я пошел бы на любые Ваши условия, которые Вам более удобны, необходимы и т. п. Мне, разумеется, было бы трудно напечатать роман объемом больше 20 печ. листов (принимая во внимание небольшой объем журнала), но до 20 листов в течение года я обязуюсь роман напечатать. Журнал идет хорошо, тираж его растет, и Ваша вещь была бы его украшением. Буду ждать Вашего ответа. Если не сможете или не захотите дать роман целиком — дайте отрывок. Ну, а если и отрывка не захотите дать — больше приставать не стану.

Если будет не трудно, напишите при случае о Вашем здоровье подробней. Бережете ли Вы себя, как следует? Вот, при нездоровье — работаете по 8—10 часов. Может быть, это Вам нельзя? Вы не сердитесь за эти мои непрошенные расспросы, но Вы понимаете, конечно, состояние Вашего здоровья для меня, да и для всех нас далеко не безразлично. Если Вас Госиздат оставляет без денег, может быть, нажать на него?

Если в каком-нибудь смысле Вам понадобится мое содействие — я с величайшей готовностью попытаюсь сделать все, что в моих силах. Поверьте моей искренности.

Жму Вашу руку крепко.

Ваш Вяч. Полонский.

¹ В 1926 году в № 31(175) «Огонька» были опубликованы заметки М. Горького «Из дневника», в № 35(179) — рассказ «Енблема».

6

ГОРЬКИЙ — ПОЛОНСКОМУ

Телеграмма

Сорренто, июнь 1926 г.

Роман печатать отрывками не буду. Горький.

7

ПОЛОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ

Москва, 30 июня 1927 г.

Дорогой Алексей Максимович.

Пишу Вам — не скрывая своего огорчения. Я просил у Вас — помните — отрывок Вашего последнего романа для «Нового мира». Вы отказали. Я не мог предположить, что мотивами отказа могло быть Ваше недоброжелательное отношение к этому журналу. Для такого отношения, после того как я стал его вести, у Вас, мне думалось (и думается), ведь не было поводов. Но как понять то, что сейчас отрывки из «Клима Самгина» — разрозненные — печатаются и в «Огоньке», и в «Красной панораме»¹, и в «Известиях», и в «Правде», и еще в альманахах — в «Новом же мире» — ни строки. Это мне тем более непонятно, что печатание одновременно отрывков из разных частей романа в разных изданиях вряд ли целесообразно. Нет надобности говорить, с каким нетерпением ждет читатель Вашу каждую новую вещь. Он собирает отрывки — но ведь по отрывкам нельзя судить, какие из них идут раньше других — последовательность частей не соблюдена и не указана при печатании. В результате — страдает и роман и читатель. Разве не было бы лучше эту часть романа, поскольку она не была предназначена для отдельного издания сразу, провести в «Новом мире»? Почему же Вы так игнорируете этот журнал? Разве он не выполняет сейчас большой культурной работы? Ведь это, насколько мне известно, первый «толстый» журнал, сделавшийся массовым². Или у Вас в самом деле есть какие-нибудь причины, препятствующие Вам печататься в «Новом мире»? Но какие? Меня все это очень тревожит и печалит. Если бы Вы мне просто, не боясь меня обидеть, сказали бы, почему и т. д., я, право, был бы Вам больше признателен, чем сейчас, когда я даже себе не могу объяснить, в чем дело.

Вы знаете, как трудно вообще вести журнал. Сейчас же трудности необычайны. При таких условиях Ваше нежелание быть другом «Нового мира» вызывает во мне большое беспокойство именно потому, что я не имею представления, почему это так.

Жму Вашу руку крепко.

Любящий Вас Вяч. Полонский.

¹ Третья глава «Клима Самгина» печаталась в журнале «Красная панорама» в 1927 году, в №№ 32, 33, 35.

² Тираж «Нового мира» в 1927 году был самым большим по сравнению с другими «толстыми» журналами — 28 тысяч. «Красная новь» выходила тиражом 14 тысяч, «Октябрь» — 10 тысяч, «Звезда» — 5 тысяч.

8

ГОРЬКИЙ — ПОЛОНСКОМУ

Сорренто, 8 июля 1927 г.

Дорогой Вячеслав Павлович —

рукопись хроники моей распределял по редакциям Петр Петрович Крючков — «Международная книга», Кузнецкий, 12. Я не давал — и не мог дать — Петру Петровичу ника-

ких указаний или советов по этому поводу, и он действовал по своему усмотрению. Всю рукопись — почти 30 листов — «Н. М.» не мог бы взять, наверное? Сейчас я напишу Крючкову: нет ли у него не проданных глав и попрошу его предложить их Вам. Затем: может быть, Вы возьмете часть второго тома? С октября можно бы печатать и ее¹.

Само собою разумеется, что, кроме совершенно определенной симпатии к «Н. М.» — да и лично к Вам, организатору двух таких превосходных изданий, как «Печать и революция», «Н. М.», — я не питаю и очень смущен Вашим подозрением в противном. Странное подозрение.

Крепко жму руку, будьте здоровы.

А. Пешков.

¹ Вторая часть романа «Жизнь Климса Самгина» печаталась в «Новом мире» в 1928 году (№№ 5, 6, 7, 8, 9).

9

ПОЛОНСКИЙ — ГОРЬКОМУ

Москва, 19 июля 1927 г.

Дорогой Алексей Максимович.

Письмо Ваше получил. С Крючковым мне, к сожалению, увидаться не удастся — завтра еду за границу, в научную командировку (по Бакунину). Буду в Германии, Австрии, Чехословакии, Франции и Италии. Если не возражаете — заеду повидать Вас?

Касательно романа — согласитесь на такое предложение. Дайте «Новому миру» законченную часть, листов 15, чтобы ее начать печатать с января. Это значит, что рукопись должна быть у меня к 15 ноября — январская книга должна появиться в свет ровно 1 января, а это значит, что в набор материал сдается в конце ноября. Отрывок листов в пять дайте «Красной ниве»¹. Всего, значит, 20 листов (или около 20, немного больше, немного меньше, как выйдет, чтобы отрывки были закончены). Если согласитесь — гонорар можно будет Вам выслать в несколько приемов, назначьте сроки, какие для Вас удобны. Если не будете возражать — можно считать по 500 руб. за печ. лист.

Я уезжаю завтра, но писать можете на Москву — письма мне будут пересылаться. Где Вы будете в конце сентября? В это приблизительно время я буду в Италии. О многом хотелось бы поговорить с Вами.

Привет. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Вяч. Полонский.

¹ «Красная нива» — литературно-художественный еженедельный журнал. Выходил с 1923 по 1931 год в издательстве «Известия». С 1926 по 1928 год В. Полонский был членом редколлегии журнала.

10

ГОРЬКИЙ — ПОЛОНСКОМУ

Сорренто, 2 августа 1927 г.

Дорогой Вячеслав Павлович,—

в конце сентября я буду в Sorrento и с искренней радостью встречу Вас. Вообще я не собираюсь куда-либо уезжать, живу очень «оседло». О романе будем говорить при свидании — так? Но об условиях и времени печатания все-таки Вам придется беседовать с Крючковым, в Москве. Почему бы Вам не прислать мне, старику, Вашу работу о плакате¹? Буду очень благодарен.

Крепко жму руку. До свидания!

А. Пешков.

¹ Речь идет о книге Вячеслава Полонского «Русский революционный плакат. Художественная монография» (Государственное издательство, М. 1925).

ЛУНАЧАРСКИЙ—ПОЛОНСКОМУ

I

24 марта 1926 г.

Дорогой Вячеслав Павлович.

1. Тов. Яковлева, Варвара Николаевна, дала мне повесть некоего Шкляра, писателя, кажется, немало работавшего в разных журналах еще до революции. Просмотреть ее у меня не было времени, но согласно просьбы Варвары Николаевны я посылаю Вам эту повесть. Она говорит, что повесть не плохая¹

2. Вторая вещь, это «Живой мертвец» Кошелева (Игрушкина)². Повесть эта уже у Вас имеется, но во всяком случае прошу Вас вернуть мне прилагаемый материал по использованию. Повесть я просмотрел. Я, однако, не могу сказать, чтобы она была «восхитительной», но я должен сказать, что Кошелев коммунист, начинающий писатель, очень симпатичный человек, его следовало бы поддержать. Повесть уже не настолько плоха, чтобы ее нельзя было напечатать, наоборот, по внутреннему своему содержанию она выше многого того, что печаталось в журналах. Будьте любезны ответить мне на этот счет поскорее и вернуть мне рукопись, если Вы все-таки не пожелаете ее напечатать, хотя, признаюсь, это поставит меня в некоторое затруднение. Мне очень хочется помочь Кошелеву немножко определиться как писателю. Он, кстати, уже сильно сократил эту повесть по моим указаниям.

3. Вместе с тем посылаю Вам мою статью о последнем произведении Ромен Роллана. Мне кажется, что статья эта довольно значительна и довольно интересна. Предлагаю Вам всецело право напечатать ее, где хотите, или в «Новом мире», или в «Печать и революция»³.

Наконец, позвольте Вас поздравить с тем, что Вы еще раз показали себя настоящим мастером журналистики. «Новый мир», скучноватый и сероватый журнал, в Ваших руках превратился в интересный и яркий. На мой взгляд (думаю, что я не преувеличиваю), «Новый мир» сейчас любопытнее даже «Красной нови».

Крепко жму Вашу руку и жду того дня, когда у нас устроится Главискусство и когда я буду в состоянии просить Вас о ближайшем сотрудничестве Вашем со мной.

Нарком по просвещению

А. Луначарский.

¹ Возможно, речь идет о повести Николая Григорьевича Шкляра «Свет» (см. ниже отзыв И. И. Скворцова-Степанова об этой повести). В «Новом мире» повесть Шкляра не печаталась.

В. Н. Яковлева (1885—1944), старая большевичка, в двадцатые годы работала в Наркомпросе.

² Повесть Николая Дмитриевича Кошелева (псевдоним Игрушкина) в «Новом мире» не печаталась.

³ Статья А. Луначарского «Игра любви и смерти (Последняя пьеса Р. Роллана)» была опубликована в № 5 «Нового мира» за 1926 год.

2

23 апреля 1926 г.

Дорогой товарищ.

Я знаю, что Вы не очень охотно печатаете иностранных авторов, но я все-таки горячо рекомендую Вам рассказ Жироду «Эстелла»¹. Вы, вероятно, знаете, что Жироду — самый модный и самый прославленный писатель из молодых писателей Франции, и в некоторых своих вещах он действительно превосходит. Прежде всего он необыкновенно совершенный стилист. Вот кого можно без натяжки назвать имажинистом. Каждая из его страниц целый град подарков в виде блестящих сравнений и сверкающих парадоксов. (Переводчица, которую рекомендовал мне проф. Рачинский, в общем, хорошо справилась со своей задачей, потому что переводить Жироду очень трудно.) Но Жироду не только стилист, он, в сущности, пустой малый и может писать иногда ровно ни о чем, возводя свои узоры вокруг какой-нибудь совершенной ерунды, хотя он может время от времени напасть на какую-нибудь дикую идею, оказаться во власти бошефобства, но вместе с тем он не лишен чисто французской грациозной иронии. Он недаром много

читал Анатоля Франса, хотя, несомненно, он бесконечно более манерный писатель. Но все-таки запах Франса в нем есть, и как раз «Святая Эстелла» сильна именно этим, так сказать, франсизмом. Это не только великолепное упражнение на словесном роляе, но и очень не плохой антирелигиозный этюдик. Я прочел его с восхищением, правда по-французски он значительно ароматнее, но и в русском переводе доставит удовольствие читателям

Крепко жму Вашу руку.

Нарком по просвещению

А. Луначарский.

¹ Рассказ Ж. Жироду «Святая Эстелла» в переводе Г. Рафальской с предисловием А. Луначарского появился в № 7 «Нового мира» за 1926 год.

3

13 мая 1926 г.

Дорогой товарищ.

Посылаю Вам для ознакомления письмо д-ра Левина Эрнеста Наумовича. Я не знаю, насколько в нем правды, потому что я роман «Мощи»¹ не читал, но поскольку он послан мне, пересылаю его Вам. Вместе с тем я хотел сказать, что в общем и целом мне чрезвычайно нравится «Новый мир», каким он стал под Вашим руководством, но что возбуждает во мне сомнение — это большая повесть Сергеева-Ценского. По мере ее развертывания с теми мнимыми изображениями всевозможных надругательств над большевиками начинает производить впечатление в высшей степени садическое, и в корне вещь почти антиреволюционная. Боюсь, что впечатление, которое получилось у меня от нее, совпадает с впечатлениями многих других. Ценский, конечно, имя, но мне кажется, что впредь все-таки следует избегать в литературе ошеломленных революцией людей, для которых кульминационным пунктом ее является проявленная людьми звериная жестокость².

Крепко жму Вашу руку.

Нарком по просвещению

А. Луначарский.

¹ Речь идет о романе И. Калининкова «Мощи». Позже А. В. Луначарский прочитал роман, который, как вспоминает Н. А. Луначарская-Розенель, ему активно не понравился. «Анатолия Васильевича коробила в этой книге грубость и примитивность антиклерикальной агитки и не менее грубая эротичность» (Н. А. Луначарская-Розенель. Память сердца. Воспоминания. М. 1962, стр. 20).

² В «Новом мире» роман «Мощи» не печатался. Вышел отдельным изданием в издательстве «Круг» в 1926 году.

³ А. В. Луначарский имеет в виду повесть С. Сергеева-Ценского «Жестокость». Повесть получила отрицательную оценку в печати.

4

30 июня 1926 г.

Дорогой Вячеслав Павлович.

Мне бы хотелось, чтобы рецензия на замечательную книгу Маца¹ пошла как можно скорей в одном из Ваших журналов. Рецензия довольно велика, но книга этого заслуживает. Если она слишком велика, чтобы быть помещенной в библиографическом отделе, поместите ее отдельной статейкой на манер моих отзывов о работе Федорова-Давыдова² или о брошюре Гросса³.

Нарком по просвещению

А. Луначарский.

¹ Речь идет о книге И. Маца «Искусство современной Европы» (М.—Л. ГИЗ, 1926). Статья о которой А. Луначарского «Искусство современной Европы» (по поводу книжки И. Маца) появилась в «Новом мире» (№ 8-9, 1926).

² Статья А. В. Луначарского о книге А. А. Федорова-Давыдова «Марксистская история изобразительных искусств (исторические и методологические очерки)» (издательство «Основа». Иваново-Вознесенск, 1925) была опубликована в журнале «Печать и революция» (№ 4. 1925).

...³ В № 3 «Нового мира» за 1926 год печаталась статья А. Луначарского «Искусство в опасности» о книге немецкого художника Георга Гросса «Искусство в опасности. Три статьи» (Перевод с немецкого З. Л. Шварцмана редакция и предисловие В. Перцова. М.—Л. ГИЗ, 1926).

«...Эта статья, во-первых, вносит еще большую, чем когда бы то ни было, ясность в основные линии нашей художественной политики, поскольку она отражается в изобразительных искусствах, во-вторых, обратит внимание на превосходную и все же не до конца испорченную Перцовым брошюру Георга Гросса», — писал А. В. Луначарский В. П. Полонскому 13 февраля 1926 года (ЦГАЛИ, ф. 1328, оп. 2, ед. хр. 132, л. 123).

5

26 сентября 1926 г.

Уважаемый Вячеслав Павлович.

Возвращаю Вам статью Аросева¹. Я недоумеваю, по какой причине мог возникнуть столь настоятельный вопрос о ее устранинии из журнала, разве только потому, что статья эта очень слаба. Не признать ее слабой невозможно. Вступление в нее какое-то сбивчивое, с одной стороны, широковещательное, а с другой стороны, несколько пустое. За этим вступлением следует несколько туго изложенных фактов, большая часть которых извесгна. Серьезным вкладом в биографию Владимира Ильича этого никак нельзя назвать, и сама работа не находится ни в каком взаимоотношении с несколько случайно намеченными общими линиями характеристики Владимира Ильича в первой части, причем и эти линии, по существу говоря, тоже нам всем хорошо известны. Вообще статья слабая, об этом, повторяю, спорить нечего, но все же некоторые факты могут быть полезны для читателя, кое-что — не очень много — нового тут сообщается. Мне думается, что статью можно было бы напечатать, беды от этого никакой не будет. Можно ее и не печатать, тоже без всякого ущерба для журнала.

Нарком по просвещению

А. Луначарский.

¹ Очевидно, речь идет о статье Александра Яковлевича Аросева «О Владимире Ильиче Ленине». В «Новом мире» статья не была напечатана. Вышла отдельной брошюрой в издательстве «Прибой» (Л. 1926).

6

24 декабря 1926 г.

Дорогой Вячеслав Иванович!

Ради бога не подумайте, что я не пришел вчера на Ваш вечер, хотя мог прийти. Нет, я прийти не мог. Ксллегия, рассматривавшая важнейшие и неотложнейшие дела, затянулась до 11¹/₂ час. вечера. Вашими вечерами я очень интересуюсь, только, пожалуйста, не устраивайте их по четвергам, так как [в] четверг я раньше 10 часов совершенно безнадежен. Большую часть сидим и ночью².

Посылаю Вам стихи Е. Хрущевой. Это очень симпатичная и, несомненно, талантливая девушка. Я думаю, что из ее тетради Вы легко выберете по два-три стихотворения для «Нивы» и «Нового мира», а затем я попрошу Вас вернуть мне тетрадь³.

Нарком по просвещению

А. Луначарский.

¹ Описка Луначарского. Надо: Вячеслав Павлович.

² По свидетельству И. М. Гронского, бывшего тогда членом редколлегии «Известий», в «Новом мире» устраивались литературные вечера, на которых присутствовали писатели, деятели искусств, ученые, общественные деятели.

³ Стихи Е. Хрущевой в «Новом мире» и «Красной ниве» не печатались.

7

[1929 г.]

Дорогой Вячеслав Павлович.

Пишу к Вам из Люстдорфа, откуда, возможно, совсем на днях выеду в Москву. Однако пока есть еще вероятность, что я еще недели на 2 уеду в Кахетию. Поэтому посылаю Вам это письмо и рукопись.

Среди большого количества книг, прочитанных мною за время отпуска, была и книга Бахтина о Достоевском. Книга хорошая, но во многом недоговоренная. Кое в чем мне захотелось ее договорить. В результате вместо рецензии, которой я хотел откликнуться на книгу, получилась статья, которую я и посылаю Вам для «Нового мира»¹.

С удовольствием прочел я и Ваши книги. Что касается «Очерков литературного движения», то, во-первых, считаю своим долгом поблагодарить Вас за совершенно верное и достаточно полное изображение моих мыслей в посвященной им главе. Во-вторых, здесь произошла та же история, т. е. рецензии у меня не вышло, а получилась статья, ставящая некоторые точки над «i», — разумеется, те, которые необходимо поставить с моей личной точки зрения.

Статья почти готова, но, конечно, пошлю ее не Вам, а в какой-нибудь другой журнал².

Рецензию на Ваш сборник статей о современной литературе я намерен поместить в «Известиях». Рад констатировать — во многом и многом большое совпадение взглядов³.

Крепко жму Вашу руку.

А. Луначарский.

¹ О книге М. М. Бахтина «Проблемы творчества Достоевского» (М. ГИЗ, 1929) А. Луначарский писал в статье «О многоголосности Достоевского» («Новый мир», № 10, 1929).

² Статья А. В. Луначарского о книге В. П. Полонского «Очерки литературного движения революционной эпохи» (М. ГИЗ, 1928) не была опубликована.

³ Очевидно, речь идет о книге В. П. Полонского «О современной литературе» (М.—Л. ГИЗ, 1928). Рецензия А. В. Луначарского не была напечатана.

Дорогой Вячеслав Павлович,

Пишу Вам по трем маленьким делам:

1) Я уполномочил Вас подписать мою фамилию, как берушего на себя ответственность за общий смысл Вашего ответа Анне Ильиничне. Трудно просто подписывать Ваше письмо, которое я не составлял и некоторые выражения которого меня смущают, хотя с общим смыслом я согласен и А. И. не считаю правой. Это тем более трудно, что и рассказа я раньше не видел и напечатан он без моего ведома, что и естественно при установившемся порядке, в котором никто не виноват. Во всяком случае, прочитав рассказ, я нашел его слабым. Думаю, что вокруг великих теней не следует бродить, когда пишешь слабо, а слабо написанное о великих тенях, пожалуй, не следовало бы печатать. Я бы эту повесть вряд ли одобрил для напечатания. Из этого не следует, чтобы я не хотел делить ответственность и чтобы я хоть в малейшей мере склонялся к тем мыслям, которые по этому поводу высказала Анна Ильинична¹.

2) Посылаю Вам маленькую статью и несколько стихотворений Бодлэра в переводе высоко грамотного переводчика — Арсения Альвинга. В статье есть кое-что для широкого читателя новое, а история самого перевода Бодлэра на русский язык была нова и для меня. На Бодлэра получается несколько иной, не совсем привычный взгляд. Переводы сделаны, на мой взгляд, хорошо. Самые важные из них — «Каин и Авель», «Отречение святого Петра», «Непокорный» — появляются на русском языке впервые: до сих пор они всегда запрещались цензурой. Остальные хотя и переводились уже, но переведены лучше, чем прежде, в особенности «Часы», которые очень удались. Думаю, что всю эту работу вместе следует напечатать в «Новом мире»².

3) Я Вам посылал небольшую повестушку «Маша-царевна» Львовой. Насколько я слышал, она отвергнута якобы за то, что не подходит по теме. Позвольте мне оспорить это мнение. Правда, повестушка рисует жизнь эмигрантов, и рисует беззлобно. Однако не только без всякой симпатии, но с некоторой холодной и кусательной иронией. Вместе с тем даются некоторые грани берлинской жизни, которые я, знающий Берлин, нахожу метко подмеченными. В художественном отношении как будто не было

сомнений и у редакции. Стоит ли нам, которые вызывали против себя много нареканий по поводу якобы ошибочной тематики, бояться осветить угол жизни мало известный и не совсем уж безынтересный? Читали ли Вы повесть сами? Мне бы хотелось, чтобы это решение еще раз пересмотрели, так как, по правде сказать, повестушка мне понравилась³.

Крепко жму Вашу руку. Буду в Москве 24-го утром.

А. Луначарский.

¹ 1 марта 1930 года в «Комсомольской правде» было опубликовано письмо А. И. Елизаровой-Ульяновой редакции журнала «Новый мир» «Против плагиата, литературной выдумки и вранья» о напечатанной в «Новом мире» (№ 11, 1929) «Повести о старшем брате» С. Спасского. Это письмо А. И. Елизаровой-Ульяновой вместе с ответом редакции «Нового мира», не согласившейся с критикой, адресованной автору «Повести о старшем брате» и журналу, было помещено в № 4 «Нового мира» за 1930 год. Письмо подписали члены редколлегии журнала за 1929 год: В. Соловьев, Вяч. Полонский и А. Малышкин. Отсутствующий в это время А. В. Луначарский прислал телеграмму: «С основными мыслями ответа согласен. Луначарский», опубликованную вместе с ответом редколлегии.

² В «Новом мире» статья и переводы А. Альвинга не публиковались.

³ Повесть Львовой «Маша-царевна» в «Новом мире» не печаталась.

9

18 мая 1930 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

Вчера небольшая делегация от «Перевала» явилась ко мне с несколько неприятным заявлением. По словам Лежнева, он передал Вам какую-то теоретическую статью. Она пролежала у Вас некоторое время, затем, когда при встрече с Вами запросил Вас, как обстоит дело со статьей, Вы будто бы ответили ему буквально следующее: «Вашей статьи я не читал и удивляюсь смелости «перевальцев», которые решаются присылать статьи в «Новый мир» после того, как Горбов облил меня грязью».

Очень сильно подозреваю, что этот факт как-то был искажен «перевальцами», но если он не искажен, то Вы понимаете, что Ваше заявление было бы неправильно. Горбов выступал против Вас не как член «Перевала», и «Перевал» за его выступление не отвечает. Так же точно выступал он не против редакции «Нового мира», а против Вас персонально. Поэтому, как ни прискорбна вся эта история с Горбовым, она никак не может повести к разрыву сношений между «Новым миром» и «Перевалом». Думаю, что не только я, но и вся редакция стоит на этой точке зрения. Повторяю, что, мне кажется, что и Вы не можете не стать на нее и что все сообщенное Лежневым какое-то недоразумение. Во всяком случае, если оно состоялось, я очень просил бы Вас разъяснить его. Прошу Вас также о любезности ответить мне на это письмо¹.

А. Луначарский.

¹ Критики Д. А. Горбов и А. З. Лежнев, активные деятели группы «Перевал», постоянно печатались на страницах «Нового мира», «Печати и революции» и считались единомышленниками В. Полонского. Однако в своих «Заметках журналиста», опубликованных в «Новом мире» (№ 1, 1930), В. Полонский посвятил целую главу анализу ошибок статьи Д. Горбова «В поисках Галатен». Д. Горбов ответил Полонскому статьей-памфлетом «Профиль пером», которая была опубликована в «Красной нови» (№ 5, 1930). В примечании к статье Д. Горбов специально оговорил непричастность «Перевала» к этой полемике.

В. Полонский опубликовал ответ на статью Д. Горбова в «Красной нови» (№ 6, 1930), а в письме к А. В. Луначарскому от 23 мая 1930 года разъяснил свое отношение к А. Лежневу и «перевальцам», категорически отвергнув подозрение в каких-либо личных мотивах полемики. «Я выступил против Горбова как против теоретика, уходящего от марксизма... Если Лежнев хочет быть одним из критиков «Нового мира», то, на мой взгляд, — он должен выяснить свое отношение к принципиальным ошибкам Горбова», — писал Полонский. Что же касается писателей-«перевальцев», то В. Полонский, по его словам, собирался печатать их и впредь. «...Одно дело художники, другое — критики», — подчеркивал Полонский (ЦГАЛИ, ф. 1328, оп. 2, ед. хр. 72, л. 6).

СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ — ПОЛОНСКОМУ

1

5 апреля 1926 г.

Дорогой Вячеслав Павлович,

С. А. Клычков находит, что его «Чертухинского балакиря» можно было бы резать несколько меньше. В частности, он полагает, что купюры, сделанные в апрельской книжке, разрывают фабулу и делают кое-что непонятным для читателей. Если Вы руководствуетесь при этом соображениями о том, что нас обвинят в «содействии суевериям» и т. под., я опять повторю Вам: охотно возьму на себя полную ответственность перед партией за такую «религиозную пропаганду», прямо заявлю всем и каждому, что я настаивал, что я давил на Вас в таком направлении. На всякий случай я делаю «подготовку». заставил прочитать «Балакиря» Калининна, надеюсь заставить прочитать Енукидзе и т. д.

Охотно предложил бы Вам непосредственно ангажировать меня в пропуске сомнительных по «антирелигиозным соображениям» страниц.

По словам Клыčkова, весь роман должен закончиться апофеозом электрификации на месте Чертухинского болота. И, по-видимому, его замысел, как это ни странно, именно таков: от средневековой чертовщины к электрической лампе. Конечно, этот конец не будет припилен механически, а будет показан во всей его необходимости.

А в таком случае «антирелигиозным критикам» можно будет сказать: не торопитесь, дорогие. Повремените¹.

С комм. приветом

И. Скворцов.

¹ Роман С. А. Клыčkова печатался в «Новом мире» в 1926 году в №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8-9. Публикация романа сопровождалась статьей Г. Лелевича («Поэт мужицкой стихии», № 1, 1926), в которой отдавалась дань мастерству Клыčkова, но отмечалось, что в основе произведения лежит «реакционная идея». О двойственности романа говорилось и в последующих многочисленных откликах на журнальную публикацию и отдельное издание романа (М ГИЗ. 1926). См.: А. Лежнев. Заметки о журналах и сборниках, «Печать и революция». № 4, 1926; А. Зорич. Чертухинский балакирь. «Правда», 24 ноября 1926 года; А. Воронский. Лунные туманы, «Красная новь». № 10, 1926, и другие. «Читали вы роман Клыčkова «Чертухинский балакирь»? — писал М. Горький М. Пришвину. — Вот — неожиданная книга! Это — 1926 г. в коммунистическом и материалистическом государстве! А того неожиданнее — предисловие Лелевича.

Да — «Крепок татарин — не изломится!

А и жиловат, собака, — не изорвется!»

Это я цитирую Илью Муромца в качестве комплимента упрямому россиянину» («Литературное наследство», т. 70, М. 1963, стр. 335).

Наиболее положительный отклик в связи с выходом отдельного издания романа С. Клыčkова появился в «Известиях», которые тогда редактировал И. И. Скворцов-Степанов. «Со времен Гоголя, кажется, в русской литературе не было произведения, так густо и крепко насыщенного фантастикой. Со времен Мельникова-Печерского никто еще не рассказывал об этой Руси таким прекрасным полновесным народным языком», — говорилось в небольшой рецензии. Автор отмечал что деревня Клыčkова «глубоко враждебна барину и попу» и что «реакционность» позиции Клыčkова не страшна советскому читателю (Д. Фибих. Чертухинский балакирь, «Известия» 24 октября 1926 года, № 246).

Следует отметить, что роман С. А. Клыčkова оканчивался не «апофеозом электрификации на месте Чертухинского болота», как это, очевидно, предполагалось вначале, а пожаром на мельнице, символизирующим гибель старого мира с его предрассудками и верованиями.

2

9 июня 1926 г.

Тов. В. П. Полонскому

С. Малашкин¹.

Я впервые знакомлюсь с ним. Как слаб он в художественном отношении! Какие детские описания наружности героев! И какие невыносимые длинноты!

Рассказ все время ведется с «трагической нотой в голосе». Это в конце концов производит смешное впечатление, в особенности когда оказывается, что Таня жива, обретает благополучие и т. д.

При малой художественной ценности приходится с особой строгостью учитывать политическую сторону. Очень неблагоприятно изображение Октябрьской революции в деревне, часто переходящее в злой шарж (отбирают у богатеев телка, свинью — и пожирают; ничего другого не видно).

С комсомолом совсем плохо. Нисколько не спасают оговорки, что «рабочие от станка» и «крестьяне» не таковы, что разложились и разлагают лишь дети совслужащих, мелкой буржуазии и т. д. Эти оговорки кажутся просто прикрытием. Независимо от намерений автора, получился пасквиль на комсомол.

Я нахожу, что автора надо адресовать, по понятным соображениям, в «Молодую гвардию». В «Новом мире» печатать не следует.

И. Скворцов.

¹ Речь идет об известной повести Сергея Ивановича Малашкина «Луна с правой стороны, или Необыкновенная любовь». В «Новом мире» она не была напечатана, а появилась в журнале «Молодая гвардия» (№ 9, 1926). В. П. Полонский отнесся к повести менее сурово. В своей статье «Критические заметки. О повестях Сергея Малашкина» («Новый мир». № 2, 1927) он писал, что «Луна с правой стороны», при всех своих недостатках, «талантлива, и оставить ее незамеченной — невозможно», так как она затрагивает одну из самых больных проблем современности.

3

3 сентября 1926 г.

Дорогой Вячеслав Павлович.

Перед отъездом в отпуск — несколько торопливых строк.

I. Собственно я всадил Вас в комиссию по переговорам о юбилейном издании сочинений Толстого. Задача сводится к тому, чтобы найти пути и способы для обуздания Черткова (и А. Л. Толстой). Положение тяжелое, так как наши товарищи во главе с Луначарским многое проворонили. Малышев расскажет Вам об этом деле¹.

II. Не думаете ли Вы, что, учитывая давность происшествий и трагическое положение Орешина, можно будет с ним примириться??..

Кажется, это пока все. О других делах некогда писать.

Вернусь числу к 12/X.

Крепко жму Вашу руку.

И. Скворцов.

¹ 24 июня 1925 года Совет Народных Комиссаров принял постановление о юбилейном издании Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого в ознаменование столетия со дня рождения писателя. На заседании президиума коллегии Наркомпроса 7 сентября 1926 года было принято постановление: «Для выяснения вопроса о том, что подготовлено в деле издания полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, в ознаменование столетия со дня его рождения организовать комиссию в составе Петрова Ф. Н., Когана П. С., Полонского В. П.» (ЦГАЛИ, ф. 1328. оп. 3, ед. хр. 255, л. 2). Комиссия ознакомилась с работой В. Г. Черткова и А. Л. Толстой, которые в течение многих лет вели подготовку полного издания произведений Л. Н. Толстого.

² Петр Васильевич Орешин постоянно печатался в «Новом мире». В 1926 году стихи П. Орешина публиковались в №№ 1, 3, 5 и затем после перерыва в № 12.

4

13 декабря 1926 г.

Тов Полонскому

Федорченко. Народ на войне, ч. III¹.

В общем, не менее 7 печ. листов. Конечно, надо печатать, но не целиком. Пустить, как самостоятельную вещь (напр., «Народ в гражданской войне»). Придется сделать тщательнейший отбор. Абсолютно необходимо выбросить все, отзывающееся садизмом (напр., «Баня», многое из «Женщины», еще того больше из «Дети» и т. д.). Такие вещи

оказывают общественно-вредное действие. Пожалуй, целиком выбросить «Легенды». Вообще над выборкой придется посидеть.

Но материал настолько любопытен, что надо будет отобрать до 3—4 печ. листов (на две книжки).

Конечно, необходимо предисловие автора, который должен рассказать, как этот материал получен.

Было бы полезно поручить кому-нибудь написать небольшую статью об этом материале: деревня, вообще не приемлющая войны, социально-туповатые элементы, которые инстинктом ненавидят офицеров и бар, но не разбираются в сложном переплете отношений и попадают то к бандитам, то к белым, «коммунисты», которые толком ничего не могли бы сказать о коммунизме. Вообще любопытнейшее отражение того периода.

И. Скворцов.

¹ Третья часть книги Софьи Захаровны Федорченко «Народ на войне» печаталась в «Новом мире» в 1927 году (№№ 3, 4, 6) с подзаголовком «Гражданская война». Главы «Баня» и «Легенды» в журнальной публикации отсутствуют. В «Предисловии» С. Федорченко рассказывала, что материал для этой книги был собран ею в 1917—1922 годах на Украине, Северном Кавказе и в Крыму. «В этой книге дано только то, что есть у меня, — писала С. Федорченко. — Книга ни малейшим образом не может претендовать на исчерпывающее, или даже неполное, описание гражданской войны» («Новый мир», № 3, 1927, стр. 82).

5

[Конец 1926]

Перегудов. Человечья весна¹.

Вещь вполне приемлемая. Конечно, автор покривил душой: превратил лесника в человека, не приемлющего церковный брак. Никто ему в этом не поверит. И по всем обстоятельствам самому леснику, конечно, пришлось в свое время венчаться с похищенной девицей. Но с этой выдумкой можно мириться — она продиктована наилучшими намерениями.

Очень возражаю против последних 1½ страниц. Пусть лесник любит бывать на тетеревином току. Но на современного читателя производит отталкивающее впечатление, когда лесник старается проследить, как «спаривается» его дочка. Я думаю, надо сделать так: лесник видит, что дело на мази, дочка идет с молодым к оврагу — и лесник удовлетворенный уходит. Зачем же в самом деле наблюдать до конца? Антихудожественно!

И. Скворцов.

¹ Рассказ Александра Владимировича Перегудова «Человечья весна» в «Новом мире» не печатался. вошел в сборник рассказов А. Перегудова «Человечья весна» (издательство «Новая Москва». 1926). В «Заметках о крестьянских писателях» («Новый мир», № 1, 1927) Ник. Смирнов несколько расходился с оценкой рассказа, которую дал И. И. Скворцов-Степанов. По мнению рецензента, рассказ с его «первобытно-языческим» мироощущением в то же время «целомудрен и непосредствен».

6

[1926 г.]

Шкляр. Свет¹.

Мы могли в свое время хвататься за чеховских «Мужиков», изображавших «идиотизм деревенской жизни»: это помогало в добывании народничества. Но уже вскоре Ленин показал, что при всем том деревня может явиться союзником в борьбе с остатками феодализма.

Какое общественное мнение может иметь та «критика деревни», которая дана Шкляром! Тоже тупой, жадный идиотизм и индивидуализм. Критика не пролетарская, не революционная, а обывательская или даже кулацкая (в этом Вы правы), критика, которая несколько не двигает вперед. Сильно сомневаюсь, что Шкляр хорошо знает

теперешнюю деревню. Он не столько изобразил эту деревню, сколько выразил свои брюзжащие настроения.

В художественном отношении Шкляр тоже несколько не завлекателен.

По всем этим причинам я не стал бы его печатать.

И. Скворцов.

¹ Повесть Н. Г. Шкляра «Свет» в «Новом мире» не печаталась (см. также в настоящей публикации письмо А. В. Луначарского В. П. Полонскому от 24 марта 1926 года). Вошла в сборник повестей Н. Г. Шкляра «Свет» («Федерация». М. 1929).

7

17 марта 1927 г.

Тов. Полонскому.

В о л к о в. Жилтоварищество № 1331¹.

Зло разбирает на автора: так нелепо испортить неплохую вещь. Пролетписатель — и махрово контрреволюционный уклон.

Рабфаковка Соня — в сущности, проститутка («пользуйся, мол, мною для удовлетворения половой потребности, но любовь — глупость»).

«Пролетарская» часть жилтоварищества — сплошь ослы, и один из самых тупых ослов — Палкин.

«Положительный» тип для автора — насквозь старозаветная Палкина. Да и герой, эта «божья коровка», на фоне всеобщего распада и гнили в конечном итоге и в заключительных аккордах производит впечатление «положительного» типа.

В общем — очередной пасквиль на революцию и молодежь. Не уступает «Луне с правой стороны».

Надо воздействовать на автора, чтобы переделал хотя бы так.

Палкина пусть переделает в бывшего барского лакея, который в своем просвещении взял и антирелигиозность, так как для него это открывает многие удобства.

Соня пусть остается не окончательно выясненной личностью, — но уж во всяком случае не с такой готовностью удовлетворять «половую потребность» первого встречного. Момент атаки героя таков, что она могла бы просто ответить: а я сегодня же переселяюсь к поэту, он мне люб.

Необходимо настаивать на таких переделках. Надо же защитить автора от самого автора. Иначе мы сами будем толкать авторов в сторону пасквильной сенсации!

Кстати: вчера я упрекнул С. И. Гусева² — как же это такое, «Молодая гвардия» в свое время взяла Малашкина, которого мы не одобрили, а теперь берет П. Романова, к которому мы отнеслись с прохладцей³. Ответ: первое было без него, а второе — неверно: по вчерашний день не принимали «Право на жизнь». А вообще, говорит, надо бы установить между редакциями контакт, чтобы не получалось такого разнобоя. (Конечно, в политической оценке.)

С ком. прив.

И. Скворцов.

¹ Повесть Михаила Ивановича Волкова «Жилтоварищество № 1331» была напечатана в «Новом мире» (№№ 5, 6, 1928). Некоторые замечания И. И. Скворцова-Степанова, в частности касающиеся характеристики Сони, были автором учтены. Рецензируя сборник повестей М. Волкова «Т. Т.», куда вошла повесть, Арк. Глаголев писал, что «Жилтоварищество № 1331» можно отнести к «доброкачественной юмористической беллетристике» («Новый мир», № 8-9, 1929).

² Сергей Иванович Гусев (1874—1933) — видный деятель Коммунистической партии, заведовал во второй половине двадцатых годов отделом печати ЦК ВКП(б). Одновременно был одним из редакторов журнала «Молодая гвардия».

³ Рассказ Пантелеймона Романова «Прав на жизнь или проблема беспартийности» печатался в журнале «Молодая гвардия» (№ 4, 1927).

8

18 марта 1927 г.

С. Игельстром. Капри¹.

Завоевывает большой грамотностью и литературной талантливостью. Убеждает читателя, что все так и было и должно было быть.

Но автор — на тысячи верст от нас. Он и теперь не может противостоять паразитической красноте. Он — с нею. «Большевизм» просто пристегнут. Никто не поверит, что Аня (автор), Ирина и Елена — «большевички», одна даже «партийная»! Наш читатель выругается трехэтажным по адресу этих высокопробных совбурок и скажет: эвона на «отдых» каких кобыл затрачиваются государственные средства. Его будет тошнить от всей этой экзотики и праздной эротики. Автор никого не убедит, будто праздность его большевичек — временная. Она — «профессиональная» праздность. В конечном итоге — препротивная вещь, при всей своей незаурядной художественности.

Автор опоздал всего на четверть века. Ему следовало бы печататься в издававшемся тогда «Русском обозрении» Анатолия Александрова². Конечно, «большевички» превратились бы тогда в русских графинь, а остальные обитатели Капри — в контов, баронов, баронетов и т. д. Получилось бы пряное и занимательное чтение для великосветских дам о приключениях русских великосветских дам. Автору не пришлось бы ломать себя.

В «Русск. обозр.» были и не бесталанные авторы, напр., совершенно забытый теперь Голицын-Муравлин.

Я думаю, с этим автором мы ничего не поделаем: он — из другого мира. Но он (конечно, она) не только талантлив, но и умен. «Большевицкие» фразы (о необходимости труда, о необходимости цели для труда) пристегнуты не плохо.

Конечно, «дамская манера» письма кое-где доходит до комизма.

А все же досадно! Таких ярких вещей очень мало. Но ничего не поделаешь! Нельзя же печатать такую провокационную вещь, — нельзя издавать скорбные вздохи об отлетающей бездельной красноте.

И. С.

¹ Произведение С. Игельстром в «Новом мире» не печаталось.

² «Русское обозрение» — литературный, политический и научный ежемесячный журнал монархического направления. Выходил в 1890—1904 годах.

9

16 июня 1927 г.

А. Толстой.

Если и дальше пойдет так же, это будет для «Н. М.» большим приобретением: «гвоздь» года.

Необходимо, чтобы Толстой дал в «Н. М.» всю эту часть трилогии¹ да законтраговался бы и на третью.

Мелкие замечания — на гранках.

И. С.

¹ Речь идет о второй части трилогии «Хождение по мукам» Ал. Толстого, которая печаталась в «Новом мире» в 1927 (№№ 7—12) и 1928 годах (№№ 1, 2, 5—7).

10

10 июля 1927 г.

В. Полонский. «Социальный заказ»¹.

Горячо приветствую принципиальную и в общем правильную постановку большого вопроса! «Социальный заказ», творчество — нечто внешнее для художника, как производство болванок — для литейщика. Точка зрения автора: творчество органически должно быть слито с художником. В одном случае художнику приказывают подделываться. Во втором случае говорят большим художником ты следаешь, если будешь петь, как птица — по внутренней потребности.

Правильно! Жму Вашу руку.

И. С.

¹ Статья В. Полонского «Критические заметки Художник и классы» — о социальном заказе — была опубликована в «Новом мире» (№ 9, 1927). Теория «социального заказа» была выдвинута и активно пропагандировалась журналами «Леф» и «Новый Леф».

11

20 октября 1927 г.

Тов. Полонскому.

А. Войнова. Чекволапа.

Была героическая эпоха. Рядовых людей, обывателей она превратила в героев. «Наступил легкомысленный нэп», и герои сделались аптекарями, зубными техниками, певчими... замечательная глубина, наблюдательность и понимание!

Но одна политическая сторона не имела бы для меня окончательного решающего значения. Рассказ написан на редкость банально. Я отметил выдающийся в этом отношении места (особенно к концу рассказа). Но по совести надо было бы отмечать много больше.

Для «Нового мира» не годится¹.

И. С.

¹ Рассказ А. Войновой в «Новом мире» не печатался. Опубликован в «Молодой гвардии» (№ 11, 1927) под названием «Вагон особого назначения Чекволана».

12

[1927 г.]

Дорогой Вячеслав Павлович.

Посмотрите, пожалуйста, дневник, который моим знакомым Н. А. Галкиным велся на Чукотском полуострове, где автор прожил 1924 и 1925/6 годы¹. Может быть, найдете некоторые части пригодными для «Нового мира».

С тов. приа.

И. Скворцов.

¹ Дневниковые записи Н. А. Галкина о его пребывании на Чукотском полуострове в качестве уполномоченного дальневосточным отделом Госторга печатались под названием «В собачьем царстве» («Новый мир», №№ 1, 2, 1928).

13

31 июля 1928 г.

Тов. В. П. Полонскому.

Воспоминания Воронского неровны. Есть прекрасно написанные, прямо захватывающие места. Но есть и большие длинноты. За «размышления» литпостовцы опять будут всячески придираться к автору, но с этим не стоит считаться.

Не непременно надо пустить. Нельзя ли с сентября? Это будет подготовкой к IV кварталу. А на 4-й квартал, судя по препроводилке, он доставит продолжение.

Надо бы немедленно известить автора, что воспоминания пойдут¹.

И. С.

¹ Воспоминания Александра Константиновича Воронского «За живой и мертвой водой» печатались в «Новом мире» в 1928 (№№ 9—12) и 1929 (№ 1) годах.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДЕМЕНТЬЕВ

★

ГОРЬКИЙ И КНИГА

(По неопубликованным материалам)¹

Вышедший в мае 1930 года номер горьковского журнала «Наши достижения» весь—от начала до конца—был посвящен советской печати. Передовая статья журнала «18-я годовщина пролетарской печати» была написана А. М. Горьким. В ней говорилось: «Количественные и качественные успехи советской печати исключительно велики, прямо разительны. Оспорить их не посмеет самый оголтелый отрицатель наших достижений... Книжная продукция 1928 г. более чем в два с половиной раза выше книжной продукции 1913 г. (отношение 100 к 280). У нас печатаются и в короткие сроки расходятся миллионные тиражи серьезных социально-политических и научно-популярных книг».

С годами успехи советской печати стали еще более разительными. И поистине неизмеримый вклад в развитие советской печати внес сам А. М. Горький.

А. С. Пушкин сказал о Ломоносове: «Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». Так и Горький не только положил основание многочисленным литературным начинаниям общенародного значения и соз-

дал ряд советских журналов, но был своего рода Госпланом нашей культуры, в особенности книгоиздательского дела.

1

Безграничные возможности и перспективы, которые открыла перед книгоиздательским делом Великая Октябрьская социалистическая революция, Горький осознал и почувствовал сразу же после перехода власти в руки пролетариата. По его предложению при Народном комиссариате просвещения было создано издательство «Всемирная литература». Издательские планы Горького были беспримерными. Намечено было выпустить серии книг—по несколько сот томов в каждой: «Западная литература», «Литература Востока», «Русская классическая литература», «Современная советская литература» и т. д. К составлению издательских проспектов, работе над переводами, редактированию книг Горький привлек десятки видных писателей и крупных ученых. «Как видите,—задача грандиозная, и никто еще до сей поры не брался за ее осуществление, никто в Европе»,—писал Горький В. Воровскому 26 апреля 1919 года. «Честь осуществления этого предприятия,—утверждал он во вступительной статье к «Каталогу издательства «Всемирная литература», вышедшему в 1919 году на русском и французском языках,—принадлежит творческим силам русской революции, той революции, которую ее враги считают «бунтом варваров». Создавая такое ответственное и огромное культурное дело в первый же год своей деятельности, в условиях невыразимо тяже-

¹ В ближайшее время в издательстве Академии наук СССР «Наука» выходит книга «Горький и советская печать». Она, несомненно, вызовет большой интерес у широкого круга читателей. В ней Архив А. М. Горького впервые публикует переписку Горького с руководителями советских издательств и журналов: В. Воровским, А. Халатовым, Н. Накоряковым, А. Воронским, В. Полонским, В. Зазубриным, Т. Костровым и другими. Настоящая статья представляет обзор части материалов, помещенных в этой книге.

лых,— русский народ имеет право сказать, что он ставит себе самому памятник, достояний его».

Задачи, которые Горький ставил перед издательством «Всемирная литература», были очень важными:

выпустить в свет и дать массам, разбуженным революцией к сознательному историческому творчеству, наиболее значительные произведения мировой литературы;

помочь собиранию жизнеспособных сил старой и формированию новой интеллигенции;

служить связующим звеном между советской властью и литературной интеллигенцией;

продемонстрировать перед зарубежными друзьями и недругами политику советской власти в области культуры, ее отношение к культурному наследию.

«На днях закончим печатание перечня книг, предположенных к изданию «Всемирной литературой»,— сообщал Горький В. И. Ленину в январе 1919 года.— Я думаю, что не худо будет перевести эти списки на все европейские языки и разослать их в Германию, Англию, Францию, скандинавские страны и т. д., дабы пролетарии Запада, а также Уэллсы и разные Шейдеманы видели воочию, что российский пролетариат не токмо не варвар, а понимает интернационализм гораздо шире, чем они, культурные люди, и что он в самых гнусных условиях, какие только можно представить себе, сумел сделать в год то, до чего им давно бы пора задуматься».

Как видно, основные цели, которые имел в виду Горький, создавая издательство «Всемирная литература», совершенно совпадали с главным направлением культурной революции, к осуществлению которой приступили в те годы Советское государство и Коммунистическая партия. Однако представления Горького о задачах издательства «Всемирная литература» содержали в себе и некие инородные примеси. В письме Воровскому от 26 апреля 1919 года Горький, доказывая, что советская власть должна энергично помогать издательству «Всемирная литература», аргументировал это следующим образом: «Может быть, от всех ее усилий только одно это останется памятником ее энергии, только это не погибнет, растоптанное ордой озверевших мужиков» И в другом письме, поясняя Воровскому цели издательства «Всемирная литература»,

Горький писал о необходимости просвещения «темных масс» и борьбы с «эмоциями, которые губят революцию». Нетрудно заметить связь этих суждений Горького с его заблуждениями, нашедшими незадолго до этого выражение в цикле статей «Несвоевременные мысли». Суть этих заблуждений известна: Горький опасался, что Октябрьская революция принесет русский политически сознательный пролетариат и революционную интеллигенцию в жертву крестьянству — носителю, по мнению писателя, «зоологического индивидуализма», анархии и жестокости.

Очевидно, что, создавая издательство «Всемирная литература», Горький еще не освободился до конца от этих опасений. Недаром В. И. Ленин, поддерживая издательские планы Горького, в то же время в известном письме от 31 июля 1919 года критиковал «больные впечатления» и «больные выводы» писателя, обращая его внимание на то, что в качестве профессионального редактора переводов он поставил себя в такое положение, «в котором наблюдать нового строения новой жизни нельзя». «Ни нового в армии, ни нового в деревне, ни нового на фабрике Вы здесь, как художник, наблюдать и изучать не можете»,— писал Ленин (Соч., т. 35, стр. 349).

Горький скоро признал правоту Ленина. Издательство же «Всемирная литература» вошло в историю советской культуры как одно из замечательных начинаний первых лет революции. Гражданская война, разруха не дали возможности осуществить грандиозный замысел Горького во всем его объеме, но, преодолевая трудности, издательство выпустило с 1919 по 1922 год пятьдесят девять названий книг в количестве около миллиона экземпляров и сыграло значительную роль в решении сложных задач культурной революции.

2

Осенью 1921 года Горький уехал за границу для лечения. Но связи писателя с родиной оставались самыми тесными и крепкими. «Где-то далеко от России вы слушаете и слышите ее так, как будто бы ни на час не покидали ее»,— писал Горькому в декабре 1924 года К. А. Федин.

С огромной заинтересованностью следил Горький за книгами и периодическими

изданиями, выходящими в Советском Союзе, и оказывал всемерную помощь советским журналам и издательствам. Очень показательна в этом отношении его переписка с работниками издательства «Время».

Это было кооперативное издательство, во главе которого стояли сведущие люди. Оно преследовало серьезные культурные цели, но в годы нэпа подчас поступалось ими ради соображений коммерческого характера. Выпуская по преимуществу современную иностранную литературу, издательство «Время» вместе с хорошими, ценными произведениями нередко выбрасывало на книжный рынок и ходкий, модный «товар», в литературном смысле не очень высокого качества. Весьма поучительно наблюдать, как Горький настойчиво, но тактично поправлял издательство, стремясь придать его деятельности более строгий, принципиальный характер.

Некоторые начинания издательства «Время» и многие выпущенные им книги Горький горячо одобрял. Так, он высоко оценил научно-популярную серию «Занимательная наука», такие книги, как «Занимательная минералогия» А. Е. Ферсмана, «Занимательная ботаника» А. В. Цингера, «Занимательная арифметика», «Занимательная геометрия» Я. И. Перельмана и другие. «Занимательные науки — действительно занимательны! Как они идут у Вас? Читает ли их молодежь?» — спрашивал Горький у И. Вольфсона. И был рад, когда узнал, что серия имеет большой успех и устранены препятствия к ее дальнейшему росту. «Конечно — рад, что «Занимательные книжки» снова увидят свет. Показывал я их людям весьма ученым, — хвалят и завидуют», — писал он.

Самую энергичную поддержку оказал Горький предпринятому «Временем» изданию собраний сочинений Стефана Цвейга и Ромена Роллана. «Издание Цвейга — заслуга и праздник», — отзывался он. По просьбе издательства Горький написал для этих изданий статьи о Цвейге и Роллане.

Разумеется, отношение Горького к современной зарубежной литературе было далеко от какого-либо упрощения и односторонности. Он многое ценил в ней (кроме Цвейга и Роллана, назовем Синклера Льюиса), но отмечал и явления упадка, деградации. «В общем современная литература на Западе лично мне кажется се-

рой, скучной, несмотря на ее попытки «встать ближе к жизни», — писал он Вольфсону.

Надо отметить довольно критическое отношение Горького и к значительной части зарубежных книг, выпускаемых «Временем». Он постоянно советует издательству отвести должное место в своих планах зарубежной классике, рекомендуя издать произведения Диккенса, Вальтера Скотта, Гюго и такие книги, как «Трое в одной лодке» Джерэм К. Джерома, «Мадам Бовари» и «Саламбо» Флобера, «Разгром» Золя, «Тартарен из Тараскона» Додэ и другие. «Старо? Да, но ведь хорошо и — это надо знать», — убеждает он руководителей издательства.

Учитывая запросы книжного рынка, издательство «Время» иногда переводило и выпускало и разного рода «фабульную» литературу, которая в те годы получила на Западе самое широкое распространение. Горький, как правило, не одобрял книги такого рода. И не потому, что они «фабульны» и рассказывают о необыкновенном («Желание необыкновенного — всегда здоровое желание», — пишет он Вольфсону), а потому, что они чаще всего были очень низкого качества. Конечно, не «Время» издавало тогда «Приключения Тарзана», но и оно иногда выпускало книги, так или иначе соприкасавшиеся с пресловутым сочинением Берроуза. Горький и здесь противопоставлял дурному чтению талантливую и оказывающую хорошее влияние «фабульную» литературу. Так, настойчиво рекомендует он Вольфсону издать романы А. Дюма. «Простите за эти советы, — пишет он, — но, мне кажется, что я понимаю психологию современного читателя, который «тарзанизирует» себя не только «Тарзаном», но и кинематографом».

Читателю двадцатых годов приходилось подвергаться воздействию не только «тарзанизации», но и — в самых различных формах — влияния идей «американизации» личности и образа жизни. Под флагом борьбы с отсталостью пропагандировался бизнес, воспевался утилитаризм и сильный «энергично-функцирующий» человек. В сущности говоря, и «позтизация» звериных инстинктов Тарзана была не чем иным, как разновидностью подобных умонастроений. Опасность распространения идей «американизма» была вполне реальна и серьезна (их овязь с нэпом и оживлением буржуазных тенденций в экономике и идеологии

для нас очевидна), и тем более нужно отдать должное политической проницательности Горького, обратившего внимание в переписке с Вольфсоном на их социальную сущность. Коснулся же этого вопроса Горький не случайно. Дело в том, что «Время» выпустило несколькими изданиями известную автобиографию Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения» и другие книги, так или иначе идеализирующие бизнес и его «философию». Горький и в данном случае предостерегал издательство.

По поводу издания романа американской писательницы Андзи Езерской «Гнет поколений» Горький писал Вольфсону: «Роман Езерской — интересен, но писательница не талантлива, и заголовок «Гнет поколений» слишком промко звучит для книги, написанной на излюбленную американцами США тему: «энергия — все преодолевает». Но в результате «преодоления» появляются такие люди, как Гольдштейн «низколобий» (один из героев романа Езерской. — А. Д.), который хвастается тем, что на него работают «люди с университетским образованием», и он может их в любой момент вышвырнуть вон. Американская идеализация энергии — штука плоховатая и требует — для русского читателя — распространенных пояснений».

Получая из России кипы книг и журналов, читая произведения современной зарубежной и советской литературы, Горький нередко сравнивал их между собой. 2 октября 1927 года, познакомившись с очередной порцией переводной литературы, присланной издательством «Время», он сообщал, что впечатление у него от прочитанных книг «тускловатое». «...Должен сказать, — писал Горький далее, — что русских «молодых» читаю более охотно, даже — с жадностью. Удивительное разнообразие гиллов у нас и хорошая дерзость. Понравились мне — за этот год — Андрей Платонов, Заяицкий, Фадеев и Олеша».

Жадный интерес к советской литературе, восхищение ее успехами постоянно звучит в письмах и выступлениях Горького двадцатых годов. Но, конечно, столь же постоянно он выступал и против любых проявлений зазнайства и бахвальства у наших писателей и читателей. Рекомендую издательству «Время» выпускать произведения старой зарубежной литературы, он писал: «А то молодые литераторы, читая западных

современников в своих, пишут мне самонадеянно: «Мы — лучше, талантливее», да и читатели тоже впадают в патриотический раж: «Наши лучше».

Что «наши» не всегда лучше зарубежных — Горький показал в письме к руководителю издательства «Земля и фабрика» В. Нарбуту от 17 августа 1925 года. Нарбут жаловался Горькому, что такие иностранные писатели, как Джек Лондон, Конрад, О. Генри, Синклер, пользуются у советских читателей большим спросом, чем молодые русские авторы. Горький вовсе не склонен был «прибедняться», и в своем письме он хвалит С. Григорьева, Бабеля и других советских писателей. Более того, он убедительно обнажает слабые стороны рассказов О. Генри. Однако и рассказы О. Генри, с его точки зрения, «забавнее, искуснее рассказов Дорогойченко, Ярового, Волкова, Гаврикова и т. д. Что же касается Лондона и Конрада, то они и талантливее и пишут «романтичнее», «фабульнее и о незнакомом».

Все дальнейшие суждения Горького свидетельствуют, что он не только внимательно следил за советской литературой, но и хорошо разобрался в происходящих в ней процессах. В переписке с исключительной точностью отмечены характерные недостатки значительной части ранней советской прозы — невысокий художественный уровень, натурализм, пережитки народнического подхода к деревне и к городу:

«...Читатель хочет романтизма, это несомненно. Он требует, чтоб о знакомом ему рассказали интересно, незнакомо, чтоб в то, что он переживает и пережил, было внесено нечто углубляющее, украшающее».

«К противоречиям старого и нового у нас подходят неумело, изображают их грубо и слишком торопятся примирить их...»

«И — еще одно: слишком много деревни, изображаемой идиллически... У молодых писателей чаще является героем деревенский парень красноармеец, а рабочий — реже. Неверно. И нехорошо... Много пишется о деревенском труде и забыта поэзия городской работы, творчество рабочего».

Возможно, некоторые мысли, высказанные Горьким в письме к Нарбуту, спорны, но в целом оно попадает, как говорится, не в бровь, а в глаз. Издательство «Зиф» ориентировалось в те годы тогда на довольно многочисленных прозаиков «Кузницы», произведения которых бесспорно страдали отмеченными недостатками.

Как видно, Горький и в годы жизни в Сорренто оставался «наседкой современной русской литературы», как назвал его В. Воровский. И в своем отношении к работе советских книгоиздательств он занимал очень верные позиции. Известно, например, что опубликованная в 1925 году резолюция ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» решительно осудила как капитулянтство, то есть неверие в успехи и возможности советской литературы, так и комчванство, то есть шапкозакидательское бахвальство достижениями пролетарского искусства. Нарбут в своем письме спрашивал Горького: «Вы, вероятно, знаете эту резолюцию?» Да, конечно, Горький знал резолюцию о литературной политике партии. «...Резолюция эта,— писал он в июле 1925 года М. Ф. Андреевой,— несомненно, будет иметь крупнейшее воспитательное значение для литераторов и сильно толкнет вперед русское художественное творчество».

3

В 1928 году Горький приехал на родину. И естественно, что его культурная деятельность сразу же принимает небывалый до сих пор размах. С особенной наглядностью это сказалось в области книгоиздательства.

Один за другим возникают у Горького замыслы различных издательских начинаний, книжных серий, коллективных работ. Иные из них были реализованы еще при жизни писателя, другие, рассчитанные на десятилетия, развиваются и в наши дни, третьи по разным причинам не были осуществлены. Все их трудно и перечислить: «История фабрик и заводов»; «История гражданской войны», «История молодого человека»; «Библиотека поэта»; «История деревни»; «История городов»; «История разnochинца»; «День мира»; «История женщины»; «История большевика»; «Две пятилетки»; «Творчество народов СССР»; книги о писательском труде и другие.

Горький постоянно выступал против стихийности, случайности и параллелизма в работе издательств и был горячим сторонником продуманного планирования в книжном деле, серийного выпуска книг, коллективных изданий. «План Академии я просмотрел,— писал он в декабре 1931 года И. Ионову.— Он показался мне несколько «пестрым»... Я стоял бы за большую связ-

ность, за разбивку книг по сериям. Разбиваются они вполне удобно: русские прозаики и поэты, эпос и сказка, иностранная проза; можно и так: город и деревня в прошлом, мещанство на Западе и т. д.». Письмо — для Горького весьма характерное. В таком роде он писал и выступал постоянно.

Однако при этом Горький советовал составлять планы и программы таким образом, чтобы они, направляя усилия литераторов на изучение и художественное освоение новой действительности, не были слишком подробны и детальны, чтобы они не стесняли творческой свободы писателей, их инициативы. Когда он познакомился с планом одного из томов пятитомника «Две пятилетки», разработанным группой литераторов, то сделал следующее замечание:

«Мне кажется, что план излишне детализован и требует значительных сокращений. Детализация намечает ряд ограничительных линий для вас, строит некую клетку для вашей творческой фантазии для воображения вашего, т. е. для включения материала в образ. Образ есть синтез, но, заранее намечая границы и пределы синтеза, вы рискуете исказить материал, обескрылить вашу свободу отбора деталей... Существенно важные смысловые детали должны явиться в процессе ознакомления с материалом, изучения его, и нет нужды намечать их в планы работы. План — детальный — необходим для построения здания или машины, наша задача — шире и сложнее».

Горький считал, что если очень тщательно разрабатывать программу, то можно стать на путь мелочной регламентации художественного творчества. «Этого нужно опасаться,— говорил Горький.— Здесь нужно предоставить свободу выбора материала, темы и т. д., потому что иначе может получиться очень неприятное явление сжимания темы и порчи материала».

Поражает самая широкая, а подчас просто ошеломляющая осведомленность Горького во всем, что касается книг. Когда он замышляет ту или иную книжную серию или коллективную работу, он тут же набрасывает ее план — будь то «История молодого человека» или «История городов», «История сектанства» или «История гражданской войны». И эти планы изумляют богатством знаний. Если, к примеру, речь идет о русской литературе XIX века,

то Горький знает не только таких второстепенных писателей, как Вельтман, Борис Алмазов, Пальм, Авдеенко и других, но и предлагает «воскресить» интересного, по его словам, прозаика Дмитрия Гирса—«Д. Константиновича»: «...Он никогда не издавался, а его «Записки военного» и «Дневник писца» стоят этого,—пишет Горький. И добавляет:— Основная его вещь «Старая и новая Россия» считается незаконченной, но в одном из писем Демерта это опровергнуто». Или вот что пишет он о мало известных мемуарах Л. Оболенского: «Мне кажется, что прежде чем издавать его старые воспоминания в том виде, как они напечатаны были в 902 г., необходимо поискать в Архиве Департамента полиции его рукописей, которые хранились у Мих. Мих. Филиппова и вместе с архивом последнего были арестованы полицией». Такие замечания Горького способны поставить в затруднительное положение самого знающего комментатора. А главное, они свидетельствуют о страстной любви и интересе писателя к истории русской культуры, литературы, общественной мысли.

Планирование издания книг должно было, по мысли Горького, овести на нет выпуск литературного брака, повысить качество издательской «продукции». Вопросы же качества книг являлись для Горького, как известно, наиважнейшими, мучительнейшими и неотступными.

Горький радовался каждой хорошей книге, будь то исторический роман А. Н. Толстого «Петр Первый», или роман из современной жизни молодого литератора К. Горбунова «Ледолом», или мемуары старого большевика А. Бадаева «Большевики в Государственной думе». Он гордился достижениями и успехами советской печати.

И тем сильнее негодовал он по поводу недостатков, возмущался небрежной, неумелой и недобросовестной работой издательства. Слова «хлам», «чепуха», «халтура», «мусор», «ерунда», «брак», «макулатура» то и дело мелькают в его суждениях о книжной продукции. Он негодует, возмущается, сердится, огорчается, протестует, возражает, настаивает... Для иллюстрации можно взять его письма к Халатову. Вот что писал, например, Горький Халатову 24 января 1931 года по поводу «возмутительного хлама», выпускаемого в свет издательством «Федерация»:

«Крайне досадно, что бумага тратится на такую макулатуру и халтуру. Чувствуется, что в «Федерации» нет грамотного редактора. И не одна «Федерация» засоряет государственный книжный рынок хламом, не только она портит культурно-воспитательную работу ГИЗа и бесполезно истребляет бумагу.

У нас очень много развелось людей, которым весьма нравится легкий труд, и—отсюда чрезмерное обилие ведомственных журналов, которые никто не читает, обилие параллельных изданий...

Хлама у нас, дорогой друг, издается много; очень жаль, что у меня нет времени доказать Вам фактами и цитатами, что это именно хлам и мусор. Я получаю книги многих издательств и, прочитав, возвращаю их в Союз, в провинцию, в клубы, колхозы, учителям, молодежи, посылаю в библиотеку Римского Полпредства. И вот у меня остаются десятки книг, которые я не решаюсь послать никому вследствие их негодности.

С этим явлением необходимо бороться безжалостно».

Подход Горького к изданию книг был хозяйский, государственный. При этом в борьбе за качество книг для него не было мелочей. Он обращал внимание и на бумагу, и на иллюстрации, и на перевод, и на корректуру, и на формат, и на внешнее оформление книги. Его сердят опечатки, безграмотность, ошибки, небрежность, безответственное отношение к делу.

Понятно, что он очень ценил хороших, опытных и любящих свое дело редакторов и издательских работников. Он защищал А. Тихонова и А. Виноградова от И. Ионова, самого Ионова от Халатова, жалел, что Халатов уходит из ГИЗа, рекомендовал взять на работу в Госиздат «старика Сытина» и нескольких ценных им редакторов и специалистов.

Но главный недостаток в работе издательств, по мнению Горького, заключался в нетребовательном отношении к произведениям, которые предлагаются к изданию, в неумелом отборе рукописей и книг для печати. «Есть целые ряды книг на одну тему и почти одинаково бездарных, напр., книги американских «трампов», бродяг. Их выпущено Госиздатом, кажется, шесть штук»,— указывал он Халатову. «Одна другой хуже и в безобразных переводах... Вообще пере-

водная литература Госиздата очень плоха»,—сетовал он по поводу этих книг и в письме к И. Груздеву.

К сожалению, плоха была не только переводная литература Госиздата, но нередко и отечественная. Советуя Халатову пересмотреть сложившийся порядок оплаты труда литераторов, Горький писал: «Уже есть «пролетарские» литераторы, которые пишут книги как будто «из милости» к пролетариату, смотрят на рабочих как бы «сверху вниз» и предлагают ему всякий хлам, необработанным, как он высыпался из-под пера на бумагу. Все это плохо».

С точки зрения повышения качества книг не удовлетворяла Горького и работа издательств с молодыми и начинающими писателями. «Редактора издательств,— писал он в статье «О работе литературных издательств»,—слишком торопятся «выводить в свет» начинающих писателей и весьма часто принимают куриц за петухов, причём курицы оказываются способными нести только яйца, именуемые «болтунами». Иными словами: происходит фабрикация литературных неудачников, которые неизбежно претворяются в паразитов литературы».

Таким образом, проблема всестороннего улучшения работы издательств соединялась у Горького с постоянной заботой о совершенствовании советской литературы, о повышении ее идейно-художественного уровня. Горький полагал, что и авторы, и редакторы журналов, и работники издательств, и Союз писателей обязаны считать борьбу за качество литературы своей важнейшей задачей. И все, от кого зависит качество литературы, должны проникнуться духом скромности и самокритики, а не настроениями самоуспокоенности и бахвальства.

Двадцать девятого сентября 1935 года в «Правде» была помещена «Беседа с секретарем Правления Союза советских писателей тов. Щербаковым». В этой беседе А. С. Щербаков говорил о подъеме советской литературы и ссылался на большое количество новых произведений прозы и драматургии. По его словам, наши авторы «чеканят» свои произведения, и можно сказать, что некоторые их романы и пьесы будут «выдающимися литературными событиями». В письме к Горькому Щербаков объяснял, что подъем литературы «предопределен съездом советских писателей», и он считал

«политически необходимым» свое выступление, чтобы прекратить «разговорчики» о «кризисе» и ободрить писателей Горький был очень недоволен «беседой» Щербакова, полагая, что «количество не гарантия качества». «Очень меня смущает и огорчает Вы оптимизмом Ваших оценок текущей литературы,— писал Горький Щербакову.— Я не стал бы протестовать против них, если б оценки эти ограничивались Вашими письмами ко мне. Но Вы публикуете их, адресуя «городу и миру», возбуждая в советской общественности надежды и ожидания, которые едва ли сбудутся. Мой скепсис основан на чтении тех рукописей, которые особенно подчеркнуты Вами, как явления весьма значительные. Вы — не читали тех произведений, о которых говорите.

Разрешите обратить внимание Ваше на следующее: Вы — лицо официальное, член правительства, и для очень многих граждан Ваше слово звучит, как некий «категорический императив». Наша критика, маломощная, не отличающаяся храбростью и не очень грамотная исторически, раньше, чем решиться сказать свое слово, посчитается с Вами. Отсюда Вам должно быть ясно, как велика Ваша ответственность и как солидно должны быть продуманы Ваши оценки».

4

Направляя работу издательств, советуя издать одни книги или возражая против выпуска других, Горький всегда соотносил книгоиздательскую деятельность в нашей стране с борьбой двух миров — социализма и капитализма, с задачами коммунистического воспитания, с интересами Советского государства и Коммунистической партии.

«Мое мнение таково: эпоха, переживаемая нами, характеризуется взрывом творческих сил в России и духовным одиночеством Европы. Америки, так вот всестороннее, объективное освещение этих двух процессов и должно быть поставлено целью журнала»,— писал Горький Халатову по поводу журнала «Читатель и писатель». Но с полным правом можно сказать, что речь здесь идет и о горьковском понимании целей любого культурного начинания.

Перед глазами Горького — при всех его начинаниях — стоял идейный противник, и замыслы писателя носили боевой характер «Нам нужно драться, и мы должны бить

лентяев, индифферентистов, скептиков по причине сытости, а также и по причине усталости. Или мы способны заразить молодежь нашей бодростью, или не способны. Я верю: способны», — писал он Халатову.

Издательские планы Горького никогда не были нейтрально просветительскими. Так, книги «Дешевой библиотеки ГИЗа» он разбил на такие тематические разделы: «Война», «Французская революция», «Колониальная политика», «Крестьянство на Западе», «Крестьянство у нас», «Буржуазия», «Антирелигиозные издания». Самый отбор книг для издания он производил, исходя из строгих идейных принципов. Появление любой книги, чуждой советской идеологии, вызывало у него резкий протест. Многие книги (романы Писемского и Мельникова-Печерского, свою «Исповедь» и другие) он считал целесообразным снабдить предисловиями, поясняющими их противоречивость.

И именно потому, что подход Горького к книжному делу был проникнут высокой идейностью и принципиальностью, он противостоял и всякому сектантству, групповщине, вульгаризации, подозрительности. В те годы, когда рапповцы относили М. Пришвина и Сергеева-Ценского к внутренней эмиграции, именем Бунина пугали молодых писателей, Горький с восторгом отзывался о творчестве Пришвина и Сергеева-Ценского и настаивал на том, чтобы напечатать «Деревню» Бунина. Рекомендации и мнения Горького нередко ставили в трудное положение людей, не способных по-горьковски широко понимать задачи советского книгоиздательства.

Некоторые идеологические мотивы, из которых исходил Горький в своем понимании задач нашего книгоиздательского дела, звучат в переписке особенно сильно. Они развиваются Горьким и в ряде статей.

Наиважнейшей задачей советских издательств Горький считал выпуск в свет таких книг, которые способствовали бы воспитанию крестьянства, преодолению им пережитков индивидуализма и собственничества и распространенных в деревне предрассудков. В своих письмах Горький постоянно возвращается к этому вопросу. Для крестьянства в первую очередь он предназначает «Историю деревни», «Историю гражданской войны» и настойчиво рекомендует перенздать рассказы Н. Успенского, «Власть земли» Г. Успенского, «Мушкетеры» и «В овраге» Чехова, «Деревню»

Бунина. Имея в виду воспитание крестьянства, Горький предостерегает против идеализации деревни Злато-вратским, Левитовым, другими писателями-народниками и их современными эпигонами. И даже, замышляя серию «История молодого человека», он пишет, что «нужно бороться с психологией крестьянского индивидуализма».

Иногда, развивая излюбленные мысли о воспитании крестьянства, Горький впадает в явные преувеличения. «...Вы, конечно, понимаете, что мною руководит сознание необходимости всестороннего интеллектуального нажима на деревню и что с этим делом мы должны торопиться. Борьба за культуру, это — борьба с деревней, гнездилищем всяких предрассудков, суеверий, консерватизма кротов и медведей», — писал он 29 ноября 1928 года Халатову. Но идея «борьбы с деревней», да и самая характеристика деревни показывают, что здесь Горький впадает в крайность, забывая о давнем тяготении деревни к культуре, о том, что крестьянин всегда был не только собственником, но и тружеником.

Односторонность и субъективизм некоторых суждений Горького о деревне не могут заслонить существенное и важное в его мыслях об изображении деревни в русской дореволюционной и советской литературе.

Говоря об «интеллектуальном нажиме на деревню», Горький в первую очередь имел в виду развитие атеистической пропаганды, издание антирелигиозных книг. Дело это он считал очень нужным и писал о нем очень часто. «Книги, написанные в целях антирелигиозной пропаганды, я читал почти все, но среди них не нашел ни одной, написанной достаточно толково и в уровень понимания массы», — писал он Халатову, доказывая необходимость издания серьезных книг, направленных против религиозных верований, церкви и сектантства. С этой целью Горький обращал внимание Халатова на архив Святейшего Синода, который, по его мнению, дает богатый материал для таких книг. В одном из писем он набросал план книги о сектантстве, советовал издать для безбожников полный текст записок профессора Московской духовной академии, автора «Истории церкви» Е. Голубинского («Записки эти обличают автора как атеиста, главное же дают исторический материал о духовниках в их быте»).

О том, какое значение придавал Горький антирелигиозной пропаганде, свидетельствует и такой факт. В 1929 году была переиздана повесть Горького «Исповедь». По этому поводу он писал Халатову: «Ее не следовало издавать в те дни, когда наблюдается рецидив религиозных настроений».

Серьезной задачей издательств Горький считал и борьбу с мещанством. Именно с этой целью была задумана им книжная серия «История городов как история русского быта». В разработанном плане этой серии Горький писал: «Мещанин — враг, не менее серьезный, чем средний и крупный буржуа. Это — «враг внутренний» не только в том смысле, что он живет среди нас, а и в том, что он живет внутри каждого из нас. Надевая словесную маску социалиста, мещанин умеет весьма ловко скрывать под ней свои эмоции мелкого хищника. Он поэт «Интернационал», но в мелодию его мысленно вставляет слова: «Господи, воззвах к тебе, услыши мя». Он органически не способен мыслить государственно и еще менее способен понимать государственное значение труда. Этот враг, количественно обильный и трудно уловимый, должен быть разоблачен и уничтожен».

Нельзя не обратить внимание на постоянство и настойчивость, с которыми Горький рекомендует выпустить романы Помяловского «Мещанское счастье» и «Молотов». Причины такой настойчивости очевидны. «В проекте изданий за время 28—32 указан Помяловский «Очерки бурсы». Почему именно это, а не «Молотов» и «Мещанское счастье» — повести особенно характерные для нашего времени, когда мещанство, становясь более активным политически, просачивается всюду? Странно это», — писал Горький Халатову в феврале 1929 года. А десять месяцев спустя снова: «Не изданы до сей поры повести Помяловского «Мещанское счастье» и «Молотов», а Вы тоже согласились, что время требует этих книг».

Есть и книги советской литературы, на издании и переиздании которых Горький настаивает по тем же самым соображениям: «время требует». Например, роман Н. Колоколова «Мед и кровь», вызвавший в свое время большой интерес. «Вы прочи-

тайте «Мед и кровь» Николая Колоколова — отличная вещь! Этот ударил мещанина по душе. Очень метко ударил», — писал Горький И. Касаткину.

С течением времени все сильнее и сильнее звучит в переписке Горького требование издавать литературу, готовящую советский народ к обороне отечества, к войне с фашизмом. «Готовится война», — писал Горький в октябре 1935 года Щербакову, — ее уже начали в Африке, завтра она может разразиться в Средиземном море, а вслед затем вспыхнуть и на Востоке. Я напоминаю Вам об этом, чтоб сказать: оборонной литературы у нас нет, а ведь, если помните, о необходимости ее говорилось давно».

Еще более резко и горячо вопрос о создании и издании оборонной литературы и литературы на интернациональную тему Горький ставит через несколько месяцев в письме к Накорякову: «...Что крайне удивляет меня, это — полное равнодушие литераторов наших к вопросам обороны и, затем, к интернациональной жизни».

На необходимость издавать оборонную литературу я указывал до съезда. В частности, давно пора издать книги об интервенции японцев и немцев на Украине».

Пристально следил Горький за появлением произведений оборонного характера. С исключительной заинтересованностью отнесся Горький к затеянной Главным политическим управлением Красной Армии хрестоматии для красноармейцев и краснофлотцев. В письмах к Я. Б. Гамарнику он разобрал ее что называется «по косточкам» и, в сущности, пересоставил ее. Таковы были некоторые идеи, из которых исходил Горький в своем стремлении улучшить работу советских издательств, такова была «линия» Горького в книжном деле.

Линия эта была строго партийной в самом лучшем и подлинном смысле этого слова. Горький выступает перед нами как поистине великий деятель советской культуры, обладавший не только огромными знаниями, исключительной работоспособностью, но и ленинским подходом к делу. Его рекомендации, советы, предложения и замыслы, относящиеся к изданию книг, поражают своей глубиной, дальновидностью и до наших дней сохраняют свое значение.



В. КАТАНЯН

★

О СОЧИНЕНИИ МЕМУАРОВ

(Заметки на полях)

Мемуары, как известно, пишутся, а не сочиняются. Но именно о сочинении мемуаров мы собираемся говорить.

Было время, когда мемуары казались неуместными на гладко подметенных проспектах истории литературы. Любая сложность настораживала, слово «противоречия» звучало почти синонимом пороков, и с этой точки зрения мемуары создавали лишь дополнительные затруднения, путали аккуратно расчерченные схемы.

Мы далеко ушли от тех времен. Шире стали наши представления об истории литературы. Мало-помалу мы освобождаемся от предвзятых оценок, от «хрестоматийного глянца», приукрашивания и подгонки фактов под готовые стандарты. Идет большая коллективная работа по изучению богатого наследия советской литературы.

Когда-то Маяковского возмутила кинокартина «Поэт и царь» (о Пушкине), авторы которой стремились потрафить «самому пошлому представлению о поэте, которое может быть у самых пошлых людей». Маяковский говорил о высушенной схеме, которая заменила в картине «образ наиболее замечательнейшего за все время существования России поэта и поэта с замечательной биографией, то есть человека очень сложного». А иначе, как с людьми сложными и очень сложными, история литературы, в сущности, и не имеет дела. Впрочем, это, конечно, не новость для вдумчивого исследователя.

Интерес к мемуарной литературе, растущий в последнее время, явление во всех

смыслах положительное. Все чаще и чаще на страницах журналов появляются воспоминания о самых разных писателях и поэтах — от Льва Толстого и Чехова до Гайдара и Заболоцкого.

Литературные достоинства их различны. Но дело не в литературных достоинствах. Вероятно, было бы правильно, чтобы весь этот поток мемуарной литературы получал, кроме общественно-литературной, и специальную оценку литературоведов-исследователей — с точки зрения их исторической достоверности. Далеко не всегда редакции журналов, печатающих такие воспоминания, имеют возможность разобраться во всех крупных и мелких событиях, которых касается автор, сопоставить их с тем, что было известно раньше. Иной раз только специалист, исследователь определенного периода истории литературы или отдельного автора может отличить невольные ошибки памяти, возможные неточности от недопустимого сочинительства.

На протяжении многих лет работы над историей жизни и творчества Маяковского мне довелось прочесть, вероятно, все, что было напечатано из мемуарной литературы о нем, а также множество рукописей, писем и т. д.

Приходилось читать воспоминания, где авторы, убавляя и прибавляя, подходили к истории как к черновику, полному помарок, черновику, который нужно еще править и править.

Приходилось читать воспоминания, где авторская память начисто вытеснялась воображением, иногда самым буйным, порою точно рассчитанным.

Я наблюдал удивительное явление, как память людей с годами не слабела, а, наоборот, крепчала и воспоминания походили на некое древо, дающее время от времени — чаще к юбилеям и праздникам — новые и новые побеги.

Я читал воспоминания, авторы которых смело брались разговаривать за того, о ком писали, забывая, что поэту не пристало «пользоваться чужими словесами».

Я читал воспоминания, где нынешние приобретения литературной науки запросо «опрокидывались» в далекое прошлое и крепкий задним умом автор выходил правым в споре. Воспоминания, к которым меньше всего подходят строки из пушкинского «Воспоминания»:

...И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Нет, как раз, чтобы «смыть» какие-то «печальные строки», и писались такие воспоминания...

2

В одном из писем к Людвигу Пичу Тургенев жаловался на затруднения, которые он испытывает, приступая к литературным воспоминаниям. «Как только я отхожу в своей работе от образов, я совершенно теряюсь и не знаю, с чего начать». Он чувствовал необычайную ответственность перед требованиями фактической точности и исторической достоверности. «Мне все кажется, что можно с полным правом утверждать обратное тому, что я говорю, — сетовал он. — Когда же я описываю красный нос или светлые волосы — то волосы действительно светлы, а нос красен — и этого никак не опровергнешь!»

Требования достоверности, предъявляемые обычно в художественном сочинении к образу в целом, в применении к мемуарному произведению распространяются и на мельчайшие детали. Неопровержимые у любого тургеневского героя «светлые волосы» могут быть «с полным правом» оспорены и отвергнуты, если они не соответствуют облику человека, реально существовавшего и выведенного под своим именем.

Вопрос о степени достоверности — это, вероятно, первый вопрос, который встает с каждой новой книгой воспоминаний.

Н. Серебров, автор воспоминаний о Чехове, Толстом, Горьком, Шаляпине, Стани-

славском, Комиссаржевской («Время и люди», 1955) считал даже нужным оговорить в предисловии:

«Беруся утверждать, что ни одно из событий, ни одна из ситуаций, ни одно из ответственных высказываний лиц, упомянутых в книге, не являются вымышленными. И тем не менее было бы ошибкой относиться к моим запискам как к документу, поскольку в них присутствует некоторая доля авторского домысла, изменены фамилии некоторых персонажей и перегруппирован, по времени и месту действия, материал, в целях усилить его литературную выразительность».

Защитившись таким предисловием, автор обеспечил себе свободу в выборе между памятью и фантазией. Но вправе ли он был присваивать себе эту свободу? Верно ли он делал, жертвуя точностью в пользу «литературной выразительности»? Почему нужен авторский домысел там, где речь идет о событиях, которые мемуарист своими глазами видел?

Разумеется, точность и литературная выразительность вовсе не исключают друг друга, но если поставить читателя перед необходимостью выбора, то, думается, ни один читатель не освободит автора воспоминаний от присяги говорить прежде всего точно.

Мы не знаем, распространяется ли предисловие Н. Сереброва на все его воспоминания или оно относится только к книге «Время и люди»... Во всяком случае небольшие воспоминания Н. Сереброва о Маяковском, опубликованные еще в 1940 году и перепечатанные сейчас в сборнике «Маяковский в воспоминаниях современников», содержат, несомненно, материалы и той и другой категории.

К примеру: Н. Серебров убедительно, на мой взгляд, рассказал об одном выступлении Маяковского в Кисловодске, в парке, на мокрой концертной площадке перед немногочисленной публикой. Несколько коротких реплик передают атмосферу этого вечера, когда контакт с публикой устанавливался не сразу.

А вслед за этим идет другой эпизод, который весь состоит из очень длинного, на целую страницу, монолога Маяковского. Как рассказывает Н. Серебров, Маяковский и он проходили и проговорили всю ночь. О Пушкине, о славе, о РАППе, о

друзьях поэта, о гекзаметре, которым нужно сейчас писать (?), о намерении перейти на прозу...

Темы затрагиваются здесь очень серьезные. Тем более важно знать, как и м е н и о говорил о них Маяковский, какими словами? Но в тексте нет никаких указаний на то, что слова Маяковского, приведенные как подлинные, были записаны им тогда же. Какова же в таком случае степень приближения? (Или, может быть, лучше сказать — удаления?) И возможно ли, вспомнив через десять лет темы ночного разговора, суметь восстановить их точно, в словах и выражениях собеседника?

Маяковский чертыхается, раздраженно стучит палкой, грубит, а в общем, явно «переигрывает». И чем больше он «нажимает», тем меньше ощущение достоверности от этой сцены. «Некоторая доля авторского домысла» оказалась в данном случае неоправданно велика.

3

В 1927 году Лев Кассиль, тогда молодой журналист, напечатал в газете «Советская Сибирь» (30 октября) отчет о выступлении Маяковского в Политехническом музее, когда он впервые читал поэму «Хорошо!». Там есть такой эпизод:

«Маяковский получил записку: «Самое, что лучшее понравилось у вас, Владимир Владимирович, это «с Лениным в башке и с наганом в руке»... Голосом мягким, знакомым литвечерам, поэт просто и серьезно сказал на галерке:

— Желаю, товарищ, чтоб вы всегда имели Ленина в башке и наган в руке...— И шутя добавил:— ...а иногда и мою поэму в сердце».

В книге Л. Кассиля «Маяковский — сам», вышедшей в 1940 году, этот эпизод рассказан уже иначе:

«Маяковский читает заключительные строки одной из глав поэмы:

С Лениным в башке
и с наганом в руке...

И вдруг какой-то молодой красноармеец, привстав со своего места, кричит:

— И с вашими стихами в сердце, товарищ Маяковский!

Первый раз в жизни не знает Маяковский, как ответить... Очень серьезно, очень сердечно он говорит:

— Спасибо, товарищ!»

В новом издании этой книги, которое вышло в прошлом году, набежали еще кое-какие подробности.

«Я вижу,— пишет Кассиль,— как подавляет в себе волнение Владимир Владимирович. Некоторое время он молчит, все более и более светлея лицом. Потом всматривается в зал благодарными усталыми глазами, находит там наверху того, кто крикнул. Очень серьезно и с таким доверием он говорит, как бы протягивая через зал руку за поддержкой:

— Спасибо, товарищ...» («Маяковский — сам», 1963)

Вероятно, не столь удивительны сами по себе метаморфозы этого эпизода, сколько то, что все три варианта принадлежат одному и тому же автору.

Об ошибке памяти здесь вряд ли может идти речь. Но почему писателя не удовлетворило то, что было на самом деле?

Ему, конечно, очень нравится его герой, он пишет о нем с восхищением, но ему хочется сделать его еще «выигрышнее», добрее, трогательнее. Почему бы, например, не реализовать пожелание поэта тут же на этом вечере? Это будет замечательно.

«Шутка ли сказать,— пишет Кассиль,— какую смелую и желанную для поэта оценку дал его стихам этот молоденький красноармеец, порывисто вскочивший на галерке!»

Однако находчивый воин, бодро объявляющий, что у него на сердце, не может быть сделан без сусали Ну, а заодно и Маяковский, смущаясь и умиляясь, засиял тусклым блеском...

Приведенным примером я, разумеется, не хочу характеризовать воспоминания Л. Кассиля в целом. Наиболее интересные страницы его воспоминаний о Маяковском были написаны в тридцатых годах, по свежим следам.

4

Е. Ратманова-Кольцова вспоминает не столько свои встречи с Маяковским, сколько встречи Мих. Кольцова с Маяковским («Новый мир», № 4, 1961). Этим, может быть, частично объясняется, почему Маяковский вышел, на мой взгляд, мало похожим на себя. Можно вдвойне пожалеть об этом, потому что речь идет о том времени, когда Маяковский писал поэму «Владимир Ильич Ленин».

Вот, например, как Е. Ратманова-Кольцова описывает один разговор Маяковского с Кольцовым зимой 1924 года, когда они подходили к дому, где помещались редакции «Правды» и «Известий»:

«— А знаете что... Вы слышите меня?.. Кто-то сейчас пишет там, на другом краю планеты...»

Маяковский остановил Кольцова и, выпуская его руки из своей огромной, вдруг застучав палкой по твердому насту, будто дружески стучался в дверь дома, который он видел сквозь всю громаду планеты на противоположной ее стороне.

— Человек пишет, потому что, поймите, не писать не может... Не будем мешать ему. Пусть пишет свое. Пока еще нас с вами он не зовет. Пойдемте... Возможно, он будет писать еще десять лет! Я тоже буду писать, поверьте, десять лет о Ленине. Пусть не мешают!.. Почему, однако, десять лет, а не всю жизнь? Нелепая оговорка... Пойдемте».

Так как автор воспоминаний при разговоре поэта с журналистом не присутствовал и разговор этот, естественно, не слышал, то, очевидно, многое возместил «сообразно фантазии». Надо сказать — возместил не слишком удачно.

Почему Маяковский говорит так темнo и многозначительно? В чем дело? Что это за человек на противоположной стороне планеты? Как можно ему мешать или не мешать? Для чего он будет звать их — Кольцова и Маяковского?

Мих. Кольцов был умный, талантливый писатель, острый и ироничный собеседник, и просто не верится, что Маяковский мог с ним вести подобный бестолковый разговор. Или вот еще невнятный, сбивчивый монолог:

«Интересуются, где Шекспир, где Пушкин,— внезапно заговорил Маяковский, словно обрывая мысли, которые накачивались, как волны в прибое.— Великолепно... Скажите, спрашиваю, а вы сами нашли слова? Подходящие слова?.. Знаете, на чем теперь себя ловлю? Прочитал, опять читаю... А вы?.. Невероятно. Нет...»

При этом сообщается деталь, которая должна окончательно убедить читателя в высокой степени душевного потрясения поэта. «Вдруг хрустнул спичечный коробок, жестко сдавленный пальцами. Маяковский разжал кулак, и спички посыпались на талую, в солнечных блестках, землю. Нет,

лучше не трогать его, не спрашивать ни о чем»,— пишет Е. Ратманова-Кольцова.

Но разве можно такими сугубо беллетристическими средствами, нарочито невнятной речью и тому подобными приемами передать душевное состояние сложного человека?

Нельзя забывать и о том, что чувства и переживания, связанные с болезнью и смертью В. И. Ленина, описаны самим поэтом и в стихотворении «Мы не верим!», и в поэме «Владимир Ильич Ленин». Чтобы суметь что-либо сказать в пояснение и в прибавление к ним, какую же чуткую наблюдательность надо было проявить тогда, какую цепкую и точную память обнаружить сегодня! И никакой «беллетристики»!

5

В книге воспоминаний П. И. Лавута, устроителя вечеров Маяковского, есть рассказ о том, как Маяковский составлял афишу своего первого выступления с поэмой «Хорошо!» (октябрь 1927 года):

«В разгар работы он, слегка улыбнувшись, неожиданно спросил меня:

— Вы не будете возражать против того, что я вставил вас в поэму?

— Каким образом я попал туда?

— Помните ваш рассказ о бегстве Врангеля? Не зря я вас тогда мучил. Вы его здесь узнаете. Читайте в афише: «Сперли казну и удрали, сволочи». Это из вашего рассказа. А начало главы такое:

Мне
рассказывал
грустный еврей,
Павел Ильич Лавут...

Я перебил его:

— Почему «грустный»? Ну, еврей — пожалуста. Но я возражаю против «грустного».

Маяковский начал тут же подбирать другое прилагательное. В окончательном варианте значится «тихий» («Маяковский едет по Союзу», 1963).

Воспоминания П. Лавута написаны через много лет после смерти Маяковского, и вот автору уже начинает казаться, что он вполне мог бы принимать участие в выборе прилагательных для самого себя.

Но в то время, когда П. Лавут, по его словам, браковал эпитет «грустный» и Маяковский будто бы тут же стал подби-

рать другой,— поэма «Хорошо!» давно уже печаталась в типографии «Красный пролетарий». и в рукописи, с которой она набиралась, стояло «тихий еврей» без всяких помарок. А рукопись эта была сдана в Госиздат еще 22 июля 1927 года, то есть по крайней мере за два с половиной месяца до этого разговора.

Откуда же в воспоминаниях П. Лавута взялся «грустный»? Очевидно, из шестого тома Полного собрания сочинений Маяковского, который вышел в 1934 году и в котором были опубликованы черновые варианты записной книжки поэта. Больше ему неоткуда взяться. Маяковский сначала написал «грустный», потом «знакомый» и остановился на «тихом», как мы полагаем — совершенно самостоятельно, ни с кем не советуясь по этому поводу.

6

В конце прошлого года в журнале «Огонек» № 47 была напечатана глава из книги воспоминаний К. Зелинского. Называется она «Маяковский».

В ней К. Зелинский изображает свои отношения с поэтом как исключительно близкие и дружеские.

...Маяковский приглашает его встречать Новый год.

...Звонит по телефону: «Извольте ко мне прийти...»

— ...Вы же наш человек...

— ...Не обижайтесь, Зелинский...

...Глаза Маяковского светятся уважением и интересом.

— Буду вас ждать,— говорит он дружелюбно.

...Вечерами и ночами Маяковский читает ему свои стихи, или они вместе бродят по улицам.

— ...Послезавтра заходите, как условились... Второе парадное налево... Или звякните по телефону...

...Прощаясь, все не выпускал руку Зелинского.

Под конец Маяковский стал его звать коротко по имени:

— Приходите, Корнелий, на открытие моей выставки...

А на конференции МАПП просто подошел и обнял Зелинского за плечи...

Однако все эти знаки уважения и любви, которыми, по словам К. Зелинского, сопровождалась его встречи с Маяковским,

странно не согласуются с позицией, которую занимал в то время К. Зелинский по отношению к Маяковскому и его творчеству.

К. Зелинский, как известно, принадлежал к группе конструктивистов, которая почти на всем протяжении своего существования (1924—1930) враждовала с группой Лэф и особенно с Маяковским. Нет никакой нужды вспоминать сегодня многочисленные выпады конструктивистов против Маяковского в стихах и в прозе. Шла литературная борьба, и тут всякое было. Можно было бы не вспоминать и о статье К. Зелинского «Идти ли нам с Маяковским?», которая была напечатана в журнале «На литературном посту» (№ 5, 1928) и в которой решительно утверждалось, что «идти с Маяковским» не нужно, что «к новому пониманию революции можно прийти, уже перешагнув через Маяковского» (подчеркнуто автором).

Нет и не может, конечно, быть никаких возражений против того, что К. Зелинский сейчас совсем по-другому пишет о Маяковском, совсем по-другому понимает характер его творчества.

Однако если он решил сегодня написать воспоминания о том, что было (подчеркиваем — воспоминания, а не статью, не исследование), если решил рассказать о своих взаимоотношениях с Маяковским,— то он не должен переносить в прошлые времена свои новые взгляды на творчество Маяковского. Ничего, кроме путаницы и фальши, это дать не может.

Однако именно так К. Зелинский и поступает. В результате в воспоминаниях К. Зелинского, напечатанных сегодня в «Огоньке», Маяковский имеет дело не с тем К. Зелинским, который утверждал, что он, Маяковский, не способен понять Шекспира и Гёте, что у него нет «чувства настоящей, глубинной, человеческой культуры», а с сегодняшним К. Зелинским, который считает, что Маяковский очень умен: «Ум громадный, казалось, обнимавший жизни миллионов людей. Ум, уходивший за горизонт».

Выходит, что Маяковский встречался не с тем К. Зелинским, который писал о нем, что он «страшно не гибок и линейен», что у него «какая-то странная пустота внутри» и «своеобразнейший дар «снижения цен» человеческих», а с совсем другим Зелин-

ским, который восхищается «благородством, изяществом» его души: «Он был благороден в самом глубоком значении этого слова».

Он беседует не с тем Зелинским, который укорял его за «печоринскую беспочвенность», «идеалистическое мироощущение», а с тем, который утверждает, что «все в нем было принципиально, слито с нашим революционным временем».

К. Зелинский ничего (или почти ничего) не говорит о масштабах своих расхождений с Маяковским. Есть одна цитата — как Маяковский критиковал конструктивизм, есть две-три осторожные оговорки в самой общей форме: «Я не понимал Маяковского при жизни...» «Нет, пожалуй, не понимал...» и т. д. Но и то, оказывается, виноват сам Маяковский: «Его физическая громадность мешала мне его понять».

Но Маяковскому-то ведь ничего не мешало понять отношение к нему К. Зелинского.

По К. Зелинскому выходит, что Маяковский то ли не замечал, то ли просто не осознавал, что имеет дело с человеком, который его не понимает, человеком других вкусов и интересов. В самом деле, могло ли так быть, что Маяковский не знал об отрицательном отношении К. Зелинского к его творчеству, не читал его статьи в «На литературном посту»? Не читал и своего журнала, где Н. Асеев отвечал тогда К. Зелинскому («Новый Лэф», № 4, 1928).

Нет, так, конечно, быть не могло. Мы уверены, что Маяковский статьи читал и отлично понимал позицию К. Зелинского.

Если и были между ними какие-то встречи и контакты в первые годы — 1923—1924, — когда взгляды К. Зелинского были еще не вполне ясны Маяковскому, то затем разница литературных позиций отодвигала Зелинского все дальше и дальше от Маяковского — и никакие контакты, кроме шапочных, были невозможны.

Вопреки этой очевидности, вопреки логике литературной жизни того времени, наконец вопреки характеру поэта, которому не чужды были цельность и принципиальность, К. Зелинский стремится изобразить сегодня отношение Маяковского к себе преисполненным такой неистребимой симпатии, на которую ни литературная полемика, ни его нападки не оказывали ровно никакого действия.

Больше того, чем суровее критик в оценке творчества поэта, тем приветливее к Зелинскому, почти заискивающе приветливым становится поэт.

7

К. Зелинский пишет в «Огоньке», что он знакомился с Маяковским трижды (!). В первый раз в 1918 году в Гвардейском экипаже, в Петрограде. «Второй раз нас познакомил О. С. Литовский в 1921 году. Мы оба получали корреспондентские билеты на XI съезд Советов». И наконец в третий раз, как говорит Зелинский, Маяковский сам захотел с ним познакомиться — и позвонил ему по телефону.

Рассмотрим все эти три знакомства.

В книге К. Зелинского «На рубеже двух эпох» (М. 1962) рассказывается о том, как он в декабре 1918 года присутствовал на выступлении Маяковского: «Не помню уж где, но... в бывшем Гвардейском экипаже». Там он слышал «Левый марш», «Оду революции» и другие стихотворения. Зелинский описывает, как Маяковский читал, как он был одет, некоторые подробности обстановки, но ничего не говорит о том, что познакомился в тот вечер с Маяковским, разговаривал с ним или что-нибудь в этом роде. Очевидно, никакого знакомства не было и сама идея о «знакомстве», которое могло бы (!) произойти в тот вечер, пришла в голову К. Зелинскому после выхода книги.

Так, не обнаружив первого знакомства, перейдем ко второму. Второе знакомство состоялось, как рассказывает Зелинский, в редакции «Известий», когда они оба, Зелинский и Маяковский, получали корреспондентские билеты на съезд Советов. Не понятно только, почему в декабре 1921 года на IX съезд Советов (а не на XI, как указано у К. Зелинского) Маяковский получал корреспондентский билет в «Известиях», к которым не имел в то время никакого отношения, а не в РОСТА, где работал постоянно? Кроме того, известно, что на съезде Маяковский не был. Для чего же тогда он получал этот билет? Не для того же, чтобы познакомиться с К. Зелинским?

«В третий раз, — пишет К. Зелинский, — Маяковский сам захотел со мной познакомиться... В глазах Маяковского я был лишь пылким журналистом, которого посылали записывать выступления Ленина, которого

можно было встретить на всех вновь открывающихся выставках, премьерх Мейерхольда и диспутах о поэзии, где требовалось больше темперамента, чем логики».

Вовсе не желая придирааться к каждому слову, мы тем не менее должны задать себе вопрос: если «пылкий журналист» не выходил все это время из поля зрения Маяковского, если столько было встреч на выставках, премьерх, диспутах, то зачем Маяковскому нужно было «еще раз» знакомиться с К. Зелинским?

Но, допустим, надо было. И вот К. Зелинский осенью 1923 года приглашен к Маяковскому. Дальше рассказываются некоторые подробности об этом свидании, на которое автор пришел вместе с И. Сельвинским:

«Мы договорились на том, что Сельвинский и я будем введены в редколлегия «Леф»:», а пока что мне была предоставлена роль заведующего отделом критики и библиографии журнала. Но это был уже седьмой, последний номер «толстого» «Лефа». В номере сразу были помещены три мои статьи».

Тут много, мягко говоря, неточностей. Во-первых, в номере было помещено не три, а всего две статьи К. Зелинского. Во-вторых, седьмой, последний номер «Лефа» вышел в начале 1925 года, а свидание состоялось осенью 1923 года, когда не вышел еще № 4. Почему же ни в № 4, ни в № 5, ни в № 6, ни в № 7 нет таких членов редколлегии, как Сельвинский и Зелинский? Очевидно, не «договорились», а только договаривались? В-третьих, что касается «заведующего отделом критики и библиографии», то эту роль Зелинский никогда в журнале не играл ни раньше, ни позже, ни де-факто, ни де-юре.

К. Зелинский пишет дальше, что когда они с Сельвинским пришли к Маяковскому все той же осенью 1923 года, то «Сельвинский был для него (Маяковского.— В. К.) автором песни из «Улялаевщины» — «Ехали казаки, да ехали казаки». Этим стихотворением он был восхищен и знал его наизусть, хотел напечатать в «Лефе», но тяжелая рука П. И. Лебедева-Полянского, тогдашнего начальника Главлита, положила конец увлечению Маяковского. Лебедев-Полянский запретил печатать отрывок из «Улялаевщины», как явление формализма».

Не говоря уже о том, что «Улялаевщина» ко времени этой встречи еще не существовала (написана в 1924 году), утверждение, что

Главлит «запретил печатать отрывок из «Улялаевщины», как явление формализма», по меньшей мере далеко от истины. Простое доказательство тому — благополучное появление этого стихотворения со всем его «формализмом» в сборнике конструктивистов «Госплан литературы» (М.—Л. 1925. Главлит № 38 412).

Таким образом, и третье знакомство не обходится без вопросительных знаков и совершенно необходимых поправок.

8

Были в те годы еще другие встречи К. Зелинского с Маяковским. Вот, например, в его книге «На рубеже двух эпох» описывается, как он в е с н о й 1913 года на вечере в честь К. Бальмонта впервые увидел Маяковского. «Первое, что поразило, была фигура юноши в полосатой желто-черной кофте. Юноша сидел на подоконнике, откинув тяжелую бархатную портьеру в сторону, заложив ногу на ногу, и нервно курил» (стр. 117). И дальше: «Желтая кофта, о которой столько писалось в то время в газетах... нам (К. Зелинскому и его товарищу.— В. К.) была уже хорошо известна понаслышке. Мы с дерзким любопытством обследовали, что это такое, и пришли к выводу, что она сшита, вероятно, дома из разных лоскутов сатина — желтого и черного. По фасону это была вполне приличная одежда с отложным воротником» (стр. 118).

Дальше идет рассказ о том, что происходило на вечере, и о выступлении Маяковского, известном по многочисленным газетным отчетам. Но беда в том, что подробно описанной К. Зелинским желтой кофты не было тогда на Маяковском, так что не ясно, что они там с товарищем так внимательно рассматривали. Маяковский носил свою желтую кофту короткий период осенью — зимой 1913—1914 года, это можно проследить по тогдашним газетам, в которых каждое выступление поэта в этом наряде отмечалось неукоснительно.

Вот другая «встреча», которая описана в той же книге на странице 120. Зимой 1918—1919 года, будучи проездом в Москве, К. Зелинский отправился повидать Маяковского в «Кафе футуристов», в Настасьинском переулке. Он описывает обстановку, супрематистские рисунки на стенах, дразнящее поведение Бурлюка и самого Маяковского. «который «задирался с публикой». К. Зелинский

подошел к нему и попросил прочесть «Левый марш», «который мы в редакции «Известий Кронштадтского Совдепа» так любили скандировать хором. Но Маяковский не захотел выполнить моей просьбы, сославшись на неподходящую обстановку. Да и впрямь обстановка была неподходящая».

Установить, что и это все фантазия — не представляет большого труда. Зимой 1918—1919 года «Кафе футуристов» уже не существовало, оно закрылось в апреле 1918 года, и Бурлюк давно уже был на Дальнем Востоке. Но, может быть, К. Зелинский ошибся и этот эпизод относится к зиме 1917—1918 годов? Нет, и тогда этого не могло быть — кафе-то существовало, и Маяковский и Бурлюк задирались с публикой, как это описано в многочисленных воспоминаниях, но К. Зелинский не мог подойти к Маяковскому и попросить его прочесть свой любимый «Левый марш», а Маяковский не мог уважить просьбу К. Зелинского, так как еще не написал этого стихотворения. (Оно было написано в декабре 1918 года.)

Так мы переходим от встречи к встрече, и каждый раз оказывается — что-то не так, конструкции слишком непрочны и от малейшего прикосновения разваливаются.

9

Вернемся, однако, к воспоминаниям, напечатанным в «Огоньке». Там рассказывается, как однажды К. Зелинский встретил Маяковского.

«— Приходите, Корнелий, на открытие моей выставки», — будто бы сказал Маяковский. — «Я и сам не думал, что столько поработал. Каждая афиша ведь выступление. Каждая книжечка как выстрел из пушки с отдачей. Придете?»

— Конечно, приду».

Нас уже не удивляет, что Маяковский называет Зелинского на короткую ногу — Корнелий, — но что он хотел, например, сказать фразой: «Каждая афиша ведь выступление»? На выставке афиш было два десятка, а выступлений — сотни и сотни. Не странно ли, что Маяковский заверял К. Зелинского, что он выступал никак не меньше двух десятков раз?

«Каждая книжечка (!) как выстрел из пушки с отдачей». Что это значит «с отдачей»? Как это понимать? Поэт — пушка, которая стреляет «книжечками»?.. Но это уже просто юмористика!

Это то, над чем издевался Маяковский.

Я пролетарская пушка.
Стреляю туда и сюда...

Встреча, когда К. Зелинский получил это приглашение, состоялась, по его словам, «в начале февраля» (1930 года), а открытие выставки, куда он приглашался, 1 февраля! (Об этом он говорит ровно пятью строками ниже.) Как так? Видимо, К. Зелинский хотел для правдоподобия сообщить точные даты и запутался. Или, может быть, он вообще на вечере не был?..

Все, что «вспоминает» об этом вечере Зелинский, он говорит, как видно, с чужих слов (о нем ведь немало написано) или по всем известной фотографии («был Маяковский тогда в чем-то клетчатом»), а то, что от себя, то неверно — будто Маяковский читал «Во весь голос» «в той комнате, где теперь конференц-зал в Союзе писателей». (Маяковский читал в большом зале клуба, который занимал все правое крыло здания.)

«Читал Маяковский тоже без подъема, — пишет К. Зелинский. — Я ушел, как только он кончил читать. Ушел, признаюсь, чтобы ничего не сказать».

Не странно ли, однако? Пришел по приглашению самого Маяковского, осмотрел выставку — итог двадцатилетней работы поэта, первую поэтическую выставку в истории, прослушал впервые (!) поэму «Во весь голос» и «ушел, чтобы ничего не сказать!» Почему же? Выставка плохая? Или поэма не понравилась? Маяковский плохо прочитал? «Чувствовалась грусть и неуверенность». Но если он был Маяковскому друг, как мы это теперь узнали, как же не подойти, не сказать несколько добрых слов — дескать, мужайтесь или что-нибудь в этом роде?!

Через несколько дней состоялась конференция МАПП, на которой Маяковский был принят в члены РАППа. После краткого заявления Маяковский прочел конференции «Во весь голос».

К. Зелинский рассказывает в своих воспоминаниях, что произошло после этого, рассказывает, разумеется, в духе наибольшего благоприятствования к самому себе:

«За кулисами Маяковский обнял меня за плечи и спросил:

— Ну как?

Я ответил ему:

— Это нельзя так слышать. Это действительно вся шерсть поднимается на спине.

— То-то же! — ответил мне полусухо Маяковский. И было в этом ответе и какое-то удовлетворение, и гордость победы, и какое-то облегчение».

Требуется, стало быть, представить себе такую невероятную картину: Маяковский, только что вступивший в РАПП, прочитавший рапповцам «Во весь голос», в котором, кстати, содержится три выпада в адрес конструктивистов, спешит за кулисы обнять конструктивиста Зелинского.

При этом его не останавливает и то, что несколько дней назад, когда он пригласил К. Зелинского на открытие своей выставки, тот прослушал поэму и скрылся, ничего не сказав. На этот раз все обошлось — К. Зелинский поэму одобрил, и у Маяковского отлегло от души.

В действительности все это происходило несколько иначе.

Тут мне придется сослаться на свою память. Когда после выступления Маяковский проходил полукруглым коридором из зала к выходу, к нему подошел К. Зелинский и сказал, что у него шерсть поднялась на спине, когда он слушал эти стихи. Маяковский был мрачен и неразговорчив. Он рассеянно взглянул на Зелинского и сказал:

— Я не знал, что вы такой волосатый...

Таков был этот короткий разговор. Рассказать о нем можно по-разному. Но только так, как это категорически не могло быть, рассказал эту историю К. Зелинский.

10

Но оставим в стороне фактические неточности, несовпадения, допуски, фантазии... Какова, так сказать, высшая достоверность воспоминаний К. Зелинского: какой образ Маяковского встает перед нами из-под его пера?

К сожалению, и здесь нас не ждет ничего хорошего.

К. Зелинский рисует автора статьи «Как делать стихи?» изрекающим азбучно-банальные сентенции, вроде: «Поэзия — это вам не розовые розы», «Ко всему, особенно к поэзии, надо относиться очень серьезно».

К. Зелинский вынуждает человека, ненавидящего сплетни едва ли не больше всего на свете, человека, как он сам говорит, «необыкновенной нравственной чистоты» и «душевной опрятности», рассуждать о романе Есенина с Дункан, то есть сплетничать самым вульгарным образом.

К. Зелинский, говоря о «сдержанности» Маяковского, о том, что он не позволял себе «распускаться на людях», заставляет в то же время поэта откровенничать с собой, произносить невообразимые по пошлости монологи. Маяковский будто бы советуется с Зелинским, «как надо обращаться с женщинами» (!), жалуется, что не может найти с ними «верный тон», что всегда бывает «жертвой конфуза» (!!).

Маяковский будто бы просит К. Зелинского: «Помогите мне полюбить. Ничего другого я и не хочу, чтобы вы все, и кто рядом и кто не рядом, помогли мне полюбить всех людей». Но как К. Зелинский тут мог помочь или не помочь? И как вообще можно «помочь полюбить всех людей»?

Если сложить все это да прибавить сюда такие перлы литературной красоты, как «выпуклые глаза», которые в то же время «нездешние озера», а в них «то ли омуты, то ли магниты», и «струны души» (!), которые поэт «мог, подобно доктору (?), перебирать...», и присоединить к этому отчетливо видимую предвзятую цель — наново переписать историю своих отношений с Маяковским, — то станет понятно, что сделало воспоминания К. Зелинского совершенно удивительным по недостоверности сочинением.

11

К сожалению, не многим более достоверно изображает тот же автор свои встречи с другими поэтами. Вернемся к упоминавшейся уже книге К. Зелинского «На рубеже двух эпох». Кстати, она имеет подзаголовок «Литературные встречи 1917—1920».

Вот он, например, «ранней осенью 1918 года» встречается на Невском Александра Блока. Зелинский сообщает Блоку, что он с товарищами, филологами и медиками, после Октябрьской революции сразу решили предложить свою помощь большевистским Советам, «потому что революция, — как объясняет К. Зелинский Блоку, — это и есть сама поэзия. Именно поэзия, превратившаяся в народное действо. «Пусть день далек — у нас все те же заветы юношам и девам...» Не вы ли писали в «Ямбах»: «Народ — венец земного цвета?»»

Блок улыбнулся...

Собственно говоря, Блок должен был не улыбнуться, а удивиться: откуда К. Зелинский знает его стихи, которые еще только

через год будут напечатаны? И как он догадался, что следующий сборник Блока, который выйдет в августе 1919 года, будет называться «Ямбы»? Не правда ли, странно? ¹

«Мне удалось еще раз повидать Блока в его последний приезд в Москву в 1920 году, когда он выступил на вечере поэтов в Политехническом музее. Какая ирония судьбы! В Москве «королем поэтов» публикой был избран путем голосования не Александр Блок и не Маяковский, а Игорь Северянин, бывший на вечере».

Дальше сообщаются кое-какие подробности: черный сюртук, глаза, которые смотрели поверх рядов, белые пальцы, которые разворачивали записки, и т. д. Не сомневаюсь, что детали соответствуют истине, но что касается фактов, то: а) последний приезд Блока в Москву был не в 1920, а в 1921 году; б) Блок выступал в Политехническом музее не на «вечере поэтов», а один — на вечере поэта Блока; в) «вечер поэтов», на котором был избран королем поэтов Игорь Северянин, был не в 1920 году, а в 1918-м; г) Блок в этом вечере не участвовал. Безошибочной здесь следует признать только фразу: «Какая ирония судьбы!»

О встречах с Есениным. Зимой 1918—1919 года К. Зелинский отправился в «Стойло Пегаса» повидать Есенина (стр. 120).

«Вот я вижу перед собой Есенина в декабре 1919 года в угарно-богемном «Стойле Пегаса», возбужденного, среди «золотых» огарков Москвы...» (стр. 209).

На странице 213¹ в Харькове в 1920 году К. Зелинский был на вечере Хлебникова, Есенина и Мариенгофа. Хотя никаких подробностей о Есенине не сообщается, не мог же он его там не заметить!

А на странице 191 читаем, что все, что сообщалось раньше и позже о встречах с Есениным, не в счет: «Однажды зимой 1921 года, приехав в Москву, я отправился в «Стойло Пегаса», чтобы повидать наконец (!) Есенина...»

¹ Стихотворение «В огне и холоде тревог» было впервые напечатано в «Виряевых ведомостях» в 1915 году, но строк, которые цитирует Зелинский, в нем не было. Полностью появилось в сборнике «Ямбы» (изд. «Алконост». П. 1919).

Вот и сообразите, когда же К. Зелинский встречал Есенина, да и видел ли его вообще? Ведь ничего, кроме ходовых, мелкообразных тривиальностей о каждом из «встреченных» К. Зелинским поэтов, он не сообщает. Золотоволосый Есенин за столиком угарно-богемного кафе в обществе Дункан в мехах... Худой, нестриженный Хлебников в мешковатом сюртуке... Сутулящийся, но стремящийся держаться прямо, усталый, отсутствующий Блок и т. д.

При этом К. Зелинский не забывает нарисовать где-то сбоку и себя, и неизменно получается, что он говорит все, что надо — будто только что вернулся с обсуждения «Истории советской литературы».

— Так это вы? — говорит ему Блок и, корпю выслушав поучения, которые К. Зелинский придумал для него через сорок лет, начинает деловито объяснять, как нужно слушать «музыку революции»:

— Чтобы услышать музыку революции, надо открыть ей навстречу свою душу... Я всегда доверяю своему чутью и т. п.

И тут мы снова обращаемся к вопросу, о котором говорили вначале. Передавая слова Блока, сказанные сорок лет назад, К. Зелинский считает себя вправе пользоваться формой прямой речи, иными словами — утверждает их подлинность и точность. Но просто невозможно после всего вышеизложенного поверить в точную передачу слов, сказанных во время личной встречи в 1918 году. Ну, а если не точно, если это будет Блок в соавторстве с К. Зелинским — три четвертых Зелинского и одна четвертая Блока или просто К. Зелинский под именем Блока — кому это нужно? Почему мы это позволяем? Или мы не из тех, кому, как говорил Маяковский, «любовно памятен Блок», не из тех, которым любовно памятен и Маяковский, и мы не должны их защищать от такого рода мемуаров; от всех этих — говоря сегодняшним языком — «приписок»?

Ведь в сравнении с некоторыми авторами воспоминаний, с легкостью разговаривающими за кого угодно, И. А. Хлестаков, приписавший Пушкину, как известно, всего шесть слов: «Да так, брат... так как-то все...» — может служить недосыгаемым примером сдержанности и такта.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Лившиц. Как само искусство. — **Б. Рунин.** Далекое и близкое — **Вл. Огнев.** Патриарх ибхалской культуры. — **Ю. Айхенвальд.** Воссозданный мир. — **В. Лакшин.** «Человеческая философия» Лихтенберга.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Акад. И. М. Майский. Воспоминания о Дальневосточной республике. — **Э. Алаев.** Книга, заставляющая думать. — **А. Хавин.** Курс на Большую химию. — **Д. Шелестов.** Комсомольцы первого призыва — **В. Твардовская.** Тема осталась нерешенной.

Литература и искусство

КАК САМО ИСКУССТВО

Н. К. Крупская об искусстве и литературе. Статьи, письма, высказывания. (Подготовка текста, вступительная статья и примечания **И. Эвентова.**) «Искусство». Л.—М. 1963. 282 стр.

Казалось бы, все или почти все знакомо в этом сборнике. Не раз перечитаны воспоминания **Н. К. Крупской** об Ильиче. Разве можно забыть ее письма к Горькому, с их шемяще грустной и такой мужественной интонацией? Как выделялись (будто и впрямь набранные другим шрифтом) ее четкие, прозрачные формулировки среди многотрудных словес иных учебников педагогики и сочинений об эстетическом воспитании!.. А тем не менее впервые собранные воедино статьи, заметки, письма **Крупской** об искусстве и литературе заставляют по-новому осмыслить и знакомое раньше. (Замечу: не малая заслуга в том и **И. Эвентова**, который хорошо систематизировал обширный, разнообразный материал, четко и ясно его прокомментировал.)

О чем бы ни писала **Крупская** — о выставке «15 лет РККА» или методике преподавания литературы, книгах **Джона Рида** или обучении школьников рисованию и пению, исполнителях роли **Ленина** на театре

или поэтах «Искры» — любой частный факт она умела обрисовать и разъяснить в «контексте» тех главных идей, которым была отдана вся ее жизнь.

Односторонность? Нет, целеустремленность, которая, не ограничивая широту взгляда, дает возможность найти меру вещей. Это умение было присуще **Крупской** именно потому, что порождалось принципиальностью, которая, никогда не опускаясь до навязывания своего вкуса как «единственно правильного», позволяет судить о сильных и слабых сторонах самых различных явлений искусства.

Крупская видела цель и призвание художественного творчества прежде всего в воспитании человека коммунистического, человека-коллективиста. Литература страны социализма «в живых образах... должна роднить самые широкие слои населения всех национальностей». **Крупская** неоднократно писала о «громадной организующей роли» искусства, о «глубоком эмоциональ-

ном сближении людей, которое оно порождает. А вот что особенно привлекало ее в подходе к искусству А. В. Луначарского: «Он говорил не столько о разных частных вопросах из области искусства, а о тех перспективах, о той организующей роли искусства, о важности эмоций, которые активизируют массы».

Но было бы глубоким заблуждением думать, что Крупская считала задачей искусства лишь воздействие на чувства и сердца. Воспитание коммунистической психологии в ее понимании неразрывно связано с «выработкой в массах правильного понимания вещей... выработкой коммунистического мирозерцания».

«Наши классики как орудие изучения действительности» — так называется одна из самых важных статей Крупской. Не случайно именно здесь заходит речь о том, какую роль играла классическая литература в формировании Ленина-революционера, во всей деятельности вождя партии. Великое ленинское умение вглядываться в жизнь народа, наблюдать, нужно было для того, чтобы «распутать каждый раз самый сложный клубок человеческих взаимоотношений и направить их в необходимое русло». Этому умению научила Ленина и теория марксизма, и художественная литература. Литература дает не только сумму определенных сведений и знаний. Она, по мнению Крупской, «орудие борьбы» именно потому, что является «орудием познания жизни» — учит вглядываться в действительность. А без этого нет марксиста, революционера, борца.

Крупская подчеркивает: оптимизм, которому молодежь должна учиться у Ленина, неразрывно связан с его трезвостью мысли: «Он считал вреднейшим оппортунизмом неумение смотреть правде в глаза, как бы горька она ни была». Зоркость взгляда, трезвость мысли черпал Ленин в нашей классической литературе, в книгах Гоголя, Тургенева, Льва Толстого. Щедрина, Некрасова. Литература нового мира, социалистическая литература «должна острить взгляд, учить смотреть правде в глаза, должна учить понимать людей, их стремления, воодушевлять, укреплять волю».

Последовательно отстаивая активно познавательный характер художественного творчества, Крупская выступает принципиальным противником иллюстраторства. Она преследует его в преподавании, когда произведения писателя превращают лишь в

«картинки» к фактам истории, а творения прошлого «стараясь иной раз подстричь на современный манер». Она отвергает его и в работе литератора, художника.

Самой большой опасностью для современного писателя Крупская считала «опасность упрощенчества и стремления, вытекающего из него, подогнать факты под определенную схему». Для Крупской процесс творчества — всегда познание, открытие. а не подстановка «образных ответов» к заранее известному. Игнорирование этого коренного свойства литературного труда мешает идейному и человеческому росту художника. Только «учась вглядываться в жизнь, в то, что происходит, учась не выхватывать отдельных фактов из условий, в которых дело происходит, брать явления в их конкретной обстановке и развитии, писатель будет становиться коммунистом. Очень часто бывает, что до написания пьесы, романа — человек один, а после написания — другой... Настоящий художник, мыслящий живыми образами, учится больше чем кто-либо у жизни коммунизму».

Крупская не отрицает правомерности, больше того — необходимости выявления творческой индивидуальности, личности художника в его произведении. Но сердцевиной проблемы для нее в том, как направлено, чему служит это выражение личности в творчестве. «Мне кажется, — пишет она, — изречение древних: «Познай самого себя» — имело в виду не копание в себе, а именно это познание себя в процессе выражения». Однако и познание самого себя лишь начало, а не конечная цель художественной деятельности. Подлинное искусство призвано познание себя «сделать средством познания других, средством более тесного сближения с коллективом, средством через коллектив расти вместе с другими и идти сообща к совершенно новой, полной глубочайших и значительных переживаний жизни».

Крупская развивает эти мысли в статье «О задачах художественного воспитания» (1927). Как всегда, она сразу же выходит за рамки чисто прикладных вопросов методики эстетического развития школьников. Знаменательно: Крупская вспоминает искания «новых форм выражения» в искусстве первых лет революции. Хотя они были «не очень, правда, удачные», однако в принципе сам этот поиск закономерен, ибо вызван коренными переменами в жизни. Ведь

еще в 1921 году Крупская писала о первой задаче искусства — «подойти как можно ближе к массам, найти формы, наиболее доступные, понятные низам, формы, соответствующие жизненным условиям масс, глубоко их захватывающие».

Принцип оценки исканий в области формы один — ленинский: насколько они служат делу революции, близки народу, раскрывают его переживания, «заражают» (Крупская несколько раз употребляет этот термин Толстого) массы энергией для строительства новой жизни. Говоря в 1928 году о распространенных в первые по-октябрьские годы «громдных замазанных красной краской полотнах, ни на что не похожих фигурах», Крупская отвергает их как раз потому, что все это «очень мало «заражало». Саму же художественную условность, символику она не считает чуждой массам. Так, она находит, что в фильме Эйзенштейна «Октябрь» есть «символика близкая, понятная массе... Эти символы очень хороши, помогают осмыслению фильма зрителем, будят мысль».

«Будить мысль!» — вот мера достоинства художественного решения. Крупская отрицает то, что лишь «демонстрирует» самого художника, остроту его приема, а не подчинено образной идее, задаче «заражения». В той же картине «Октябрь» иногда «очень уж выпячиваются приемы отображения массовых явлений». Нарочитые «повторения, «навязывание» зрителю известного впечатления» только ослабляют силу произведения.

Критерий понятности, доступности — важнейший для Крупской, однако не единственный. Ведь всякий разберется в «поверхностной агитке». Но массам нужны глубоко «классовый подход в произведениях искусства» и высокие образцы художественного мастерства. Над поисками средств образного раскрытия революционных, коммунистических идей Крупская раздумывает настойчиво, напряженно.

Несколько раз она упоминает о том, что Ленину очень не понравился спектакль Художественного театра «На дне». Раздражала излишняя «театральность» постановки, «отсутствие тех бытовых мелочей, которые, как говорится, «делают музыку», рисуют обстановку во всей ее конкретности».

Крупская не комментирует этот эпизод с позиций, так сказать, общеэстетических, не стремится сделать из него какие-либо широкие, а тем более нормативные выводы. Мож-

но предположить, что Крупская увидела здесь лишь выражение индивидуального вкуса Ленина и считает себя не в праве возводить его в обязательный критерий. Однако к роли бытописания в искусстве, к соотношению условности и конкретности изображения Крупская обращается снова и снова...

Вот, к примеру, она чрезвычайно высоко — как «своего рода эпос» — оценивает «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида. В книге этой как нельзя лучше передано настроение масс, создана общая картина настоящей народной массовой революции. И все же — у Рида «рамки быта, в которые вставлены события, слишком общи». Вот почему наряду с его книгой нужны не только другие, а иные — по своим художественным принципам — произведения об Октябре. Произведения, «где бы эти рамки были резко очерчены, — только в их оправе может быть по-настоящему понята великая революция».

Но существуют различные виды и способы бытописания — и далеко не все они хороши всюду. Наоборот, внешние описания быта (Крупская показывает это на рассказах, изображающих крестьянские волнения) бывают даже отвратительны, ибо рисуют не людей, а «существа», действующие под влиянием самых элементарных животных побуждений. Когда «авторы не пытаются даже встать на место крестьянина, влезть в его шкуру, посмотреть на события его глазами» — при всей внешней «конкретности», — получаются лишь выдумка и фальшь.

Итак, всегда и везде быт, точность и определенность обстановки действия, глубинное описание «изнутри»? Отнюдь нет. Крупская резко обрушилась на «приспособление» к русской действительности «Зорь» Верхарна в нашумевшей мейерхольдовской постановке. Именно в поэтической условности была «вся прелесть пьесы». Попытка заземлить, «конкретизировать» задуманное и выполненное по иным художественным законам произведение превратило «чудесную сказку... в пошлый фарс».

Не потому ли и для Ленина был неприемлем спектакль «На дне», что в нем не хватало той пронзительной реальности быта, которую требовал весь строй и стиль горьковской пьесы? В том-то и дело, что, нигде прямо этого не декларируя, Крупская всегда анализирует произведение искусства как цельный организм. Осуждение ее неизменно

вызывают те или иные отступления художника от идейно-стилевого единства. Она советует, скажем, автору «Кара-Бугаза» («очень одаренному писателю») обдумать, как переработать третью часть повести, чтобы «внести больше цельности в изложение». В другом случае она пишет: «Не нужно смешивать разных стилей».

Вот почему такое внимание обращает Крупская на чувство меры в искусстве. «Всякому художественному произведению... чувство меры должно быть присуще в высокой степени». Нарушение меры, пропорций, характерных для самой действительности (при всем бесконечном разнообразии ее), ведет к разрушению идейной и художественной цельности. Особенно в «правильном соотношении между массовым действием и личными переживаниями «героев». У Эйзенштейна в «Октябре» чрезмерно «вклинились» переживания Керенского. Это плохо потому, что «Керенский в Октябрьской революции был десятая спица в колеснице — и важнее было расцветить массовое действие индивидуальными переживаниями рабочего, пулеметчика и пр.» Крупская считает недостатком и то, что «барское искусство»

(статуи, роскошь) занимает в фильме «непропорционально большое место», что порою заслоняет изображение масс.

Легко заметить главное «зерно» метода Крупской-критика. Оно четко определено в ее собственных словах: «Анализ произведений, неразрывно связанный с анализом действительности». Как нужно нашей критике почаще вспоминать этот завет, равно враждебный и формалистской хладной регистрации приемов, и социологизаторским тематическим перечням, в которых погибает сама душа искусства!

Удивительное чувство испытываешь, кончая читать эту книгу. Пред тобой действительно современник, хотя четверть века прошло со дня смерти Крупской, современник, чьи мысли и суждения необычайно весомы, актуальны для наших сегодняшних споров и дел. В этом — еще одно подтверждение неуывающей жизненности ленинских принципов художественной критики. Той критики, которая, глядя жизни в глаза, вместе с литературой учит понимать людей и потому нужна так же, как само искусство.

Л. ЛИВШИЦ.

Харьков.

★

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Новелла Матвеева. Кораблик. Сборник стихов. «Советский писатель». М. 1963. 81 стр.

Давно уже не звучал в нашей поэзии такой мечтательный, такой задумчиво уединенный голос, какой мы слышим, читая вторую книгу стихов Новеллы Матвеевой. То пропадая, то возникая вновь, он завораживает нас своей печальной задушевностью, он зовет нас за собой. Куда же? Туда, где проходит настойчиво влекущая героиню Новеллы Матвеевой черта, исполненная особого значения для нее. Иногда это берег моря, открывающий взору пустынную водную гладь. Иногда опушка леса, за которой теснота деревьев сменяется светлым простором. Иногда окраина города, где внезапно остановились в своем разбеге строящиеся дома. А чаще всего — неотступно манящий горизонт, за которым скрывается неведомая даль, беспредельный красочный мир, полный смутных видений и неясных обещаний.

Такая черта, такая грань есть всюду, во всяком деле, и ее может обнаружить для себя каждый. Это — грань новизны. Уже

само приближение к ней обостряет восприятия, активизирует воображение.

Среди камней позванивает вереск —
То сухие, то свободней и свежей:
Отчетливый, почти точеный шелест —
Резьба на слух, гравюра для ушей.

Мое внимание, как стрела на луке,
Трепетет. Тишина, как тетива,
Натянута... О, тише! — эти звуки
Не звуки и почти уже слова.

Таковы впечатления, порожденные берегом моря, прибрежным лесом, волнующим ощущением близкой границы, отделяющей сушу от воды, чашу от простора, тень от света, известное от неизвестного. А вот сходное переживание, тоже фиксирующее момент возникновения творчества:

Там, где кончается город,
Там, где граница асфальта,—
Остановились дома,
Остановилась и я...

Машин затихающий шорох..
И тоненьким кончиком пальца
В эти просторы меня
Позвал стебелек шавеля...

Героиня Новеллы Матвеевой рассказывает нам об этих странствиях доверительно, чуть стыдливо, немного монотонно, то и дело возвращаясь к уже сказанному, словно преодолевая неуверенность и стараясь утвердиться в своем переживании с помощью повторов. Ее удивленная интонация в сочетании с отсутствующим взглядом — словно она смотрит мимо вас, поглощенная открывшейся ей тайной, — поначалу немного смущает. Но вы быстро привыкаете к этой манере — за ней искреннее стремление разделить с вами напряжение медленных и важных раздумий.

Многих удивило, что этот тихий голос, едва заявив о себе, сразу обратил на себя внимание. Он не только не затерялся в шумной разноголосице нашей современной поэзии, но и обнаружил неожиданную жизнестойкость. Уже очень скоро выяснилось, что, несмотря на все, казалось бы, очевидные приметы пресловутой камерности, стихи Новеллы Матвеевой выдерживают соседство с самыми громкогласными и «крупномасштабными» поэтическими явлениями.

Этот факт легко было расценить как интроспективный парадокс, и не удивительно, что о Новелле Матвеевой уже немало сказано и написано. Да, верно, романтические пристрастия... Да, несомненное изощрение... Да, прямые ассоциации с прозой Александра Грина... И все-таки стихи ее далеко не так однородны, чтобы усмотреть за ними цельный, волевой характер, непринужденно выражающий себя и в мечтательных песнях, и в гражданской лирике, как говорилось о ее «Кораблике» в одной из недавних рецензий. В том-то и дело, что через творчество Новеллы Матвеевой тоже проходит достаточно заметная черта, черта, отделяющая подлинно романтические чувства и переживания от их не раз испытанных готовых обозначений. И на этом следует остановиться подробнее.

Начну с того, что зрение Новеллы Матвеевой обладает особой избирательностью. Более всего ее привлекает либо то, что находится рядом, вплотную к ней, либо то, что фантазия поэтессы угадывает далеко-далеко за горизонтом. Между этими двумя планами для нее простирается обширная зона нарушенного «фокусного расстояния», где все смутно, расплывчато, зыбко.

Если же говорить о сравнительных достоинствах близкого и далекого планов в лирике Новеллы Матвеевой, то, на мой взгляд, первому из них явно следует отдать предпочтение. Больше того, я убежден, что главными своими удачами она обязана именно видению вплотную, если можно так выразиться, «микровидению».

В самом деле, прочтите такие стихотворения, как «Испанская песня», или «Предки Джимми», или «Путешественник». Не кажется ли вам, что каждое из них представляет собой не что иное, как искусное упрямство на заданную тему? В первой книге Новеллы Матвеевой подобная тематическая заданность была еще заметнее — напомним хотя бы ее «Рембрандта», «Рубенса», «Статую Свободы».

Но и в «Кораблике» немало этой чисто литературной поэзии, составленной из общих представлений и привычных, главным образом географических, атрибутов. Дорога в горах, сьерра в тумане, мулы с колокольчиками, погонщик поет о любимой — это Испания. В жилах у Джимми течет кровь индейцев-делававаров, ему снятся вигвамы и мокасины, разразилась гроза в прериях, брошена ферма, разговор в баре — это Америка. А для путешественника — колониальная экзотика вообще: звезды южной ночи, девятый вал на море, «гроздь гадюк на стене в гостинице на сваях», «колибри — птичка-огонек», силуэты сфинксов и т. п.

Правда, эти цветные картинки, всплывшие из прочитанного в детстве, — не просто стихи. Они как бы сами собой напеваются уже в чтении — таково непреодолимое веление заложенного в них мелодического обаяния, выразительных рефренов и искусно рассчитанных ритмических ходов.

Разумеется, поэт вправе писать не только для чтения, но и для пения. Но не слишком ли дорогой ценой платит порой Новелла Матвеева за эту жанровую специализацию? Не заслоняет ли от нее подчас куплет строфу и не изменяет ли она тем самым своему драгоценному дару проникновенного лирического постижения жизни? Ведь есть у нее стихи, которые хотя и легко ложатся на музыку, но прежде всего трогают нас именно как стихи — подлинной содержательностью поэтического слова, поэтического мышления («Украина»). А есть просто чувствительные тексты для песенок «с настроением», где требования поэзии

явно отступили перед традициями эстрады («Песня с пингвинами», например).

Совершенно очевидно, что музыкально-импровизационное начало вообще свойственно дарованию Новеллы Матвеевой. Кстати, одно из лучших ее стихотворений посвящено произвольности, непредумышленности, самородности творчества, якобы даже не поддающегося контролю и рациональному объяснению:

Как сложилась песня у меня? —
Вы спросили. Что же вам сказать?
Я сама стараюсь
У огня
По частям снежинку разобрать.

В какой-то мере это стихотворение может быть воспринято как самооправдание поэтессы. Пою как поется, а начнешь вникать в логику образов, просвечивать их мертвящим светом анализа — и ничего от них не останется. Так узаконивается случайность ассоциаций, изящных, чудесно неожиданных, но далеко не всегда внутренне обязательных, часто даже озадачивающих своей загадочной многозначительностью.

Читаешь, например, «Лодку» и тщетно пытаешься проникнуть в ее туманную символику, в жизненное содержание породивших ее эмоций. Быть может, тут таится какая-то аллегория или это просто своевольная игра фантазии? Не знаю... Живописно? Да, пожалуй... И все же — поэтичность, которая так и не стала поэзией, потому что романтика здесь мнимая, она — условность.

Любопытно, что, когда Новелла Матвеева предлагает нам своеобразные иронические стилизации — шуточный «Ветер» или не вошедшую в сборник, но исполняемую на эстраде песенку о земле Дельфинии, — ей охотно прощаешь пристрастие к экзотике.

Однако в лучших песнях Новеллы Матвеевой мне слышится не только ирония или шутка. Если уж зашла речь о зарекомендовавших себя на эстраде (но почему-то не включенных поэтессой в сборник) песнях, то нельзя не упомянуть здесь и о других удачах. Я имею в виду песни о фокуснике, о заклинательнице змей, о чудеке-пожарном, о веселых цыганах, о водосточных трубах, об осыпающемся вереске. Думаю, что их широкая популярность во многом объясняется тем, что они являются очень органичным и в то же время очень своеобразным откликом на некоторые проблемы нашей общественной нравственности.

Разве не бывает так, что пышные фразы и красивые мечты заслоняют от человека самое дело, а тоска по эффектным подвигам постепенно превращается для него в самоцель? И человек проходит мимо настоящего дела — он слишком приучен к слашавым олеографиям, и будничная геронка его уже не вдохновляет.

Словом, как тот сияющий каской чудак-пожарный у Новеллы Матвеевой, которому так «хотелось ночью красно-розовой когонибудь из пламени спасти». Ему не везло: в том краю все обстояло благополучно и как будто бы даже не случалось пожаров. А ведь и там было что и кого спасать. А ведь и там «горело очень многое, но этого никто не замечал».

Связь слова и дела, могущество, таящееся в искусстве, в частности в песне, — тема, проходящая через все творчество Новеллы Матвеевой. Именно потому, что слово обладает такой силой воздействия, его надо применять честно и целомудренно, говорит она. Разве мы порой не заслоняемся словом от жестокостей и невзгод, разве мы порой не пытаемся облагородить иные факты с помощью словесных ухищрений, разве мы не поступаем иногда, как та заклинательница змей, что сидит на большой дороге жизни? А ведь зло так и остается злом, как бы его ни называли. И потому это нехорошее, несправедное ремесло — заклинать то, что достойно только проклятия.

Таков тот внутренний спор, который Новелла Матвеева ведет настойчиво, хотя и не всегда последовательно. Это ее спор и с самой собой. Это спор с абстрактной, беспредметной романтикой, с романтикой собственных неопределенных влечений и экзотических неопределенных пристрастий. И спор этот еще не закончен, как бы того ни хотелось нам, критикам.

Подлинные достижения, как говорились выше, связаны для Новеллы Матвеевой не с тем, что она силится разглядеть в неведомой дали, а с тем, что ее реально окружает в жизни и что никак не претендует на броскую эффектность, а скорее наоборот — отличается скромностью, незаметностью. И если фантазия поэтессы действительно часто открывает романтические чудеса, исполненные душевного волнения и нравственного смысла, то именно здесь, рядом с собой и с нами. На городской окраине, оправленной «вышками вырезными, кружевными кранами»; на лес-

ной дороге в сумерки, когда «между стволами, в розовом огне, танцуют мошки, словно крошки мрака»; долгой зимней ночью, под сонный стук ходиков — «то ли стрелки к цифрам прилипают, то ли цифры к стрелкам пристают»; жарким летним вечером, наблюдая, как «между кольями забора серого солнце длинные лучи просунуло»; ранней осенью в дубовой роще, когда «паутинки, лезвиями света над тенью занесенные, висят»...

За этими стихами — уже не заманчивая яркость традиционно романтических картинок лазурных гор, морских путей, пальм и прерий, а реальная жизнь в ее романтических проявлениях, волшебная в каждой подробности, если только относиться к ней со вниманием и доверием. Необычное — повсюду.

...Туда пойти бы как-нибудь,
Найти знакомый муравейник,
И в муравейник заглянуть,
Как в закипающий кофейник,
И злого ежика спугнуть...

И странный стебель, что до плеч
В травинку трубчатую вложен,
Как мягкий меч — из мягких ножен,
Со свистом шелковым извлечь.

Честное слово, «проза жизни» у Новеллы Матвеевой художественно конкретнее, отчетливее по мысли, яснее по чувству, внутренне логичнее по движению образов, последовательнее в самом выражении авторского душевного и житейского опыта.

Я уже упомянул об «Окраине» и ее точным ощущением причудливости погруженной в ночной сон огромной стройки, безлюдной, замершей, молчаливой. Оказывается, на исходе ночи там можно увидеть нечто неповторимое: среди кирпичных громад, в предрассветных сумерках на ветру одиноко танцует бумажный сор.

Как только в стихотворение входит эта деталь, вся мастерски написанная картина волшебным оживает, и вот уже дома без крыш плывут куда-то, словно корабли, калка с краской превращается в челн, мешалка — в весло... И как-то незаметно, неизвестно почему, не только героине Новеллы Матвеевой, но и вам, читателю, вдруг открывается в этот миг ваша причастность к огромному распорядку бытия. Вы расстаетесь с этим стихотворением умудренный душевным опытом героини — светлой

печалью уходящей ночи и радостной улыбкой наступающего дня.

Редкое умение Новеллы Матвеевой подсмотреть таинство жизни побуждает меня упомянуть здесь еще одно ее стихотворение — про капустный кочан, такой грубый снаружи, но, если снимать с него лист за листом, по мере приближения к сердцевине становящийся все более нежным и ласковым.

Вдруг из-под листов.
Как слезы из-под век,
Мне в рукав росинки полились.

Скрипнув, приоткрылся
Странный лабиринт...
Я снимала листья,
Как снимают бинт,

А кочан мягчал
И плакал, как живой.
В руки мне уткнувшись головой.

Что это — символ или стихотворный натюрморт, романтическая аллегория или просто житейская зарисовка? Отнеситесь к этому образу как хотите, во всяком случае он возник из реальных ощущений. Не претендуя на многозначительность, он, как и всякое естественно родившееся произведение, обладает художественной многозначностью. И потому вы можете воспринять его сообразно своему опыту, своим представлениям о жизни и об искусстве. Он с о д е р ж а т е л е н.

Мне эти стихи говорят о лирической героине сборника больше всех ее мысленных странствий по морям, больше, чем эффектно выделяющиеся на фоне блистающих облаков алые паруса, которые с такой готовностью поднимает милый кораблик Новеллы Матвеевой.

Чем привлекают гриновские паруса нашу поэтессу? Тем, наверно, что символизируют собой вечные поиски красоты, справедливости и благородства. Она добавляет к этому комплексу чувств свои оттенки: добро, человечность, сострадание. И то, что ей удастся начертать свой жизненный девиз на самых обыденных вещах, что называется на подручных средствах — на пыльном подорожнике, на капустных листьях, на бумажном мусоре, — представляется мне победой поэзии над поэтизмами, красоты над красотостью, истинной романтики над романтикой условной.

Б. РУНИН.

ПАТРИАРХ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Георгий Гулиа. Дмитрий Гулиа. Повесть о моем отце. «Молодая гвардия». М. 1962. 254 стр.

Народный поэт Абхазии Дмитрий Гулиа был личностью выдающейся. Он соединял в себе писателя, критика, историка, лингвиста, педагога, общественного деятеля. Он был для Абхазии ее Ломоносовым, ее Дидро, ее Лессингом. Он заложил основы родной письменности, дал абхазцам алфавит и букварь, написал историю народа, собрал его фольклор, организовал театр. Д. Гулиа дал своему народу учебники для школы, абхазский календарь, сборник пословиц, загадок и скороговорок, грамматику и орфографию, свод частушек, книгу народных примет о погоде. Он переводил книги, содержавшие практические советы в хозяйстве, и великие произведения мировой культуры, грузинские пьесы и украинский «Кобзарь», «Витязя в тигровой шкуре» и «Слово о полку Игореве», переводил Пушкина, Лермонтова, Чавчавадзе, Церетели, Хетагурова и многих других. Наконец, создал первые произведения абхазской литературы в разных жанрах.

Это была жизнь подвижническая. Неумолимость, исключительная преданность делу культуры, феноменальная работоспособность и гражданская страстность помогли Д. Гулиа совершить за одну человеческую жизнь то, что едва под силу многим жизням. Он бесстрашно боролся с феодалами до революции, в 1918 году совершил героический рейс «за хлебом для Абхазии» на Северный Кавказ, в 1919 году редактировал первую абхазскую газету «Апсны», через два года основал первый театр, спустя четыре года выпустил капитальную «Историю Абхазии», а еще через четыре — стал во главе Академии абхазского языка и литературы.

Д. Гулиа находил таланты и помогал им расти. Нет ни одного деятеля нынешней культуры Абхазии, кого бы не поддержал и не благословил этот благороднейший патриарх науки и искусства.

Г. Гулиа в книге об отце снова проявил себя талантливым рассказчиком. «Повесть о моем отце» для меня встает рядом с его первой повестью «Весной в Сакене» — по чистоте тона, по характерности почерка. Чувства сыновней любви и долга перед родной культурой водили пером писателя. Живо и лаконично ведет он повествование об отце. Темперамент то и дело заставляет его

отступать от хронологии, «забегать вперед», и он просит за это прощения у читателя. Но эта-то непосредственность беседы и подкупает в книге. В ней все время присутствует сам рассказчик, его отношение, его комментарии.

«Отец подружился с Николаем Ушаковым — любителем истории и археологии. При мне он расшифровывал хеттскую надпись на какой-то чаше. Я помню слова: «Я, царь хеттов, повергший во прах...» Мне казалось, что все цари древности всегда кого-нибудь повергали во прах. Теперь-то я знаю, в чем секрет: их деяния превозносили до небес писцы-подхалимы и живописцы-лизоблуды. Ибо сам о себе не может написать подобную чушь даже самовлюбленный изверг, «всех повергающий во прах».

В книге об отце Г. Гулиа правдиво освещает историю своего народа, не скрывая и тех драматических перипетий на пути становления его культуры, которые широкому читателю до сих пор не могли быть известны. Сколько сил, здоровья стоила Д. Гулиа защита самобытности абхазской культуры перед тупоголовыми догматиками и воинственными невеждами разных чинов, начетчиками разных званий. Крупнейший деятель национальной культуры должен был покинуть Абхазию и в течение пяти лет жить в Тбилиси. Его обвиняли в семи смертных грехах, а в 1934 году Д. Гулиа не попал даже на Съезд писателей. Его просто не включили в состав делегации.

С горечью пишет автор: «...Гулиа не привлекли к работе Абхазского оргкомитета, которым руководил демобилизованный кавалерист из абхазского эскадрона (его прошлое было безоблачным: за ним не числилось ни перевода евангелия, ни азбуки, ни стихов)».

Много места в книге Г. Гулиа занимает проблема национальной культуры. С позиций сегодняшней зрелой мысли, освещенной идеями XX съезда КПСС, он убедительно опровергает начетнические, догматические взгляды вчерашних противников отца, за буквой не видевших живого развития культуры. Читаешь и дивишься: неужели и Д. Гулиа прошел через это: «заимствует из арсенала буржуазной «теории»...», «писания

Гулиа». «Гулиа в те времена, что называется, ходил в буржуазных националистах», — свидетельствует Г. Гулиа. Вот характерный эпизод:

«Ортодокс повторял заученные зады:

— Мы должны бороться против великодержавного шовинизма и местного национализма.

Гулиа весь клокотал.

— Ну и хорошо, боритесь! А причем здесь мы?.. Воинствующий национализм должен ставить перед собой какие-то задачи, хотя бы теоретически. Кому, какой национальности могут угрожать своим господством абхазцы? Нас даже в собственном доме меньшинство. Нам будет туго без русских, грузин, армян, греков... Не путайте сплочение народа вокруг собственных культурных задач с национализмом. Нет, мне непонятен «национализм» стотысячного народа, едва обретающего самосознание. Здесь пахнет начетничеством и недомыслием!

Отец стучал палкой о тротуар (беседа шла на улице). Они ни до чего не договорились...»

Принципиальность, упорство, воля, поддержка народа в самые трудные дни помогли Д. Гулиа отстоять правоту своих идей.

Боец, художник-гуманист, он умер 7 апреля 1960 года в возрасте восьмидесяти шести лет. Незадолго до смерти Д. Гулиа писал: «Я имею в виду «простого человека» не как обобщающий образ миллионов людей, а как отдельно взятую личность, как отдельного человека», и, критикуя любителей «процентов», спекулирующих на слове «массы», продолжал: «Если бы на одну сотую секунды мы стали на точку зрения подобных товарищей и попытались рассматривать горе человека «с мировой точки зрения» и, не дай бог, принялись бы подсчитывать при этом проценты, то горе Анны Карениной оказалось бы горем одной двухмиллиардной частицы человечества и, может быть, с точки зрения статистики, малосущественным делом».

...Среди тостов, которые говорил Д. Гулиа, был самый любимый: «Будь настоящим человеком!» И с каждой страницы книги Г. Гулиа смотрят на нас умные, честные

глаза народного поэта, как бы повторяющего: «Будь настоящим человеком!»

Стихи своего отца Г. Гулиа цитирует скупно. Но облик поэта складывается из живого опыта его жизни, из суждений Д. Гулиа о поэзии, его оценок творчества молодых, наконец из всей морально-эстетической, гражданской позиции патриарха абхазской культуры.

Кредо поэта—реализм, народность, активность в отстаивании идеала.

Д. Гулиа был чрезвычайно чуток ко всяческой фальши, будь то неправда о жизни или негочное слово в строке. В этом смысле для Д. Гулиа (а это, кстати, верный признак истинности художника) не существовало по отдельности «проблем» формы и содержания. Подлинный мастер стиха, Д. Гулиа оттачивал его до совершенства, потому что без этого не был бы уверен — дойдут ли его мысли, его чувство до человека, читающего стихи. Его заботило главное — духовная отдача. Народный поэт знал, что в этом суть творчества. Ни в чем ином.

Удивительное обаяние этой личности, — его испытывали все, кто знал Д. И. Гулиа, — определялось прежде всего нравственной чистотой и благородством всей жизненной позиции поэта. Автору этих строк тоже посчастливилось, хоть недолго, видеть Дмитрия Иосифовича, говорить с ним. На фотографии, которую я сделал на память, Д. Гулиа изображен стоящим на фоне сосен, опершись о палку. Взгляд острый, умный, серьезный. Смотреть так чисто и доверчиво, стоять с таким достоинством перед объективом может человек, сохранивший до старости непосредственность поведения, уважение к другим людям, глубокую несуетность натуры. И глядя на любительскую карточку, может быть, последнюю фотографию Д. Гулиа, я часто думаю: как полно высказался поэт в секундной доле бытия! И, может быть, настоящим поэт именно в том и называется? Живет, горит, сгорает. — и каждая секунда наполнена жизнью, верой, борьбой, в каждой секунде — его «я». И только потому многие и многие люди видят в стихах такого поэта свои боли и свои радости.

Вл. ОГНЕВ.

ВОССОЗДАННЫЙ МИР

Карло Каладзе. Стихотворения. Перевод с грузинского. Гослитиздат. М. 1963. 214 стр.

Стихи Карло Каладзе — это стихи о мире и о себе, причем начинает поэт не с себя, а с мира. Его мир — это прежде всего мир Грузии.

Всего в сборнике шестьдесят стихотворений. Примерно в сорока из них так или иначе есть горы. Они присутствуют в стихах по-разному. Они стоят перед человеком «плечом к плечу, темны, непроницаемы и голы», они выходят навстречу поезду, «крутыми плечами туманы раздвинув», «со шрамом войны на гранитной груди». Горы поражают человека красотой, борются с ним, покоряются ему и дают камень зодчим и скульпторам. Часто горы — просто содержание метафоры: молодой командир в стихотворении «Артиллерийская дуэль» будто бы «вырублен из гранитных скал», в другом стихотворении поэт вспоминает горы, «открытые, словно наши с тобою сердца». В иных же случаях реальные Кавказские горы становятся образом в более широком смысле слова, становятся способом выражения поэтической мысли, лирическим символом:

... И вспомнил я опять
 тот папоротник старый.
 Что в сердце камня жил
 десятки тысяч лет.
 Он стойко перенес
 потопа и пожары,
 Оставив на скале
 едва заметный след.
 В чьем сердце поселись
 и как скалу украшу...

(«Как листья меж страниц...»
 Перевел А. Межиров)

Итак, горы для поэта — не просто часть окружающего мира, а составной элемент его мироощущения, образного строя его стихов. Точно так же и волны. В стихотворении «Рассвет» (перевел Н. Заболоцкий), «как морей неведомых волна, на перевал овечьё всходит стадо». С точки зрения чисто литературной, ничего особенного в этой метафоре нет. Но в стихах К. Каладзе она пришла не из литературы. Откуда — проследить легко: волны Черного моря, волны озер, волны горных рек, мчащихся, как будто «стих Шавтели», сливающихся между собой, — и вот две реки, «как два борца, сплелись в одно неистово бушующее тело», — это любимая особенность, любимая

примета поэтического мира К. Каладзе. Возникает своеобразный ряд превращений: иногда горная речка, волны — часть пейзажа, иногда — более или менее расширенный образ, выражающий настроение и мысль поэта, иногда — просто содержание короткой метафоры. Частица реальности, вещь, то, о чем пишет поэт, превращается в образ, в то, как поэт пишет.

Говорить о формальных особенностях стиха как о чем-то самодовлеющем — это все равно что пытаться отделить поверхность предмета от него самого. Попытки это все-таки сделать ничуть не удачнее древних попыток отыскать философский камень. Однако алхимиками есть и наше время. Они обожают приблизительные оценки: «вкусно», «знаете, в этих стихах есть металл», «крепко сделано». Но, если хочешь понять особенности поэтической формы, видимо, начинать надо с самого поэта, с его мира, а не с его синтаксиса. Форма стихов значима, но она означает в конечном счете то же, что и содержание — человека.

Почему, например, у К. Каладзе. «словно ветви сухие, протянуты руки матери», «деревья незрячие» «осязая т листвою»? Прочтем эти не бог весть какие оригинальные метафоры в контексте поэта, а не просто в контексте одного стихотворения. Вот отец и сын уходят с давно обжитого места. Они прощаются с двумя деревьями во дворе. «Прощайте, деревья мои», — шепчет старик. Деревья шумят. Деревьям — столетия. Им удивительно, что они «чи-то». А в стихотворении «Дуб, наш старец», когда люди, веселые, счастливые, покидают дуб, ветви дерева вдруг покачнулись, хотя «ветер вроде не подул... а покачнулись...» Когда гора «сердце дуба доброе», дая тепло и свет, то поэт вспоминает о себе: горение — разве это не судьба художника, с той только разницей, что искры — это стихи?

То, что, взятое само по себе, может показаться обычным и даже банальным, в стихах Каладзе оказывается проявлением индивидуальности, о которой надо судить, исходя из целого. Карло Каладзе любит деревья как что-то живое. Такое уж у него пристрастие. И поэтому в «Эпосе гор» он их видит по отдельности, видит точно, потому что смотрит влюбленно: «Клен вековой, уз-

ласт и непокорен, шумит привольно седяноу сизой. В низине шелестит листвою осинник, круглится ствол веснушчатой чинары. Обласкан солнцем, в пятнах темно-синих, густой орешник. Золотится старый в долине дуб. И лилозеют сосны». Можно, конечно, сказать, что эти стихи построены «на красках». Но правильнее сказать, что они рождены пристрастием к живой красоте. Остро воспринимая красоту внешнего, поэт чувствует внутреннюю суть. И старый дуб, современник Давида Гурамишвили, «освобождает» великого поэта от смерти. «Вечна жизнь, смерти нету в мире», и, может быть, это поэт «машет нам ветвями сильных рук, объятый сонмом лиственных созвучий».

Есть у К. Каладзе еще один «сквозной» элемент образного строя его стихов. Речь идет о круге вещей вроде бы мало поэтических — глине, гончарах, кувшинах, иногда пустых, иногда с вином, но не с общепозитивским «вином вдохновения» или «любви», а с самым реальным вином, что наполняет бурдючок, называемый по-грузински «гуда». И в зимние вечера «гуда» приходит к поэту вместе с другим бурдючком, «гуда-ствири», наполненным песнями. «Гуда» подливает. «гуда-ствири» подпекает — так и проходит ночь.

«Притча о гуда и гуда-ствири» (перевел К. Симонов) — шуточные стихи. Но, приехав на могилу Давида Гурамишвили, поэт в честь поэта «расплескал на корни вековые» «старинное грузинское вино». А в «Грузинской песне» (перевел М. Максимов) захватчик Али-Паша решил уничтожить грузинские виноградники, вырвать лозу «навсегда, чтоб любовь умерла, чтоб царила вражда...» Но даром «корни лоз достают от Саингило до Аджарии», невозможно вырвать их из грузинской земли; в наши дни по-прежнему «колоссальные кувшины развалились на арбе», а «у самих хозяев лица цвета глины золотой» («Гончары», перевел Н. Заболотский). «Отделить» кувшин от вина легко в жизни, а в поэзии так же трудно, как отделить душу от тела или, как утверждает поэт, глину от человека:

...Сияет, как солнце,
Мой рыжий ваятель.
Сквозь очки смотрит, щурясь,
На свет.
— Да, мы глина,
Всего только глина, приятель,
Мы земля! —

И смеется в ответ.
Сам, как рыжая глина
Родимого края,
Та, что в южных горах высоко!
Светит солнце,
Багровое солнце, играя
В раскаленной улыбке Нико...

(Перевел Е. Вишукров)

«Я и скульптор Нико Канделаки» — по моему, одно из лучших стихотворений сборника. Скульптор создает портрет поэта, он лепит «глаза и чело», а поэт недоволен: «Дай слово! Лишь слово оживить меня бы только смогло!» Как вылепить слово из глины? Но скульптор — вы только что слышали — успокаивает поэта, а потом в упрямой и напряженной борьбе выявляет возможности материала: и вот мгновенье — «и окаменевшее слово на устах появилось моих...» Так художник лепит слово из глины, как бог, по библейскому преданию, вылепил человека из земли.

Труд, творчество, преодоление — излюбленные темы стихов Каладзе. А если говорить о форме его стихов, то в значительной мере «сделаны» они из самого простого: из гор и горных речек, из деревьев, глины и виноградных лоз.

Это «превращение» содержания в «образный строй» делается еще ощутимее и наглядней оттого, что стихи Каладзе иногда самой своей песенной формой, иногда характером поэтических ассоциаций тяготеют к народному творчеству. Однако простота формы очень непринужденная, подчас разговорная интонация стиха — опять-таки внешнее выражение внутренней позиции поэта. «Я люблю мой день — сегодня, день обычный, день как день!» — пишет он. Кроме того, простота для него — страховка от бессодержательности. Из простых слов «не выдуешь пустую фразу, они тебе — не медная труба!»

Мир стихов Карло Каладзе освещен изнутри, как солнцем, человечностью и добротой. Это гостеприимный мир. И — что очень важно — мир органичный. Это важно потому, что часто иные поэты, чтобы казаться больше, одевают чужую форму, как костюм не по росту. В стихах Каладзе такого несоответствия нет. Поэтому они живут. Они различны — одни лучше, другие хуже, есть стихи, на мой взгляд, чересчур длинные, но сокращать в них нечего: они выросли такими, они все-таки живые, в них есть краски

жизни, а не мастерская раскраска кисточкой.

Шестьдесят стихотворений сборника переводили девятнадцать переводчиков. И, как я старался показать, они перевели мир поэта с грузинского на русский, перевели не только содержание, но и в основном воссоздали поэтическую форму, образную систему, о которой можно было говорить как о чем-то едином, хотя воссоздавали ее разные поэты, разные люди.

Вечный спор о том, могут ли несколько переводчиков переводить одного поэта, равносителен спору о праве одного поэта-переводчика переводить нескольких поэтов. Принципиальной разницы тут нет. А практика наших переводчиков, например, недавно вышедший сборник стихов зарубежных поэтов в переводах Д. Самойлова, где представлены стихи двадцати одного поэта, отлично доказывает, что индивидуальные особенности многих поэтов могут быть переданы одним переводчиком. И важно не то, сколько стихов перевел поэт, а то, насколько глубоко он ушел в подлинник.

В этой связи уместно сказать о переводе стихотворения «Старые деревья» в сборнике К. Каладзе: «Я возвратился в дом отеческий сладчайшим дымом подышать, и от

нерадостей утешиться, и радостями утешать...» Далее идут рифмы типа «таинствах» — «оттаинках», «небесною» — «невечною», «кутая» — «кучкою» и т. д. Смотрю в оглавление: конечно, Е. Евтушенко. Многие переводы Н. Заболоцкого тоже можно угадать, если приглядеться. Но тут и приглядываться нечего: «модерные» рифмы и связанная с ними интонация сами лезут в глаза. Если время принесет успех такого типа рифмам и связанной с ними интонации, то все это перестанет быть индивидуальной приметой русского поэта; тогда такой перевод не будет резать ухо. Но сейчас, когда этот род рифмовки является весьма существенным признаком поэтической индивидуальности Е. Евтушенко, переводчик заслоняет переводимого им поэта.

Впрочем, таких стилистических выпадов в сборнике немного.

И можно с уверенностью сказать, что перед читателями откроется воссозданный переводчиками поэтический мир Карло Каладзе, мир высоких гор и вековых деревьев, зодчих и пастухов, мир борьбы за человека и его счастье, мир Грузии, мир — человеческий, добрый и потому простой.

Ю. АЙХЕНВАЛЬД.



«ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» ЛИХТЕНБЕРГА

Георг Кристоф Лихтенберг. Афоризмы. «Наука». М. 1964. 206 стр.

Часто держишь в памяти имя автора, о котором давно знаешь понаслышке, думаешь про себя: «Хорошо бы достать да прочесть». И всякий раз откладываешь до доброго часа, пока книга сама не окажется под рукой.

Давно, по совести говоря, следовало ближе познакомиться с Лихтенбергом. Это славное имя в истории немецкой литературы. Его высоко ставили Гёте и Герцен, Толстой горячо рекомендовал его русскому читателю. Но «Афоризмы» Лихтенберга до последнего времени были сущей редкостью: последнее русское их издание вышло почти шестьдесят лет тому назад. Предпринятое издательством «Посредник» по инициативе Толстого, это издание как бы продолжило популяризацию «лучших мыслей лучших писателей», начатую толстовским «Кругом чтения», но, к сожалению,

оно не отличалось ни полнотой, ни объективностью в отборе материала.

Новое советское издание, подготовленное Г. С. Слободкиным, впервые дает нам достаточно полное и систематическое понятие о главном труде Лихтенберга-писателя.

Лихтенберг был почти ровесником Шиллера и Гёте, чем лишней раз подтвердил наблюдение Энгельса, что около 1750 года родились все великие умы Германии. Это совпадение позволяет нам, размышляя о Лихтенберге, иметь в виду ту беспощадную характеристику немецкой действительности, какую дает Энгельс, говоря об эпохе Гёте и Шиллера: «Все было скверно, и во всей стране господствовало общее недовольство. Ни образования, ни средств воздействия на сознание масс, ни свободы печати, ни общественного мнения, не было даже сколько-

нибудь значительной торговли с другими странами — ничего, кроме подлости и себя-любия; весь народ был проникнут низким, раболепным, жалким торгашеским духом».

Вдумавшись в эти слова, мы легче поймем Лихтенберга. Поймем, отчего почтенный профессор физики Гейдельбергского университета, вписавший свое имя в теорию электричества «лихтенберговыми фигурами», независимо от братьев Монгольфье пришедший к идее воздушного шара и ознаменовавший свою деятельность многими другими специальными открытиями, не удовлетворялся академической карьерой. Поймем, отчего он пожелал стать нравственным философом и сатириком своего века и какой лукавый бес толкал его записывать в тайных тетрадях дневника, из которого лишь крохи попадали в печать, полные яда афористические строки о своих коллегах-философах, об ораторах и проповедниках, о церковных и светских властях, о лицемерах, глупцах, невеждах, задававших тон в его отечестве, где «за последние 500 лет никто не умер от радости».

На ближайшей границе с Германией, за Рейном, назревала и потом свершилась Великая французская революция, а немецкий писатель и мыслитель чувствовал себя прозябающим в жалкой провинции, в затхлом, одряхлевшем мире, мнимая устойчивость которого покоилась на общественном равнодушии и самых косных феодальных предрассудках. Именно в ту эпоху складывались и закреплялись те черты немецкого филистерства, которые на долгий срок стали проклятием национального характера.

Рассказывают, что Лихтенберга мучило одиночество. Но когда смотришь на портрет не старого годами светского мужчины в камзоле и взбитом пудреном парике, с умным, спокойным взглядом и чуть иронической складкой у рта, трудно признать в нем отшельника. Еще труднее убедить себя, что его афоризмы родились в уединенном размышлении за письменным столом, а не в жаркой беседе на дружеском пиру, не в остром споре, не в потоке блестящей импровизации перед студенческой аудиторией. При внешней рассудительности и спокойном остроумии, в лихтенберговских афоризмах много потаенного темперамента: они нападают, отбиваются, воюют. В этих блистательных осколках непронесенных

речей и ненаписанных трактатов мы не ощутим желчи неудачника-одиночки.

Если Лихтенберг и чувствовал себя одиноким, то лишь как человек, обогнавший в чем-то свое время и, подобно пушкинскому сеятелю, понявший, что он «вышел рано, до звезды». «Много говорят о просвещении и желают побольше света,— с горькой улыбкой писал он.— Но, боже мой, какой толк от этого, если у людей либо нет глаз, либо те, у кого они есть, нарочно зажмуриваются». Это не могло быть безразлично философу-просветителю, но не повергало его в отчаяние: он верил в людей, верил в будущее своего народа.

Лихтенберг развивал ту традицию философской беллетристики или беллетризованной философии, которая шла преимущественно из Франции, где ученая метафизика еще не отделилась от морали, от живого, непосредственного для любого человека интереса, от возможности немедленно испытать ту или иную мудрость на практике, приложить к личному опыту, отвергнуть или сделать правилом своего поведения. Автора «Афоризмов» занимала, по его словам, «философия не профессорская, а человеческая».

К вопросам социального неравенства он тоже подошел с нравственной меркой, обличив с неожиданной стороны распределение прав и привилегий в обществе. Лихтенберг в шутку предлагал представить своим читателям, что изобретено всеобщее мерило заслуг различных людей, некий нравственный эквивалент, согласно которому легко оценить объективное значение любого дела. «Например: муштровать роту перед домом коменданта, безусловно, не так трудно, как подбить пару подметок... И я утверждаю, что скронить платье наверняка трудней, чем быть придворным кавалером. Таковую табель о рангах, которая имеется в уме каждого честного человека, я желал бы видеть напечатанной. Но она несомненно стоила бы головы и автору и издателю...»

И как бы в развитие этого парадокса, острием своим направленного против богатых и знатных бездельников, в другом месте он замечал: «Я убежден из многолетнего опыта, что важнейшие и самые трудные дела в мире, приносящие больше всего пользы обществу, дела, благодаря которым оно живет и существует, совершаются людьми, зарабатывающими от 300 до 800 или 1000 талеров. Для большинства же

должностей, дающих от 20 до 100 или от 2000 до 5000, можно было бы вполне успешно после полугодового обучения приспособить любого уличного мальчишку».

Такие афоризмы вряд ли могли бы сойти с рук нашему философу, если бы они были напечатаны при его жизни, и потому не надо удивляться, что они появились лишь посмертно, а в более полном виде стали известны только в начале нынешнего века.

Слишком многое сердило и смешило Лихтенберга в его стране. Он издевался над «маневрами мнений» в Ганновере, где всегда получалось так, что, «в чем убежден фланговый, то же думают и все прочие». Он одним из первых подверг анализу нравы народившейся бюрократии, исследовал странную силу канцелярской бумаги и причудливые законы ее движения в чиновничьих сферах. «С момента изобретения письма,— размышлял он,— просьбы много потеряли в своей силе, а приказы, напротив, выиграли. Это плохой баланс. Письменные просьбы легче отклонять, а письменные приказы легче отдавать, чем устные. И для того, и для другого надо иметь смелость, а когда это приходится делать устно, ее часто не хватает».

Лихтенберг хорошо знал, сколь прочно укреплена бюрократическая крепость и каким терпением должен обладать тот, кто рискнет бомбардировать ее своими прошениями. «...Прощение должно обычно прорвать четыре линии заграждений, прежде чем проситель достигнет желаемой цели. Оно должно быть принято, прочитано, рассмотрено и удовлетворено. Эти линии, согласно правилам истинного фортификационного искусства, должны быть тем неприступней, чем ближе они к конечной цели...» Автор выдерживал тон бесстрастного исследования, сухой инструкции, практического руководства, но в каждой его шутке было довольно яду и мораль имела откровенно социальный привкус.

Лихтенберг был просветителем в первоначальном и благородном значении слова.

Истинный просветитель никогда не становится плоским дидактиком, разносчиком готовых понятий, он убеждает, а не уговаривает. Ему чужда роль зазывалы, вербовщика, набирзющего себе послушных учеников, готовых вызубрить его уроки. Это человек, воспитывающий в каждом доверие к собственным наблюдениям и опыту. «Когда

людей станут учить не тому, что они должны думать, а тому, как они должны думать,— говорит Лихтенберг,— то тогда исчезнут всякие недоразумения...»

Правда, сам писатель затруднялся предложить какую-то сумму правил, которая раз и навсегда научит людей правильно мыслить, но в его афоризмах много подлинной, хотя и стихийной диалектики.

Может быть, больше всего враждовал Лихтенберг с просвещенным безмыслием, самодовольным невежеством дипломированных философов, поддерживающих и распространяющих по долам и весям новые предрассудки «ученого варварства». Он обрушивал на них град веселых острот, неожиданных парадоксов, он преследовал своими насмешками их тупость, чванство, бездарность. Его изобретательность в этом отношении неумолима:

«В слове «ученый» заключается только понятие о том, что его много учили, но это еще не значит, что он чему-нибудь научился...»;

«Часто некоторые люди становятся учеными, так же как другие — солдатами, только потому, что они больше ни к какому делу не пригодны»;

«Он делал постоянно выписки, и все, что он читал, переходило из одной книги в другую, минуя голову»;

«Он так оттачивал свой ум, что тот в конце концов стал тупым, прежде чем сделаться острым».

Но всего этого Лихтенбергу еще мало, он хочет показать, как близка эта ложная мудрость к самому заурядному мракобесию. «Великим светочем этот человек не был, скорее большим удобным подсвечником. Он торговал мнениями других людей». И еще одно уточнение. «Он торговал чужими мнениями. Это был профессор философии».

Надо ли говорить, что профессорам философии не должна была прийти по душе манера Лихтенберга выражать свои мысли. Не раз уже после смерти автора «Афоризмов» раздавались голоса, упрекавшие его в том, что его взгляд на мир не был целостным и всеобъемлющим, что его манера рассуждать оставалась дилетантской и что его афоризмы скорее остроумны, чем содержательны.

В самом деле, у Лихтенберга не было целостной философской «системы», столь любезной сердцу немецкого теоретика. Его ум, расчлняющий и беспощадный, взры-

вал профессорское благодушие «системосозидателей», быстро находил слабые места, куда могла проникнуть ирония, разъедавшая, подобно кислоте, опоры благоустроенного здания традиционной метафизики. Сама беззаконная в философии форма отрывочного наблюдения, скептического афоризма, остроумной шутки была средством высвобождения мысли, запутавшейся в схоластике, возвращением ее к опыту, житейской практике. Не это ли в конце концов помогало расчистить путь к научной диалектике?

Составитель книги, следуя традиции немецких изданий, распределил афоризмы Лихтенберга по разделам: о политике, о религии, о литературе. Это в известном смысле облегчает чтение и придает видимость системы тому, что сам автор как будто не собирался дробить по рубрикам. Во всяком случае живой и пестрый поток разнородных афоризмов порой оказывает ощутимое сопротивление попыткам систематизировать его.

Так, например, особо выделен раздел «Лихтенберг о себе». Но разве в других разделах писатель мало говорит о себе, а, с другой стороны, разве то, что он говорит здесь о себе, только к нему относится? Или раздел «Остроумная шутка», показавшийся нам пустоватым и менее остроумным в сравнении с шутками, разбросанными по иным страницам книги и не пойманными под эту рубрику.

Воспользуемся случаем процитировать хотя бы некоторые из них:

«В пророчествах истолкователь часто более важная персона, чем сам пророк»;

«Когда книга сталкивается с головой — и при этом раздается глухой пустой звук, разве всегда виновата книга?»;

«Из белой бумаги предпочитают не делать фунтиков. Но когда на ней что-нибудь напечатано, это делают весьма охотно»;

«Ничто так не радует Аполлона, как заклатие резвого рецензента»;

«Популярным изложением сегодня слишком часто называется такое, благодаря которому масса получает возможность говорить о чем-либо, ничего в этом деле не понимая».

Я сознаю всю невыгоду занятия выискивать отдельные, чем-то понравившиеся тебе мысли там, где можно черпать мудрость целыми пригоршнями, не боясь, что источник оскудеет. Всегда берешь в расчет свой вкус, но и он меняется при каждом следующем чтении. Как часто бывает с хорошими книгами, строку, по которой сначала скользнул глазами, вдруг оцениваешь потом. В этом и достоинство Лихтенберга, что он, по словам Толстого, «обладает удивительной способностью выражать самые глубокие мысли в коротких афоризмах. Одна фраза, а из нее, как из клубка, выходит целая куча мыслей».

Оттого-то любой думающий читатель, который возьмет в руки эту книгу, не соскучится над ней. Он наверняка найдет там что-то такое, что особенно понравится ему, попадет в лад с его мыслями, настроением, наблюдениями, опытом. В этом польза чтения старого немецкого писателя, заново открываемого нами через полтора столетия после его смерти.

В. ЛАКШИН.

★

Политика и наука

ВОСПОМИНАНИЯ О ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

П. М. Никифоров. Записки премьера ДВР. Победа ленинской политики в борьбе с интервенцией на Дальнем Востоке (1917—1922 гг.). Госполитиздат. М. 1963. 287 стр.

М. И. Казанин. Записки секретаря миссии. Страничка истории первых лет советской дипломатии. Издательство восточной литературы. М. 1963. 159 стр.

Пожалуй, ни одна отрасль литературы не пострадала в период культа личности Сталина так сильно, как политические мемуары. В обстановке, когда творцом истории СССР признавалась лишь одна личность, дела советских людей, как бы ни были ве-

лики их заслуги перед народом и государством, считались недостойными занесения на скрижали истории хотя бы в форме мемуаров. С другой стороны, в атмосфере тех лет многие советские деятели не решались предавать бумаге свои воспоминания, опа-

саясь, что они могут быть использованы в качестве повода для незаконных репрессий. Известно, что в те годы было уничтожено большое количество партийных, государственных и военных работников, организаторов хозяйства, дипломатов. В результате в период культа личности политическая мемуаристика была сведена на нет как излишний или даже «вредный» вид литературного творчества.

А между тем политические мемуары очень важны по соображениям двоякого свойства. Они имеют большое воспитательное значение для молодежи и являются весьма сильным оружием в борьбе против различных фальсификаций внутренней и внешней политики СССР, часто появляющихся в капиталистическом мире.

Мемуары крайне необходимы также как ценный исторический источник. Существует широко распространенное мнение, будто бы для написания подлинной истории требуются только документы, хранящиеся в архивах. Это большое заблуждение. Разумеется, архивные документы нужны, очень нужны, но их недостаточно. Трудно лишь с помощью одних документов восстановить всестороннюю реальную картину событий и показать действующих лиц прошлого. Ибо документы обычно фиксируют совершившиеся факты, принятые решения, сделанные предложения, изданные законы, подписанные договоры и т. п., но сравнительно мало, редко и неполно говорят о мотивах, лежащих в основе всех таких действий, о психологии их творцов, об общественной атмосфере в момент их появления. А без освещения этих факторов трудно нарисовать действительно полноценное полотно истории.

Часто говорят: «Мемуары слишком субъективны, в них всегда много искажений фактов и даже прямой неправды, ибо их авторы — политики, военные, государственные люди, дипломаты — стремятся приукрасить или защитить свои действия». Бывает и так. Однако еще вопрос, где — в документах или в мемуарах — отступления от истины встречаются чаще. Именно поэтому серьезный историк никогда не может принимать на веру ни одни лишь документы, ни одни мемуары. Для того, чтобы прийти к подлинной исторической правде, он должен сопоставлять документы и мемуары, документы и документы, мемуары и мемуары... Только в результате подобной работы, весьма

сложной и кропотливой, он может сделать выводы, заслуживающие доверия.

Теперь представим себе конкретно положение историка, скажем, XXI века, изучающего нашу эпоху — эпоху заката капитализма и победы социализма и коммунизма. К его услугам будут горы мемуарных произведений, появившихся в странах капитализма, и совсем маленькие стопки мемуаров, родившихся в странах социализма. Даже при самых добрых намерениях исследователю будет нелегко прийти к исторической истине, ибо мемуары, публикуемые в странах Запада, как правило, в большей или меньшей степени, в явной или скрытой форме проникнуты антисоциалистическим духом и под этим углом зрения изображают события и деятелей современности. Вот почему так исключительно важно оставить потомкам возможно больше мемуарных произведений людей социалистического лагеря. Многое тут, как уже упоминалось, безвозвратно потеряно, но то, что еще можно сделать, должно быть сделано.

Следует поэтому с удовлетворением констатировать, что Министерство обороны СССР принимало и принимает энергичные меры для создания советской военной мемуаристики. Все деятели Советской Армии приглашаются писать воспоминания (особенно о второй мировой войне), и для них создаются все необходимые условия, в частности перед ними открываются архивы военного ведомства, а в Воениздате организована специальная редакция мемуарной литературы, которая успела уже выпустить значительное количество военных мемуаров.

К глубокому сожалению, некоторые другие ведомства и организации не проявляют такой заботы об издании воспоминаний. Более того, в некоторых издательствах и журналах к мемуарам относятся, как к горячей картошке. Над умами иных работников довлеет страх: «Как бы чего не вышло», и эта мысль заставляет их отказываться от печатания ценных воспоминаний политических и общественных деятелей.

В такой обстановке следует с особым вниманием и сочувствием относиться к политическим мемуарам, которые появляются на книжном рынке. К ним относятся и те две книги, которые названы в заголовке настоящей рецензии. Обе они посвящены одной и той же странице в истории революции — странице важной и славной, но сильно от-

личаются друг от друга как по содержанию, так и по манере изложения.

Первая из них — «Записки премьер-министра ДВР» — дает интересную картину развития событий в Дальневосточном крае, начиная с Октябрьской революции и по конец 1922 года, и по существу распадается на две части. Более половины книги (стр. 3—176) посвящено героической борьбе дальневосточных крестьян и рабочих против сил царской реакции и иностранной интервенции, которые стремились не допустить установления советской власти в этом большом и богатом крае. Автор — непосредственный участник борьбы — на основании своих воспоминаний и многочисленных документальных данных подробно рассказывает о мощном партизанском движении первых лет революции, о его истоках и организации, целях и стремлениях, о его успехах и неудачах, о его редкой способности возрождаться после каждого поражения. Особенно ярко автор рисует ведущую роль большевиков в рождении, становлении и созревании партизанского движения.

Вторая часть книги (стр. 176—286) отображает судьбы Дальневосточной республики, возникшей в начале 1920 года на огромной территории, простирающейся от Байкала до Тихого океана. Когда Красная Армия, разгромив Колчака, вышла к Байкалу, перед Советским правительством стал трудный вопрос: что же дальше? До Байкала борьба в основном шла с русскими белогвардейцами и чешскими легионами, которых вдохновляли, финансировали и снабжали Англия, Франция и США; собственных же войск западных держав на фронте было мало. За Байкалом положение резко менялось. Хотя к началу 1920 года войска западных держав в большей части были уже выведены из Дальневосточного края, Япония еще продолжала крепко цепляться за захваченные ею позиции. Японская армия оккупировала не только Владивосток и Приморье, но также ряд стратегически важных пунктов в Амурской области и Забайкалье, в частности линию железной дороги вплоть до Байкала. Идти дальше на восток после занятия Красной Армией Иркутска — значило вступать в открытую войну с Японией, что для молодого Советского государства было тогда не под силу. Поэтому Ленин выдвинул план создания на территории между Байкалом и Тихим океаном буферного государства в виде Дальневосточной республи-

ки. Ленинский план встретил сильную оппозицию среди части дальневосточных большевиков, которые, недооценивая сложность международного положения, догматически настаивали на немедленной советизации всего Дальневосточного края. Владимир Ильич в феврале 1920 года телеграфировал Реввоенсовету республики и Реввоенсовету 5-й армии, оперировавшей в Сибири:

«Надо бешено изругать противников буферного государства (кажется, таким противником является Фрумкин), погрозить им партийным судом и потребовать, чтобы все в Сибири осуществили лозунг: «ни шагу на восток далее, все силы напрячь для ускоренного движения войск и паровозов на запад в Россию». Мы окажемся идиотами, если дадим себя увлечь глупым движением в глубь Сибири, а в это время Деникин оживет и поляки ударят. Это будет преступление».

Ленинский план в конце концов восторжествовал, и Дальневосточная республика сыграла ту роль, которая ей предназначалась. Преодолевая огромные внутренние и внешние трудности, она просуществовала около двух с половиной лет. После полной эвакуации в конце 1922 года японских интервентов Дальневосточная республика была ликвидирована, и вся ее территория вошла, как нераздельная составная часть, в границы РСФСР.

Все это очень подробно описано в книге Никифорова, представляющей собою чрезвычайно важный исторический источник. Хочется, однако, сказать несколько слов о форме подачи материала. Мне кажется, что автор напрасно ведет изложение от третьего лица, как в исторической монографии, и лишь в одном или двух местах выступает в качестве прямого мемуариста. Было бы лучше, если бы он писал свою книгу от первого лица, как собственные воспоминания (ибо он сам прошел весь путь борьбы на Дальнем Востоке), лишь подкрепляя, где нужно, свой рассказ необходимыми документами и характеристиками политических ситуаций. Так было бы живее и доходчивее.

Вторая книга — «Записки секретаря миссии» — касается лишь одного, хотя и очень важного, эпизода из истории Дальневосточной республики. Речь идет о посылке этой республикой в 1920 году специальной дипломатической миссии в Пекин для установления официальных или хотя бы полуофициальных отношений между ДВР и Китаем,

а также для распространения правдивых сведений об Октябрьской революции и ДВР среди китайской общественности. Главой миссии был И. Л. Юрин, а ее секретарем М. Казанин. Сейчас, сорок три года спустя, М. Казанин описал, что он видел, слышал, делал при выполнении своих обязанностей.

По форме записки М. И. Казанина—произведение чисто мемуарного стиля. Автор ведет рассказ от своего имени, воспроизводит разговоры и беседы, рисует портреты лиц, с которыми ему приходилось встречаться. Написана книжка живо и хорошо передает неповторимую атмосферу первых лет революции. Когда читаешь, как молодой студент, ставший волею обстоятельств преподавателем прогимназии на маленькой забайкальской станции Слюдянка, внезапно превращается в дипломата; как политическая миссия, в состав которой он входил, на одном единственном автомобиле с трудностями и приключениями пересекает пустыню Гоби для того, чтобы попасть в Пекин; как эта миссия ведет переговоры с китайским министерством иностранных дел и завязывает связи с китайской общественностью,—невольно переносишься мыслью к тому поистине героическому периоду в развитии революции.

Очень интересны воспроизводимые автором фигуры китайских чиновников, иностранных дипломатов, разноплеменных журналистов и общественных деятелей, среди которых мы находим, между прочим, известного английского философа Бертрана Рассела, каким он сорок лет тому назад приехал в Пекин. Живое повествование о людях и событиях дополняется в нужных местах краткими экскурсами в область политики или истории, поясняющими смысл развертывающейся перед читателем картины. Человек, взявший в руки книжку М. Казанина, несомненно, найдет в ней много поучительного и интересного и, думаю, не оставится, пока не дойдет до конца.

Обе книжки—и «Записки премьер-министра ДВР», и «Записки секретаря миссии»—полны духа глубокого, подлинно революционного оптимизма. Обе они с необыкновенной яркостью свидетельствуют, какие огромные творческие силы таятся в народных массах, когда они разбужены революцией, и как много героизма, настойчивости, умения, находчивости, искусства способны проявлять выходцы из этих масс, если они служат великому делу освобождения трудящихся.

Академик И. М. МАЙСКИЙ.

★

КНИГА, ЗАСТАВЛЯЮЩАЯ ДУМАТЬ

А. И. В е д и щ е в. Проблемы размещения производительных сил СССР. Экономиздат. М. 1963. 280 стр.

Книга А. И. Ведищева, несомненно, заинтересует преподавателей географии и экономики, а также лекторов; они не только с интересом прочтут ее, но и наверняка используют в своей работе.

Однако хотелось бы привлечь внимание к книге А. И. Ведищева более широкий круг читателей—в первую очередь тех, кто непосредственно связан с развитием экономики республик, краев, областей, городов. И не только потому, что книга насыщена богатым фактическим и аналитическим материалом, а главным образом потому, что она заставляет задуматься над путями решения одной из самых сложных проблем коммунистического строительства—проблемы рационального размещения производительных сил СССР.

Проблема эта не нова—ни в теории, ни в практике нашего хозяйственного строитель-

ства. Уже в 1918 году, в знаменитом «Наброске плана научно-технических работ», В. И. Ленин указывал, что рациональное размещение промышленности должно обеспечить «возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта».

Владимир Ильич, первым применивший марксистский метод к проблеме размещения производства, глубоко осветил в своих работах такие принципиальные вопросы, как специализация и комплексное развитие хозяйства различных районов страны, освоение Урала и Востока, максимальная экономия общественного труда, как главный критерий рационального размещения производительных сил, и другие. Эти ленинские идеи пронизывали первые государственные планы

Советской России, в частности план ГОЭЛРО, первые работы по экономическому районированию.

С тех пор прошло более сорока лет, а проблема размещения производительных сил остается острой и сегодня. Это объясняют в первую очередь возросшие масштабы нашего строительства.

«Капитальное строительство широким фронтом ведется во всех районах страны,— пишет А. И. Ведишев.— Строительный кран — самая характерная деталь наших пейзажей. Каждые сутки вступают в строй два-три крупных промышленных предприятия и вводятся 10 тыс. квартир. За четыре года семилетки введено в строй более 3700 новых крупных промышленных предприятий». А если вспомнить, что XXII съездом КПСС намечено до 1980 года построить шестьсот сорок крупных электростанций и две тысячи восьмьсот новых машиностроительных заводов? Если учесть, что декабрьский (1963 года) Пленум ЦК КПСС решил до 1970 года осуществить строительство около двухсот новых крупных химических предприятий?

«При подобных масштабах,— говорил Н. С. Хрущев на XXII съезде КПСС,— буквально шагу нельзя сделать без соблюдения народного правила: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Тут никак не обойтись без самых точных расчетов — что, как и где строить для того, чтобы получить наибольшую выгоду при наименьших затратах».

Простая арифметика говорит, что если в нашей стране каждые сутки вступают в строй два-три крупных промышленных предприятия, то также ежесуточно плановикам и экономистам надо делать два-три «самых точных расчета» для других предприятий. При этом порой допускаются довольно крупные просчеты. Примеров тому много приводится и в книге А. И. Ведишева, и в других печатных изданиях. Вот свежий факт: к концу прошлого года на Братской ГЭС были досрочно установлены все агрегаты, а основные мощности потребителей электроэнергии (алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс) войдут в строй лишь в 1966—1967 годах.

Успехи нашего народа в освоении несметных богатств советской земли известны. Современная экономическая карта СССР — свидетельство огромных достижений коммунистического строительства. Но на фоне этих успехов тем более досадны существенные

просчеты. Вызывает серьезные опасения то обстоятельство, что за практическое решение вопросов размещения производства сейчас несут ответственность слишком много различных организаций, настолько много, что трудно разобраться: с кого же спрашивать? Размещение местной промышленности планируют областные органы. Совнархозы отвечают за размещение «своих» предприятий. Отраслевые государственные комитеты пекутся о размещении предприятий только «своей» отрасли. Комплексная увязка различных отраслевых проектировок по районам отсутствует. Единая политика по размещению производительных сил на практике не проводится.

Центральный Комитет КПСС неоднократно привлекал внимание партийных и советских органов к вопросам размещения производительных сил. Созданы плановые комиссии в крупных экономических районах, советы по координации — во внутривнутриреспубликанских экономических районах (совнархозах). Коренным образом изменил свое отношение к проблемам размещения Госплан СССР. Изучается вопрос о создании в стране стройной и всеобъемлющей системы научной, проектной и плановой работы по рациональному размещению производительных сил.

Разумеется, многое будет зависеть от того, насколько глубоко важность этой проблемы будет осознана армией строителей коммунизма. В этом отношении немалую роль призвана сыграть и книга А. И. Ведишева.

Ценность этой книги еще и в том, что в ней в той или иной мере освещены все важнейшие проблемы размещения производительных сил. Слабее других, к сожалению, затронуты проблемы размещения сельского хозяйства.

В книге, хотя и в различной степени, получили освещение основные принципы размещения производства в период создания материально-технической базы коммунизма.

Возьмем, например, такой важный принцип, как возможно более полное вовлечение в общественное производство трудоспособного населения и рациональное использование трудовых ресурсов. Человек — это, как справедливо подчеркивает автор, не только основная производительная сила нашего общества, не только «объект» размещения, но прежде всего «субъект» размещения, во имя которого и для блага которого

ведется все коммунистическое строительство. Этот принцип требует решения целого ряда взаимосвязанных проблем: развитие трудоемких отраслей производства в районах, где имеются избыточные трудовые ресурсы; создание условий для закрепления населения в восточных районах страны, где ощущается нехватка рабочих рук; ликвидация скученности населения в крупных городах, всемерный подъем экономики малых и средних городов и т. д. Проблем много, и каждая из них не настолько проста, как может показаться на первый взгляд.

Так, чтобы поднять экономику малого города и более полно использовать имеющиеся там трудовые ресурсы, проще всего, казалось бы, построить там одно, еще лучше два-три промышленных предприятия. Но ведь у нас таких городов более полутора тысяч! Распыление строительства, создание маломощных баз строительной индустрии наверняка приведет к резкому снижению эффективности капиталовложений. Значит, эта задача должна решаться дифференцированно. Первоочередными объектами нового строительства могут стать те малые города, которые имеют наиболее благоприятные экономико-географические условия и могут развиваться либо в виде небольших промышленных узлов, либо становясь промышленными спутниками крупных центров, расположенных поблизости.

А. И. Ведищев затрагивает немалой важности вопрос о балансе мужского и женского труда в рамках промышленных узлов. «Во всех районах,— пишет он,— важно использовать трудовые ресурсы каждой семьи...» Он советует в районах с преимущественным развитием тяжелых, «мужских» отраслей промышленности строить предприятия, ориентирующиеся на женские рабочие руки, а в районах текстильной индустрии создавать производства, поглощающие мужской труд. Кому не известна песенка «Подмосковный городок»? Увы, у нас много таких—и не только подмосковных—городков, где «незамужние ткачихи составляют большинство» и где вследствие этого возникает текучесть рабочей силы и другие нежелательные социальные явления. Проблема? Да. Нужно ее решать? Безотлагательно. Но как? Можно ограничиться негативным ответом: не так, как она решается в Верхне-Волжском совнархозе. Там, в городе Иваново, где «незамужних ткачих» больше, чем где бы то ни было, введен в строй новый

камвольный комбинат—то есть еще одно «женское» предприятие.

Один из самых злободневных вопросов размещения производительных сил— комплексное развитие экономики районов. Для теории размещения это пока еще ахиллесова пята. Автор по-своему раскрывает содержание комплексного развития района и делает еще один шаг к обоснованию методики определения конкретных показателей эффективности районного комплекса.

А. И. Ведищев справедливо выдвигает забываемый иногда такой фактор размещения, как улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Мы не можем допустить, чтобы наши промышленные центры развивались по примеру городов «черной Англии» или шахтной зоны Рурского бассейна ФРГ. Зачастую выбор конкретного места размещения предприятия делается без учета размещения жилых массивов, основного направления ветров... «Нельзя... мириться с тем,— пишет автор книги,— чтобы густые облака дыма, извергаемого десятками труб, всегда стлались над городами Донбасса, Кузбасса. Совершенно очевидно, что нецелесообразно размещать промышленные предприятия в городах-курортах. Между тем в Кисловодске... размещены завод резиновой обуви, валяльно-войлочная фабрика. Сюда завозят издалека сажу, шерсть, невыделанные кожи...»

Программа КПСС требует «проведения системы мероприятий по дальнейшему оздоровлению условий жизни в городах и других населенных пунктах, включая их озеленение, обводнение, решительную борьбу с загрязнением воздуха, почвы и воды». Развивая это положение Программы, декабрьский (1963 года) Пленум ЦК КПСС потребовал резко усилить комплексное использование отходов производства и побочных продуктов сырья, считая, что это не только повысит рентабельность предприятий, но и «явится средством улучшения санитарных условий в районах сосредоточения крупных промышленных предприятий».

Читатель найдет в книге А. И. Ведищева постановку и характеристику других важнейших принципов размещения производительных сил: выравнивание уровней экономического развития районов, комплексное освоение природных ресурсов, учет международного социалистического разделения труда и другие. Двенадцать картосхем до-

статочны хорошо иллюстрируют основное содержание работы.

Но есть в книге и недостатки. Я говорю не о мелких неточностях (вроде «города — наиболее прогрессивная форма расселения»). Более существенный недостаток заключается в том, что автор не раскрыл противоречивый характер развития и размещения производительных сил. Диалектические противоречия, являющиеся источником всякого развития, присущи и проблеме размещения. В наиболее общей форме — это противоречие между производством как содержанием процесса и территорией как особой формой его проявления. Нет ни одного объекта, размещение которого определялось бы исключительно одним фактором, — приходится учитывать множество факторов, часто находящихся во взаимном противоречии (есть трудовые ресурсы — нет энергетики; есть энергетика — нет воды; есть вода — нет сырья; есть и трудовые ресурсы, и энергия, и вода, и сырье — нет свободных средств для финансирования строительства).

Принцип полного вовлечения трудовых ресурсов в общественное производство требует развития экономики малых городов. Принцип экономики общественного труда предостерегает от азартного увлечения этим направлением. Где «равнодействующая»? Ее надо найти путем «самых точных расчетов».

Нужно осваивать эффективные природные ресурсы восточных районов. В этом — будущее нашей энергетики, нашей экономики. Но освоение ресурсов Востока осложняется нехваткой рабочей силы. Для перемещения на Восток населения нужно со-

здавать благоприятные условия; жизненный уровень должен быть здесь не ниже, если не выше, чем в районах Европейской части СССР. А это связано с дополнительными затратами, снижающими эффективность капиталовложений в промышленность. Где «равнодействующая»? Опять на пути «самых точных расчетов».

О противоречиях в размещении производительных сил страны — не антагонистических, но реально существующих — в книге А. И. Ведищева сказано мало. И у читателя может возникнуть неверная мысль о том, что все эти проблемы не так уж сложны.

Работа А. И. Ведищева — нужная и полезная. Но проблема размещения производительных сил требует своего освещения не только в популярных книгах. Нужны глубокие теоретические исследования. Нужны работы, дающие научные рекомендации для практики. Нужны работы, содержащие ответ на вопросы: что, где и как размещать; и не только где, но и почему именно там и так надо размещать. Нельзя сказать, что наша литература по проблемам размещения бедна томами и именами. Но время подгоняет. Огромная армия строителей ждет от ученых конкретных ответов на те вопросы коммунистического строительства, которые ставит сама жизнь.

Читая работу А. И. Ведищева, я думал и о тех проблемах, которые в ней затрагиваются, и о тех, которые порой выходят за ее рамки. Книга, которая заставляет думать, — это хорошая книга.

Э. АЛАЕВ,

кандидат географических наук.

★

КУРС НА БОЛЬШУЮ ХИМИЮ

В. С. Лельчук. Создание химической промышленности СССР. Из истории социалистической индустриализации. «Наука». М. 1964. 383 стр.

Нас трудно удивить цифрами. Но когда мы узнаем, что на развитие химии в ближайшие семь лет ассигновано средств больше, чем было вложено во всю промышленность за три десятилетия до 1958 года, что ежегодно будет вводиться в эксплуатацию столько же мощностей по производству минеральных удобрений, сколько их было введено за сорок лет (1918—1958), то эти цифры не могут не поразить.

Вот что такое курс на Большую химию, взятый Коммунистической партией!

Нет, казалось, в природе материала прочнее стали, легче пробки, тоньше паутины. Химия опрокинула эти представления, сложившиеся веками. Созданные в лабораториях ученых, а потом и в заводских цехах, полнмеры прочнее стали, легче пробки, тоньше паутины; они не горят и не тонут, не рвутся и не ломаются, не ржавеют и не мнутя. Химия может и будет строить, кормить, одевать, обувать...

В нашей стране развертывается великая научно-техническая революция. И величай-

шую роль играет в этом химизация всего народного хозяйства.

Заглядывая далеко вперед, думая о знаменитой формуле: «Коммунизм — есть Советская власть плюс электрификация всей страны, плюс химизация народного хозяйства», — мы оглядываемся на путь, пройденный советской химией.

Известно доставшееся нам скудное наследство. Страна, в недрах которой спали неисчислимы богатства химического сырья, держава, занимавшая одну шестую часть суши, тащила за тридевять земель фосфаты из Марокко, возила калий из Германии. Государство, три четверти населения которого было занято в сельском хозяйстве, занимало шестнадцатое место в мире по производству суперфосфата, уступая Португалии и Дании, производило серной кислоты меньше, чем Бельгия.

И хотя молодому Советскому государству пришлось ставить на ноги химию в условиях войны и хозяйственной разрухи, — уже в 1938 году мы по развитию суперфосфатной промышленности опередили все страны Европы и уступали лишь США и Японии, а по сернокислотной промышленности СССР передвинулся с восьмого на четвертое место в мире. Миновала еще четверть века, из которой восемь лет заняли война и послевоенное восстановление, и ныне наша страна прочно держит второе место в мире по производству минеральных удобрений. Мы производим их теперь в два с лишним раза больше, чем Англия, Франция, ФРГ, вместе взятые, а через два года СССР оставит позади уровень производства минеральных удобрений, достигнутый США.

У нас есть все для того, чтобы успешно претворить в жизнь лозунг химизации страны: неиссякаемые запасы разведанного сырья, мощное химическое машиностроение, а главное — первоклассные кадры рабочих, инженеров, ученых, вырывающих у природы одну тайну за другой.

До последнего времени советская химическая индустрия не привлекала внимания историков. Вот почему отраднo появление на книжных прилавках работы молодого исследователя В. С. Лельчука.

Автор много и любовно поработал над избранной темой. В шести крупнейших архивах страны он нашел немало ценных документов, дал вторую жизнь богатейшим материалам, похороненным в ведомственных

изданиях, в подшивках газет и журналов, записал беседы с ветеранами химии, стоявшими у ее истоков.

Шаг за шагом, этап за этапом автор раскрывает славный путь, пройденный советской химией. Не обходит он и острых вопросов. Известно, что в годы культа личности вообще не считалось хорошим тоном говорить о невыполнении планов той или иной отрасли. Именно поэтому в официальном сообщении об итогах выполнения первой пятилетки стыдливо умалчивалось, что план по химии не был выполнен.

В. С. Лельчук не следует этим традициям. Из его книги мы узнаем, что задание первой пятилетки по суперфосфату было выполнено лишь на восемнадцать процентов, по серной кислоте — на тридцать восемь процентов. А между тем за четыре года производство суперфосфата выросло более чем вчетверо, серной кислоты почти втрое. Как же увязать «прорыв» в выполнении пятилетки с бурным ростом производства? Автор правильно объясняет это волонтаризмом в планировании. Например, было запроектировано увеличить за пять лет производство суперфосфата в двадцать два раза, т. е. давать ежегодный средний прирост продукции на 440 процентов! Подобные фантастические задания были, конечно, невыполнимы. Интересны в связи с этим найденные автором в архивах материалы, свидетельствующие о том, что Сталин добивался осуществления своих установок вопреки возражениям работников, непосредственно руководивших развитием химии. Так, он требовал заложить в 1931 году сразу десять заводов синтетического каучука и уже в следующем году сдать их в эксплуатацию. Между тем многие вопросы технологии этого нового, чрезвычайно сложного производства не были еще разрешены. Вот почему председатель Комитета по химизации Я. Э. Рудзутак и сам создатель синтетического каучука С. В. Лебедев категорически возражали против этого. Однако Сталин провел через СТО свое предложение, и оно осталось неосуществленным.

Беда многих работ по истории советского общества — умолчание о людях — творцах этой истории. В. С. Лельчук избежал этого пробела. Со страниц книги встают один из первых руководителей советской химии — Л. Я. Карпов, организатор индустрии синтетического каучука — О. П. Осипов-Шмидт. Показана выдающаяся роль в развитии химии Я. Э. Рудзутака...

Работа В. С. Лельчука свидетельствует о том, что наши историки творчески ищут и находят новые пути для раскрытия и осмысления прошлого.

Большие достоинства книги не могут заслонить некоторые ее недостатки. Тем более что они в какой-то степени отражают слабые места и других работ по истории индустриализации.

Известно, что план социалистической индустрии, и в частности развития химии, был разработан и теоретически обоснован В. И. Лениным, а не Сталиным, как об этом писалось в известный период. Долг историков — восстановить правду.

В книге мы находим несколько беглых упоминаний о вдохновляющей деятельности В. И. Ленина — о том, что он придавал исключительное значение развращиванию творческих сил научно-технической интеллигенции, о том, что Владимира Ильича очень интересовала возможность широкого использования солей Карабугаза, химической переработки угля и сланца, получение спирта из непищевых продуктов.

Эти довольно общие и краткие замечания не отражают действительной роли В. И. Ленина в создании химической индустрии. Ведь именно идеи Ленина были положены в основу довоенных пятилеток и лежат в основе нашей сегодняшней борьбы за Большую химию.

В условиях величайшей хозяйственной разрухи Советское правительство, руководимое Лениным, не жалело средств на изучение ресурсов химического сырья: вспомним экспедицию академика А. Е. Ферсмана на Кольский полуостров, организацию Карабугазского комитета во главе с академиком Н. С. Курнаковым по изучению проблем глауберовой соли. Известен живой интерес Владимира Ильича к богатствам мало кому тогда известной Ухты. Именно постоянная забота Ленина об изучении сырьевых ресурсов стимулировала работы П. И. Преображенского, приведшие к открытию в 1925 году богатейшего Верхнекамского месторождения калийных и магниевых солей.

Еще в своих дореволюционных теоретических трудах Ленин показал первостепенное значение крупнейших открытий ученых-химиков для развития производительных сил.

По инициативе Владимира Ильича были созданы первые научно-исследовательские институты в различных отраслях химии. В этих центрах научной мысли были собра-

ны ранее распыленные малочисленные силы ученых. «Это,— пишет академик Н. Н. Семенов,— один из примеров гениальных и смелых решений В. И. Ленина. Именно в результате этого к тридцатым годам мы имели уже достаточно сильные кадры ученых...»

А удивительная прозорливость Ленина, энергично помогавшего ученым, работавшим над созданием бензина и керосина из сланцевой смолы, парафина из сапропеля! Тогда же по инициативе Ильича был объявлен конкурс на метод разработки синтетического каучука.

Не показав во всем объеме роль В. И. Ленина в становлении химической индустрии, автор обеднил свою работу.

В. С. Лельчук приводит много ярких примеров, свидетельствующих о трудовом героизме строителей, об авангардной роли коммунистов. Однако наряду с важными сообщениями и цифрами мы находим здесь слишком много третьестепенных фактов. Увлечшись деталями, автор не дал ответа на вопрос: благодаря чему строители добивались таких рекордных темпов. В книге ничего нет о создании на стройках собственной базы по производству строительных материалов, о концентрации сил на отстающих участках, об одновременном ведении различных работ и о некоторых других смелых методах строительной стратегии, характерных для первой пятилетки.

Думается, что историкам надо глубже выникать в экономку исследуемой отрасли. Владеть методом группировки, анализа, использования цифр должны не только статистики, экономисты, но также историки.

Горю раскрытие глубоких процессов научного творчества автор подменяет описанием того, что лежит на поверхности, обращает внимание на второстепенные детали. Так, рассказывая о процессе создания синтетического каучука, он пишет: «С. В. Лебедев и его помощники работали без выходных. Проектировщики регулярно засиживались вечерами...» А ведь суть вовсе не в этом, а в трудных поисках решений. Думаю, что читателю было бы интереснее проследить путь исследований, разочарования и ошибок, преодолев которые ученые пришли к успеху.

Богатый материал дан В. С. Лельчуком в главе о подготовке кадров для химии — новой инженерно-технической интеллигенции, новых квалифицированных кадров рабочих. Но в рассуждения автора хотелось бы тут

внести существенную поправку. В 1934 году в цехах Березниковского химического комбината я наблюдал растерянность специалистов. Инженеры с горечью говорили мне, что в вузах их учили работать в лабораториях, что они «чистые» химики, а теперь приходится заново учиться работе в заводских условиях. Они чистосердечно признавались, что при малейшей неполадке в сложных агрегатах теряются, не знают, что делать.

При подготовке инженерно-технических кадров для химии был допущен грубый просчет: высшие учебные заведения продолжали по старинке готовить «чистых химиков», в то время как в условиях новой техники производству требовались специалисты иного профиля — химики-технологи, знаю-

щие оборудование, и механики с химическим уклоном. Был допущен просчет и в подготовке рабочих: не уделялось достаточного внимания обучению ремонтников (слесарей, электромонтеров), от которых во многом зависел успех работы предприятий. К сожалению, эти вопросы не получили отражения в книге. А это важно не только для верной оценки прошлого, но и для того, чтобы избежать ошибок в будущем.

Таковы некоторые недостатки книги. В целом же работа В. С. Лельчука заслуживает внимания не только работников химической промышленности. Думаю, что она займет свое место на книжных полках всех, кто интересуется историей индустриального преобразования родины.

А. ХАВИН.

★

КОМСОМОЛЬЦЫ ПЕРВОГО ПРИЗЫВА

В кольце фронтов. Молодежь в годы гражданской войны. Сборник документов под общей редакцией Е. Д. Стасовой. «Молодая гвардия». М. 1963. 415 стр.

Комсомол в гражданской войне... Этой теме посвящены десятки и сотни книг и брошюр. Однако научная разработка истории коммунистического молодежного движения тех лет (как, впрочем, и всей истории комсомола) по существу широко развернулась лишь в последние годы. Издание документальных сборников о героической юности первого поколения комсомольцев — начало этой большой работы. Уже вышли фундаментальные публикации об образовании комсомола Украины и его деятельности в период гражданской войны, о рождении комсомола Семиречья. Рядом с ними встали на полках библиотек томики документов о славных делах первых комсомольских организаций Астраханской, Владимирской, Воронежской, Нижегородской и других губерний. В совокупности с другими публикациями последних лет эти издания дают обширный материал для изучения истории образования и героической борьбы комсомола в 1918—1920 годах.

Вместе с тем уже давно назрела потребность в обобщающем, не ограниченном локальной тематикой издании, которое охватило бы события в масштабе всей страны. Рассматриваемая книга является первой попыткой дать систематическое документальное изложение истории первых лет комсомола. Она подготовлена сотрудни-

ками Главного архивного управления при Совете Министров СССР и Московского государственного историко-архивного института. Немалую помощь в выявлении документов оказали студенты историко-архивного института.

Издание открывается «Словом к читателю» Е. Д. Стасовой, которая в те годы, как секретарь Центрального Комитета партии, непосредственно занималась юношеским движением. «Читайте этот материал, вдумываясь в каждую строчку документов, дошедших до нас,— пишет Елена Дмитриевна.— Как хотелось бы, чтобы наша молодежь прониклась тем духом, которым насыщен сборник, и с еще большим энтузиазмом участвовала бы в строительстве коммунизма».

В книге приведено около четырехсот документов. Конечно, не все они публикуются впервые. Составители включили в сборник ряд известных партийных документов, а также документов В. И. Ленина. Это помогает каждому, кто будет пользоваться публикацией, понять руководящую роль партии в создании и героической деятельности комсомола, понять, почему он получил название ленинского.

Основная масса публикуемых в книге документов извлечена из архива ЦК ВЛКСМ, из некоторых других архивов (в

том числе и местных), из газет, а также из ряда вышедших ранее сборников. Здесь протоколы и резолюции, информации и письма, сводки и воспоминания, воззвания и отчеты — словом, самые разнообразные материалы, сохранившиеся от тех немеркнущих лет. Они сгруппированы в пяти разделах сборника.

Хотя в книге указано, что она охватывает период гражданской войны, документы ее первого раздела выходят за эту хронологическую грань, рассказывая о возникновении первых организаций пролетарской молодежи. Часть из этих документов датирована бурными днями лета и осени 1917 года. Вот перед нами статьи Н. К. Крупской об организации рабочей молодежи, опубликованные в «Правде» в мае—июне 1917 года... Резолюция VI съезда большевистской партии «О союзах молодежи»... Документы о создании в 1917 году союзов рабочей молодежи в Петрограде, Москве, Екатеринбурге, Перми и других городах страны.

Особенно успешно дело организации пролетарской молодежи двинулось после победы Октября. «Стихийным движением вырастают по всей Советской России союзы рабочей и крестьянской молодежи,— говорится в обращении 27 сентября 1918 года оргбюро по созыву Всероссийского съезда союзов молодежи.—...Всероссийский съезд должен положить начало организационной работе во всероссийском масштабе». И вот 29 октября 1918 года в Москве в доме № 4 по Малому Харитоньевскому переулку собрались посланцы рабоче-крестьянского юношества. Открылся I съезд РКСМ. «Союз солидарен с Российской Коммунистической партией (большевиков),— заявил I съезд РКСМ.— Союз ставит себе целью распространение идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство Советской России».

Пролетарская молодежь была полна решимости строить новую жизнь. Однако в те дни на карту Советской республики уже легло черное кольцо блокады. Первые два года деятельности комсомола неразрывно связаны с борьбой рабочих и крестьян под руководством партии против соединенных сил интервентов и белогвардейцев. Наибольшее количество документов сборника и посвящено этой борьбе. Самый большой его раздел — второй — включает свыше

двухсот документов об участии комсомольцев в защите республики Советов.

Языком документов — порой бесстрастным, даже суховатым, но всегда волнующим — говорит здесь с читателем далекая героическая эпоха.

В трагически суровые дни сражений на Восточном фронте, в белые ночи под Питером, в сибирских снегах и болотах Сиваша — всюду, где кипели бои, сотни и тысячи комсомольцев стояли насмерть. Кто были они? Документы сборника рассказывают о многих молодых борцах за дело Советов. Воспитанник детского дома Алексей Касименко организовал в своей школе комсомольскую ячейку. Когда началось денкинское наступление, он ушел добровольцем в армию, стал начальником пулеметной команды на Южном фронте. Во время недолгих привалов, у степных костров Алексей «любил говорить со своей командой о тех богатствах, какие таит в себе наша страна, и о том расцвете, который ждет ее в будущем». «Алексею Касименко не пришлось самому принять участие в творческой работе мирного времени,— говорится в документе,— он был убит в боях под станцией Казанской осенью 1919 года, в тех боях, которые решали и решили судьбу нашей страны». Таких боев было сотни, и никогда не счесть, сколько комсомольцев, подобно А. Касименко, грудью закрыли в них республику Советов.

Особенно впечатляющи предсмертные письма и записки комсомольцев-подпольщиков, погибших в тылу врага. «Горлинкой» звали владикавказскую комсомолку Нину Горлину-Зубкову, схваченную белогвардейцами в 1919 году. «Я хочу жить и бороться,— писала Нина перед расстрелом.— Но жить мне не дают. Меня казнят. Знайте, товарищи, что я была и умираю революционеркой-коммунисткой... Прощайте, товарищи, и помните обо мне».

Специальный раздел повествует о трудовых подвигах юношества в тылу Советской республики. «Для молодежи не было «черной» работы,— пишет Е. Д. Стасова в предисловии.— Она делала все, что требовалось для облегчения победы над врагом». Документы, сосредоточенные в третьем разделе (их около ста), убедительное подтверждение этих слов. Они рассказывают об участии комсомольцев в коммунистических субботниках, в «неделях» фронта и транспорта, топлива и дру-

гих мероприятиях, направленных на мобилизацию всех хозяйственных ресурсов на разгром врага. Большой интерес представляют материалы о помощи раненым красноармейцам, заботе о семьях фронтовиков. Составители подобрали интересные документы и о походе комсомола за пролетарскую культуру.

Предпоследний, четвертый, раздел сборника содержит документы международной солидарности молодежи. К сожалению, история пролетарского интернационального содружества, так ярко проявившегося в защите первого в мире государства рабочих и крестьян, до недавнего времени изучалась совершенно недостаточно. Лишь за последние шесть-семь лет наметился определенный сдвиг в разработке этой проблемы. Документы, помещенные в рецензируемом сборнике, показывают, сколько важно для историка, уничтожающего это «белое пятно» в истории нашего общества, изучение материалов, показывающих интернациональное единство пролетарской молодежи.

Небольшой раздел, в котором собраны материалы, связанные с III съездом комсомола в октябре 1920 года, завершает сборник.

Закрывает последняя страница интересной и своеобразной книги. Своеобразной — потому что она состоит только из документов. Обычно такого типа издания предназначены для сравнительно небольшого круга специалистов. Но у этого сборника — широкий адрес. С ним познакомятся пропагандисты и комсомольский актив; он способен принести пользу всем, кто интересуется историей нашей страны. Книга хорошо оформлена, приметная, в тексте — много интересных и редких фотоплюстраций, извлеченных из архивов.

Видно, что составители стремились сле-

датель сборник доступным для массового читателя. Но при этом они допустили, на наш взгляд, и некоторые просчеты. Документы не пронумерованы. Больше того, нет даже их перечня, который бы значительно облегчил пользование книгой. Отсутствуют указатели — географический и именной, — столь необходимые для подобных изданий. Думается, что такие упрощения не оправданы. Сделанные, как «скидка на популярность», они, напротив, делают книгу менее доступной. Следует отметить и другие недостатки. Так, в сборнике много декларативных материалов — воззваний, призывов, резолюций и т. д. Среди документов, содержащих конкретные факты, нередко встречаются и малозначительные. Не всегда оправданы главы внутри разделов. Так, в третьем разделе глава «Топливному голоду объявлена война» содержит лишь три небольших документа. В следующей главе — «Неделя фронта и транспорта» — пять документов. Может быть, целесообразнее было объединить эти документы с другими, чтобы картина рисовалась не дробно, а полнее и шире?

Можно задать составителям и другие вопросы, но дело сейчас не в них. Книга эта — первый опыт создания обобщающей публикации документов по истории комсомола. В послесловии говорится, что сборник открывает собою пятитомную серию документальных изданий, которая полностью будет завершена к пятидесятилетию комсомола. И нужно, чтобы призыв составителей ко всем комсомольцам и комсомольским организациям принять участие в сборе документов был услышан широкими кругами общественности. Это поможет воссоздать славные страницы истории ленинского комсомола.

Д. ШЕЛЕСТОВ,

кандидат исторических наук.



ТЕМА ОСТАЛАСЬ НЕРЕШЕННОЙ

В. А. Малинин, М. И. Сидоров. Предшественники научного социализма в России. Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС. М. 1963. 256 стр.

История социалистических идей всегда привлекала внимание советских исследователей. Литература, посвященная проблемам русского утопического социализма и отдельным его представителям, разрослась до внушительных размеров. В то же время

единственной обобщающей работой в этой области до сих пор оставалась книга К. А. Пажигнова «Развитие социалистических идей в России», изданная еще в 1913 году. При всех своих достоинствах, она не может удовлетворить современного

читателя ни материалом, положенным в основу исследования (устаревшим, нуждающимся в дополнении), ни решением многих основных проблем. Потребность же в книге о самом процессе развития социалистических идей в России и его связи с революционным движением несомненна.

Книга В. А. Малинина и М. И. Сидорова — первая попытка советских историков систематически изложить историю русского утопического социализма — от его зарождения в нашей стране до утверждения марксизма.

Вопреки распространенной в период культа личности оценке утопического социализма только как проявления слабости, незрелости мировоззрения русских революционеров-разночинцев, как отступления от революционной демократизма — в книге рассматриваются и сильные, прогрессивные черты тех идей и теорий, которые предваряли появление в России научного социализма.

Рассказывая о представителях социалистической идеологии, деятельности кружков и организаций, авторы стремятся выявить своеобразие развития социалистических идей на разных этапах. Однако они не сумели достаточно полно и четко донести до читателя единство общей линии развития русского утопического социализма, единство его природы.

Анализируя взгляды петрашевцев и А. И. Герцена в тридцатых — сороковых годах, авторы отмечают их особое внимание к крестьянству, их явную ориентацию в планах будущих социальных преобразований на крестьянскую общину. Казалось бы, отсюда должен был последовать вывод о том, что эти идеи предопределяли ту специфическую — крестьянскую — форму утопического социализма, которая проявилась в России. Но такого вывода авторы не делают. Период тридцатых — сороковых годов освещается в книге лишь как «период изучения и усвоения идей западноевропейского утопического социализма, а также попыток применить эти идеи к специфическим условиям России...» В результате этот этап выглядит здесь более обособленным от последующего этапа, чем это было в действительности.

В. А. Малинин и М. И. Сидоров как будто бы отказываются от того противопоставления народничества шестидесятых и семидесятых годов, которое укоренилось в известный период в нашей исторической литера-

туре. Революционных народников семидесятых — начала восьмидесятых годов они называют революционерами-демократами и признают — вслед за В. И. Лениным, — что Чернышевский и Герцен были родоначальниками народничества. Однако эти положения никак не подтверждены логикой их исследования, а являются как бы приложением к нему, некоей данью новым веяниям в нашей литературе.

Читатель встретится в книге с довольно распространенной схемой развития утопического социализма в России: его оформление и расцвет в начале шестидесятых годов, совпадающие с революционной ситуацией, затем развитие по нисходящей линии и — упадок.

Эта схема — не результат строго научного исследования. Напротив, само исследование подчиняется схеме и служит — подчас в ущерб научной объективности — ее дальнейшему обоснованию и закреплению.

Авторы неоднократно подчеркивают, что в теоретическом отношении социалисты-утописты семидесятых годов оказались по всем направлениям далеко позади Чернышевского.

«...Революционные народники, — говорится в книге, — не смогли развить дальше революционно-демократическую теорию крестьянской революции и основывались на теории, которая была более узкой, расплывчатой, менее отвечавшей конкретным историческим условиям, более ошибочной, чем теория крестьянской революции Чернышевского».

Стремясь подтвердить этот тезис, авторы рассматривают решение шестидесятниками и семидесятниками коренных вопросов идеологии — прежде всего вопросов о капитализме в России, о роли народных масс в социальных преобразованиях.

По мнению исследователей, если Чернышевский видел прогрессивность капитализма по сравнению с феодально-крепостническим строем, то с точки зрения революционеров семидесятых — восьмидесятых годов «капитализм был регрессом, и только». Для них, по утверждению автора книги, «капитализм был злом абсолютным, а не относительным».

Чернышевский действительно признавал прогресс производительных сил при капитализме, те блага цивилизации, которые он нес. Он отмечал, что «промышленное направление» обеспечивает содействие просве-

шению, «некоторую заботу о законности», «некоторую заботу о просторе для личности». Именно с этой, и только с этой, точки зрения Чернышевский считал, что «промышленное направление все-таки гораздо разумнее, нежели тенденции многих прошлых эпох».

Однако Чернышевский был далек от понимания общественно-исторического значения капиталистической формации и разделял типичный для народничества страх перед «язвой пролетариата». С другой стороны, вряд ли и среди социалистов-утопистов семидесятых годов были люди, утверждавшие, что строительство железных дорог само по себе — шаг назад по сравнению с извозным промыслом, пароходство — регресс по сравнению с бурлачеством, а механический ткацкий станок хуже ручного. Однако не технический прогресс сам по себе был важен для крестьянских революционеров, а его общественный смысл и последствия, которые они, с точки зрения мелких производителей, не могли понять исторически верно.

Их оценка капитализма в России выростала из веры в ее самобытное развитие, в возможность перехода к социализму через крестьянскую революцию и общину. Но ведь и Чернышевский верил в это. И уже в силу этого он не мог приветствовать капитализм в России. Наступление капитализма в его глазах было пагубным для русской жизни, так как привело бы к «разрушению благотворного учреждения, завещанного нам веками», то есть крестьянской поземельной общины.

Конечно, решение проблемы капитализма в России в до- и пореформенное время существенно отличалось. У шестидесятников не было еще столь ярко выраженного страха перед развитием капитализма, их критика этого общественного строя не была столь односторонней и пессимистичной. И вряд ли это можно объяснить одним теоретическим превосходством такого величайшего ума, как Чернышевский. Идеи поиски семидесятников проходили в пореформенное десятилетие — в период интенсивного первоначального накопления, обнаруживший в России самые варварские и дикие стороны капитализма.

Эта разница в мировоззрении революционеров двух поколений оказалась в книге В. А. Малнина и М. И. Сидорова слишком преувеличенной, а ее реальные жизненные истоки оставлены авторами без внимания.

Исследователи упустили из виду, что именно в решении Чернышевским вопроса о капитализме в России были заложены возможности такого его развития, которое столь полно и определенно проявилось в народнической идеологии в семидесятых — восьмидесятых годах.

С излишней прямолинейностью и категоричностью решается в книге и вопрос о понимании шестидесятниками и семидесятниками роли народных масс в истории. Если шестидесятники «выступали за преобразование общества на социалистических началах при помощи крестьянской революции», то социалисты семидесятых — начала восьмидесятых годов, по словам автора, «связывали построение социалистического общества не столько с широкой крестьянской революцией, сколько с деятельностью небольшого организованного революционного ядра».

Но ведь прежде всего далеко не у всех социалистов-утопистов шестидесятых годов имелось убеждение в решающей роли народных масс, не все они связывали социалистическую революцию с их участием. Вспомним П. Г. Заичневского, автора «Молодой России», чьи социалистические идеи носили ярко выраженный заговорщический характер. В те годы начала складываться и бланкистская программа П. Н. Ткачева. Естественно, что в период революционной ситуации, размаха крестьянского движения взгляды эти не получили широкого распространения. Не были они господствующими и в период семидесятых годов. Семидесятники не были бы народниками, крестьянскими революционерами, если бы мыслили о народе так, как это представлено в книге.

Их отношение к народу как решающей силе общественного преобразования было тесно связано с коренной чертой народнической идеологии — верой в самобытный уклад крестьянской жизни, в социалистические инстинкты русского мужика, в его готовность к социалистической революции. Эта вера определяла революционную деятельность семидесятников, лозунгом которых было: «Все для народа — все через народ».

Слабость крестьянского движения в пореформенной России, горький опыт революционеров, пытавшихся поднять народ на революцию, — все это не могло не способствовать усилению в среде русских социалистов-утопистов скептического отношения к революционным возможностям крестьянства.

Но, понимая политическую борьбу с самодержавием как заговор, народовольцы верили, что захват власти революционерами станет прелюдией к народному восстанию. И если участие народа в политической революции представлялось им хотя и желательным, но необязательным, то революцию социальную большинство из них не мыслило без участия народных масс. Смысл и значение революции в России «Народная воля» видела «в перенесении пульса государственной жизни к народным массам... Народ должен стать силой в стране, — писали народовольцы в своей газете, — то есть полновластным распорядителем своих судеб в области политической, полным хозяином страны в области экономической».

В книге революционерам-народовольцам приписан заведомо сознательный и даже как бы ими самими теоретически обоснованный отказ от опоры на народ. Их разочарование в революционных способностях крестьянства, имевшее — как мы теперь знаем — реальные основания в объективной действительности того времени, выглядит произвольным и неоправданным. «В конкретных условиях 1879—1881 годов, — говорится в книге, — народовольцы считали ненужным и даже вредным рассчитывать на нее (народную революцию. — В. Т.), тем самым отказываясь от самого действенного средства борьбы с самодержавием в условиях возникшей революционной ситуации». О революционерах, действовавших в эпоху, когда крестьянство еще не проснулось к политической жизни, а в рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации, — в книге говорится как о «не сумевших, да и не желавших возглавить и повести за собой массы».

Итак, серьезные изменения в теории русского крестьянского социализма шестидесятых — восьмидесятых годов в книге далеко не всегда правильно истолкованы. На ее страницах они выглядят как самопроизвольные изменения идеи, зависящие от субъективной воли мыслителей, от их теоретических способностей и — меньше всего — от объективных условий их деятельности.

В действительности, несмотря на определенные утраты в развитии русского утопического социализма в семидесятые — восьмидесятые годы (утверждение субъективной социологии, временное господство анархизма), общий теоретический уровень движения этого периода не был так безнадежно

низок, как это представлено в книге, к тому же без всякого объяснения. Не казалось он таким и великим современникам русских социалистов-утопистов. В подтверждение того, как высоко ценили Маркс и Энгельс деятелей шестидесятых годов, в книге — очевидно, по недосмотру — приводится отрывок из письма Энгельса, относящийся как раз к идейному развитию революционной России семидесятых — восьмидесятых годов. Из него вдумчивый читатель сможет увидеть, что Маркс и Энгельс отмечали, что в революционном поколении этого периода «была и критическая мысль и самоотверженные искания в области чистой теории, достойные народа, давшего Добролюбова и Чернышевского», то есть все то, в чем отказали ему авторы книги.

В. А. Малинин и М. И. Сидоров утверждают, что народническая утопия о возможности для России миновать капитализм «сводила на нет все усилия народовольцев построить на ее основе революционную практику», сообщала их планам печать схематизма и прожектерства.

Однако это положение опровергается самим материалом книги, который свидетельствует, что именно в этот период русло революционного движения в России расширилось как никогда ранее. Трудно предположить, что в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов революционная борьба могла достигнуть такого высокого уровня под знаменем теории насквозь отсталой, не отвечающей потребностям своего времени.

Думается, что авторы таким пониманием намного «сократили» и обеднили действительный процесс развития социалистических идей в России. Процесс этот продолжал и в семидесятых годах идти полным ходом, обнаруживая сильные и слабые стороны крестьянской идеологии, но не теряя своего прогрессивного характера вплоть до появления в России социализма научного — идеологии пролетариата.

В книге В. А. Малинина и М. И. Сидорова много и других спорных, а иногда и просто ошибочных мыслей и фактов.

Вызывает возражение характеристика первых рабочих революционеров. У Петра Алексеева — представителя пролетариата семидесятых годов, который еще только вступал в революционное движение и находился под влиянием народнической идеоло-

гии,— авторы увидели «классовое самосознание русского рабочего класса».

Неверно, что в программе «Народной воли» идея захвата власти и декретирования сверху социальных преобразований проявилась впервые в феврале 1882 года. Она выражена значительно раньше (см. газету «Народная воля», № 4, декабрь 1880 года).

«Основным лозунгом» народовольческой «Рабочей газеты» вовсе не было требование запрещения строительства фабрик и заводов, как это утверждается в книге. Подобного лозунга газета, призывавшая к революции против существующего строя, никогда не выдвигала.

Неправильно изложена история взаимоотношений заключенного в Петропавловскую крепость С. Г. Нечаева с «Народной волей», якобы не пожелавшей вступить с ним в переговоры. Такие переговоры велись, но были прерваны из-за предательства одного из заключенных.

Среди выдающихся народовольцев названо имя И. Н. Мышкина. В действительности же задолго до образования «Народной во-

ли» он был арестован и таким образом вырван из революционного движения.

А. Ф. Михайлову приписана роль организатора и идеолога второй «Земли и воли», в то время как его значение в ней было более скромным.

Если верить авторам, то выходит, что убийство С. М. Кравчинским шефа жандармов Мезенцева произошло до покушения В. Засулич на Трепова. В действительности же было наоборот. Выстрел Веры Засулич в январе 1878 года открыл целую серию актов политического террора.

И уж совсем не понятно, как могли авторы приписать Г. Успенскому классический щедринский образ кулака Колупаева.

Этот перечень «огрехов» можно продолжить...

Назрела настоятельная необходимость создать серьезную научную и возможно более полную историю социалистических идей в России. В этом еще раз убеждаешься, закрывая книгу В. А. Малинина и М. И. Сидорова.

В. ТВАРДОВСКАЯ.



СНОВА О КНИГЕ А. АРНОЛЬДОВА

Уважаемая редакция!

В номере 7-м Вашего журнала за 1963 год была опубликована рецензия И. Миндлина «Вместо науки» на книгу А. И. Арнольдова «Социализм и культура». Я проштудировал книгу и нахожу, что И. Миндлин дал ей верную оценку. Известно мне и выступление защитников этой книги. Согласиться с ними невозможно. Произведение А. И. Арнольдова действительно не имеет ничего общего с наукой. Я бы сказал об этом еще решительнее, чем И. Миндлин.

Не так давно мне попала на глаза хорошо оформленная книжка М. Е. Капрановой «Организация и работа кустового хозяйственного машинносчетного бюро» объемом в 84 страницы, выпущенная Госстатиздатом в количестве 5400 экземпляров. Книжка издана с целью распространения передового опыта механизации учета и вычислительных работ.

Живописуя процесс становления и развития своего учреждения, М. Е. Капранова сообщает... Впрочем, предоставим слово автору.

«За счет количественного и качественного роста машин расширяются действующие машинносчетные установки и организуются новые» (стр. 3). Далее сообщается уже такой ценный опыт, что, если бы книжка не увидела света, в счетном деле прекратился бы всякий прогресс. «Штат управленческих работников был... подобран из любящих свое дело работников». «Начальник... руководит всей работой». «Заместитель начальника... подчиняется непосредственно начальнику бюро, а в отсутствие последнего выполняет его обязанности» (стр. 8—9). «Старший бухгалтер осуществляет финансовый контроль...» «Механик в основном обслуживает бухгалтерские машины» (стр. 10). «Уборка помещения производится уборщицей... Наружная охрана помещения осуществляется соответствующей

организацией...» «Полы деревянные, крашенные. На окнах белые занавески». «Установлен телефонный аппарат в комнате начальника...» (стр. 11). Согласно приложенному плану в учреждении имеется один туалет; а на плане даже указано, в какую сторону в нем открывается дверь. Примерно такими же «свежими» и «полезными» сведениями заполнены и остальные семьдесят страниц.

По совести говоря, брошюра М. Е. Капрановой сравнительно безобидна. Ведь израсходована всего-навсего одна гонна бумаги. Она не претендует на научность, не может существенно повлиять на культуру того дела, которому она посвящена. И разговор-то о ней я завел потому, что она наиболее рельефно выражает особенности того канцелярско-бюрократического стиля, которым серьезно пишут о банальных, общих, само собою разумеющихся вещах.

Допустим, встретилось в толстой книге, претендующей на научность, следующее рассуждение: «Социалистическая культурная революция есть часть социалистической революции, органически связанная с ней. Она осуществляется сразу же после политического переворота и является неотъемлемой составной частью коренного преобразования общественной жизни на началах социализма. Социалистическая культурная революция есть процесс становления новой, подлинно народной культуры, составляющей одну из сторон коммунизма. Культурные преобразования в социалистическом обществе глубоко радикальны по своему значению и содержанию, носят не «узко просветительский, а революционный характер». Пусть скажет беспристрастный читатель, сообщено ли ему здесь что-либо такое, чего он раньше не знал, понравился ли ему стиль изложения и возникло ли у него желание прочитать книгу, из которой взято это высказывание?

Конечно, книга А. И. Арнольдова «Социа-

лизм и культура», из которой извлечено это рассуждение, значительно отличается от брошюры М. Е. Капановой. Брошюра содержит в себе попытку понять, что такое передовой опыт, на примере одного лишь кустового машиносчетного бюро. Труд же А. И. Арнольдова претендует на охват изменений, происходящих в культурной жизни многих, если не всех, стран мировой социалистической системы. В брошюре всего 84 страницы, а в книге их 400. В брошюре нет цитат и ссылок на авторитеты, но зато приводится свыше сорока образцов различных ведомостей, в книге же содержится 543 цитаты и ссылки на 531 авторитет, начиная с Платона и Эсхила и кончая М. Мерло-Понти и Т. Мотылевой. В брошюре нет резюме на английском языке, а в книге оно есть. Но, к сожалению, есть между ними и нечто сходное.

Хотя книга А. И. Арнольдова по внешнему оформлению и претендует на монографичность, а в некоторых отзывах она и называется монографией, однако при первом же знакомстве с нею обнаруживаешь, что это не что иное, как переработанное собрание сочинений, изданных автором ранее¹. Об этом говорит и структура книги, и само ее содержание. Дело в том, что в ней чисто внешним образом соединены материалы, характеризующие состояние таких разных областей духовной жизни общества, как народное образование, включая среднее и высшее, наука, литература, кино, музыкальное искусство, театр. Здесь же трактуется проблема интеллигенции, вопрос о роли социалистической культуры в борьбе за мир. Причем это даже не та внешняя связь, о которой говорил в свое время Гегель, упрекая Канта за то, что у него разбираемые проблемы связаны так, как обрубок ноги калеки соединен с деревяшкой, при помощи которой он ходит.

¹ См. А. И. Арнольдов. Культурная революция в европейских странах народной демократии. Издательство «Знание». 1956. 47 стр.

А. И. Арнольдов. Развитие науки в странах народной демократии. Издательство «Знание». 1957. 47 стр.

А. И. Арнольдов. Культура нового мира. Издательство «Советская Россия». 1957. 67 стр.

А. И. Арнольдов и Г. М. Новак. Культура народного Китая. Издательство Академии наук СССР 1959. 150 стр.

А. И. Арнольдов. Коммунизм и культура. Издательство «Знание». 1960. 48 стр.

Для монографии же отличительным признаком является глубокое, всестороннее исследование и изложение проблемы, ее стройное, логическое развертывание, разработка целостной научной концепции развития изучаемого объекта. Конечно, вряд ли можно осуждать книгу только за то, что она представляет собой сборник ранее изданных работ. Если бы труд А. И. Арнольдова соединял в себе содержательные и богатые мыслями статьи, то следовало бы только выразить радость по поводу появления очередной умной книги. Беда заключается как раз в том, что статьи, втиснутые в рамки одной книги, по своему содержанию, по методу, посредством которого они написаны, не могут быть признаны за ценное приобретение нашей общественной мысли.

Хотя сейчас модно обильное цитирование, в особенности иностранных источников, вряд ли можно согласиться, что оно есть первый признак научности. В противном случае переводчиков следовало бы считать самыми учеными людьми. Книга же А. И. Арнольдова буквально пересыпана цитатами, ссылками, сносками, пересказом газетных и журнальных статей, переведенных с языков стран народной демократии, выдержками, таблицами, цифрами из статистических сборников. Причем все это дается без анализа, без обобщения, без связи, без развития мысли. Автор словно бы вознамерился удивить читателя: смотри, какой я эрудит! Откройте страницу 169. В ней из 42 строк 22 занимает прямое цитирование, 3 — пересказ своими словами чужой мысли и 13 строк представляют собой словесные мостики между цитатами. На 93-й странице 26 строк занято цитатами, а 14 — словесный клей. На 186-й странице 24 строки заняты цитатами. Эти страницы не исключение. Автор столь самозабвенно увлекается выписками из чужих трудов, столь густо их располагает, что многие страницы кажутся вырванными из неизвестной книги «В мире мудрых мыслей». Скажем, на страницах 175—179 мимоходом ставится вопрос о положении интеллигенции в буржуазном обществе. Вместо объективного анализа этого вопроса здесь дается перечень мнений различных авторов. Среди них мы найдем: П. Лафарга, М. Р. Коэна, Л. Гурко, Д. Стейнбека, героиню романа М. Уилсона «Жизнь во мгле» Сабину, безымянного корреспондента газеты «Уй Будапешт», Т. Савина, К. Маркса, Ф. Энгельса, С. Чэйза, Ж. Коньо, безымянного героя из

романа М. Уилсона «Брат мой, враг мой», Д. Олдриджа, У. Чинери, Питирима Сорокина, М. Шумана, Т. Гриффита, Г. Йорка, Р. Арона, Чейсинса. Причем цитата из Питирима Сорокина явно не туда попала. Ведь автор хотел получить сведения о положении интеллигенции, а П. Сорокин говорит о моральном разложении буржуазии. «Нас совершенно захлестнул,— свидетельствует П. Сорокин,— прилив сексуальности, которая наполняет все области нашей культуры, нашей социальной жизни. Распутники назначаются на посты послов, становятся часто мэрами наших городов, видными деятелями или руководителями политических партий» (стр. 178). Конечно, заманчиво было втиснуть в книгу столь яркое высказывание, но автор явно вынул не ту карточку. Именно только на основании многочисленных чужих мнений делается фундаментальный вывод: «Таково положение интеллигенции в современных странах капитала» (стр. 178).

В другом месте (стр. 218—220), пытаясь охарактеризовать преимущества советской науки, автор опять ухитряется на трех страничках уместить мнения полутора десятка ученых и писателей. Трудно также сказать, почему приведенные мнения расположены именно в такой последовательности, а не в иной. Читателя буквально сбивает с толку отсутствие логики. Все время с тревогой думаешь: а что же ожидает тебя в следующем абзаце? Читаете вы, к примеру, раздел «Литература больших социальных проблем». После простого перечисления тем, которым посвящались произведения литераторов, автор вдруг, без всякого обоснования переходит внутри названного раздела к характеристике книгоиздательского дела в странах социализма (стр. 295). Невольно ловишь себя на мысли: а не попали ли сюда страницы из другой книги?

Возникает также вопрос: можно ли рассматривать высказывания литературных героев как источник для серьезных научных выводов? Очень прискорбно встретить в научной книге непонимание того различия, которое существует между действительностью и ее художественным воплощением в образе.

Как уже говорилось, собственные суждения автора книги «Социализм и культура», как правило, не идут дальше само собою разумеющихся истин. Разве не банальность тысячелетней давности утверждение, пре-

подносимое читателю в форме только что сделанного открытия, что человек является «самым разумным и совершенным существом на планете» (стр. 124)? Или вот возьмите пример смелости и новизны мысли: «Можно смело утверждать,— пишет А. И. Арнольд,— что в современных условиях народы социалистических стран, впервые за всю свою историю, глубоко почувствовали и осознали свои колоссальные духовные возможности» (стр. 343).

Многочисленные общие места, позаимствованные из элементарных учебников, призваны придать книге видимость научности. Хотя и здесь можно встретить утверждения, ошибочность которых обнаружит даже школьник. Например, на странице 78 автор пишет: «Социализм как новая общественно-экономическая формация...». Обратившись к тем же популярным учебникам, А. И. Арнольд легко мог бы установить, что социализм не является «новой общественно-экономической формацией». Социализм рассматривается марксизмом в качестве первой, начальной, подготовительной фазы развития коммунистической общественно-экономической формации.

Там же, где автор отваживается на самостоятельные суждения по важному теоретическому вопросу, он то и дело попадает впросак. При коммунизме, сообщает нам автор, «наука из решающего фактора развития производительных сил советского общества сама превратится в производительную силу» (стр. 226).

Это может быть понято так, что не труд рабочих и колхозников, не творческие усилия всего советского народа являются решающим фактором создания материально-технической базы коммунизма, развития производительных сил общества, а лишь наука. Если все это автор утверждает всерьез, то он разделяет одну из иллюзий некоторой части ученых, склонных к преувеличению своей роли в истории. В действительности только применение достижений науки в производственной деятельности миллионов советских людей и является определяющим в развитии производительных сил нашего общества. Именно в этом смысле и надо понимать Программу КПСС, в которой записано, что «применение науки (а не наука сама по себе — А. П.) становится решающим фактором могучего роста производительных сил общества».

Точка зрения, согласно которой наука

является первопричиной развития техники, была подвергнута справедливой критике в докладе академика Л. Ф. Ильичева на расширенном заседании Президиума Академии наук СССР. «Среди части части наших ученых существует точка зрения, — говорил Л. Ф. Ильичев, — согласно которой техника представляет собой не более чем прикладное естествознание, и даже только прикладную физику.

Едва ли можно согласиться с такой односторонней точкой зрения.

Утверждать, что техника — прикладное естествознание, значит исходить из предположения, что в исторической цепи причин и следствий естествознание всегда предшествует технике. Но кто так рассуждает, тот убивает живой процесс развития, подходит к анализу явлений не диалектически, а метафизически. Причинная связь есть, так сказать, середина цепи, оба конца которой уходят в необъятные дали. Один из основных принципов марксистской науки заключается в признании примата практики, которая является и исходным пунктом и заключительным этапом любой теории» («Вестник Академии наук СССР», № 11, 1963, стр. 12).

Впрочем, суждения А. Арнольдова о роли науки и ученых в жизни общества весьма и весьма противоречивы. То он утверждает, что «интеллигенция в целом (стало быть, и ученые. — А. П.) не производит материальных ценностей» (стр. 173), то пишет, что ученые «создают большие материальные и духовные ценности» (стр. 256).

Чтобы расстаться с воззрениями автора на науку, посмотрим еще, как он понимает роль биологической науки, какими сведениями он располагает из этой области познания. «Сотрудники польского Государственного научного института сельского хозяйства, используя мичуринские методы, вывели новые, выносливые сорта фруктов, приносящие богатый урожай» (стр. 359). А. И. Арнольдов, очевидно, и не подозревает, что «выносливость фруктов» и «выносливость фруктовых деревьев» — совершенно разные вещи. «Выносливые сорта фруктов» — это яблоки, груши, не боящиеся долгого хранения, перевозок и прочих внешних воздействий. Устойчивые сорта фруктовых деревьев — это растения, не боящиеся засухи, морозов и болезней. И еще приносят богатый урожай обычно не фрукты, какими бы выносливыми они ни были, а только фруктовые деревья.

Но речь идет вовсе не об отдельных, частных недостатках и ошибках книги А. Арнольдова, а о ее научной несостоятельности, сказывающейся в любом ее разделе, в каждой главе. Большое место, например, занимает в книге разговор об искусстве. Однако напрасно было бы искать в ней не только изложения, но даже и понимания марксистской концепции развития искусства. Автор даже не ставит вопроса о существовании такой концепции. Правда, есть ссылка на работы К. Маркса. «Некоторым видам искусства, — пишет А. И. Арнольдов, — например поэзии, как отмечал в свое время К. Маркс, капитализм, родившийся в крови и грязи первичного накопления, с самого момента своего рождения особенно враждебен».

Далее указывается, что будто бы это Маркс говорит в «Теориях прибавочной стоимости» (часть 1, стр. 261), и утверждается, что враждебность капитализма искусству вызвана самой сущностью холодных денежных отношений, царствующих в капиталистическом обществе. На самом же деле приведенные высказывания А. И. Арнольдова представляют собой образец литературной небрежности и элементарной путаницы. На странице 261 «Теорий прибавочной стоимости» Маркс ничего не говорит ни о «первичном накоплении» (сам термин этот без нужды изобретен А. И. Арнольдовым), ни о «крови и грязи». К. Маркс констатирует здесь лишь тот факт, что «капиталистическое производство враждебно известным отраслям духовного производства, например, искусству и поэзии». Объяснение этого факта Маркс дает в другой работе, в книге «К критике политической экономии». Здесь он формулирует основные положения своей концепции развития культуры вообще и искусства, блестяще применяя к анализу этой сложной области общественной жизни свой диалектико-материалистический метод. Но и в этой работе у Маркса нет ни единого слова о фатальном влиянии «холодных денежных отношений». Маркс говорит здесь не о поэзии вообще, а лишь об эпической поэзии. Развивая мысль, что такие формы искусства, как эпос в его классической форме, возможны только на сравнительно низкой ступени художественного развития и не могут существовать, как только началось художественное производство как таковое. Маркс спрашивает: «Разве тот взгляд на природу

и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого [искусства], возможен при наличии сельфакторов, железных дорог, локомотивов и электрического телеграфа?» «С другой стороны, возможен ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? Или вообще «Иллада» чаряду с печатным станком и типографской машиной? И разве не исчезают неизбежно сказания, песни и музыки, а тем самым и необходимые предпосылки эпической поэзии, с появлением печатного станка?» Маркс видит в прогрессе общественных производительных сил глубочайшую причину этих изменений в сфере искусства. «Всякая мифология (имеется в виду мифологический характер эпической поэзии и вообще древнегреческого искусства.— А. П.) преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, с действительным господством над этими силами природы» (К. Маркс. К критике политической экономии. 1952, стр. 224—225). Сам Маркс подчеркивал в этой работе сложность разбираемой проблемы, указывая на целый ряд противоречий, которые приходится здесь разрешать.

Нельзя обойти вниманием и также рассуждение автора: «...При коммунизме,— сообщает А. И. Арнольдov,— исчезает личная материальная заинтересованность в результатах труда, а это освобождает армию деятелей культуры от случайных элементов, подвизающихся в той или иной области культуры из корыстных целей, меркантильных и карьеристских соображений. В этих условиях становится невозможным появление низкопробных произведений искусства, всякого рода халтуры, лженаучных трудов и т. п., становится невозможным и формализм, и бездушие в культурно-массовой и воспитательной работе...» (стр. 340). Но в этой реминисценции содержится по крайней мере две смысловых ошибки.

Во-первых, при коммунизме исчезнет не личная материальная заинтересованность в результатах труда, а сегодняшняя форма этой заинтересованности. При коммунизме, конечно, не будет ведомостей на заработную плату и кассиров, которые ее выдают. Но нелепо думать, что для личности будет совершенно безразлично, создает ли ее труд ценности, необходимые ему самому и обществу в целом. Возникнет иная форма лич-

ной материальной заинтересованности в результатах труда.

Во-вторых, А. И. Арнольдov допускает ошибку, когда утверждает, что именно личная материальная заинтересованность в результатах труда является причиной появления карьеристов, халтурщиков, лжеученых и т. п. Арнольдov, очевидно, отождествил личную материальную заинтересованность в результатах труда с таким пережитком прошлого, как корыстолюбие, погоня за длинным рублем. Вот этот порок действительно является причиной карьеризма, халтуры и написания лженаучных трудов.

Думается, что приведено достаточно аргументов для того, чтобы сделать строгий вывод о том, что книга А. И. Арнольдова находится за пределами науки.

Сделать такой вывод нас вынуждает злоупотребление автора книги методом ножиц, канцелярско-бюрократический стиль изложения, обилие общих мест и огмеченные выше теоретические ошибки и прегрешения против элементарных истин.

А. Потемкин,
кандидат философских наук,
доцент Ростовского университета.

—

Дорогая редакция!

В рецензии И. Миндлина «Вместо науки», на мой взгляд, давалась справедливая и убедительная характеристика книги А. И. Арнольдова «Социализм и культура», которую выпустил в свет под своим грифом Институт философии Академии наук СССР. К сожалению, книга А. И. Арнольдова не получила почему-то какой-либо оценки на страницах наших центральных научных журналов, хотя обычно и менее объемистые работы, как правило, не остаются незамеченными, а тема книги могла бы заинтересовать и философов, и историков, и литературоведов. Потому-то мне кажется, что о книге А. И. Арнольдова сказано еще далеко не все, что следовало бы сказать.

Направляю вам некоторые свои заметки об этой книге, которые, может быть, окажутся вам полезными, если ваш журнал будет возвращаться к ней.

Центральная глава книги — «Культурная революция — закономерность развития стран социализма». Она невелика, но сколько здесь путаницы! На странице 42 А. И. Арнольдov выдвигает тезис, что культурная

революция — закономерность новая, особая, специфическая, никаким другим формациям, кроме коммунистической, не присущая. Тезис как будто бы важный. И от убедительности его аргументации зависит ценность исследования. Однако автор и не собирается его аргументировать — восемью страницами спустя он уже и не помнит о нем, выдвигая взамен следующий тезис: культурная революция осуществляется всюду, где народы сбросили оковы колониализма и добились национальной независимости. Социалистическая культурная революция, утверждает он здесь, является просто высшим типом культурной революции. Как же понять автора?

Такой же «четкий» характер носит авторская позиция и по следующему вопросу затронутой темы. Следует ли датировать начало культурной революции в европейских странах народной демократии моментом освобождения этих стран от ига фашизма или же несколькими годами позже — моментом перехода всей политической власти в этих странах в руки пролетариата? На странице 43 автор невнятно дает понять, что культурная революция в европейских странах социализма шла уже с момента их освобождения от фашизма. Однако уже через шестнадцать страниц сам же эту точку зрения безапелляционно отвергает.

Автор пытается выделить «основные черты» культурной революции. Таких черт, обязательных для всех стран, он находит восемь. Наиболее интересна из них, на наш взгляд, седьмая (согласно авторской нумерации). Смысл ее состоит в том, что культурная революция — общая закономерность социалистической революции — закономерна для всех стран. Вы понимаете, читатель? «Основная черта» закономерности состоит в том, что она закономерна. Что это — непонятное недоверие к здравому смыслу простых русских слов?

Содержание культурной революции автор сводит к решению семи основных задач (почему не шести или восьми?). При знакомстве с ними не может не возникнуть впечатления, что автору и самому еще не вполне ясна их взаимосвязь. Действительно, чем, например, в сущности, отличаются друг от друга «предоставление широким слоям трудящихся доступа к просвещению», «осуществление всеобщего образования» и наконец «развитие... народного просвещения», выделенные автором в три отдельные самостоятельные «основные задачи»?

Список шатких положений или очевидных противоречий, «размещенных» лишь в одной только этой главе, можно было бы без труда еще и еще продолжить.

В книге обращает на себя также внимание некий выборочно-иллюстративный метод аргументации автора. Полагая, по-видимому, что все заранее уже ясно, он не затрудняет себя исчерпывающим фундаментальным доказательством выдвигаемых положений. В подтверждение тех или иных явлений, общих для всех стран социализма, он обычно привлекает материал лишь одной-двух стран, зачастую к тому же не слишком удачно подобранный.

Вот, например, параграф о новой школе в главе «Культурная революция и социалистическая система народного образования». Картина того, какой была старая буржуазная школьная система, автор дает на примере Венгрии, а какой стала школьная система сейчас — на примере Чехословакии. А не следовало ли для большей ясности показать эти изменения на материале одной и той же страны?

Сведения о том, сколько детей находилось вне школы до войны, А. И. Арнольдов приводит лишь по Польше, Болгарии и Румынии; о том, как изменилась в годы народной власти социальная структура учащихся, — лишь по Венгрии; о том, как увеличивается общее число школ, — лишь по Болгарии и Польше и т. п. Из этого бессистемного набора фактов для некоторых стран вообще трудно составить какую-либо цельную и реальную картину.

Следующий параграф — о профтехобразовании. В специальную таблицу сведены общие данные о количестве учащихся профессиональных школ — но лишь по СССР и четырем странам народной демократии. Что же делается в остальных? Затем автор приводит еще несколько цифр, «привязать» которые к таблице или сопоставить с ней совершенно невозможно, ибо по Болгарии это данные о тех, кто учится и кто окончил, а по Румынии — о тех, кто только поступил в профессиональные учебные заведения (не говоря уже о том, что данные эти относятся к разным годам).

Еще один параграф из этой же главы — о ликвидации неграмотности в странах народной демократии. Сначала автор сообщает сведения о числе неграмотных в предвоенный период (только по Румынии и Польше), а затем приводит цифры бюджет-

ных расходов, однако не конкретных расходов на борьбу с неграмотностью, а на все просвещение и культуру в целом в Польше (1950 — 1953, 1958), Болгарии (1944 и 1957) и Чехословакии (1960) (где, кстати говоря, вопроса о неграмотности практически не существовало). Сомневаясь все же, что эти цифры расходов достаточно четко и точно отражают средства, вложенные государством непосредственно в дело борьбы с неграмотностью, А. И. Арнольдov подкрепляет их таблицей... всех социально-культурных бюджетных расходов народно-демократических стран в 1953—1960 годах. А вслед за этим, буквально четырьмя строчками ниже, сообщает, что наибольшего размаха борьба с неграмотностью достигла в 1949 — 1951 годах, то есть в годы, которые ни в самой таблице, ни в данных, помещенных до нее, не отражены. Какова же, спрашивается, тогда цена всей этой внушительной россыпи цифр?

В ряде случаев А. И. Арнольдov при характеристике какого-либо явления вообще предпочитает вместо фактов оперировать одними цитатами. Каскады цитат буквально извергаются из-под его пера. Но об этом уже писал И. Миндлин.

И наконец еще один «метод», широко применяемый А. И. Арнольдovым в его работе. Это пересказ без кавычек различных общих мест, взятых из учебника и зачастую с глав-

ным сюжетом повествования никак не связанных. Уже на первых страницах книги благодарный читатель получает возможность узнать, что «социалистическое общество — это первая в истории человечества формация, которая с самого начала складывается и развивается не стихийно, а на основе сознательной и планомерной деятельности масс, руководствующихся познанными объективными законами развития природы и общества», что «революционные битвы рабов против рабовладельцев, крестьянские войны против крепостников-помещиков, буржуазные революции двигали человеческое общество вперед по пути прогресса, но все они, при всем их прогрессивном значении, не меняли эксплуататорской сущности общественных отношений», что «социалистическая революция решительно и до конца покончила со всеми отношениями эксплуатации, ликвидировала их полностью и окончательно», что «вместо частной собственности она утвердила общественную собственность на орудия и средства производства» и т. д. и т. п.

Прием, что и говорить, нехитрый. И ни цитаты, ни фразы о «глубоко закономерном», «исторически неизбежном», «объективно необходимом» и наконец «принципиально-качественном» не спасают положения.

М. Кузьмин,
*научный сотрудник Института
славяноведения АН СССР.*

ОТ РЕДАКЦИИ

Опубликовав рецензию И. Миндлина «Вместо науки», мы не хотели больше обращаться к книге А. И. Арнольдova «Социализм и культура». Однако нами было получено несколько писем, авторы которых единодушно присоединяются к той оценке книги А. И. Арнольдova, которая была дана И. Миндлиным. Письма доцента Ростовского университета А. В. Потемкина и научного сотрудника Института славяноведения Академии наук СССР М. Н. Кузьмина оказались настолько содержательными и убедительными, что мы сочли необходимым их напечатать.

Как явствует из этих писем, книга А. И. Арнольдova — это не более чем компиляция, основанная на почерпнутых из газетных статей и популярных брошюр сведениях, состоящая по преимуществу из общеизвестных истин, чрезмерного количества цитат и той трескотни, которую так не любил В. И. Ленин. К сожалению работы подобного рода еще выпускают иногда наши научные институты и издательства. Напомним хотя бы о сочинениях В. Разумного, подвергшихся недавно подробному разбору в статье М. Лифшица, напечатанной в нашем журнале.

Защитники книги А. Арнольдova уверяют, что в ней выдвинуты оригинальные теоретические положения и установлены закономерности развития культуры в странах социализма (см. статью «Об одной ненаучной рецензии» в газете «Советская культура» от 5 сентября 1963 года). Да, книга «Социализм и культура» буквально пестрит выражениями вроде: «творческая разработка теории», «теоретическое обобщение», «теоретическое положение», «закономерности развития культуры», «новые закономерности», «объективные закономерности», «общие закономерности» и т. п. Но все это одна сло-

весность и наукообразие. Как правило, под видом теоретических обобщений и новых закономерностей читателю преподносятся самые обыкновенные, общеизвестные истины. Их-то автор книги и вносит как ценный вклад в науку. Излагаются обычно такие «теоретические положения» специальным языком и выделяются курсивом, что, однако, не повышает их ценности.

Всем известно, скажем, что социалистическая культурная революция сначала была осуществлена в Советском Союзе, а затем и другие страны, ставшие на путь социализма, начали проводить культурную революцию. Под пером А. Арнольдова эта мысль выглядит следующим образом:

«В развитии мировой социалистической культурной революции различаются два взаимосвязанных этапа. Первый этап относится к периоду осуществления в Советском Союзе важнейших культурных социалистических преобразований.

Второй этап мировой культурной революции наступил с возникновением мировой системы социализма. Он связан с возникновением новой культуры в странах, вступивших на социалистический путь».

Набрано почти все это курсивом. Вот уже и можно считать, что одна из важнейших закономерностей открыта: установлены этапы культурной революции. Хотя по сути дела ничего не произошло, кроме изложения общеизвестной мысли специфическим «штилем».

Также «исследуются» в книге «Социализм и культура» и другие проблемы социалистической культурной революции. Естественно, что теоретические обобщения и положения, полученные в результате подобного «анализа», при всей их претенциозности, не имеют никакого научного значения.

Да и можно ли обращаться к изучению процесса развития социалистической культуры без глубокого и всестороннего анализа наследия В. И. Ленина? Между тем в книге «Социализм и культура» обойдены молчанием важнейшие выступления Ленина по вопросам социалистической культуры и культурной революции. Мы имеем в виду выступления Ленина против богдановской ревизии и вульгаризации марксизма и против пролеткультовского сектанства, в которых с наибольшей полнотой отразились его взгляды на проблемы социалистической культуры. Эти взгляды имеют самое актуальное значение и в наши дни для борьбы партии против догматизма и ревизионизма.

Защитники книги А. И. Арнольдова утверждают, что ее автор активно выступает против буржуазных социологов. Что «активно выступает» — это верно. Но как? Успешно ли, убедительно ли? А может быть, его выступления только компрометируют нашу борьбу с буржуазной идеологией?

Вот на страницах 65—69 А. Арнольдov выступает против философов и социологов идеалистов. На пяти страничках он упоминает или цитирует Платона, Ницше, Шпенглера, А. Тойнби, Х. Ортега-и-Гассету, Фому Аквината, Жака Боссюэ, Джорджа Беркли, Жозефа де Местра, «воинствующую армию богословов, неогегельянцев, неокантианцев и прагматистов», гегельянцев типа Бруно Бауэра, американского социолога Стернэ, английского биолога С. Дарлингтона, некоего Сис.ея Хадлесбона — автора статьи «Дух толпы» в журнале «Синтез», американского социолога Страус-Хюпе и его книгу «Зона безразличия», американского философа Джорджа Сантаяну, английского писателя Т. Элиота, американца К. Манхейма, Ясперса, Эрнеста Кассирера. И все это не задерживаясь ни на минуту, не обременяя читателя ни мыслями, ни сведениями, ни аргументами, а только ошеломляя его непрерывным потоком имен. Но будет ли удовлетворен читатель активным выступлением подобного рода, вооружит ли оно его в идейном отношении и поверит ли он в эрудицию автора книги?

Думаем, что нет.

И в других случаях А. Арнольдov вступает в бой против буржуазной идеологии, избирая тот же метод борьбы. Он бессилен предложить читателю что-либо, кроме набора имен и цитат.

Таким образом, редакция журнала «Новый мир» по-прежнему разделяет то отрицательное отношение к книге А. И. Арнольдова «Социализм и культура», которое нашло выражение в рецензии И. Миндлина и подтверждено ныне письмами А. Потемкина и М. Кузьмина.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Казаки. Кавказская повесть. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 416 стр. Цена 1 р. 92 к.

В прошлом году исполнилось сто лет со дня выхода в свет одного из самых прославленных произведений Л. Н. Толстого — повести «Казаки».

Новое издание «Казаков», подготовленное Л. Д. Опульской, выпущено к столетию со дня выхода повести. Оно содержит основной текст произведения, выдержки из черновых редакций, солидный комментарий, а также библиографию переводов повести на иностранные языки, составленную Б. Л. Канделем.

Основной текст повести впервые в настоящем издании дается с устранением тех ошибок и искажений, которые внесены были в свое время переписчиками и наборщиками и во многих случаях, не замеченных автором, переходили из рукописи в рукопись. Вслед за текстом повести помещены наиболее отличающиеся от основного текста выдержки из черновых рукописей Л. Н. Толстого, а также планы и конспекты.

Содержательно, живо и фактически точно написан очерк Л. Д. Опульской «Повесть Л. Н. Толстого «Казаки». Подробное изучение писем, дневников и произведений Толстого, относящихся ко времени его работы над «Казаками», позволило автору статьи прийти к некоторым новым выводам относительно композиции повести.

Л. Д. Опульская справедливо критикует некоторые ошибочные суждения современных литературоведов, относящиеся к творческому методу Толстого при создании «Казаков». Но напрасно она в статье о творческой истории повести солидаризируется с мнением Б. С. Виноградова, будто бы на работу Толстого над «Казаками» в 1857 году «оказали воздействие В. П. Боткин и А. В. Дружинин» и будто бы эти «либералы» старались поддержать и углубить религиозно-этические взгляды Толстого на искусство. Ведь в то время у Толстого религиозных взглядов на искусство не было, а непосредственную чистоту нравственного чувства в его творчестве приветствовали не либералы, а Чернышевский.

Трудно согласиться с Л. Д. Опульской и в том, будто бы в «Казаках» «развенчивается» руссоистский идеал. Оленин и в самом деле убеждается в том, что идеал

этот неосуществим для него, но в сознании его идеал этот не только не развенчивается, а остается ничем не омраченным. Уезжая из станицы, он еще более, чем прежде, уверен в справедливости мнения Ерощки, что все «фальшь в том мире, в котором он жил и в который возвращался».

Следуя в основном распределению рукописного материала «Казаков», которое дано в недавно появившемся «Описании рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого», Л. Д. Опульская на основе изучения текстов повести написала обстоятельную «Творческую историю «Казаков». Этим ликвидирован существенный и очень досадный пробел в научном толстоведении.

Серия прекрасных рисунков к «Казакам» художника Е. Е. Лансере увеличивает достоинства этого нужного и полезного издания.

Профессор Н. Н. Гусев.

★

АЛЕКСАНДР ПОМОРСКИЙ. Стихотворения (1908—1963). Гослитиздат. М. 1963. 214 стр. Цена 47 к.

В сборник стихотворений старейшего советского поэта-правдиста Александра Поморского включены лучшие его произведения, созданные за пятьдесят пять лет. Первые стихотворения «Рабочий дворец» и «Кроты» помечены 1908—1909 годами, а завершают книгу стихи 1963 года о Демьяне Бедном, с которым на страницах «Правды» Поморский начинал свою литературную деятельность. Многие из стихов сборника воспринимаются как живая иллюстрация к истории революционной борьбы, к истории ленинской партии.

В дореволюционных стихах поэт писал о «звоне заржавленных оков», о «жестокости жандармского свинца», о стальных переплетах пересыльных тюрем. Но поэт верил, что «погибнет строй часилья ненавистный — моя весна придет!» Ему выпало счастье увидеть свою страну свободной и победившей, он услышал «шум индустриальных и стальных работ», «видел новое «цветение жизни» и простого советского человека, покоряющего природу в «наш гордый, невиданный век».

Поморский создал немало стихотворений о братских союзных республиках («Грузия,

«На берегу Зангу», «Лок-Батан», «Армянская песня», «В Сванских горах», «Тау-сагыз» и другие). Эти стихи дышат глубокой любовью к народам Советской страны.

Большим достоинством поэтического дарования Поморского является песенная выразительность стиха, его напевность. На некоторые его стихи написана музыка. Долгие годы живет песня «Дальневосточная», но очень немногие знают, что слова этой песни соданы Александром Поморским.

В одном из стихотворений А. Поморского есть такие слова:

Петь об отечестве счастливым —
Нет выше чести для певца.

Россия, советские люди, их труд, борьба — вот темы, вдохновляющие поэта-коммуниста.

И. Трофимов.

★

АЛЕКСАНДР МАРКУШ. Мараморошские рассказы. Авторизованный перевод с украинского. «Советский писатель». М. 1963. 352 стр. Цена 45 к.

В закавказском городке Хусте живет человек, который давно уже стал живой историей района, летописцем многих событий, связанных с этими местами. Это писатель Александр Иванович Маркуш.

Почти сорок лет назад тогда еще молодой учитель выпустил в Ужгороде свою первую книгу рассказов — «Вымеряли землю». Много учебников для народных школ, много сборников рассказов вышло с тех пор из-под пера учителя Маркуша. «Мараморошские рассказы», изданные недавно в Москве, подводят своеобразный итог почти сорокалетнего творческого пути литератора. Книга вобрала в себя, пожалуй, самые интересные и самобытные произведения Маркуша. Почти каждый рассказ (например, «Лесорубы», «Федорова служба», «Плот разбился») — это жанровая картинка, порой, казалось бы, и не претендующая на сколько-нибудь серьезные обобщения. Но вчитайтесь внимательно — и через образы, созданные писателем, вы войдете в круг острых социальных проблем, волновавших душу человека. Даже шуточный, казался бы, анекдотический по сюжету рассказ «Неразбериха с зайцами» вдруг поворачивается совсем иной, почти трагической стороной, притворяющейся те противоречия, которые извечно существуют между угнетателем и его жертвой.

Маркуш — мастер короткой, отточенной новеллы. Таким он остается даже тогда, когда обращается к более емкому жанру — повести. Подтверждение тому «Юлина» — пожалуй, наибольшая удача сборника. Того, кто не знает Закавказья, повесть познакомит с этим удивительно своеобразным краем. Тому, кому места эти знакомы или близки с детства, она поможет еще лучше узнать и понять тех людей, с которыми когда-то он здесь встречался.

Менее интересна повесть «Мечтатели». Несмотря на отдельные удачные сцены, в це-

лом повесть растянута, в описании чувств героев автор порой сбивается на сентиментальность. Здесь потеряно то драгоценное, за что уже успели полюбить рассказы и «Юлина» — острота и точность писательского взгляда на мир. Может быть, и не стоило бы включать ее в сборник, который и без этой повести достаточно полно представляет русскому читателю творчество Александра Маркуша.

Б. Яранцев.

★

ВИКТОР ГОЛЯВКИН. Мой добрый папа. Повесть. «Детская литература». Л. 1964. 96 стр. Цена 23 к.

Я начну с рисунков к этой книге, потому что они прежде всего бросаются в глаза. Когда закрываешь последнюю страницу, люди, узнавшие и полюбившиеся нам, события, свидетелями которых мы стали, вспоминаются и по иллюстрациям. Книга написана от имени девятилетнего Пети, рисунки сделаны как будто им же — угловато, весело, без четкой границы между реальным и воображаемым. Можно было бы говорить о подлинном понимании художником автора повести, если бы художник и писатель не были одним лицом — молодым ленинградским прозаиком и графиком Виктором Голявкиным.

«Папа мой — музыкант. Он даже сам сочиняет музыку», — рассказывает Петя. И дальше словно оправдывается: «Зато раньше он был военный». Музыка — давняя мечта папы. Но помешала гражданская война.

«Эх, был бы папа военный!» — мечтает Петя. Но папа любит музыку. Он любит сопрану Клементи. А Петя музыку не любит — разве что песни, которые поют солдаты, и марши, что гремят на парадах. И тогда он просит сочинить «самый военный» марш.

Так рассказывает Голявкин о мирной жизни одной семьи. И когда настоящая война входит в эту жизнь, это так неожиданно, что сначала в нее и не верят («...бежит по дороге мальчишка, вокруг пыль столбом и жара такая, а он орет: «Война! Война!» Мама тоже вышла из дому. Слышит это и мне говорит: «Вот негодный мальчишка! Вчера тоже кричал «Пожар! Пожар!» А никакого пожара не было»). Но вот уже отец идет на фронт, а сын пишет ему туда письма.

Я не буду пересказывать эпизоды из этой книги — лучше, если вы прочтете ее сами. Книга эта имеет точный адрес: она написана для детей. Но как всякая хорошая детская книга, она будет читаться и взрослыми, и вместе с детьми взрослые будут радоваться и огорчаться.

«Мне казалось, — говорит Петя, — война — это что-то такое, где палят пушки и мчатся танки, и падают бомбы, и ничего не случается. Просто пушки палят, ганки мчатся, бомбы падают, и ничего не случается. Кричат «ура» и побеждают». «Возвращались домой солдаты. Но мой папа, мой добрый папа, он никогда не вернется...»

Вместе с маленьким героем мы открываем мир, где смешное неожиданно превращается в горькое, где игра в войну вдруг становится настоящей войной и где погибает очень хороший человек — «добрый папа».

В. Соловьев.

Ленинград.

★

Ф. ВИГДОРОВА. Дорогая редакция... Очерки. «Московский рабочий». М. 1963. 136 стр. Цена 16 к.

Талант Ф. Вигдоровой «настроен» на гражданскую тему. И редакции «Известий», «Литературной газеты», «Комсомольской правды» — газет, в которых она постоянно печатается, частенько отвлекают ее от книг и посылают то в ереванскую школу, то в глухую тамбовскую деревушку, то на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Когда же, вернувшись, она садится за статью, вокруг людей и событий, к которым привел ее обратный адрес на письме, начинаются словами: «Дорогая редакция!», возникают другие люди и события, которые всегда полна ее память.

Книга «Дорогая редакция...» состоит из одиннадцати очерков. Начинаются они каждый раз со случая будничного. Работник сельсовета не дал двум больным старикам соломы, чтобы перекрыть крышу... «Ответственный» папа не пожелал зайти в школу, куда его пригласила учительница дочери... Пионеры пришли 9 мая к фронтовику, а читают ему свои поздравления по бумажке...

Ну, что тут в самом деле тревожного — десятилетний мальчик попросил учительницу пересадить его от девочки Вали на другую парту? Мелочь какая-то, детский каприз — над чем здесь мудрить? Но острая мысль, богатство наблюдений, точные авторские симпатии и антипатии — все это помогает извлечь из истории, случившейся в третьем «А», зерно разговора о нравственных принципах, гражданском мужестве, о том, что стоит за словом, сказанным в пользу справедливости.

Там, где близорукий глаз различает лишь частный конфликт, совпадение обстоятельств, там Ф. Вигдорова видит нечто большее — схватку мировоззрений, борьбу «за» и «против» моральных норм нашего времени. Журналистка для нее — не способ набрать «материал» для романа, а метод исследования жизни, энергичного в нее вмешательства. Герои ее статей и корреспонденций становятся частями ее биографии.

Ф. Вигдорова умеет слушать, как люди говорят. Редко встретишь в газетном очерке такую живую речь, такое богатство интонаций. Стоит послушать: «Говорят: колотись, бейся, а все надейся. А на что мне надеяться? Мне только и ходу, что из ворот да в воду... Я с пятого года. Перед самой войной стали мы строить с мужем хату...» Или такое: «Надо мобилизовать, принять меры. А меры не были приняты. Это не секрет. И кое-что правильно в адрес сказали! И надо смотреть правде в глаза. Дан-

ный участок не был обеспечен. Мы примем решение, и обяжем, и взыщем. Не мешайте говорить! Не компрометируйте...» — и вы сразу представляете себе героев, их характеры и взгляды.

Очерки Ф. Вигдоровой написаны горячо, без попыток пригупить острые углы — а их всегда немало в темах, за которые она берется. Вигдорова всегда воинственно пристрастна. Бывало и так: прокурор, встревоженный чересчур, на его взгляд, заинтересованными вопросами, звонит в редакцию: «А кем приходится осужденному Петрову ваш корреспондент Вигдорова?» Так очерк и называется — «Кем вы ему приходитеесь?». Вытащить Виктора Петрова из беды было тогда для Вигдоровой во сто крат важнее, чем написать о нем. Потому этот очерк и не оставляет равнодушным. Как и вся книга.

Э. Максимова.

★

ЛЕВ ЛЮБИМОВ. На чужбине. «Советский писатель». М. 1963. 412 стр. Цена 70 к.

В книге Л. Любимова прослежен долгий и мучительный тридцатилетний путь к родине русского эмигранта, выходца из знатной и богатой дворянской фамилии, питомца Александровского лицея. Но только ли автобиография это?

Л. Любимов, профессиональный литератор, создает в своих мемуарах (в свое время печатавшихся в «Новом мире» и значительно дополненных автором в отдельном издании) яркую панораму общественной и культурной жизни Франции тридцатых и сороковых годов. Корреспондент парижской газеты «Возрождение», он по своему своему положению стал свидетелем множества разновеликих исторических событий. Едва ли не впервые в нашей литературе книга Любимова подробно и основательно рассматривает судьбы русской эмиграции, ее резкое расслоение. В массе своей бесподанные, иностранцы, беззащитные перед чужим законом, русские люди испили на чужбине полную чашу унижений и страданий. Трагическую нелепость жизни рядового эмигранта выразил один из читателей газеты «Возрождение», написав в редакцию: «Вы все толкуете о какой-то исторической миссии эмиграции. А я вот не понимаю, зачем мне надо маяться здесь. Кому это нужно?»

На страницах воспоминаний Л. Любимова рассказано о встречах с выдающимися деятелями русской культуры — Ф. Шалаяпиным, С. Рахманиновым, К. Коровиным, А. Куприным, И. Буниным, А. Алексиним, Н. Рерихом, Анной Павловой. Жаль, конечно, что пронизательные характеристики и меткие зарисовки писателей, музыкантов, артистов, с которыми встречался автор, несколько мозаичны, рассеяны по книге. Но эта мозаичность не умаляет общего впечатления. Любимов передает ту тоску по родине, ту «хроническую» ностальгию,

которая неотступно мучила и Бунина, и Куприна, и Алехина, и Шалапина, и Шмелева.

Решающим рубежом для эмиграции оказалось нападение на Советский Союз гитлеровской Германии. Лаконично и выразительно характеризует Любимов русских легионеров Сопротивления, их борьбу за свободу родины — на чужой земле. Именно Отечественная война вызвала среди эмигрантов взрыв патриотических чувств, побудила вернуться на родину многих эмигрантов, сделала советским гражданином и автора интересной и нужной книги «На чужбине».

Особо хочется отметить ее литературные достоинства. Любимов великолепно владеет пером, пишет языком метким и сочным.

Н. Аладьин.

★

ПОЭТЫ ЮГОСЛАВИИ XIX—XX вв. Переводы с сербохорватского, словенского и македонского. «Художественная литература». М. 1963. 666 стр. Цена 87 к.

Любители поэзии могут быть довольны: только недавно они получили в подарок отличную антологию польской поэзии в двух томах — и вот появилась антология югославской поэзии XIX—XX веков.

За последние годы это второй сборник, знакомящий советского читателя с югославской поэзией (первая книга «Поэты Югославии» была выпущена в 1957 году). Составители и переводчики проделали работу, которая достойна всяческих похвал, но мне хочется вопреки традиции сказать прежде о недостатках и промахах сборника.

В антологии «Поэты Югославии XIX—XX вв.» представлены стихи семидесяти трех авторов. И все же она оказалась далеко не полной. Удивительно, почему оказались обойденными такие известные современные поэты Югославии, как Юрэ Франичевич-Плочар, Марин Франичевич, Слободан Маркович, Бора Павлович. Нет здесь и Миры Алечкович — автора текста «Торжественной песни», ставшей неофициальным гимном Югославии, нет Ивана Лалича, нет известного поэта Боснии и Герцеговины Владимира Черкеза — автора поэмы о Ленине. Стоило бы полнее представить и молодых поэтов, ставших в последнее время популярными.

Совершенно не понятно, почему такой выдающийся поэт, как Велько Петрович, представлен только двумя и далеко не самыми характерными для его творчества стихотворениями. Именно о поэзии Велько Петровича еще в начале нашего века выдающийся югославский критик Йован Скерлич писал, что в ней выражено «новое, сильное, революционное чувство любви к своей родине и народу».

И еще: мне кажется, что не стоит из сборника в сборник переносить одни и те же знакомые по прежним изданиям произ-

ведения (конечно, я не говорю об особо выдающихся), лучше дать любителям поэзии представление о новых, еще неизвестных русскому читателю стихах.

Около сорока переводчиков приняли участие в подготовке текстов этой книги. И надо отдать должное и переводчикам, и редактору переводов Б. Слуцкому — переводы в подавляющем большинстве сделаны со вкусом и мастерством. Взять, к примеру, перевод замечательного стихотворения Д. Максимовича «Кровавая сказка». Если сравнить его с переводом, сделанным для первого сборника «Поэты Югославии» (1957), то легко убедиться, насколько последний перевод сильнее и художественнее, ближе по духу к оригиналу. Можно привести и другие примеры. Но есть, как говорится, и издержки. Так, на мой взгляд, неудачны переводы стихов Тина Уевича. В примечании сказано: «Т. Уевича часто называют чародем языка. Его произведения представляют собой органическое соединение классического и современного стиха». В переводах этого не чувствуется. Стихотворение «Ноктюрн», например, в русском переводе получилось каким-то прилизанным, у поэта оно суровее. Переводчик неоправданно изменил и поэтический размер.

Я обещал, что, нарушив принятую традицию, скажу сначала о недостатках, а значит, в конце должен сказать о достоинствах сборника. Но, во-первых, отмечая недостатки, я говорил и о достоинствах книги, а во-вторых, говоря о достоинствах, мне бы пришлось цитировать множество стихотворений, поэтому лучше посоветовать читателю: откройте сами эту интересную книгу и прочтите ее.

В. Штулиффер.

★

Е. ПОКУСАЕВ. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина. «Художественная литература». М. 1963. 469 стр. Цена 1 р. 22 к.

Заглавие книги не раскрывает ее содержания. Можно подумать, что речь в ней идет о всем творчестве писателя. В действительности это книга о щедринской сатире семидесятих годов. Она примыкает к предыдущему труду автора «Салтыков-Щедрин в шестидесятые годы» и непосредственно продолжает его.

Семидесятые годы XIX века — самое блестящее десятилетие в творческой жизни Щедрина. В этот период завершены гениальная «История одного города» и «Помпадур и помпадурши», написаны «Господа ташкентцы», «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа Молчалины», «Благонмеренные речи», «Господа Головлевы», «Убежище Монрепо», «Круглый год» и начата «Современная идиллия».

Каждому из этих шедевров щедринского пера автор посвящает главу-очерк монографического характера. (Лишь для «Убежища Монрепо» и «Круглого года» почему-

то сделаны досадные исключения: первый цикл рассматривается попутно, в главе о «Благонамеренных речах», о втором же произведении вообще нет речи в книге.)

Книга Е. И. Покусаева написана темпераментно (хотя порою неровно), она воодушевлена любовью к Щедрину и способна заразить этой любовью читателя. Вместе с тем это серьезный научный труд, богатый новыми мыслями и материалами.

В книге широко и свежо использована современная писателю критическая литература о его произведениях. Автор извлек из периодики семидесятих годов множество ранее не привлекавшихся отзывов.

Интересной и принципиально важной особенностью книги является внимание, уделенное в ней изучению щедринской сатиры в сопоставлении ее с другими идеологическими явлениями эпохи, в первую очередь литературными. «История одного города» характеризуется сопоставительно с «Войной и миром», «Бесами» и «Кому на Руси жить хорошо», «Господа Головлевы» разбираются в параллели с «Братьями Карамазовыми» и «Анной Карениной», «Больное место» — со «Смертью Ивана Ильича» и т. д.

Не все параллели одинаково убедительны. Там, где речь идет о борьбе идейных концепций в сопоставляемых произведениях, — там анализ автора почти всюду убеждает. Там же, где автор от сравнения идейных позиций обращается к поискам соответствующего им конкретного материала, до текстовых параллелей включительно, — там он менее доказателен. Иные из сопоставлений этого ряда вызывают прямое возражение. Трудно, например, согласиться с утверждением, что портрет зловещего «нигилиста» Шигалева в «Бесах» написан Достоевским «в той же манере, как и портрет Угрюм-Бурчеева» в «Истории одного города» и что приводимые далее слова из этого произведения об «отсутствии духа исследования» в глуповской жизни являются «прямым полемическим замечанием в адрес толстовской философии истории». Нет также достаточных оснований усматривать в рассказе Щедрина «Больное место» «литературный источник знаменитой повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» (что не колеблет интереса и обоснованности сопоставления этих произведений в широком социально-философском плане).

В целом, примененный Е. И. Покусаевым метод изучения щедринской сатиры во взаимосвязях с другими идеологическими, историко-культурными явлениями эпохи оказался весьма положительным. Он придал исследованию большую емкость и широту кругозора, помог наглядно показать художественные открытия Щедрина и многосторонность связей его творчества с освободительной борьбой эпохи.

С. Макашин.

★

М. ЗЕМСКАЯ. *Время в песках. Очерки. «Советский писатель». М.—Л. 1963. 220 стр. Цена 41 к.*

Отправляясь впервые в археолого-этнографическую экспедицию — ее возглавлял С. П. Толстов, которому принадлежит открытие останков древнего Хорезма, — ленинградский искусствовед Миллица Земская мечтала написать стихи о пустыне. В этой книге очерков есть и стихи, но не о пустыне, а о собственной юности, о ленинградской блокаде, о войне, о той Средней Азии, с которой ленинградцы знакомились в эвакуации, о других страшных раскопках

Разоренных кварталов
В родных городах... —

о которых не забываешь и теперь, в мирной научной экспедиции.

В книге много удачных портретов товарищей по работе: археологов, художников, искусствоведов, рабочих; есть целые поэтические новеллы о драматических людских судьбах. Но самое интересное — повесть о времени, воплощенном в найденных образцах древней материальной культуры, в прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре. «Вчера — на некрополе бронзового века. Сегодня — то есть через тысячелетие — на арханских полях... На холме, в городе, сооруженном еще во времена Кира или Дария (V век до нашей эры)». Машины времени нет в хозяйственных ведомостях экспедиций, и все же... с непривычки укачивает от космических скоростей.

Раскопки в раскаленных песках Средней Азии дали возможность автору книги увлекательно рассказать об искусстве того времени. Среднеазиатское средневековье изгнало из живописи предметность. Художник не бог — и да не смеет он создавать видимость, оболочку живого, не будучи в силах вложить в нее «душу живую!» Смертным грехом почиталось создавать подобие человека. И все же живая душа творчества, изгнанная вместе с портретами, фресками, статуями, рождалась заново в прикладном искусстве: в орнаментах, в мозаичном куполе мавзолея Тюрабек-ханым, в росписях многокрасочной поливной керамики. Вот «смотрини невест» — парад головных уборов. Каждая девушка вышивала свой убор к свадьбе, и в каждом из этих орнаментальных узоров как бы просвечивает индивидуальность человеческих характеров: скромные, смелые, озорные, кокетливые, спокойные.

Автор видит мир глазами художника, способного различить десятки оттенков дневного света. Это умение видеть равно распространяется и на далекое прошлое Средней Азии, и на ее современность, которой посвящена вторая часть книги, может быть менее своеобразная, но тоже по-своему лирически задушевная.

Эта маленькая книжка помогает читателю заглянуть в мир подлинного искусства, сохраняющего свою силу через века, услы-

шать поступь времени, вспомнить о том, что история — не просто летопись человечества, но и его практический опыт.

Г. Цурикова.

Ленинград.

★

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ. Сборник воспоминаний. «Молодая гвардия». М. 1963. 112 стр. Цена 17 к.

В конце 1938 — начале 1939 года злая воля свела в камеры Бутырской тюрьмы совсем еще молодых людей — членов ЦК ВЛКСМ, Московского горкома, журналистов «Комсомольской правды»..

Участники так называемого «косаревского дела» (в числе которых был и автор этих строк) находились в тюрьме в условиях самой изощренной изоляции. На следственных допросах они видели зловещий гриф: «Л. Б.». Это значило, что они арестованы по личному распоряжению Берия.

У Берии и его приспешников были свои особые счета с Косаревым. Верный сын народа, питомец ленинской гвардии, любимец молодежи, Александр Васильевич мужественно выступал против необоснованных репрессий и где мог брал комсомольские кадры под защиту.

Сталин упрекал А. В. Косарева в том, что ЦК комсомола не помогает органам НКВД разоблачать врагов. «Вы не хотите возглавить эту работу», — сказал Сталин Косареву.

Всем нам хотелось скорее узнать о судьбе своих товарищей, своего генсека. И когда развязалось оцепенение первых дней заключения, мы энергично принялись овладевать древним искусством тюремной связи. Пользуясь каждой возможностью, мы лихорадочно посылали в соседние камеры свои позывные и вопрошали: что известно о Саше Косареве? Как он? Долго безмолвствовали бутырские стены. Но однажды тюремный телеграф поспешно застучал, и, притихшие, мы прильнули к стене: «Сашу Косарева не сломали. Несмотря ни на что, Косарев большевик».

И вот вышла книга о делах и жизни — такой короткой и такой большой жизни — Александра Васильевича Косарева. Это сборник воспоминаний его соратников, комсомольских активистов тридцатых годов, рассказывающих о том, как рабочий паренек с московской окраины вырос в талантливого организатора и вожака молодежи, человека высокой культуры, государственного деятеля.

Десять лет — с 1928 до 1938 года — А. В. Косарев был генеральным секретарем ЦК ВЛКСМ. Но еще задолго до того его хорошо знала и полюбила молодежь Москвы, Ленинграда. Во всех великих деяниях той исторической эпохи, в ее летописи мы встречаем след этой яркой жизни. В Москве после Октября создаются первые комсомольские ячейки, и Саша Косарев избирается организатором Союза рабочей молодежи Лефортовского района. Гражданская война. Саша уходит добровольцем на борьбу с Юденичем. «Уходит» — это не совсем точно.

Райком его не отпускает — и он уезжает «зайцем», скрывшись в теплушке. Зарождаются субботники — и Косарев разгружает эшелоны. Страна выпускает первые тракторы — и Косарев на заводском конвейере. Разгорается ленинское социалистическое соревнование — и Александр Васильевич формирует ударные бригады..

Первые экземпляры книги об Александре Васильевиче Косареве вышли как раз в год десь, когда в одной из больших московских аудиторий собрались старые комсомольцы, чтобы отметить шестидесятилетие со дня рождения одного из первых организаторов комсомола. Я видел, с каким волнением читали эту книгу теперь уже далеко не молодые люди. И я знаю, с каким большим интересом читают ее молодые рабочие на Шарикоподшипнике, на Автозаводе..

Эта книга не только дань памяти талантливого, безвременно погибшего комсомольского вожака. Читая ее (как и другие подобные книги), комсомольцы наших дней учатся жить по-ленински, быть мужественными, стойко бороться за дело партии. Для комсомольских активистов такие книги — своего рода учебники ленинского стиля работы.

З. Румер.

★

ДАЛЕКО ОТ ДОМА. Сборник очерков. «Московский рабочий». М. 1963. 271 стр. Цена 33 к.

Без очерка — проблемного, путевого, портретного — трудно представить себе номер газеты или журнала. Этот жанр по природе своей оперативен и злободневен, часто приурочен к дате, еще чаще «привязан» к месту.

К газетному очерку читатель подходит с одной меркой, к журнальному — уже с другой. В книге же и подавно не простишь газетной скороговорки, не сделаешь скидки на «актуальность».

Сборники очерков выходят у нас довольно часто — и в центре и в областях. Но не всегда они пользуются читательским спросом. На это жалуются книгопродавцы. Возникает мысль: может быть, это происходит потому, что составители и редакторы не всегда подходят к таким книгам с позиций строгого ОТК?

Очерки сборника, выпущенного «Московским рабочим», посвящены москвичам, оказавшимся вдали от дома. Среди девяностати авторов — журналисты, молодые и старые. «География» очерков обширна. Арктика и целинный край. Сибирь и Волга. Белоруссия и Казахстан, Урал, Магалан и новый город Солигорск. И зарубежные дальние края: Афганистан, Куба, Экваториальная Африка. И космос.

Вполне закономерно сборник открывает очерк В. Пескова «Стартует «Ястреб» — о Валерии Быковском. На ограниченной площади В. Песков рисует характер героя-космонавта, передает предстартовую обстановку, делает рельефные зарисовки Главного Конструктора и людей, готовящих ракету к

полету. В очерке множество интересных подробностей, и что очень важно, виден сам автор, его размышления и чувства.

Один из лучших, на мой взгляд, очерков сборника посвящен стронгелю мостов Ивану Львовичу Москалеву. Автор — В. Павлов — неравнодушен к своему герою, восхищен его умением и отвагой, пишет о нем не с налету. Еще более важно, что очеркист отлично знает работу, о которой пишет: «Когда-то я был мостовиком и выстроил не один мост. Мне и без рассказов понятно: нет сейчас на стройке дела важнее, чем кессон».

Отлично чувствует своеобразие строгой арктической службы Артем Анфиногенов — «старый полярник». Он скуп, подчас в трех—пяти строчках, лепит портреты молодых полярников, рассказывает про их жтть-быть, и рассказывает с такими подробностями, знать которые дано только бывалому человеку.

Вообще, когда очеркист хорошо знает предмет, когда он полюбил тех, про кого пишет, разобрался в их характерах — тогда очерк интересен. Тогда и жизнь его будет долгой.

Но, к сожалению, далеко не все очерки сборника способны выдержать этот критерий. Отбор, отбор и еще раз отбор — вот что должно быть девизом составителей.

И последнее. Очерк, как известно, жанр оперативный. Но издательство «Московский рабочий» очень уж долго готовило сборник. Много, о чем идет речь в очерках, относится к позапрошлому году — на прилавк книжных магазинов и на библиотечные полки книга попала лишь в нынешнем году. Медленные издательские темпы снизили «коэффициент полезного действия» сборника.

П. Петров.

★

Вл. НИКОЛАЕВ. Атом, люди, льды. «Молодая гвардия». М. 1963. 272 стр. Цена 55 к.

«Путешествия в дальние концы мира имеют вообще привилегию держаться долее других книг. Всякое из них оставляет надолго неизгладимый след или колею, как колесо, пока дорога не проторится до того, что все колеи сольются в один общий широкий путь». Метко сказал это И. А. Гончаров, автор «Фрегата «Паллады».

Что же более всего привлекает нас в книгах о путешествиях? Конечно же, предвкушение знакомства с краями и странами доселе нам неведомыми, встреч с людьми яркими, интересными, с героями и романтиками.

Книга Вл. Николаева «Атом, люди, льды» не обманывает ожиданий. Читатель следует с экипажем прославленного атомного богатыря «Ленин» по трассам суровых арктических морей — Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, чтобы затем сквозь тяжелые многолетние льды выйти в район полюса, где впервые высидялась советская научная дрейфующая стан-

ция. Арктика предстает в этой книге в зимнее время, когда царит долгая ночь и в небе лишь полыхает полярное сияние. До сей поры куда чаще живописалась Арктика летняя, когда в ней ходит незакаленное солнце.

Вл. Николаев — участник этого похода — наполнил свою книгу интересным фактическим материалом. Много места уделил автор и рассказу об атомоходе — истинном чуде судостроения.

Бывалые моряки и совсем еще юнцы, недавно окончившие «мореходку», специалисты-агомщики, ставшие завзятыми мореходами, леодоисследователями, летчики, гидрологи и гидрографы и люди простых «береговых» профессий, без которых, однако, невозможна жизнь на любом корабле, — вот разнообразные герои книги.

Портретная галерея велика. Осмотр ее, как всякий осмотр большого числа фотографий, картин или других статичных изображений, вероятно, был бы несколько утомительным, ежели бы писатель не показал своих героев в динамике — в труде, в быту, на отдыхе.

Очерковые описания сменяются выдержками из дневника, беседами с участниками арктического похода, краткими историческими экскурсами. Это несколько не нарушает целостности повествования, а встречающиеся порой лирические отступления и раздумья придают ему характер прямого разговора с читателем.

Для того, кто хочет «из первых рук» познакомиться с удивительной жизнью атомного ледокола, книга Вл. Николаева представит несомненный интерес.

А. Таланов.

★

М. ВАСИЛЬЕВ. Знакомые незнакомцы (Элементы земли, воды и воздуха). «Советская Россия». М. 1964. 348 стр. Цена 84 к.

Величественное здание окружающего нас мира — миллионы химических веществ — построено всего из ста видов кирпичиков — химических элементов. Доля каждого из них в природе неодинакова: углерод и водород входят в состав всех живых организмов, а элемента радона на всей земле — всего лишь граммы. Неодинакова и слава химических элементов. Нередко она обратно пропорциональна их значению: о металлах написано сотни книг, о так называемых неметаллах значительно меньше, хотя неметаллы — почти весь окружающий нас мир. Неметаллами мы дышим, неметаллы пьем, неметаллы едим, по неметаллам ходим и даже сами состоим в основном из неметаллов.

В книге М. Васильева подробно рассказывается о судьбе элементов, носящих очень странное с точки зрения сегодняшней науки название, начинающееся с отрицания. В предисловии к книге, сделанном в виде обращения к конгрессу химиков, автор, указывая на эту вопиющую несправедливость, предлагает заменить слово «неметаллы» другим, каким-либо более подходящим названием. Книгу, посвященную этим элементам, автор

просит рассматривать как приложение к своему заявлению.

Около восьмидесяти элементов, относящихся к металлам, долгие годы были надеждой и оплотом техники: в их руках находились прочносъём и теллостойкость.

Стремительное развитие химии сместило границы невозможного. И сегодня на хрупкие плечи неметаллов все чаще возлагается бремя ответственности за те физико-механические свойства, которые еще недавно находились в безраздельном господстве металлов. Самый прочный материал поставляет техника углерод. Самый жароустойчивый материал рожден кремнием. Самый «равнодушный» к действию кислот и щелочей создан с помощью фтора. Углеродные цепи полимеров нередко берут на себя конструкционные заботы металлов.

С неметаллами связан успех наступления Большой химии. От них зависит плодородие земли; неметаллы помогают человеку обеспечивать себя одеждой, обувью, жилищем; они трудятся в ракетных двигателях...

В книге М. Васильева рассказывается о многочисленных профессиях неметаллов, об истории их открытий и исследований. Сделано это в доступной и занимательной форме, с большим знанием материала, а главное — с увлеченностью.

★

В. Захаров.

А. М. ГЕЛЬМОНТ, Д. И. ПОЛТОРАК. Телевидение в школьном образовании. Издательство Академии педагогических наук РСФСР. М. 1963. 135 стр. Цена 20 к.

На экране телевизора заставка — «в помощь школе». Она сменяется появившимся в кадре преподавателем литературы одной из московских школ. Сегодня он ведет передачу из цикла «В помощь школе» — о значении Ясной Поляны в творчестве Л. Н. Толстого. В передачу включены кинокадры, называются книги, посвященные Л. Н. Толстому. Тысячи школьников, сидящих в этот час у телевизоров, выполняют совет опытного учителя и записывают название книг. «Вам должно быть очень интересно, — продолжает ведущий, — встретиться с одним из близких друзей великого писателя, часто бывавшим у него в Ясной Поляне...» На экране появляется известный музыкант, рассказывающий о многочисленных встречах с писателем в Ясной Поляне и в Москве. Затем он играет любимые Толстым прелюдии Шопена. «Раздаются волшебные звуки шопеновской музыки. И юные зрители, следя за виртуозной игрой пианиста — современника, друга и почитателя Толстого, уносятся мыслями и чувствами в легендарную Ясную Поляну».

Это одна из передач, с которых несколько лет тому назад Центральное телевидение начало свои специальные программы для школьников. Сейчас этот почин подхвачен многими телевизионными студиями страны: в Одессе, Перми, Риге, Душанбе...

Что дает телевидение школе и возможно ли обучение с помощью телевидения? Выяс-

нению этих вопросов посвящена книга А. М. Гельмонта и Д. И. Полторака.

Общезвестна огромная притягательная сила голубого экрана и большое эмоциональное воздействие телевидения на детей. Из книги читатель узнает, как используется телевидение в школьном образовании и в воспитании подрастающего поколения. Телевизионные передачи повышают интерес школьников к изучаемым наукам, расширяют их кругозор.

В книге приводятся убедительные примеры, подтверждающие эффективность применения телевидения. Так, анализ знаний учащихся старших классов, просмотревших цикл передач «Плечом к плечу» (об интернациональной солидарности трудящихся), показал, как телевидение способствует более глубокому обобщению фактов.

В преподавании биологии благодаря соединению телевизионной камеры с микроскопом значительно расширяются демонстрационные возможности учителя. Все это обеспечивает не только лучшую наглядность и высокую прочность знаний, но и экономит время учителя и учащихся. У учебного телевидения большие перспективы.

Книга «Телевидение в школьном образовании» — результат плодотворного сотрудничества исследователей, учителей, творческих работников. Такое содружество необходимо для продолжения опытно-экспериментальной работы в области учебного телевидения.

Ф. Молох.

★

ДЖ. М. БУДИШ. Изменение структуры рабочего класса США. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1963. 126 стр. Цена 39 к.

Если судить по названию этой книги, то может сложиться впечатление, что речь идет об узкой проблеме, которая интересует ограниченный круг специалистов. На самом деле тут содержится чрезвычайно интересный, многосторонний анализ классовых сдвигов, происходящих в самой могущественной капиталистической стране — США. Книга эта развенчивает теорию о гармонии труда и капитала, о так называемом неокapитализме.

Механизация и автоматизация привели к сокращению доли производственных рабочих, занятых физическим трудом, и к росту числа инженерно-технических, лабораторных, исследовательских, а также конторских и торговых работников, персонала, занятого в сфере распределения и услуг, и государственных служащих.

Буржуазные и ревизионистские статистики свели всех занятых нефизическим трудом работников воедино в группировку с неопределенным и экономически бессмысленным общим термином — «работники в белых воротничках», которых они отнесли к так называемым средним классам. Дальше — больше: буржуазная пропаганда объявила, что рабочий класс якобы поглощает-

ся средними слоями, а это приводит-де к затуханию классово-й борьбы.

Что же происходит на самом деле?

На основе весьма обширных статистических данных автор пришел к выводу, что доля наемных работников во всей занятой гражданской рабочей силе не снижается, а растет. В 1940 году она составила 75 процентов, в 1950 — 79,5 процента и в 1960 — 83,7 процента. В то же время класс капиталистов и средних слоев сокращается не только относительно, но абсолютно. За одно десятилетие (1950—1960) по меньшей мере полтора миллиона независимых предпринимателей и других элементов «среднего класса» были низведены до положения наемных работников.

С внедрением автоматического оборудования пошла на убыль прежде всего рутинные и однообразно повторяющиеся виды работ, что привело к вытеснению с производства значительного числа неквалифицированных рабочих. Позднее автоматизация заметно подорвала и позиции полуквалифицированных, а частично и квалифицированных рабочих; была охвачена обработка информации, контроль и некоторые процессы умственного труда. Даже специалисты и инженерно-технические работники начинают вытесняться автоматические машины.

В некоторые годы уровень безработицы в США превышал десять процентов. Число бедствующих районов, в которых численность полностью безработных превышает шесть процентов рабочей силы, достигло двух третей всех «крупных центров производства и занятости». Особенно тяжело положение негритянских рабочих.

«Объективные условия повседневной жизни и борьбы профсоюзов,— пишет автор в заключение,— быстро приближают время, когда каждый отдельный работник (будь то служащий или производственный рабочий) осознает свою принадлежность к рабочему классу в целом».

Книга Дж. М. Будиша — убедительный ответ проповедникам неокapитализма.

И. Пешкин.

★

А. М. НЕКРИЧ. Внешняя политика Англии. 1939—1941 гг. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 532 стр. Цена 1 р. 91 к.

О второй мировой войне написано уже много книг и немало еще будет написано. Одни из них читатели прочтут с интересом, другие только перелистают, из третьих сделают выписки, но потом навсегда отложат. Книга А. М. Некрича, думается, принадлежит к тем, которые, внимательно прочтя один раз, потом многократно будут снимать с полки, чтобы вспомнить, что пишет автор по затрагиваемым в ней вопросам, сопоставить его точку зрения с точкой зрения других авторов. Некричу удалось четко изложить сложные мотивы и существо внешней политики Англии в тот период войны, когда позиция этой страны еще окончательно не

определилась и в ней было очень много противоречивого.

Англия ведет войну с Германией, сокрушившей уже двенадцать государств. Но в то же время английские дипломаты и государственные деятели продолжают политику «антикоммунизма», направленную против СССР, предусматривающую сговор с фашистами и совместное нападение на страну социализма.

Анализируя огромный документальный материал, А. М. Некрич показывает, какие причины привели к изменению в составе английского правительства — к отставке обанкротившегося «умиротворителя» Чемберлена, назначению на пост премьер-министра У. Черчилля. Портреты этих государственных деятелей нарисованы политически остро и очень живо. Читатель видит, как Черчилль, которому было не занимать неприязни к коммунизму у Чемберлена, пришел к пониманию, что спасение Англии — в союзе с СССР. Огромную роль здесь сыграла позиция английского народа. Автор пишет: «Опустошительные воздушные налеты на Англию, уничтожение британских судов, жестокости и бесчинства, творимые гитлеровцами на оккупированных территориях Европы, создали неодолимую психологическую преграду для всяких попыток заключения компромиссного мира с Германией... Мужество и решимость английского народа бороться с фашизмом обрекали любую попытку компромиссного мира на провал».

Выбор был сделан. «Визит Гесса, отражавший намерение заправил Германии заключить мир с Англией прежде, чем совершить нападение на Советский Союз, кончился провалом. Накануне нападения гитлеровской Германии на СССР Советское правительство было предупреждено об этом из Лондона (Сталин не обратил внимания на это предупреждение, что дорого обошлось народам СССР). Как только началась Великая Отечественная война, Англия стала нашим военным союзником.

В книге А. М. Некрича на основе глубокого изучения фактов воспроизводится картина недавнего трагического и героического прошлого, убедительно показана возможность плодотворного сотрудничества государств с различными социальными системами.

Л. Слезкин,

кандидат исторических наук.

★

ХОСЕ ГАРСИА. Диктатура Примо де Ривера. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. 365 стр. Цена 1 р. 26 к.

Дружеские отношения советских людей к испанскому народу особенно укрепились, стали поистине братскими с того времени, когда в тридцатых годах испанский народ вел героическую битву за свободу против фашизма. Битву, в которой Советский Союз не был безучастным свидетелем

Нет нужды подробно говорить о том, какое огромное значение для нынешнего ре-

волюционного движения Испании имеет правильное марксистское освещение истории Испании XX века. Важным этапом этой истории был период военно-монархической диктатуры Примо де Ривера (сентябрь 1923 — январь 1930 годов), исследованию которого и посвящена книга Хосе Гарсиа.

Одно из главных достоинств книги — ее последовательный историзм, умение проследить истоки, выяснить причины и закономерности тех явлений, которые привели к установлению, развитию и бесславному концу диктатуры Примо де Ривера — предтече современного фашистского режима генерала Франко.

Автор прекрасно ориентируется в запутанной политической и экономической жизни Испании тех лет, широко использует и глубоко анализирует разнообразные источники — от официальных документов до прессы, различной мемуарной и исторической литературы.

На основе множества фактов Хосе Гарсиа разоблачает реакционную сущность военно-монархической диктатуры, ее безудержную демагогию. Клянясь в верности идеалам свободы и демократии, диктатура уничтожала даже тень конституционных гарантий в стране, широко развернув военно-монархический террор против трудящихся масс.

Автор книги объективен в самом высоком понятии этого слова. Он не проходит мимо отдельных успехов в области экономики, способствовавших развитию капитализма в полуфеодальной Испании. И тем убедительнее выглядит в книге точный анализ фактов, показывающий обреченность реакционного, неспособного к позитивным действиям, насквозь лживого режима.

Многое необычно в этой книге, начиная от судьбы самого автора. В 1936 году двадцатилетним мальчиком Хосе Гарсиа вместе с сотнями других испанских детей — беженцев от фашистских банд Франко — отплыл из астурийского порта Хихон в Советский Союз. За годы, прошедшие с того дня, Хосе Гарсиа вырос в крупного советского историка, сохранив вместе с тем страстную любовь и интерес к своей родине и ее судьбам.

Необычен и стиль этой книги. Точный научный анализ исторических явлений сочетается с эмоциональным стилем изложения. Автор как бы продолжает ту замечательную традицию в русской исторической науке, которая представлена именами Е. В. Тарле и других крупнейших историков. Образное повествование делает книгу доступной и интересной для самых широких кругов читателей, и потому нужна особенно точная, филигранная отработка каждой фразы. В этом отношении не все удалось в книге, что можно и должно поставить в упрек не столько автору, для которого все же родным языком является испанский, сколько редактору. Впрочем, эти досадные мелочи не могут испортить впечатления от

книги, написанной во всеоружии знания фактов, владения современной методикой исторического исследования, — книги яркой, взволнованной, интересной.

Г. Федоров,
доктор исторических наук.

★

Н. ЗАДОНСКИЙ. Внук декабриста. «Молодая гвардия». М. 1963. 96 стр. Цена 16 к.

В этой небольшой книжечке воронежскому писателю Николаю Алексеевичу Задонскому удалось проследить жизненный путь одного из интереснейших людей нашего времени — Юрия Львовича Давыдова, внука известного декабриста Василия Львовича Давыдова, родного племянника П. И. Чайковского, близкого родственника знаменитого поэта-партизана Дениса Давыдова.

Юрий Львович получил военное образование. Но он тянулся к полезной для народа деятельности и потому изучал агрономию, зоотехнику.

Октябрьская революция застала внука декабриста на весьма ответственной земской работе. Его родственники и ближайшие знакомые эмигрировали за границу, звали и его. Но он категорически отказался.

По заданию наркомпрода он едет в Сибирь для заготовки и отправки продовольствия голодающим районам.

Юрий Львович не знал ни отдыха, ни передышки. В Москву и Петроград шли эшелоны скота, заготовленного им. А в это время его семья находилась на оккупированной территории и подвергалась издевательствам со стороны белогвардейцев.

Лишь в 1922 году Ю. Л. Давыдов был откомандирован в распоряжение Киевской областной сельскохозяйственной опытной станции и возвратился домой. Потом он переезжает в Москву, а после смерти жены снова едет в Сибирь и работает старшим зоотехником. И везде он целиком отдает себя порученному делу, проявляет энергию и самоотверженность. Характерна описанная автором экспедиция по перевозке племенного скота в бухту Нагаево на пароходе «Шатурсгрой». Во время сильного шторма Юрий Львович, рискуя жизнью, спасал животных, показывая пример экипажу судна.

С большим интересом читаются страницы о взаимоотношениях Ю. Л. Давыдова со своими родными и особенно с дядей — величайшим композитором П. И. Чайковским. Позднее Юрий Львович любовно собирал все, что связано с именем Петра Ильича. Особенно много усилий пришлось ему приложить для восстановления Дома-музея П. И. Чайковского в Клину после его оккупации фашистами. Юрий Львович и до настоящего времени является руководителем этого музея.

Думается, что каждый читатель найдет в портрете этого человека привлекательные черты, тонко подмеченные Н. Задонским.

А. Желтов.

*доцент Ульяновского пединститута
имени И. Н. Ульянова.*

★

И. Т. ВАСИЛЬЧЕНКО. Иван Владимирович Мичурин. 1855—1935. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1963. 329 стр. Цена 1 р. 26 к.

Автор этой книги справедливо называет Мичурина «великим натуралистом». Нет надобности искать доказательства тому, что для нас интересна и полезна каждая добросовестная новая работа о нем — особенно, если она обогащает нас новыми, не известными дотоле документальными материалами о жизни и деятельности замечательного селекционера. И думается в связи с этим, что обширный труд И. Т. Васильченко привлечет внимание широкого круга читателей.

В книге собраны богатые и ценные сведения. Семь глав из десяти посвящены биографии И. В. Мичурина, две — характеристике мичуринской селекции и основных положений его учения. Заключительная глава названа — «И. В. Мичурин как человек и ученый». В конце книги дается подробная хронология важнейших событий в жизни И. В. Мичурина, список его работ и перечень использованной литературы.

Впервые в литературе приводятся сведения об избрании Мичурина в Академию наук, его анкета. Есть в книге и ранее не печатавшиеся фотоснимки. Вообще же иллюстраций могло быть больше и качество их могло быть лучше.

Несколько замечаний по содержанию книги. Рассказав достаточно обстоятельно о значении мичуринского учения для сельского хозяйства (точнее, растениеводства), автор не уделил внимания очень важному вопросу — о значении этого учения для биологической и медицинской науки, в частности для микробиологии, той области, в которой сейчас особенно широко разрабатываются проблемы изменчивости и наследственности. Думается, что едва ли следовало ограничиваться характеристикой работ Мичурина лишь с точки зрения их прикладного, сельскохозяйственного значения. О более

широком значении мичуринского учения сказано лишь вскользь, бегло...

Надо ли сплошной черной краской рисовать все прошлое русского садоводства до Мичурина? История свидетельствует, что русская земля никогда не оскудевала замечательными умельцами, мастерами плодоводства и огородничества. И, конечно же, упоминание об этом в книге несколько не умалило бы роли И. В. Мичурина в развитии садоводства в нашей стране.

Ю. Миленушкин.

★

Г. И. МИШКЕВИЧ. Король в стальной короне. Свердловское книжное издательство. 1963. 151 стр. Цена 21 к.

«Биография» алмаза, пожалуй, богаче истории любого из минералов. С незапамятных времен вошедший в мир как самый драгоценный предмет роскоши, он приобрел все больше «рабочих профессий» и в наши дни сделался незаменимым в технике. Сверхтвердость, исключительная прочность и высокая стойкость к агрессивным средам обеспечили ему широкое применение в современной индустрии — от бурения горных пород до «нежной» обработки тончайших деталей полупроводниковых приборов.

В небольшой книжечке с бородатым королем-алмазом на обложке и слегка ироническими иллюстрациями Г. И. Мишкевич приводит немало любопытных, полезных и важных сведений о «герое» книги. Он рассказывает о крупнейших ювелирных алмазах, о знаменитых африканских копиях, уральских и якутском месторождениях. Знакомит читателя с изготовлением алмазных инструментов и их многообразным применением, историей создания искусственных алмазов. Короче говоря, повествует о прошлом, настоящем и будущем короля минералов.

Ценность книги снижается, однако, непреодолимым стремлением автора к излишней развлекательности, к рассказам о «таинственных происшествиях», связанных с алмазами. И уж совсем, видимо, не следует походя сообщать сомнительные, полужанклетические сведения, не имеющие никакого отношения к теме книги.

М. Влодавская.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. 9—13 декабря 1963 года. Стенографический отчет 448 стр. Цена 82 к.

М. А. Суслов. О борьбе КПСС за сплоченность международного коммунистического движения. Доклад на Пленуме ЦК КПСС 14 февраля 1964 года. 111 стр. Цена 13 к.

Е. Бондаренко, М. Савов. Международное социалистическое разделение труда. 96 стр. Цена 16 к.

А. Веденин Годы и люди. Воспоминания. 208 стр. Цена 28 к.

А. Вендт. От трусости до предательства... Документальная повесть. 160 стр. Цена 19 к.

Герои бессмертны. Рассказы о венгерских революционерах. Перевод с венгерского. 248 стр. Цена 66 к.

В. Душенькин. От солдата до маршала (В. К. Блюхер). 224 стр. Цена 27 к.

М. Залманова. Экономика строительства в вопросах и ответах. 208 стр. Цена 30 к.

Коммунизм и личность. 344 стр. Цена 62 к.

Н. Кондратьев. На линии огня (Эпизоды из жизни командарма И. Федько). 96 стр. Цена 13 к.

Краткий политический словарь. 352 стр. Цена 38 к.

А. Мельчин. Станислав Коснор. 80 стр. Цена 10 к.

М. Москалев. Бюро Центрального Комитета РСДРП в России. Август 1903—март 1917. 312 стр. Цена 78 к.

Подвиг. 272 стр. Цена 34 к.

В. Прожогин. М. Горький — как он писал, что думал и говорил о публицистике. 104 стр. Цена 13 к.

Размышления у сухого дола... 144 стр. Цена 19 к.

Родина Советская. 592 стр. Цена 1 р. 8 к.

М. Сбойчанов. Два юных героя. 72 стр. Цена 8 к.

М. Шмушневич. Испытание. Очерк о Герое Советского Союза Т. Шашло. 112 стр. Цена 13 к.

«МЫСЛЬ»

А. Богомолов. Англо-американская буржуазная философия эпохи империализма. 421 стр. Цена 1 р. 46 к.

В. Евреинов, Н. Пронин. За убегающим горизонтом. 215 стр. Цена 52 к.

Д. Затуловский. Загадки и контрасты Памира. 128 стр. Цена 21 к.

А. Зимин. Причина Ивана Грозного. 535 стр. Цена 2 р. 3 к.

Р. Итс. Последний аргиш. Этнографическая повесть. 104 стр. Цена 16 к.

И. Колосков. Внешняя политика современной Франции. 383 стр. Цена 1 р. 20 к.

Ю. Любович. Оборотные фонды и их использование в промышленности СССР. 303 стр. Цена 1 р. 7 к.

Г. Молчанов. Цейлон. 157 стр. Цена 24 к.

Л. Петровиченко. Нормирование труда в СССР. 351 стр. Цена 1 р. 10 к.

А. Реуэль. Предметный и именной указатель ко второму тому «Капитала» К. Маркса. 327 стр. Цена 97 к.

Северо-Запад РСФСР. Экономико-географическая характеристика. 652 стр. 1 р. 99 к.

В. Смирнов. В мире вечного мрака. 110 стр. Цена 25 к.

М. Сонкин. Окно во внешний мир. Экономические связи Советского государства в 1917—1921 гг. 211 стр. Цена 47 к.

Б. Стэвис. Человек, который никогда не умирал. Записки о Джо Хилле и его времени. Перевод с английского. 143 стр. Цена 24 к.

Л. Степанов. В зеркале голубого Дуная. 312 стр. Цена 59 к.

П. Фосетт. Неоконченное путешествие (Составлено по рукописям, письмам, полевым дневникам и официальным отчетам П. Г. Фосетта). Перевод с английского. 415 стр. Цена 1 р. 26 к.

Т. Хейердал. В поисках рая. Перевод с норвежского. 160 стр. Цена 50 к.

И. Четерки. Румынская Народная Республика — социалистическое государство. Перевод с румынского. 416 стр. Цена 1 р. 32 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Авраменко. Синичьи заморозки. Новые стихи. 168 стр. Цена 18 к.

С. Антонов. Письма о рассказе. 304 стр. Цена 48 к.

Р. Бабаджан. Сердце не спит никогда. Стихи. Перевод с узбекского. 156 стр. Цена 18 к.

С. Баруздин. Первое апреля — один день весны. Маленькие повести. 112 стр. Цена 8 к.

С. Бондарин. Гроздь винограда. Записки, рассказы, повесть. 364 стр. Цена 60 к.

С. Бытовой. Счастье на семь часов раньше. Повесть. 216 стр. Цена 29 к.

В. Воеводин. Буйная головушка. Роман. 306 стр. Цена 54 к.

В. Зверева, В. Зверев. Мечта моя, цирк... Повесть. 216 стр. Цена 30 к.

Ю. Канэ. Янка Брыль. Критико-биографический очерк. 168 стр. Цена 25 к.

А. Караваева. Свет вчерашний. Воспоминания. 303 стр. Цена 59 к.

В. Корнилов. Пристань. Стихи. 92 стр. Цена 19 к.

Э. Крустен. Слово капля в море. Роман. Перевод с эстонского. 296 стр. Цена 39 к.

Е. Любарева. Эдуард Вагрицкий. Жизнь и творчество. 244 стр. Цена 45 к.

В. Ляленков. Сестры Строгалевы. Рассказы и повесть. 187 стр. Цена 27 к.

П. Маналь. Твое имя. Стихи. Перевод с белорусского. 76 стр. Цена 9 к.

И. Науменко. Сосна при дороге. Роман. Перевод с белорусского. 388 стр. Цена 66 к.

Н. Новосельнова. На правом фланге — память. Стихи. 76 стр. Цена 8 к.

А. Патрус-Карпатский. Орлиная колыбель. Стихи. Перевод с украинского. 120 стр. Цена 16 к.

Л. Первомайский. Дикий мед. Современная баллада. Перевод с украинского. 496 стр. Цена 1 р. 1 к.

И. Федорин. Руслло. Лирика. 80 стр. Цена 8 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Чинуа Ачебе.** И пришло разрушение... Роман. Перевод с английского. 232 стр. Цена 51 к.
- И. Верцман.** «Гамлет» Шекспира. 144 стр. Цена 17 к.
- Р. Гальегос.** Ведный негр. Роман. Перевод с испанского. 312 стр. Цена 70 к.
- С. Городецкий.** Стихи. 424 стр. Цена 66 к.
- Перевод с испанского. 208 стр. Цена 52 к.
- М. Луис Гусман.** Тень каудильо. Роман.
- Н. Карамзин.** Избранные сочинения в двух томах. Том 1. 591 стр. Цена 1 р. 23 к. Том 2. 529 стр. Цена 95 к.
- Н. Льюис.** Вулжаны над нами. Роман. Перевод с английского. 232 стр. Цена 62 к.
- М. Морозов.** Статьи о Шекспире. 312 стр. Цена 68 к.
- М. Рыльский.** «Кобзарь» Тараса Шевченко. 80 стр. Цена 11 к.
- Шведская новелла XIX—XX веков.** Переводы со шведского. 551 стр. Цена 1 р. 33 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- А. Алексеева.** Сын грозы. Документальная повесть. 192 стр. Цена 29 к.
- А. Анинст.** Шекспир. 368 стр. (Жизнь замечательных людей.) Цена 75 к.
- О. Берггольц.** Избранная лирика. 31 стр. Цена 3 к.
- В. Берестов.** Меч в золотых ножнах. Повесть. 224 стр. Цена 47 к.
- Ю. Друнина.** Ты — радом. Стихи. 96 стр. Цена 11 к.
- Харпер Ли.** Убить пересмешника... Роман. Перевод с английского. 352 стр. Цена 85 к.
- Ф. Наседкин.** Так началась жизнь. Повесть. 207 стр. Цена 46 к.
- М. Никулин.** Погожая осень. Повести. 350 стр. Цена 66 к.
- Оправданное доверие.** Очерки. 176 стр. Цена 19 к.
- Д. Паттерсон.** Хроника левой руки. Повесть. 128 стр. Цена 14 к.
- Поэзия рабочих рук.** Стихи. 280 стр. Цена 55 к.
- М. Рубашов.** Вагряные тени. Повесть. Перевод с украинского. 224 стр. Цена 42 к.
- В. Смирнов.** Ребята Скобского дворца. Повесть. 320 стр. Цена 67 к.
- Е. Успенская.** Осторожно, любовь... Повести и рассказы. 384 стр. Цена 77 к.
- Ф. Халтурин.** По светлomu следу. Очерки. 128 стр. Цена 17 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- В. Владимиров.** Повесть о школяре Иве. 264 стр. Цена 54 к.
- Л. Горлецкий.** Граница. Повесть и рассказы. 176 стр. Цена 37 к.
- В. Дридзо.** Надежда Константиновна. Повесть о Н. К. Крупской. 192 стр. Цена 68 к.
- А. Пальчевский.** Родные берега. Рассказы. Перевод с белорусского. 144 стр. Цена 32 к.
- С. Хмельницкий.** Почтальон революции. Повесть. 80 стр. Цена 22 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Б. Андрианов.** Население Африки. 276 стр. Цена 1 р. 10 к.
- М. Бабкина.** С. Потабенко. Народный театр Индии. 168 стр. Цена 75 к.
- Библиография Африки.** Дореволюционная и советская литература на русском языке. Оригинальная и переводная. Вып. I. 276 стр. Цена 1 р. 70 к.
- В. Варма.** Сломанные шипы. Роман. Перевод с хинди. 280 стр. Цена 75 к.
- Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы.** 303 стр. Цена 1 р. 70 к.
- Г. Дамм.** Канака — люди южных морей. Перевод с немецкого. 365 стр. Цена 1 р.

П. Топеха. Вопросы единства профсоюзного движения в современной Японии. 164 стр. Цена 55 к.

К. Юзбашян. Академик Иосиф Абгарович Орбели. 160 стр. Цена 40 к.

«НАУКА»

Абсолютизм в России. XVII—XVIII вв. Сборник статей к 70-летию со дня рождения и 45-летию научной и педагогической деятельности В. В. Кафенгауза. 520 стр. Цена 1 р. 91 к.

З. Белоусова. Французская дипломатия накануне Мюнхена. 299 стр. Цена 1 р. 12 к.

Л. Великович. Церковь и социальные проблемы современности. 220 стр. Цена 68 к.

В. Веселитский. Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX века. 176 стр. Цена 74 к.

В. Виргинский. Джордж Стефенсон. 1781—1848. 215 стр. Цена 77 к.

Возникновение жизни во Вселенной. Доклады на совещании Комиссии по космогонии Астрономического совета АН СССР 6—7 июня 1962 г. 96 стр. Цена 44 к.

Вопросы русской орфографии. 136 стр. Цена 40 к.

Галилео Галилей. Вопросы истории естествознания и техники. Вып. 16. 118 стр. Цена 68 к.

Диалектика — теория познания. Проблемы научного метода. 503 стр. Цена 1 р. 77 к.

П. Довгалюк. Атеизм в украинской литературе. Очерки. 264 стр. Цена 42 к.

Защита леса от вредных насекомых. Сборник статей. 132 стр. Цена 83 к.

Л. Иванов. Морская политика и дипломатия империалистических держав (Между первой и второй мировыми войнами). Избранные произведения. 444 стр. Цена 1 р. 90 к.

Колокол. Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Воляная русская типография 1857—1867. Лондон—Женева. Факсимильное издание. Выпуск IX. 1866—1867. Женева. 220 стр. Цена 1 р. 35 к.

И. Крывелев. Маркс и Энгельс о религии. 208 стр. Цена 32 к.

В. Левин. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (Лексика). 408 стр. Цена 1 р. 82 к.

Нации Латинской Америки. Формирование, развитие. 444 стр. Цена 1 р. 80 к.

Д. Обломиевский. Литература Французской революции 1789—1794 гг. Очерки. 356 стр. Цена 1 р. 14 к.

С. Огнев. Жизнь леса. 160 стр. Цена 52 к.

Памятники каменного и бронзового веков Евразии. Сборник статей. 183 стр. Цена 99 к.

Памятники поздней античной поэзии и прозы II—V веков. 360 стр. Цена 1 р. 30 к.

Б. Поршнев. Феодализм и народные массы. 520 стр. Цена 2 р. 25 к.

Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии. Сборник документов. 539 стр. Цена 3 р.

Радиоактивная загрязненность морей и океанов. 224 стр. Цена 1 р.

Б. Рожнов. Революционное направление в английском рабочем движении 50-х годов XIX века. 224 стр. Цена 91 к.

Славяно-германские отношения. 296 стр. Цена 1 р. 38 к.

Ю. Филиппев. Творчество и кибернетика. 80 стр. Цена 11 к.

Д. Шмелев. Слово и образ. 120 стр. Цена 20 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Ароцкер. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел. 224 стр. Цена 35 к.

В. Арсеньев. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе. 180 стр. Цена 82 к.

П. Володарский. Практическое пособие для комиссий по делам несовершеннолетних. 144 стр. Цена 22 к.

Л. Гореватый. Гарантийные и компенсационные выплаты рабочим и служащим. 92 стр. Цена 9 к.

П. Гуреев. Льготы для лиц, направляемых в порядке общественного призыва. 60 стр. Цена 5 к.

П. Дубовец. Ответственность за телесные повреждения по советскому уголовному праву. 160 стр. Цена 26 к.

Н. Кузнецова. Освобождение от уголовной ответственности с передачей дела в товарищеский суд. 96 стр. Цена 12 к.

В. Мамутов. Компетенция государственных органов в решении хозяйственных вопросов промышленности. 268 стр. Цена 95 к.

М. Михайлов. Уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях и спекуляцию валютными ценностями по советскому уголовному праву. 44 стр. Цена 5 к.

А. Первушин, Н. Сеницын. Права и обязанности членов колхоза. 124 стр. Цена 15 к.

Справочник законодательства по капитальному строительству в колхозах. 528 стр. Цена 94 к.

Уголовный кодекс РСФСР. Официальный текст с изменениями на 1 декабря 1963 г. и с приложением постановлено-систематизированных материалов. 264 стр. Цена 27 к.

КАЛУЖСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

А. Бауэр. Рассказы о Левитане. 63 стр. Цена 12 к.

Н. Усова. Перечитывая дневники. Повесть. 164 стр. Цена 43 к.

ТАДЖИКГОСИЗДАТ

М. Амин-заде. Я и мы Сатирические стихи. Перевод с таджикского. 111 стр. Цена 12 к.

Р. Джалил. Шураб. Роман. Перевод с таджикского. Книга 1. 268 стр. Цена 58 к.

«ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО» (ТБИЛИСИ)

Р. Асаев. Человек родился жить. Стихи. Перевод с осетинского. 117 стр. Цена 19 к.

М. Дгебуадзе-Пулария. Золотое кольцо. Роман-хроника. Перевод с грузинского. 543 стр. Цена 1 р. 9 к.

В. Челидзе. Жизнь без конца. Биографический роман. Перевод с грузинского. 186 стр. Цена 46 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., п. 1/2. Тел. К 5-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 27/III 1964 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 7/V 1964 г.
А 02069. Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л. (24,66 усл. п. л.)
Зак. 645. Тираж 113.000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636